

Жак Ле Гофф

Цивилизация средневекового Запада

**Общая редакция Ю.Л. Бессмертного
Редактор Е. Н. Самойло.**

Переводчики: Е. И. Лебедева, Ю.П. Малинин, В.И. Райцес, П.Ю. Уваров

Предисловие к русскому переводу

Я горд и счастлив, что мою книгу «Цивилизация средневекового Запада» прочтет русский читатель. Я горячо благодарю переводчиков и коллег, помощь которых сделала возможной публикацию книги, и в первую очередь профессоров Юрия Бессмертного и Арона Гуревича.

Книга появилась впервые в 1964 г. с многочисленными иллюстрациями, сопровождаемыми подробными пояснениями, — они, к сожалению, частично отсутствуют в пересмотренном и обновленном издании 1984 г. Эта книга отвечает задачам серии «Великие цивилизации» и моей концепции истории, в частности истории цивилизации. В ней я прослеживаю основные линии эволюции Запада между V и XV вв., ибо история — это движение и изменение, выделяя следующие существенные моменты: возникновение новых королевств, рожденных из синтеза двух культур, варварской и римской; попытка германцев создать новую организацию — каролингский мир, скороспелая попытка объединения Европы (VIII — X вв.); и, наконец, формирование единой и многообразной христианской Европы — период внутреннего и внешнего подъема X — XIII вв., когда экономический, демографический, религиозный, интеллектуальный и художественный прогресс представляется мне более важным, нежели перипетии политической жизни с ее борьбой между папами и императорами, скрывающей великое политическое новшество — становление современных государств, которые вышли из феодальной системы и сосуществовали с ней, не разрушая ее (как казалось, традиционной историографии). И в заключение я останавливаюсь на кризисе XIV — XV столетий, который, как это часто бывает в истории, представлял собой скорее мутацию и трансформацию, чем упадок.

Я должен был считаться с теми хронологическими рамками, которые определены участием в коллективном начинании. Хотя сегодня я настаивал бы на расширении временных рамок, на «долгом» Средневековье, охватывающем эпоху, начинающуюся со II — III-го столетия поздней Античности (о которой так и не был написан том, предусмотренный планом серии) и не завершающуюся Ренессансом (XV — XVI вв.), связь которого с Новым временем, на мой взгляд, преувеличена. Средневековье длилось, по существу, до XVIII в., постепенно изживая себя перед лицом Французской революции, промышленного переворота XIX в. и великих перемен века двадцатого. Мы живем среди последних материальных и интеллектуальных остатков Средневековья.

Полагаю, что мне лучше удалась вторая часть, посвященная собственно средневековой цивилизации, где я пытался описать и объяснить, что она из себя представляла в центральный период X — XIV вв. Я понимаю ее широко, следуя концепции тотальной истории, воспринятой мной в духе журнала «Анналы», основанного в 1929 г. Марком Блоком и Люсьеном Февром. Концепция тотальной истории включает в себя не только то, что другие традиции мысли именуют культурой или цивилизацией, — она подразумевает также и материальную культуру — технику, экономику, повседневную жизнь (ибо люди в процессе истории строят жилища, питаются, одеваются и вообще функционируют), равно

как и интеллектуальную и художественную культуру, не устанавливая между ними ни отношений детерминизма, ни даже иерархии. В особенности она избегает понятий «базиса» и «надстройки», которые насилуют постижение исторических структур и их взаимодействие. Тотальная история должна опираться на социальную историю, которая и есть подлинное содержание истории, как ее справедливо понимал Марк Блок.

Вначале я обрисовал не «происхождение» (согласно Марку Блоку, «опасный идол историков»), но наследие, которое получает и отбирает цивилизация, трансформирующаяся в соответствии с ним, наследие прежних обществ Европы — кельтско-германских, славянских и т.д., наследие греко-римское, наследие иудео-христианской традиции. Начав свое исследование с рассмотрения пространственно-временных структур, которые образуют кадр любого общества и любой культуры, я изучал как материальные аспекты пространства и времени, так и те представления, посредством которых мужчины и женщины Средневековья воспринимали историческую реальность. Ведь эта реальность представляет собой единство материальных условий и мира воображения, в которых живут члены всякого общества: земля и небо, лес, поляна, сухопутные и морские дороги, множественность социальных времен, грезы о конце света и о потустороннем существовании, характерные для цивилизации средневекового Запада.

Вместе с тем я старался также показать внутренние связи между реальными социальными структурами и их функционированием («борьба классов», термин, трудноприменимый к Средневековью), процессами маргинализации и исключения из общества, с одной стороны, и схемами, при помощи которых люди той эпохи — преимущественно интеллектуалы, клирики — пытались осмыслить общество: «духовенство и миряне», «могущественные и бедняки», три «сословия» или три «разряда», согласно индоевропейской трехфункциональной концепции, множественность «сословий» и «социальных разрядов» и т. п.

Более всего мне хотелось изобразить все эти аспекты средневековой цивилизации, демонстрируя ментальность, эмоциональность и установки поведения, которые отнюдь не являются поверхностными или излишними «украшениями» истории, ибо они-

то и придавали ей всю ее красочность, оригинальность и глубину: символическое мышление, чувство неуверенности или вера в чудеса сказали бы нам больше о средних веках, чем изошренно построенные догмы и идеологические анахроничные абстракции.

Если моя книга сможет дать русским читателям кое-какие ключи для лучшего понимания иного Средневековья — Средневековья их предков, Средневековья другой половины христианства, христианства восточного, я буду счастлив. Ибо то, что ныне предстоит осуществить европейцам Востока и Запада, заключается в объединении обеих половин, вышедших из общего, я бы сказал, братского наследия единой цивилизации, уважающей порожденные историей различия.

Наконец, я хочу выразить огромную радость по поводу того, что вижу свою книгу в переводе на русский язык, оказавшемся возможным благодаря новым условиям, созданным исключительной смелостью, с какой граждане, населяющие эту страну, изменяют свою собственную историю. Конечно, историческая наука в Восточной Европе не была уничтожена в 1917 г., и многие из русских советских историков с риском для жизни продолжали работу в русле их великой историографической традиции. Но свобода, в которой нуждается труд историка, ищущего истину, была подавлена. Теперь мы можем возобновить диалог, в котором все так нуждаемся.

Жак Ле Гофф Париж, октябрь 1991

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

ГЛАВА I. Расселение варваров (V — VII вв.)

Средневековый Запад зародился на развалинах римского мира. Рим поддерживал,

питал, но одновременно и парализовал его рост. Прежде всего Рим передал средневековой Европе в наследство драматичную борьбу двух путей развития, символизируемую легендой о происхождении города, согласно которой Рим, замкнутый стеной, восторжествовал над Римом без границ и без стен, о котором тщетно мечтал несчастный Рем.

Римская история, которой положил начало Ромул, оставалась, даже в период наибольших успехов, лишь историей грандиозного закрытого мира. Город благодаря завоеваниям собирал вокруг себя все более обширные земли, пока его территория не достигла оптимальных для его обороны размеров, и тогда он в I в. решительно закрылся пограничным валом, этой своего рода китайской стеной западного мира. Под защитой этого укрепления город занимался эксплуатацией и потреблением, сам ничего не производя: после эллинистической эпохи не появилось никаких технических новшеств, хозяйство поддерживалось за счет грабежа и победоносных войн, которые обеспечивали приток рабской рабочей силы и драгоценных металлов, черпаемых из накопленных на Востоке сокровищ. Он великолепно преуспел в искусстве самосохранения: война — всегда оборонительная, несмотря на видимость завоеваний; право строилось на прецедентах, предотвращая нововведения; дух государственности обеспечивал стабильность институтов; архитектура — по преимуществу искусство жилища.

Этот шедевр консерватизма, каким была римская цивилизация, со второй половины II в. под воздействием сил разрушения и обновления подвергся эрозии.

Мощный кризис III века пошатнул постройку. Единство римского мира стало разваливаться; его сердце, Рим и Италия, было парализовано и не снабжало кровью части тела империи, которые пытались начать самостоятельную жизнь: провинции сначала эмансипировались, а затем перешли в наступление. Испанцы, галлы, выходцы с Востока все более заполняли Сенат. Родом из Испании — императоры Траян и Адриан, из Галлии — Антонин; при династии Северов императоры — африканцы, а императрицы — сирийки. Эдикт Каракаллы предоставил в 212 г. право римского гражданства всем жителям империи. Как и успех романизации, это возвышение провинций свидетельствовало об укреплении центробежных сил. И средневековый Запад унаследовал эту борьбу — между единением и обособлением, стремлением к христианскому единству и тягой к национальной самостоятельности. Нестабильность имела и более глубокие истоки: Запад терял средства существования, уходившие на Восток. Золото, которым оплачивался ввоз предметов роскоши, утекало в восточные провинции, бывшие производителями и посредниками в крупной торговле, монополизированной купцами — евреями и сирийцами. Города Запада хирели, восточные города расцветали.

Основание Константинополя, этого Нового Рима, императором Константином (324 — 330) как бы материализовало перемещение центра тяжести римского мира к Востоку. Этим же расколом будет отмечен и средневековый мир: несмотря на усилия, направленные на объединение Запада и Востока, преодолеть различия в их развитии отныне не удастся. Будущая церковная схизма была вписана уже в реалии IV в. Византия продлила жизнь Рима до 1453 г., но при всей видимости процветания и мощи это была лишь агония римского мира. Западу же, оскудевшему и варваризированному, суждено было на исходе Средневековья обрести новые силы и вырваться на мировые просторы.

Более того, римская цитадель, из которой некогда выходили легионы за пленными и добычей, сама оказалась осажденной и принужденной к сдаче. Последняя крупная победоносная война датируется временем правления Траяна, и золото даков стало последним подспорьем римского процветания. К внешним неудачам добавилась внутренняя стагнация, и прежде всего демографический кризис, обостривший нехватку рабской рабочей силы. Во II в. Марк Аврелий еще сдерживал натиск варваров на Дунае, где он и умер в 180 г., но в III в. империя подверглась нападению со всех сторон, и если оно стихло, то не столько благодаря военным успехам иллирийских императоров конца столетия и их преемников, сколько благодаря примирению, достигнутому за счет признания варваров, принятых в армию или допущенных к расселению на окраинах империи, конфедератами и союзниками. Так впервые

началось смешение народов, столь характерное для Средневековья.

Некоторые императоры верили, что еще смогут заковать судьбу, отказавшись от прежних богов, чье покровительство оказалось бесплодным, и признали нового бога христиан. Успехи Константина казались оправдывающими эти надежды: под эгидой Христа преуспевание и мир как будто возвращались. Но это была всего лишь краткая отсрочка, христианство оказалось неверным союзником Рима. Структуры римского мира нужны были церкви лишь как форма, в которую можно отлиться, как опора или средство самоутверждения. Религия вселенского призвания, христианство не рисковало замкнуться в границах одной цивилизации. Конечно, оно стало главным наставником средневекового Запада, которому передало римское культурное наследие. Конечно, оно восприняло от Рима и его истории склонность к самозамыканию. Но перед лицом закрытого типа религии западное Средневековье создало также и более открытый ее вариант; и диалог этих двух ликов христианства стал доминирующим в ту переходную эпоху. Десять веков потратил средневековый Запад, чтобы сделать выбор между стоявшими перед ним альтернативами: замкнутая экономика или открытая, сельский мир или городской, жизнь в одной общей цитадели или в разных самостоятельных домах.

Если в кризисе римского мира III в. можно обнаружить начало переворота, благодаря которому зародится средневековый Запад, то варварские нашествия V в. можно рассматривать на законном основании как событие, ускорившее преобразование, придавшее ему катастрофический разбег и глубоко изменившее весь вид этого мира.

Германские вторжения были в V в. не внове для римского мира. Не останавливаясь на кимбрах и тевтонах, побежденных Марком в начале II в. до Р.Х., стоит вспомнить, что начиная с правления Марка Аврелия (161 — 180) германцы оказывали постоянное давление на империю. Вторжение варваров — существенный элемент кризиса III в. Галльские и иллирийские императоры конца III в. на время устранили эту угрозу, но, если говорить о западной части империи, глубокий рейд аламанов, франков и других германских племен, опустошавших в 276 г. Галлию, Испанию и Северную Италию, предвещал великое нашествие V в. Нанесенные им раны — разоренные деревни, разрушенные города — были уже неизлечимы; он ускорил упадок сельского хозяйства, оскудение городов, убыль населения и социальные перемены: крестьяне вынуждены были искать хотя и тяжкого для них покровительства крупных собственников, становящихся также и предводителями военных отрядов, положение колонов все более сближалось с положением рабов. Отчаяние крестьян нередко выливалось в восстания; выступления африканских циркумцеллионов, галльских и испанских багаудов приняли в IV — V вв. эндемический характер. На Востоке в это время появились готы, которым суждено было, проложив дорогу на Запад, сыграть в его истории важнейшую роль. В 269 г. они были остановлены императором Клавдием II близ Ниша, но они заняли Дакию, а их блестящая победа 9 августа 378 г. над императором Грацианом при Адрианополе если и не была решающим событием, как пишут о нем многие историки-романофилы («На этом можно остановиться, — говорит Виктор Дюрюи, — ибо от Рима уже ничего не осталось, ни верований, ни институтов, ни курий, ни военной организации, ни искусства, ни литературы — все исчезло»), то по крайней мере это был удар грома, предвещающий ливень, который должен был затопить римский Запад.

О готах мы осведомлены лучше, чем о большинстве других завоевателей, благодаря сочинению Иордана, историка, несомненно, пристрастного, поскольку он сам был варваром по происхождению, и неточного, ибо он писал в середине VI в. Но он пользовался достоверной устной и письменной традицией, в частности утраченной «Историей готов» Кассиодора. Историки и археологи, в общем, подтверждают указанный Иорданом путь странствий готов: из Скандинавии к Азовскому морю через Мекленбург, Померанию и болота Припяти. Около 230 г. они основали свое государство в южной России. «С этого острова Скандзы, как бы из мастерской, производящей племена, или, вернее, как бы из утробы, порождающей племена, — пишет Иордан, — вышли некогда готы с королем своим

по имени Бериг... Вскоре они продвинулись на места ульмеругов (Восточная Померания)... Когда там стало их слишком много, они решили, в правление пятого короля после Берига, свое войско вместе с семьями двинуть дальше. В поисках более обширных земель и удобных для поселения мест готы пришли в Скифию... Восхитившись плодородием тех краев, они перекинули туда половину войска, после чего мост, переброшенный через реку, рухнул, так что невозможно было ни вернуться, ни переправиться остальным, поскольку та местность окружена со всех сторон зыбкими болотами».

Причины варварского нашествия для нас не столь важны. Демографический рост и привлекательность более плодородных земель, на что указывает Иордан, по-видимому, сыграли свою роль лишь благодаря изначальному импульсу, полученному, скорее всего, от изменения климата, похолодания, которое на пространстве от Сибири до Скандинавии должно было сократить площадь земледельческих и животноводческих угодий и вынудить варварские народы, подталкивая друг друга, двинуться на юг и запад вплоть до окраин западного мира. Благодаря им Британия стала Англией, Галлия — Францией, в Испании появилась Андалузия, названная в честь вандалов, а в Италии — Ломбардия, сохранившая имя своих поздних завоевателей лангобардов.

Более важны для нас отдельные аспекты этого нашествия. Прежде всего это было почти всегда бегство вперед. Завоеватели — это беженцы, подгоняемые другими, более сильными или более жестокими, чем они. Их собственная жестокость часто проистекала из отчаяния, особенно когда римляне отказывали им в убежище, коего они обычно миролюбиво испрашивали.

Святой Амвросий в конце IV в. точно ухватил последовательность этих вторжений: «Гунны набросились на аланов, аланы — на готов, готы — на тайфалов и сарматов; готы, изгнанные со своей родины, захватили у нас Иллирию. И это еще не конец!» Иордан в свою очередь подчеркивает, что если готы и взялись за оружие против римлян в 378 г., то лишь потому, что их разместили на малой территории без средств к существованию и римляне за золото продавали им мясо собак и других поганых животных, вынуждали отдавать детей в рабство за скудную пищу. Против римлян их вооружил голод.

Позиция римлян по отношению к варварам была обычно двойкой. В зависимости от обстоятельств и политических расчетов они подчас принимали наседавшие на них племена, селили их на положении федератов и в этом случае уважали их своеобразные обычаи, нравы. Таким образом они умеряли их агрессивность, превращая себе на благо в солдат и крестьян, пополняя нехватку военной и рабочей силы.

Императоры, прибегавшие к такой политике, не заслужили благодарности сторонников традиционного отношения к варварам, в соответствии с которым они считались скорее животными, нежели людьми. Такова была вторая, более характерная для римлян позиция. «Константин, — пишет греческий историк Зосима, — открыл ворота варварам... и стал виновником крушения империи».

Аммиан Марцеллин винит Валента в слепоте, когда тот в 376 г. организует переправу готов через Дунай. «Множество людей было направлено с поручением обеспечить всем необходимым для переправы этот дикий народ. Были приняты меры, чтобы никто из будущих разрушителей Римской империи, даже будучи при смерти, не остался на том берегу... И вся эта спешка, весь этот переполох ради того, чтобы приблизить крушение римского мира». Так же отзывается он и о Феодосии, большом друге готов, «*amator generis Gothorum*», по словам Иордана.

Некоторые из этих варварских народов заслужили особую славу своим уродством и свирепостью. Вот гунны в знаменитом описании Аммиана Марцеллина: «Их дикость превосходит все мыслимое; с помощью железа они испещряют щеки новорожденных глубокими шрамами, чтобы в зародыше уничтожить волосную растительность, поэтому и старея они остаются безбородыми и уродливыми, как евнухи. У них коренастое телосложение, сильные руки и ноги, широкие затылки; а шириной своих плеч они внушают ужас. Их скорее можно принять за двуногих животных или за те грубо сделанные в форме

туловищ фигуры, что высекаются на парапетах мостов... Гунны не варят и не приготавливают себе пищу, они питаются лишь корнями диких растений и сырым мясом первых попавшихся животных, которое они иногда предварительно согревают, держа его, сидя на лошади, промеж ляжек. Они не нуждаются в крыше над головой, и у них нет домов, равно как и гробниц... Тело они прикрывают полотном или сшитыми шкурками полевых мышей: они не ведают различия между домашней и выходной одеждой и, однажды облачившись в свое тусклое одеяние, не снимают его, пока оно не развалится от ветхости... Они кажутся пригвожденными к своим лошадям... ибо и едят, и пьют, не сходя с них на землю, даже спят и высыпаются, склонившись к тощим шеям своих скакунов».

И лангобарды в VI в. после множеств зверств также снискали известность своей жестокостью и охарактеризованы как «дикие более страшной дикостью, чем обычно бывает дикость германцев».

Конечно, языческие авторы этих текстов, будучи наследниками греко-римской культуры, испытывали ненависть к варварам, унижающим, разрушающим и уничтожающим их культуру. Но и многие христиане, для кого Римская империя являлась предначертанной Провидением колыбелью христианства, выражали то же отвращение к завоевателям.

Святой Амвросий видел в варварах бесчеловечных врагов и призывал христиан защищать с оружием в руках «отечество от варварского нашествия». Епископ Синезий Киренейский называл всех завоевателей скифами, которые были символом варварства, и приводил строки из «Илиады», где Гомер советует «изгнать проклятых псов, что спущены Судьбой».

Другие тексты звучат, однако, в иной тональности. Святой Августин, не переставая оплакивать беды римлян, отказывался видеть во взятии Рима Аларихом в 410 г. что-либо иное, чем просто горестное событие, каких римская история знала немало, и подчеркивал, что в отличие от многих прославленных римских полководцев, снискавших известность разграблением захваченных городов и уничтожением их жителей, Аларих согласился признать за христианскими церквями право убежища и уважал его. «Все совершенные во время недавнего бедствия, постигшего Рим, опустошения, избиения, грабежи, поджоги и издевательства — обычное явление для войны. Но что было необычным, так это то, что варварская дикость чудесным образом обернулась такой мягкостью, что в самых больших базиликах, выбранных и предназначенных для спасения народа, никто не был избит и никого не тронули, никто оттуда не был уведен в рабство жестокими врагами, а многих сочувствующие враги сами препровождали туда, чтобы сохранить им свободу. И все это свершилось во имя Христа, благодаря тому, что настало христианское время».

Но особенно поразительный текст вышел из-под пера простого монаха, который в отличие от епископов аристократического происхождения не склонен был щадить римские социальные порядки. Около 440 г. Сальвиан, монах с острова Лерен, называвший себя «священником из Марселя», написал трактат «О божественном управлении», представлявший собой апологию Провидения, где он попытался объяснить варварское нашествие.

Для него причина катастрофы — внутренняя, то есть это грехи римлян, в том числе и христиан, которые развалили империю и предали ее в руки варваров. «Римляне сами себе были врагами худшими, нежели внешние враги, и не столько варвары их разгромили, сколько они сами себя уничтожили».

В чем же упрекать варваров? Они ведь не ведают истинной веры и если грешат, то делают это неосознанно. У них иные нравы и культура. Как можно их осуждать за то, что они — другие?

«Саксонские люди жестоки, франки коварны, гепиды безжалостны, гунны бесстыдны. Но столь ли предосудительны их пороки, как наши? Столь ли преступно бесстыдство гуннов, как наше? Заслуживает ли коварство франков такой же хулы, как наше? Достоин ли пьяный аламан такого же порицания, как пьяный христианин? Подлежит ли алчный алан тому же суду, что и алчный христианин? Удивителен ли обман со стороны гунна или гепида, если

они не знают, что это грех? И что поразительного в ложной клятве франка, если он считает это обычным делом, а не преступлением?»

Особенно важно, что Сальвиан пытается уяснить причины успеха варваров, хотя трактует их субъективно и спорно. По его мнению, это прежде всего их военное превосходство, обеспеченное варварской конницей и мощностью оружия. Главное оружие — это длинный меч, рубящий и колющий, страшная сила удара которым давала повод для литературных преувеличений в средние века: разбитые шлемы, разрубленные головы и тела, подчас вместе с лошадьми. Аммиан Марцеллин с ужасом пишет об этом незнакомом римлянам виде оружия. Но в римских армиях тоже были варвары, и поэтому после первого шока достоинство вооружения было вскоре использовано и противником.

Верно и то, что варвары пользовались в своих целях активным или пассивным сообщничеством широких масс римского населения. Социальный строй Римской империи, при котором народные слои все более и более подавлялись узким слоем богатых и могущественных людей, многое объясняет в успехе варварского вторжения. Послушаем Сальвиана: «Бедные обездолены, вдовы стенают, сироты в презрении, и настолько, что многие из них, даже хорошего происхождения и прекрасно образованные, бегут к врагам. Чтобы не погибнуть под тяжестью государственного бремени, они идут искать у варваров римской человечности, поскольку не могут больше сносить варварской бесчеловечности римлян. У них нет ничего общего с народами, к которым они бегут; они не разделяют их нравов, не знают их языка и, осмелюсь сказать, не издают зловония, исходящего от тел и одежды варваров; и тем не менее они предпочитают смириться с различием нравов, нежели терпеть несправедливость и жестокость, живя среди римлян. Они уходят к готам, или багаудам, или к другим варварам, которые господствуют повсюду, и совсем не сожалеют об этом. Ибо они желают быть свободными в обличье рабов, а не рабами в обличье свободных. Римского гражданства, некогда не только очень уважаемого, но и приобретавшегося за высокую цену, ныне избегают и боятся, ибо оно не только не ценится, но вызывает страх... По этой причине даже те, кто не бежит к варварам, все равно вынуждены превращаться в варваров, как это происходит с большинством испанцев и многими галлами, равно как и со всеми, кого на обширных пространствах римского мира римская несправедливость побуждает отречься от Рима. Багауды, к примеру, обездоленные, истерзанные и изничтожаемые нечестивыми и кровожадными судьями, лишены были прав свободных римлян, а вместе с тем и достоинства называться римлянами. И мы называем их бунтовщиками, пропащими людьми, хотя сами же сделали из них преступников».

Этими словами сказано все: и о сообщничестве между варваром и восставшим, готом и багаудом, и о тех переменах, которые варваризировали римские народные массы еще до пришествия варваров. Ученый муж, утверждавший, что «римская цивилизация умерла не своей прекрасной смертью», но «была убита», трижды грешит против истины, ибо римская цивилизация покончила самоубийством, и в ее смерти не было ничего прекрасного. Однако она не умерла, поскольку цивилизации не умирают, и, пережив варваров, она просуществовала на протяжении всего Средневековья и даже дольше.

Дело в том, что расселение многочисленных варваров на римской почве удовлетворяло всех. Как заявляет в начале IV в. автор панегирика Констанцию Хлору, «хамав, который столь долго разорял нас грабежами, теперь трудится на нас и помогает нам обогащаться; он уже в крестьянском платье и после изнурительных трудов спешит на рынок, чтобы продать приведенный скот. Огромные пространства некогда заброшенных земель вокруг Амьена, Бове, Труа и Лангра нынче зеленеют благодаря варварам». То же славословие в устах другого галла, ритора Паката, произносящего в 389 г. в Риме панегирик Феодосию. Он благословляет императора за то, что он превратил бывших врагов Рима, готов, в крестьян и солдат.

В эпоху тяжких испытаний проницательные умы видели будущую развязку событий в смешении варваров и римлян. Ритор Темистий в конце IV в. предсказывал: «Сейчас раны, нанесенные нам готами, слишком свежи, но вскоре мы обречем в них сотрапезников и

соратников, соучаствующих в управлении государством».

Суждение слишком оптимистическое, ибо впоследствии реальность хотя и приобрела некоторое сходство с идиллической картиной Темистия, но при существенном отличии: не римляне, а победители-варвары принимали в свои ряды побежденных римлян. Культурному взаимовлиянию этих двух групп населения с самого начала благоприятствовал ряд обстоятельств.

Варвары, расселившиеся в V в. по Римской империи, отнюдь не были теми молодыми, но дикими народами, только что вышедшими из своих лесов и степей, какими они изображались их ненавистниками в ту эпоху или почитателями в Новое время. И хотя они не были также, вопреки преувеличениям Фюстель де Куланжа, осколками ослабевшей расы, «развалившейся из-за длительных внутренних усобиц, истощенной социальными переворотами и утратившей свои институты», тем не менее они прошли долгий путь эволюции во время своих нередко вековых странствий, завершившихся в конце концов нашествием на Римскую империю. Они много видели, много узнали, немало усвоили. В своих странствиях они вступали в контакты с разными культурами и цивилизациями, от которых воспринимали нравы, искусства и ремесла. Прямо или косвенно большинство этих народов испытало влияние азиатских культур, иранского мира, а также и греко-римского, особенно его восточных провинций, наиболее богатых и процветающих, которым суждено было стать Византией.

Они принесли тонкую технику обработки металлов, ювелирное и кожевенное мастерство, а также восхитительное искусство степей с его стилизованными животными мотивами. Их искушала культура соседних империй, они испытывали подчас восторженные чувства перед образованностью и роскошью, и, хотя эти чувства были поверхностны и проявлялись неуклюже, они свидетельствовали по крайней мере о почтении.

Гунны Аттилы не кажутся уже нам совершенными дикарями, как рисует их Аммиан Марцеллин. Хотя в изображении двора Аттилы, привлекавшего якобы даже философов, есть нечто от легенды, тем не менее показательно, что именно к гуннам бежит в 448 г. известный врач галльского происхождения Евдоксий, уличенный в сношениях с багаудами. В том же году Приск, римский посол при Аттиле, встретился с римлянином из Мезии, попавшим в плен к гуннам, женившимся на их женщине и оставшимся жить при новых хозяевах, который расхваливал ему общественное устройство гуннов, считая его вполне сопоставимым с римским.

Иордан, будучи, конечно, пристрастным, в VI в. писал о готах: «Королем этого народа был Залмоксес, о котором многие летописцы свидетельствуют, что он обладал замечательными познаниями в философии. Но и до него у них были ученые люди: Зевта, а затем Дикиней... Готы не испытывали недостатка в людях, способных обучить их философии. Поэтому среди всех варваров они были самыми образованными, чуть ли не равными грекам, как полагает Дион, написавший их историю на греческом языке».

Варварский облик завоевателей был преображен благодаря и еще одному капитальному событию. Хотя часть их оставалась при языческих верованиях, другие, и их было отнюдь не мало, приняли христианство. Но по курьезной случайности, имевшей важные последствия, новообращенные варвары — остготы, вестготы, бургунды, вандалы, а позднее лангобарды — стали исповедовать арианство, объявленное Никейским собором ересью. В христианство их обратил «апостол готов» Ульфила, выходец из каппадокийских христиан, оказавшихся в 264 г. в плену у готов. Выросший среди готов, он еще мальчиком был отправлен в Константинополь, где стал приверженцем арианства. Вернувшись к готам в качестве епископа с миссионерской целью, он ради их наставления в вере перевел Библию на готский язык и сделал их еретиками. Таким образом, вместо религиозного единства он посеял раздоры и породил борьбу, впоследствии вспыхнувшую между варварами-арианами и римлянами-католиками.

Притягательность римской цивилизации для варваров оставалась, однако, неизменной. Предводители варваров приглашали римлян в качестве советников, перенимали римские

нравы, украшали себя римскими титулами консулов, патрициев и т.д. Они выступали не в роли врагов, а в роли поклонников римского политического устройства. Их скорее можно было принять за узурпаторов римской власти. Они составляли как бы последнее поколение тех иноземцев — испанцев, галлов, африканцев, иллирийцев, выходцев из восточных провинций, — которые постепенно захватывали высшие магистратуры и овладевали империей. Но ни один варварский владыка не осмеливался объявить себя императором. Когда Одоакр сместил императора Западной Римской империи Ромула Августа, он отослал императорские инсигнии восточному императору Зенону в Константинополь, давая понять, что одного императора достаточно. «Мы преклоняемся перед титулами, даруемыми императором, более, чем перед нашими собственными», — писал один варварский король императору. Самый могущественный из этих королей, Теодорих, приняв римское имя Флавий, написал императору: «Я раб ваш и сын ваш» — и объявил, что единственное его желание — сделать свое королевство «похожим на ваше, двойником вашей беспримерной империи». Таким образом, оба лагеря как бы шли навстречу друг другу. Деградирующие, внутренне варваризирующиеся римляне опускались до уровня поднимающихся, обретающих внешний лоск варваров.

Стоит, однако, заметить, что представление о вторжении варваров как о мирном переселении или, в шутку говоря, как о туризме далеко от реальности.

Эта эпоха, несомненно, была смутным временем. Смута порождалась прежде всего столкновениями завоевателей. На своем пути племена и народы вступали в борьбу, подчиняли друг друга, перемешивались. Некоторые создавали эфемерные конфедерации, как гунны, включившие в свое войско остатки разбитых остготов, аланов и сарматов. Рим, пытаясь играть на их взаимной вражде, в спешке романизировал пришедших первыми, чтобы противопоставить их последующим, более диким. Так вандал Стилихон, опекун императора Гонория, использовал против узурпатора престола Евгения и его союзника франка Арбогаста армию, состоявшую из готов, аланов и выходцев с Кавказа.

Не меньший интерес представляют и события частные, характерные для столь важного фронта борьбы, как средний Дунай, от Пассау до Клостернейбурга, которые описаны во второй половине V в. в «Житии святого Северина» его учеником Евгиппием. Северин, выходец с Востока, но латинянин по происхождению, пытался организовать остатки римского населения прибрежной Норики, призвав на помощь германское племя ругиев и их королей, чтобы противостоять давлению других завоевателей, аламанов, готов, герулов и тюрингов, готовившихся к переправе через реку. Монах-отшельник, он ходил от одного укрепленного городка к другому, куда сбежалось римское население и ругии, боролся с ересью, язычеством, голодом, готовя против нашествия варваров духовное оружие за недостатком военных сил. Он предостерегал жителей от безрассудства, объясняя, что выходить из укрепленного места на жнитво или сбор фруктов — значит подвергать себя опасности быть убитым или взятым в плен врагами. Так, чудесами и силой мощей он внушил робость заколебавшимся варварам. Но он не питал иллюзий. Когда воспрявшие в надежде несмышленные люди попросили его добыть им у вождя ругиев разрешение на торговлю, он ответил: «Зачем помышлять о торговле там, куда ни один купец более не явится?» Евгиппий удивительно описывал водоворот событий, объясняя, что на дунайской границе постоянно царят смятение и неопределенность. Вся военная, административная и хозяйственная организация быстро разваливалась. Наступил голод. Умами и чувствами истомленных людей овладели суеверия. И произошло неизбежное. Один за другим городки оказывались в руках варваров, а в конце, после смерти этого божьего человека, бывшего для обездоленных людей наставником во всем, Одоакр решил переселить в Италию оставшихся в живых. Они захватили с собой останки Северина, и впоследствии его мощи были переданы монастырю близ Неаполя. Такова зачастую была развязка событий, к которым привело варварское нашествие.

Смятение усугублялось страхом. Даже если принять в расчет преувеличение в рассказах об опустошениях и избиениях людей, которыми полна литература V в., нет

никакого сомнения в жестокости и разрушительности «путешествий» варварских народов.

Вот какова была Галлия после крупного вторжения 417 г., по описанию Орента, епископа города Оша: «Смотри, сколь внезапно смерть осенила весь мир и с какой силой ужасы войны обрушились на народы. И холмистые лесные кущи, и высокие горы, и стремительные реки, и крепости с городами, и морские преграды, и места пустынного затворничества, и ущелья, и даже пещеры в мрачных скалах — все оказалось под властью варваров. Одни погибли, став жертвой подлости или клятвопреступления, а другие были выданы на смерть своими согражданами. Немало гибло в засадах врагов, но не меньше — из-за насилия, творимого народом. Те, кто сумели устоять перед силой, пали от голода. Несчастливая мать распростерлась вместе с детьми и мужем. Господин вместе со своими рабами сам оказался в рабстве. Многие стали кормом для собак; другие живьем сгорели в своих домах, охваченных пламенем. В городах, деревнях, виллах, вдоль дорог и на перекрестках, здесь и там — повсюду смерть, страдание, пожарища, руины и скорбь. Лишь дым остался от Галлии, сгоревшей во всеобщем пожаре».

А вот как выглядела Испания, по словам епископа Идация: «На Испанию набросились варвары; с не меньшей яростью обрушились заразные болезни; имущество и припасы в городах захвачены сборщиками податей, а оставшееся разграблено солдатней. Голод свирепствует столь жестокий, что люди пожирают человечину. Матери режут детей, варят и питаются их плотью. Дикие звери, привыкшие к человечине, обильно поставляемой голодом, оружием и болезнями, набрасываются даже на живых и полных сил людей; не довольствуясь мертвечиной, они жаждут свежей плоти рода человеческого. Война, голод, болезни и звери как четыре бича неистовствуют во всем мире, и сбываются прорицания Господа нашего и пророков» его».

Такова была страшная прелюдия к истории средневекового Запада. Ее тональность сохранилась на протяжении всех последующих десяти веков. Война, голод, эпидемии и звери — вот зловещие протагонисты этой истории. Конечно, они не с варварами впервые появились, античный мир знал их и раньше, и они действовали еще до того, как варвары дали им простор. Но варвары придали неслыханную силу их неистовству. Длинный меч великого варварского нашествия, который впоследствии стал и оружием рыцарства, накрыл Запад своей смертоносной тенью. Прежде чем постепенно возобновилось созидание, Западом надолго овладела иступленная сила разрушения. Средневековые западные люди-это отпрыски тех варваров, что подобны аланам в описании Аммиана Марцеллина: «То наслаждение, которое добродушные и миролюбивые люди получают от ученого досуга, они обретают в опасностях и войне. Высшим счастьем в их глазах является смерть на поле боя; умереть от старости или несчастного случая для них позорно и является признаком трусости, обвинение в которой страшно оскорбительно. Убийство человека — это проявление геройства, которому нет и достойной хвалы. Наиболее славным трофеем являются волосы скальпированного врага; ими украшают боевых коней. У них не найдешь ни храма, ни святилища, ни даже крытой соломой ниши для алтаря. Обнаженный меч, по варварскому обычаю вонзенный в землю, становится символом Марса, и они набожно поклоняются ему как верховному владыке тех земель, по которым проходят».

Страсть к разрушению прекрасно выражена хронистом VII в. Фредегаром в словах, вложенных в уста матери одного варварского короля, наставлявшей сына: «Если ты хочешь стать на путь подвига и прославить свое имя, разрушай все, что другие построили, и уничтожай всех, кого победишь; ибо ты не можешь строить выше, чем делали твои предшественники, и нет подвига более прекрасного для обретения славного имени».

С начала V в. то в ритме медленной инфильтрации и относительно мирного продвижения, то в ритме неожиданных набегов, сопровождавшихся вооруженной борьбой и насилием, нашествие варваров к концу VIII в. глубоко изменило политическую карту Запада, номинально остававшегося под властью византийского императора.

С 407 по 429 г. череда варварских рейдов опустошила Италию, Галлию и Испанию.

Наиболее захватывающий эпизод — осада, взятие и разграбление Рима вестготами Алариха в 410 г. Падение вечного города ошеломило многих. «Мой голос дрожит, и от рыданий перехватывает горло, пока я диктую эти слова, — стонет святой Иероним в Палестине. — Он завоеван, этот город, который покорил весь мир». Язычники обвиняли в трагедии христиан, изгнавших из Рима его богов-покровителей. Святой Августин воспользовался случаем, чтобы в сочинении «О Граде Божьем» определить отношения между земным и небесным. Он снял с христиан вину за это событие, низводя его до уровня часто случающихся трагедий; и оно действительно повторилось в 455 г. с нашествием вандалов Гензериха, но на этот раз без кровопролития.

Вандалы, аланы, свевы разоряли Иберийский полуостров. Благодаря краткому пребыванию вандалов юг Испании был окрещен Андалузией. С 429 г. вандалы, единственные из варваров, имевшие флот, переместились в Северную Африку и завоевали римскую провинцию Африку, то есть Тунис и восточный Алжир.

Вестготы после смерти Алариха хлынули в 412 г. из Италии в Галлию, затем в 414 г. — в Испанию, откуда в 418 г. отошли назад, чтобы обосноваться в Аквитании. На всех этих этапах не переставала действовать римская дипломатия. Именно император Гонорий направил в Галлию вестготского короля Атаульфа, за которого выдал в Нарбонне 1 января 414 г. замуж свою сестру Галлу Плацидию. Это он после убийства Атаульфа в 415 г. побудил вестготов отправиться на завоевание Испании и отнять ее у вандалов и севов, а затем призвал их в Аквитанию.

Вторая половина V в. — время решительных перемен. На севере скандинавы, англ, юты, саксы после серии нападений на Британию на протяжении 441 — 443 гг. захватили ее. Часть побежденных бриттов пересекла море и обосновалась в Арморике, ставшей отныне Бретанью.

Однако главное событие — это образование, хоть и недолговечное, гуннской империи Аттилы, которое все привело в движение. Прежде всего Аттила, как и восемь веков спустя Чингисхан, объединил к 434 г. монгольские племена, пришедшие на Запад, а затем разбил и подчинил других варваров; по отношению к Византии он держал себя двулично, терся около нее, выжидая момента, как позднее Чингисхан с Китаем, чтобы овладеть ею, пока не дал убедить себя (после неудачи на Балканах в 448 г.) в необходимости направить силы в Галлию, где римлянин Аэций благодаря главным образом вестготскому контингенту остановил его продвижение на Каталаунских полях в 451 г. Гуннская империя развалилась, и ее орды возвратились на восток, а в 453 г. умер тот, кто вошел в историю под прозвищем, данным неизвестным хронистом IX в., «бича божьего».

Наступили смутные времена с людьми и событиями необыкновенными. Сестра императора Валентиниана III Гонория взяла в любовники управителя своим именем. Ее августейший брат был возмущен и в наказание отправил ее в Константинополь. Принцесса, в отместку и увлекаемая темпераментом, переслала свое кольцо Аттиле, царившему в воображении женщин. Валентиниан, узнав об этом, поспешил выдать сестру замуж, пока гунн не успел потребовать своей невесты, а с нею и пол-империи в приданое.

Аттила по возвращении из Галлии в 452 г. обрушился на Северную Италию, захватил Аквилею и увел в плен часть населения. Спустя шесть лет пленники, которых считали погибшими, возвратились, причем многие застали своих жен вновь вышедшими замуж. Местный епископ в недоумении обратился за советом к папе Льву Великому, который вынес решение: женщины, вступившие вторично в брак, наказанию не подлежат, но если откажутся вернуться к первым мужьям, то должны подвергнуться отлучению от церкви.

Тем временем в империи был поселен императором еще один народ — бургунды, которые одно время обитали близ Вормса, откуда сделали попытку захватить Галлию, но потерпели сокрушительное поражение от Аэция и его наемников-гуннов. Один эпизод этих событий, относящийся к 436 г., когда погиб король Гунтер, послужил прологом для «Песни о Нибелунгах». В 443 г. римляне уступили им Савойю. В 468 г. вестготы Эриха возобновили завоевание Испании и за десять лет овладели ею.

И тогда появились на сцене Хлодвиг и Теодорих. Хлодвиг — вождь племени салических франков, которое в V в. просочилось в Бельгию, а оттуда на север Галлии. Он собрал вокруг себя большинство франкских племен, подчинил Северную Галлию, одержав победу над римлянином Сиагрием у Суассона, ставшего его столицей, затем отбил нападение аламанов в сражении при Тольбиаке и в 507 г. захватил Аквитанию у вестготов, король которых Аларих II был разбит и погиб близ Вуйе. Ко дню смерти Хлодвиг в 511 г. франки стали хозяевами всей Галлии, кроме Прованса.

Под занавес на империю обрушились остготы. Под предводительством Теодориха они атаковали в 487 г. Константинополь, но ушли оттуда и завоевали в 493 г. Италию. Обосновавшись в Равенне, Теодорих царствовал в течение 30 лет, и, если панегиристы не слишком преувеличивают, он, управляя Италией вместе с римскими советниками Либерием, Кассиодором, Симмахом и Боэцием, дал ей возможность пережить новый золотой век. Проживший с восьми до восемнадцати лет при константинопольском дворе в качестве заложника, он сам являл собой наиболее удачливого и привлекательного из романизированных варваров. Восстановитель «римского мира» в Италии, он в 507 г. вмешался в галльские события, запретив Хлодвигу присоединять Прованс к Аквитании, отвоеванной у вестготов. Его беспокоил выход франков к Средиземному морю.

В начале VI в. раздел Запада, казалось, был окончательно произведен между англосаксами, осевшими в Британии, полностью отрезанной от континента, франками, занявшими Галлию, бургундами, сосредоточившимися в Савойе, вестготами, хозяевами Испании, вандалами, утвердившимися в Африке, и остготами, господствовавшими в Италии.

В 476 г. почти незамеченным прошло одно событие. Паннонский римлянин Орест, служивший ранее писцом у Аттилы, собрал после смерти своего господина осколки его армии — скиров, герулов, туркилингов, ругиев — и привел их на императорскую службу в Италию. Став предводителем этого войска, он, воспользовавшись случаем, сместил императора Юлия Непота и вместо него провозгласил императором в 475 г. своего маленького сына Ромула. Но год спустя сын другого фаворита Аттилы скир Одоакр, стоявший во главе своего клана варваров, выступил против Ореста, убил его и сместил юного Ромула, а инсигнии императоров Запада отослал в Константинополь императору Зенону. Событие, как нам кажется, не сильно взволновало современников. Через пятьдесят лет комит Марцеллин, иллириец на службе у византийского императора, написал в своей хронике: «Одоакр, король готов, захватил Рим... Западная Римская империя, которой первым начал управлять в 709 г. от основания Рима Октавиан Август, перестала существовать вместе с юным императором Ромулом».

V век был свидетелем того, как сошли со сцены последние великие люди, состоявшие на службе Западной империи: «последний римлянин» Аэций, убитый в 454 г.; Сиагрий, выданный вестготами Хлодвигу и обезглавленный в 486 г.; вандал Стилихон, патриций и воспитатель императора Гонория, который и приказал казнить своего учителя в 408 г.; свев Рицимер с титулом патриция, управлявший Западной империей до своей смерти в 472 г.: наконец, Одоакр, которого Теодорих заманил в ловушку и убил собственными руками в 493 г.

До сих пор восточноримские императоры своей политикой стремились лишь сократить ущерб от нашествий: спасая Константинополь от варваров, они откупались золотом и направляли их на западные земли империи. Варварских королей они принимали в свое подданство и щедро расточали им титулы патрициев и консулов, но при этом старались держать завоевателей подальше от Средиземного моря. «Mare nostrum» было не просто средоточием римского мира, но и оставалось важнейшей торговой артерией, обеспечивавшей его всем необходимым. В 419 г., в соответствии с изданным в Константинополе законом, всякий, кто обучал варваров морскому делу, наказывался смертью. Теодорих, как мы видели, взял на себя поддержание этой традиции и помешал Хлодвигу овладеть Провансом, не подпустив его к морю. Вандалы, правда, нанесли по ней удар, построив флот, позволивший им завоевать Африку, откуда они в 455 г. совершили вылазку в Рим и разграбили его.

Византийская политика поменялась с восшествием на престол Юстиниана в 527 г., через год после смерти Теодориха в Равенне. Политика императоров перестала быть пассивной. Юстиниан решил перейти в наступление и восстановить власть империи если не во всей западной части, то по крайней мере на наиболее важных приморских территориях. Поначалу ему это удалось. Византийские полководцы положили конец вандальскому королевству в Африке (533 — 534), с большим трудом — владычеству готов в Италии (536 — 555) и вырвали в 554 г. у вестготов Бетику в Испании. Успехи оказались, однако, недолговечны, они еще более ослабили Византию перед лицом угрозы с Востока и еще сильнее истощили Запад, где к опустошениям от войн и голода в 543 г. прибавились бедствия от чумы. Большинство земель в Италии, за исключением Равеннского экзархата, Рима с окрестностями и южной окраины полуострова, были потеряны (568 — 572) под натиском новых завоевателей — лангобардов, тронувшихся на юг в попытке спастись от нового азиатского нашествия — аварского.

Вестготы в конце VI в. отвоевали Бетику. Наконец, Северная Африка начиная с 660 г. стала ареной арабских завоеваний.

Возникновение ислама и арабские завоевания были великим событием VII в. для Запада. Значение образования мусульманского мира для христианской Европы будет рассмотрено ниже. Пока же оценим влияние ислама на политическую карту Европы.

Арабы прежде всего оторвали от западнохристианского мира Магриб, затем растеклись по Испании, легко отбив ее в 711 — 719 гг. у вестготов, исключение составила северо-западная часть полуострова, где христианам удалось сохранить свою независимость. На какое-то время они овладели Аквитанией и Провансом, пока Карл Мартелл не остановил их в 732 г. у Пуатье и они не были вытеснены франками за Пиренеи, где после потери Нарбонна в 759 г. они и осели.

VIII век был поистине веком франков. Их восхождение к господству в западном мире, начиная с Хлодвига, происходило поступательно, несмотря на некоторые поражения, в частности от Теодориха. Мастерским ходом Хлодвига было его крещение вместе со своим войском не по арианскому обычаю, а в отличие от других варварских королей по католическому. Благодаря этому он успешно разыграл религиозную карту, пользуясь поддержкой если не папства, еще очень слабого, то по крайней мере могущественной иерархии католической церкви и не менее сильного монашества. В VI в. франки завоевали бургундское королевство (523 — 534), а затем Прованс (536).

Наследственные разделы и соперничество потомков Хлодвига ослабили порыв франков, которые кажутся даже выдохшимися в начале VIII в. с упадком меровингской династии, представленной легендарными ленивыми королями, и с умалением роли франкского духовенства. Франки перестали быть единственными ортодоксами в западном христианском мире. Вестготы и лангобарды также перешли в католицизм, отказавшись от арианства. Папа Григорий Великий (590 — 604) предпринял обращение англосаксов, поручив его монаху Августину с сотоварищами. В первой половине VIII в. благодаря Виллиброду и Бонифацию католицизм проник во Фризию и в Германию.

И в это время франки вновь обрели шансы на успех. Духовенство усилиями Бонифация было реформировано, и молодые предприимчивые Каролинги сменили зачахнувшую меровингскую династию.

Хотя каролингские майордомы в течение десятилетий держали в своих руках власть, лишь сын Карла Мартелла Пипин Короткий первым сделал решительный шаг, восстановив католический приоритет франков и заключив с папой обоюдовыгодный союз. За римским понтификом он признал светскую власть над частью Италии вокруг Рима. Возникло папское государство (патримоний св. Петра), которое, опираясь на фальсифицированный в папской канцелярии между 756 и 760 гг. документ, так называемый Константинов дар, положило начало светской власти папства, сыгравшей столь великую роль в политической и духовной истории средневекового Запада. Взамен папа признал за Пипином титул короля и короновал его в 754 г., в том же году, когда появилось и папское государство. Так был заложен

фундамент, опираясь на который каролингская монархия за полвека объединила под своим господством наибольшую часть христианского Запада, а затем восстановила Западную империю.

Так, за четыре столетия, отделявших восшествие на императорский престол Карла Великого (800) от смерти Феодосия (395 г.), на Западе появился новый мир, возникший благодаря постепенному слиянию римского и варварского миров. Западное Средневековье обрело свой облик.

Этот средневековый мир стал итогом встречи и слияния двух миров, тяготевших друг к другу, итогом конвергенции римских и варварских структур, находившихся в состоянии преобразования.

Римский мир начал самоотчуждаться самое позднее с III в. Его централизованная организация неуклонно распадалась. К великому разделу, изолировавшему Запад от Востока, добавлялась растущая изоляция отдельных частей Западной Римской империи. Торговля, которая была преимущественно внутренней (между провинциями), приходила в упадок. Сельскохозяйственная и ремесленная продукция, вывозившаяся из мест производства в остальные области римского мира, как средиземноморское оливковое масло, рейнское стекло, галльские гончарные изделия, все более теряла рынки сбыта; денег становилось все меньше, и монеты были худшей пробы; обрабатываемые земли забрасывались, и количество запущенных полей, «*agri deserti*», росло. Так вырисовывались черты средневекового Запада: разложение на самодовлеющие мирки, существующие среди пустынного пространства лесов, равнин и ланд. «В развалинах больших городов одни лишь разрозненные кучки населения, свидетели былых бедствий, сохраняют для нас прежние их названия», — писал Орозий в начале V в. Наряду со многими другими это свидетельство, подтверждаемое археологией, указывает на важный факт обескровливания городов, ускоренного варварскими разрушениями. Несомненно, что, с одной стороны, это было обычным следствием насилия завоевателей, которые всегда разрушают, грабят, ввергают в нищету и сокращают население. Несомненно, что города благодаря накопленным богатствам были наиболее соблазнительной добычей и становились наиболее кровавой жертвой. Но если они не возрождались после этих испытаний, значит, эволюция общества отторгала от них население. И этот отток горожан был следствием убыли товаров, которые не обеспечивали более городского рынка. Городское население — это потребители, существовавшие за счет подвоза припасов. И когда исчезновение звонкой монеты лишило горожан возможности покупать, когда торговые каналы перестали орошать городские центры, горожане вынуждены были бежать туда, где производилась продукция. Прежде всего потребность в пище объясняет бегство богатых в свои поместья и исход бедных на земли богатых. Но варварское нашествие, дезорганизовавшее экономические связи и нарушившее торговлю, лишь ускорило аграризацию населения, а не породило ее.

Аграризация была явлением экономическим и демографическим, но в первую голову — социальным, придающим облику средневекового общества своеобразные черты. Особенно сильно поражал современников, а вслед за ними и многих исследователей истории поздней империи ее фискальный аспект. Ведь горожане часто бежали в деревню от вымогательств сборщиков податей и, спасаясь от Харибды, попадали к Сцилле, поскольку бедные оказывались во власти крупных собственников, превращаясь в их сельских рабов.

«Вот что тяжелее и возмутительнее всего, — писал Сальвиан. Когда люди теряют свои дома и земли вследствие разбоя или конфискации, произведенной сборщиками налогов, они бегут во владения магнатов и становятся их колонами. Как у той всемогущей и злобной женщины, которая была известна своей способностью превращать людей в животных, осевшие во владениях магнатов люди испытывают схожую метаморфозу, как бы испивая из чаши Цирцеи, ибо богатые начинают рассматривать их как свою собственность, хотя они пришли со стороны и им в действительности не принадлежат; так рожденные свободными превращаются в рабов». Здесь важно то, что это объяснение, хотя оно и содержит лишь часть

истины, обнажает антифискальный настрой, черту несвойственную, как известно, средневековым умам и слишком часто маскирующую более реальные и глубинные причины. Именно дезорганизация обмена усиливала голод, а голод толкал массы людей в деревню и понуждал становиться рабами тех, кто кормит, то есть крупных собственников.

Первой жертвой развала античной торговой системы стали римские дороги. Средневековые дороги, которые появились позже, с материальной точки зрения были не столько дорогами, сколько путями. Коль скоро наземные дороги перестали пересекать пустынные пространства, функционировали лишь природные пути, то есть судоходные реки. По этой причине перестроилась, тяготея к речным артериям, вся система анемичного сообщения в Раннее Средневековье, и в то же время стала перекраиваться география городов, как хорошо показал Жан Дондт: «С конца римской эпохи сухопутное сообщение уступает место водному, вызывая соответствующее перемещение городских центров... В упадок приходят города, расположенные на перекрестках путей сообщения, за исключением речных путей». Примеры: Кассель и Бавё, важные сухопутные узлы в римскую эпоху, которые впоследствии исчезли; Тонгр, который медленно угас в V в., уступив место Маастрихту на Маасе. Следует, однако, заметить, что не все реки даже среди больших поднялись до уровня путей сообщения. Беспрестанные нашествия на восточные и центральные районы Европы, особенно нашествия аваров и нападения славян, а также сопротивление саксов и других народов Германии христианизации обесценили Дунай, Вислу, Одер, Эльбу и даже ограничили роль Рейна. Главные пути были те, которые через Рону, Сону, Мозель и Маас связывали Средиземноморье с Ла-Маншем и Северным морем. Христианизация Англии в VII в. и вызванный аварским нашествием поворот скандинавской торговли на запад сделали прибрежные районы между Сеной и Рейном наиболее благоприятным местом передвижения товаров и людей — в частности, паломников в Рим. Этим объясняется счастливая судьба портов Квентовик в устье Канша и Дуурстед в устье Рейна. Марсель и Арль, оживленные в меровингскую эпоху, после 670 г. пришли в упадок ввиду возобновления движения по сухопутным альпийским путям и благодаря умиротворению Северной Италии после ее заселения лангобардами, что оживило также и движение по реке По. Сена, Луара, Гаронна, связывающие Руан и Париж. Орлеан и Тур, Тулузу и Бордо, тоже позже стали важными путями сообщения, хотя их выход на морские, океанские просторы, выплывать куда все более боялись, имел второстепенное значение. Зато арабские завоевания превратили Эбро и Дуэро в пограничные реки, а их обезлюдившие долины в пустоши.

Не стоит, однако, думать, что благодаря этим путям сообщения, особенно речным, осуществлялась крупная торговля. Ее объектом были лишь некоторые предметы первой необходимости. Это соль, перевозка которой по Мозелю из Меца в Трир полусонным лодочником требовала, по словам Григория Турского, чудесного вспомоществования св. Мартина или которую переправляли монахи Нуармутье на континент, а также продукты, ставшие почти что предметами роскоши, как вино и масло, которые, например, св. Филиберт, аббат Жюмьежа в конце VII в., получил от своих друзей из Бордо. Но особенно важной статьёй торговли были такие ценности, как дорогие ткани, пряности, которые восточные купцы, именовавшиеся «сирийцами», а в действительности бывшие евреями, привозили на Запад; ими же торговали восточные купцы, осевшие в христианском мире, которым доставляли их компатриоты. История денежного обращения в этот период свидетельствует об эпизодичности обмена. Золотая монета вообще вышла из обращения, и если меровингские государи ее чеканили, то не ради обеспечения экономических потребностей, а чтобы поддержать свой престиж и проявить права суверенной власти. Рост числа монетных дворов, отнюдь не связанный с активизацией обмена, лишь подчеркивал слабость распространения монеты, которую необходимо было, так сказать, производить на месте, как и другие необходимые продукты, в условиях разобщенной экономической жизни.

Аграризация как социальное явление — это лишь наиболее зримый аспект той эволюции, которая придала средневековому западному обществу одну особенно

характерную черту, которая оказалась запечатленной в сознании людей на более долгое время, чем в материальной жизни: это профессиональное и социальное размежевание. Нежелание людей заниматься некоторыми ремеслами, текучесть сельской рабочей силы побудили еще императоров поздней Римской империи сделать определенные профессии в обязательном порядке наследственными и поощрять земельных собственников к прикреплению колонов к земле, чтобы они заменили рабов, становившихся все более и более малочисленными. Необходимо было удерживать на своих местах людей, нужных экономике, которая не питалась более привозной продукцией, а замкнулась на местном производстве. Один из последних императоров Запада Майориан (457 — 461) жаловался на «хитрости, к которым прибегают эти люди, не желая оставаться в сословиях своих отцов». Средневековый христианский мир сделал из желания порвать со своим сословием смертный грех. Каков отец, таков и сын — вот закон западного Средневековья, унаследованный от поздней Римской империи. Устойчивость была противопоставлена социальным переменам, особенно возвышениям. Идеалом стало общество «старожилов» (фр. *manants* от лат. *manere* — оставаться).

В такое стратифицированное общество варвары-завоеватели просачивались или внедрялись силой без особых затруднений. И прежде всего потому, что они с давних пор не были кочевниками, часто останавливались на одном месте, и лишь давление внешних обстоятельств (перемены климата, натиск других народов), усиливаемое внутренней эволюцией, вынуждало их трогаться в путь. Повторим еще раз: завоеватели были оседлыми беженцами. Несомненно, они сохраняли привычки своего относительно недавнего кочевого прошлого, отзвуки которого давали знать о себе и в средние века. Как удачно выразился Марк Блок, «кочевье людей» сменилось у них «кочевьем полей», то есть они стали заниматься полукочевым земледелием, время от времени меняя поля под культурами в границах определенного пространства за счет подъема целины на его окраинах, выкорчевывая или выжигая лес, и за счет севооборота. Какой бы смысл ни придавать знаменитой фразе Тацита, сказавшего о германцах I в., что «они меняют пашню каждый год и еще остается поле», она ясно указывает на сосуществование смены полей и постоянства занимаемой территории.

Несомненно также, что скотоводство занимало привилегированное положение в хозяйстве варваров, ибо оно не только обеспечивало тем богатством, которое можно захватить с собой в случае перемещения, но и являло собой видимый знак благосостояния, а при необходимости скот использовался и как средство обмена. Было замечено, что в ста пятидесяти случаях краж, предусмотренных Салической правдой начала VI в., семьдесят четыре касаются домашних животных. Когда в средние века земля стала главным богатством, крестьянин тем не менее оставался привязанным к своей корове, свинье, козе связями более сильными, нежели утилитарно-хозяйственные, в которых проявлялись черты изначальной ментальности. В некоторых районах корова долгое время выступала в роли денежного эквивалента, средства обмена и оценки богатства.

Историки даже подчеркивали, что после завоеваний у варваров привязанность к личной собственности была более сильной, чем у римлян. Капитул 27 о кражах (*de furtis diversis*) Салической правды очень дотошен и суров в отношении таких посягательств на собственность, как погребение скотом чужой нивы, кошение травы на чужом поле, сбор чужого винограда или обработка чужого поля. Привязанность мелкого крестьянина из варваров к своей собственности, своему аллоду, была, несомненно, тем большей, что он стремился утвердить свою независимость, и это было естественным поведением человека, осевшего в завоеванной стране и желающего проявить свое превосходство над массой местного населения, подвластного крупным собственникам. Конечно, большая часть аллодов — а ими владели не только завоеватели, но и завоеванные — оказалась постепенно поглощенной крупной феодальной собственностью. Тем не менее если не на уровне собственности, то на уровне пользования, судя по кутюмам, пенитенциариям и руководствам для исповедников, на протяжении всей средневековой эпохи сохранялось представление о тяжести

хозяйственных правонарушений и преступлений. И крестьянину власть сеньора должна была казаться особенно тяжкой, когда тот со сворой охотничьих собак беззаботно проносился по полям своих сервов или держателей: материальный ущерб приумножался оскорблением.

Наконец, ясно, что в варварских обществах, мирно или с боем осевших на римской территории, не было равенства или его уже не было, если оно когда-либо существовало. Перед побежденными варвар мог гордиться лишь своей свободой, дорогой для него тем более, чем он был менее значительной персоной. Дело в том, что далеко зашедшая социальная дифференциация среди завоевателей привела еще до их переселения к возникновению если не классов, то различных социальных категорий. Появились могущественные и слабые, богатые и бедные, которые легко превращались в крупных и мелких землевладельцев на занятых или захваченных ими землях. Юридические различия, проводимые в законах Раннего Средневековья, могут создать иллюзию пропасти между свободными варварами, рабы которых якобы происходили из подчиненных иноплеменников, и потомками римлян, иерархически делившихся на свободных и несвободных. В действительности же социальная реальность была сильнее, и она быстро отделяла «могущественных» (*potentiores*) людей варварского и римского происхождения от «смирненных» (*humiliores*) из обеих этнических групп.

Таким образом, благодаря традиции сосуществования, которая в некоторых районах восходит к III в., за расселением варваров довольно быстро последовало их более или менее полное слияние с местным населением. Тщетно было бы искать, за исключением ограниченного числа случаев, этнические особенности в том, что нам известно о типах сельскохозяйственной организации Раннего Средневековья. Важно понять, что в этой сфере, которой, как ни одной другой, свойственны постоянство, длительность и устойчивость, было бы абсурдно сводить истоки разнообразия к столкновению римских традиций с варварскими обычаями. Требования географии и различия, предопределенные историей начиная с неолита, составляли здесь наследство, вероятно, более существенное. Но что особенно важно и что ясно прослеживается, так это одновременный процесс аграризации и роста крупной собственности, охвативший все население.

Об этом свидетельствует топонимика. Возьмем пример Франции. Для начала заметим, что личные имена могут быть обманчивы, поскольку среди галло-римлян быстро распространилась мода давать из снобизма своим детям германские имена. А завоеватели, хотя они и оказали влияние на лексику и в меньшей мере на синтаксис (например, на порядок слов, когда определитель предшествует определяемому, как в названии «Карльпон» от «*Caroli ponte*», а не наоборот, как «Понтуаз» от «*Ponte Isarae*»), своего языка не навязали, а восприняли латинский, точнее говоря, развивавшийся нижнелатинский, который вульгаризировался вместе с аграризацией хозяйства.

Важным фактом топонимики является рост числа названий, оканчивавшихся на «кур» и «виль» (*court, ville*), которым предшествуют личные имена, неважно какие — римские или германские, что указывает на распространение крупных владений — «*curtis*» (особенно в Лотарингии, Артуа и Пикардии) и «*villa*» (в тех же районах, а также в Иль-де-Франсе и Босе). В этимологии названий Мартенвиль (*Martini Villa* — деп. Вогеzy) или Бузонвиль (*Bosoni Villa* — деп. Мозель, Мерт и Мозель, Луара) интерес представляют не галло-римлянин Мартин или германец Бозон, а слово «вилла», означающее крупное владение, которому тот и другой дали свое имя.

Ассимиляция варваров наталкивалась, конечно, на препятствия, из которых наиболее серьезными, надо полагать, для многих народов были их язычество и особенно арианство (до обращения в католицизм), а также их малочисленность. Впрочем, как сказал Марк Блок, «влияние одной цивилизации на другую не обязательно измеряется численным соотношением людей». Желание варварских народов после их расселения по римской территории разбросанными малыми группами сохранить свои традиции и обычаи, к которым они испытывали крепкую привязанность, чрезвычайно усиливалось страхом оказаться поглощенными, ввиду своей малочисленности, местным населением. Единственный народ,

относительно которого мы располагаем правдоподобной оценкой его численности, — это вандалы Гензериха в момент их высадки в Африке в 429 г.; их было 80 тысяч. Ни вестготы, ни франки, ни другие группы завоевателей не должны были насчитывать более 100 тыс. человек. Расчеты, согласно которым общее количество варваров, осевших на римском Западе, составляло 5% всего населения, недалеки от истины.

Варвары поэтому стремились, по крайней мере поначалу, избегать городов, где была большая опасность их поглощения. Правда, «столицы» варварских королей — Брага, столица первого варварского короля-католика, свева Рикиария (448 — 456), вестготские столицы Тулуза, Барселона, Мерида, Толедо, столицы франков Турне, Суассон, Париж, бургундская столица Лион, Равенна, столица остгота Теодориха, Павия и Монца, столицы лангобардов, — имели, несомненно, высокий процент жителей-варваров. Впрочем, некоторые варварские короли, например франкские, предпочитали жить в своих сельских имениях, виллах, а не в городских «дворцах». Они также становились сельскими жителями и вели образ жизни крупных земельных собственников.

Случалось, что вновь прибывшие варвары оседали в сельской местности целыми деревнями, о чем до сих пор напоминают их названия: таковы Оменанкур (деп. Марна), напоминающий об аламанах, Сермез (Сена и Уаза) — поселение сарматов, Франконвиль (Сена и Уаза) — франков, Гудурвиль (Тарн и Гаронна) и Вильгуду (Тарн) — готов. Еще больший интерес представляют топонимы во Фландрии, Лотарингии, Эльзасе и Франш-Конте с суффиксом собирательности (-ing), обозначающим окружение, «familia», франкского, аламанского или бургундского вождя, ставшего крупным собственником, как, например, Ракранж (деп. Мозель), название, происходящее от слова «Рахеринга», то есть «люди Рахера». И особенно многочисленны названия со словом «фер» (fere, fara), обозначающим у франков, бургундов, вестготов и лангобардов семейный германский клан, осевший в одном месте ради сохранения единства: Ла-Фер (деп. Эн), Фер-Шампенуаз (Марна), Лафавр (Изер), Ла-Фар (Буш-дю-Рон, Высокие Альпы, Воклюз) и часто встречающиеся «фара» в Италии.

Стремление варваров сбросить свою самобытность обнаруживается также и в раннесредневековом законодательстве, где появляется такой столь чуждый римской юридической традиции принцип, как персональность права. В варварском королевстве люди не подлежали действию единого закона, распространявшегося на всех жителей его территории, но каждого человека судили по правовому обычаю той этнической группы, к которой он принадлежал: франка по франкскому обычаю или, точнее, по закону своей группы среди франков, например салическому; бургунд — по бургундскому, а римлянина — по римскому праву. Отсюда удивительные расхождения, когда за насилие над девушкой римлянин наказывался смертью, а бургунд штрафом; напротив, свободная женщина, живущая с рабом, по римскому закону всего лишь сожительница, не теряющая своих прирожденных прав, тогда как салический закон низводил ее до положения рабыни. Риск могущей возникнуть от этого неразберихи в новых государствах был таков, что в начале V в. были предприняты большие усилия по обобщению права. Отдельные дошедшие до нас акты, часто в более поздних редакциях, весьма различны по своей природе.

Эдикт Теодориха отличался тем, что исходил не из персональности права, но стремился установить для всех «наций», римской и варварских, живущих под его властью, единую юрисдикцию. Этот остгот, Теодорих Великий, был последним истинным продолжателем римской традиции на Западе.

Салический закон, записанный на латыни при Хлодвиге, но дошедший до нас лишь в списке конца VIII в. со многими добавлениями и, вероятно, исправлениями, кодифицировал обычаи салических франков.

Знаменитый закон Гундобада (Lex Gundobada), изданный умершим в 516 г. королем бургундов Гундобадом и записанный на латинском языке, определял отношения между бургундами, а также между бургундами и римлянами. Обычное право вестготов было впервые кодифицировано Эрихом (466 — 485), а затем Леовигильдом (568 — 586).

Фрагменты кодекса Эриха были обнаружены на одном из палимпсестов Национальной библиотеки в Париже, тогда как отрывки кодекса Леовигильда удалось восстановить по более позднему своду законов, где они приводились в качестве цитат из «древнего закона».

Эдикт лангобардского короля Ротари (643 г.) был дополнен несколькими другими королями. От аламанов сохранились «Рас-tus» VII в. и «Аламанская правда» («*Lex Alamannorum*») VIII в., написанная под влиянием франкского законодательства, равно как и «Баварская правда» («*Lex Baiuvariorum*»), навязанная баварам в середине VIII в. франками, их покровителями.

Особенно велика была потребность в кодификации и записи законов для варваров, но некоторым королям представлялось необходимым и новое законодательство для римлян. Оно в общем представляло собой адаптированный, упрощенный вариант кодекса Феодосия 438 г. Таковы «Бревиарий Алариха» (506 г.) и «*Lex romana Burgundiorum*» у бургундов.

Разнообразие права, однако, было не столь велико, как может показаться, прежде всего потому, что варварские законы разных народов были схожи, к тому же в каждом королевстве один какой-либо кодекс брал верх над другим, и, наконец, потому, что римское влияние, более или менее глубоко запечатленное с самого начала, как, например, у вестготов, ввиду превосходства римского права, становилось все более определяющим. Воздействие же церкви, особенно после обращения в католицизм королей-ариан, и унификаторские устремления Каролингов в конце VIII — начале IX в. еще более содействовали отступлению или исчезновению персональности права перед его территориальностью. В правление вестготского короля Рецесвинта (649 — 672), например, духовенство вынудило его издать новый свод законов, распространявшихся как на вестготов, так и на римлян.

Однако юридический партикуляризм Раннего Средневековья продолжал питать характерную для всех средних веков тенденцию к обособленности права, которая, как мы видели, своими корнями уходила в разобщенность населения и хозяйства, в отсутствие экономических связей. Все это укрепляло узкоприходский кругозор, дух родной колокольни, столь свойственный Средневековью. Иногда даже открыто апеллировали к правовому партикуляризму Раннего Средневековья. В X и XI вв. в клюнийских хартиях продолжал привлекать закон Гундобада, чтобы обосновать персональный статус человека, хотя он вытекал и из местных кутюмов. В XII в. в актах города Модена встречается противопоставление местных жителей, «живущих по римскому закону», колонии французов или нормандцев, которые, вероятно, принесли с собой легенды артуровского цикла, запечатленные в скульптуре городского романского собора, и которые определены в актах как «живущих по салическому закону».

Варвары пытались воспринять по возможности все высшее, что осталось от Римской империи, особенно в области культуры и политической организации.

Но здесь, как и во всем прочем, они ускорили, отягчили и усугубили упадок, наметившийся в эпоху поздней империи. Закат они превратили в регресс, утроив силу варваризации: своим варварством они амальгамировали варварство одряхлевшего римского мира и выпустили наружу дикие примитивные силы, скрытые ранее лоском римской цивилизации. Регресс был прежде всего количественным: загубленные человеческие жизни, разрушенные памятники архитектуры и хозяйственные постройки, быстрое сокращение народонаселения, исчезновение произведений искусства, разрушение дорог, мастерских, складов, систем орошения, уничтожение посадок сельскохозяйственных культур. Шло непрекращающееся разрушение, поскольку руины античных памятников служили карьерами для добычи камня, колонн, украшений. Неспособный творить и производить, варварский мир занимался «утилизацией». В этом разоренном, ослабевшем и полуголодном мире природные бедствия довершали то, что начали варвары. С 543 г. и на протяжении более полувека пришедшая с Востока чума опустошала Италию, Испанию и большую часть Галлии. После нее, как обнажившееся дно бездны, наступил трагический VII в., вызывающий желание воскресить старое понятие «темных веков». Два столетия спустя Павел Диякон вспоминал,

не без литературного пафоса, об ужасах мора в Италии: «Многолюдные некогда деревни и города в один день оказались погруженными в полное безмолвие из-за всеобщего бегства. Бежали дети, бросив непогребенными тела родителей, родители же бросили еще теплыми своих детей. Если кому-то случалось задержаться, чтобы погresti ближнего своего, то он обрекал себя самого на смерть без погребения... Время вернулось к тиши, царившей до сотворения человека: ни голоса в полях, ни свиста пастуха... Земля тщетно ждала жнеца, и виноградные гроздья оставались висеть до зимы. Поля превратились в кладбища, а дома людей — в логовища диких зверей».

Регресс был также качественным, техническим, который на долгое время оставил средневековый Запад безоружным. Камень, который больше не умели добывать, перевозить и обрабатывать, уступил место возвратившейся в качестве главного строительного материала древесине. С прекращением ввоза соды из Средиземноморья рейнское стекольное искусство исчезло, выродившись в грубые поделки, производимые в лесных хижинах близ Кельна.

Происходило и падение нравов и, как будет видно, — вкуса. Пенитенциарии Раннего Средневековья — тарифы наказаний за всякий вид греха — могли бы составить своего рода преисподнюю в мире книг. Они свидетельствуют не только о выходе наружу древних пластов крестьянских суеверий, но и о разнузданности всех сексуальных извращений, безудержности насилия и порока, проявлявшихся в побоях, ранениях, обжорстве и пьянстве. «Рассказы из времен Меровингов» Огюстена Тьерри, знаменитая книга, написанная по лучшим источникам, прежде всего по Григорию Турскому, которая придала лишь искусную литературную огранку их искренности, вот уж более века как близко познакомила нас с неистовством варварского насилия, страшного тем более, что высокий ранг проявлявших его обеспечивал им относительную безнаказанность. Лишь тюремное заключение или убийство могли обуздать остервенение этих франкских королей и королев, знаменитое определение правлению которых дал Фюстель де Куланж: «умеряемый убийством деспотизм».

«В те времена было совершено множество преступлений... и каждый видел справедливость в своей собственной воле», — писал Григорий Турский.

Изошренность наказаний долгое время вдохновляла средневековую иконографию. Католики-франки заставляли своих мучеников претерпеть такие муки, каким даже язычники-римляне не подвергали мучеников-христиан. «Обычно отрубают кисти рук и ступни ног, вырывают ноздри и глаза, уродуют лицо раскаленным железом, загоняют иглы под ногти рук и ног... когда раны, по истечении гноя, начинают заживать, их вновь бередят. Иногда приглашают врача, чтобы лечить несчастного и мучить более долгой пыткой». Епископ Отена св. Ледегарий попал в руки своего врага майордома Нейстрии Эброина в 677 г. Тот отрезал ему язык, изрезал щеки и губы, заставил ходить босым по острым, колючим, как гвозди, камням и, наконец, выколол глаза. Стоит вспомнить также смерть Брунгильды, которую мучили в течение трех дней и в конце привязали к хвосту норовистого коня, понесшего под ударами хлыста.

Наиболее впечатляющ бесстрастный язык законодательных сводов. Вот выдержки из салического закона: «Кто вырвет другому руку, ногу, глаз или нос, платит 100 солидов; но если рука еще висит, то лишь 63 солида. Оторвавший большой палец платит 50 солидов, но если палец остается висящим, то только 30. Кто оторвет указательный палец (палец необходим для стрельбы из лука), платит 35 солидов; за другой палец — 30 солидов; если оторвет два пальца вместе — 35 солидов, а три пальца — 50 солидов».

Наконец, мы видим упадок системы управления и уничижение власти. Франкский король, возводимый на трон поднятием его на щите, в качестве инсигний, вместо скипетра или диадемы, имел лишь копье, а его отличительным знаком являлись длинные волосы («*tex crinitus*»). Этакий царь Самсон с гривой волос, переезжавший из одного своего владения в другое в сопровождении нескольких писцов, домашних рабов и гвардии антрустионов. И ко всему этому прилагались дивные титулы, позаимствованные из словаря поздней Римской империи. Старший конюх именовался «главным конюшим», или коннетаблем, личные охранники — «палатными графами», и все это сборище пьяных солдат и неотесанных

служащих величалось «славными, или именитыми, людьми». Налоги более не поступали, и богатство короля было заключено в сундуках с золотыми монетами, стеклянными изделиями и драгоценностями, которые после его смерти оспаривали друг у друга его жены, наложницы, законные и незаконные дети, производя одновременно раздел земель и всего королевства.

А что же церковь?

В хаосе варварских нашествий епископы и монахи, св. Северин например, стали универсальными руководителями разваливающегося общества: к своей религиозной роли они прибавили политическую, вступая в переговоры с варварами, хозяйственную, распределяя продовольствие и милостыню, социальную, защищая слабых от могущественных, и даже военную, организуя сопротивление или борясь «духовным оружием», когда нет оружия материального. Силой обстоятельств они пришли к клерикализму, смешению полномочий. Они пытались, вводя нормы покаяния и канонического права (начало VI в. было временем вселенских соборов и синодов, введших церковное право параллельно с кодификацией гражданского), бороться с насилием, смягчая нравы. Св. Мартин из Браги, ставший в 579 г. архиепископом этой столицы свевского королевства, в одном из своих наставлений — «*De correctione rusticorum*» — излагал программу исправления нравов крестьянства, а в другом — «*Formula vitae honestae*», — посвященном королю Теодомиру, описывал нравственный идеал христианского государя. И эти наставления пользовались успехом в течение всего Средневековья.

Но церковное начальство, само варваризовавшееся или неспособное бороться с дикостью магнатов и народа, шло на уступки в духовной сфере и в религиозной практике: Божьи суды, неслыханное развитие культа мощей, расширение сексуальных и пищевых запретов, в которых самая древняя библейская традиция смешалась с варварскими обычаями. «Сырое или вареное, — предписывал ирландский пенитенциарий, — выбрось все, что запятнано пивавкой».

Церковь преимущественно преследовала собственные интересы, не заботясь более об интересе варварских государств, чего не было при Римской империи. Она скапливала земли, доходы, привилегии, добываясь их в качестве даров от королей, магнатов, даже бедняков, и это в тех условиях, когда накопление еще более обескровливало хозяйственную жизнь, серьезно подрывало производство. Епископы, почти все выходцы из богатой аристократии, будучи всемогущими в своих городах и епархиях, стремились к такой же власти и в королевствах. Св. Авит, епископ Вьенна, осуществлявший настоящий диктат в бургундском королевстве, покровительствовал ставшему католиком франку Хлодвигу в его экспансионистских намерениях в отношении бургундских королей-ариан. Цезарий Арелатский за свою деятельность против вестготских королей-ариан был арестован Аларихом в 505 г., а позднее, в 512 г., был вызван Теодорихом в Равенну, дабы попытаться оправдаться. Сказал в действительности или нет св. Ремигий Хлодвигу, когда его крестил: «Склони выю, гордый сикамбр», но склонять ее перед церковью, отождествляемой с Богом, он заставил и Хлодвига, и его преемников. Св. Элигий завоевал благодарность Дагоберта, пользуясь своим авторитетом и мастерством ювелира. А св. Леодегарий, как мы видели, проявил такие политические амбиции, что Эброин подверг его мучениям. Именно епископы с Григорием Турским во главе проповедовали против налогов, каковые уменьшили бы богатство церкви, но тем самым они лишали королей средств управления, хотя не прочь были бы его укрепить, служа интересам религии и церкви.

В конце концов, стремясь использовать друг друга, короли и епископы себя взаимно нейтрализовали и парализовали. Церковь пыталась руководить государством, а государство — управлять церковью. Епископы выдвигались в разряд королевских советников и наставников во всех сферах деятельности, силясь преобразовать церковные каноны в гражданские законы, а короли, став католиками, назначали епископов и председательствовали на соборах. В Испании церковные собрания в VII в. стали настоящим парламентом вестготского королевства, и они навязали антисемитское законодательство,

которое увеличило экономические трудности и вызвало недовольство населения, из-за чего мусульман здесь встретили если и не благосклонно, то по крайней мере без враждебности. В Галлии, несмотря на усилия франкских королей не допускать до придворных и государственных должностей духовенство и несмотря на безжалостные конфискации Карлом Мартеллом обширных церковных владений, взаимопроникновение двух властей, церковной и светской, было таково, что упадок меровингской монархии и франкского духовенства шел рука об руку. И прежде чем проповедовать Евангелие в Германии, св. Бонифаций должен был реформировать франкское духовенство. С этого начался каролингский Ренессанс.

В этот период церковь испытывала, по крайней мере в некоторых районах, настоящий закат своего влияния: возврат населения к язычеству (в Англии в V и VI вв.), длительные вакансии епископских престолов. Лакуны в списках епископов охватывают время с 675 г. по X в. в Периге, с 675 по 814 г. в Бордо, с 675 по 779 г. в Шалоне, с 650 по 833 г. в Женеве, с 683 по 794 г. в Арле, с 679 по 879 г. в Тулоне, с 596 по 794 г. в Эксе, с 677 по 828 г. в Анбрене, в Безье, Ниме, Юзесе, Агде, Магелонне, Каркассоне и Эльне — с конца VII в. до 788 г.

Возврат к язычеству, борьба духовенства с классом воинов, обоюдный паралич церковной и королевской власти — все это также предвещало Средневековье, а особенно, как кажется, стремление церкви к установлению клерикальной власти, которая господствовала бы над христианским миром ради того, чтобы отвратить его от мирских забот. Понтификат Григория Великого (590 — 604), наиболее славный в эту эпоху, являлся и наиболее показательным. Избранный папой во время страшной чумы в Риме, Григорий, бывший монах, считал, что эти бедствия возвещают конец света и что долгом всех христиан является покаяние, отвращение от этого мира и приуготовление к миру будущему. Он помышлял о распространении христианской веры и обращении в нее англосаксов и лангобардов, дабы лучше выполнить свои пасторские обязанности, ибо Христос не сегодня-завтра потребует на Страшном суде отчитаться за паству. В качестве образцов для подражания он в своих духовных наставлениях предлагал св. Бенедикта с его монашеским отрешением от мира и всего лишившегося, но непреклонного в вере Иова. «Зачем снимать жатву, если жнецу не суждено жить? Пусть каждый окинет взором течение своей жизни, и он поймет, сколь мало ему было нужно». Эти слова верховного понтифика, которые оказали столь сильное влияние на средневековую мысль, знаменовали начало Средневековья, эпохи презрения к миру и отречения от всего земного.

Если Запад начиная с позднеимперского периода как бы заскользил по наклонной, то, в связи с классическим спором историков, было ли Раннее Средневековье эпилогом античности или прологом новых времен (хотя любая или почти любая эпоха разве не является переходной?), представляется, что преемственность между Античностью и Средневековьем возобладала над разрывом. И хотя конечная точка развития средневекового общества была столь сильно удалена от начальной, сами средневековые люди с VIII вплоть до XVI в. испытывали потребность вернуться к Риму, который, как они сознавали, был ими покинут. Но во время каждого средневекового ренессанса ученые мужи сильнее, чем ностальгию по Античности, выражали свою отчужденность от нее. Они никогда, впрочем, серьезно не помышляли о возвращении к Риму. Когда они мечтали о «возвращении», то это были мечты о возвращении в лоно Авраамово, в рай земной, обитель Бога-отца. Вернуться же к Риму для них значило его просто перенести, как переносится верховная власть или наука (*translatio impe-rii*, *translatio studii*). Верховную власть и науку, которые в начале Средневековья обитали в Риме, необходимо перенести в другое место, как в свое время они были перенесены из Вавилона в Афины, а затем в Рим. Возродиться означало продвигаться, а не возвращаться. И первое такое продвижение приходится на каролингские времена, на конец VIII в.

ГЛАВА II. Попытка организации германского мира (VIII — X вв.)

Это продвижение происходило прежде всего в пространстве. Не имея флота, Каролинги не могли, конечно, мечтать о завоевании Британии, где королевству Мерсия удалось к концу VIII в. включить в свой состав другие мелкие англосаксонские королевства, расположенные между Хамбером и Ла-Маншем. Король Оффа (757 — 796) держал себя на равных с Карлом Великим, правда, еще до того, как тот принял императорский титул, и они обменивались дарами в знак взаимного уважения. Каролинги не могли покуситься и на мусульманскую Испанию. Наконец, какое-то время они вынуждены были уважать светскую власть папы в его новом государстве, которое они сами всеми силами помогли создать.

В этих пределах восстановление единства западного мира Каролингами происходило за счет Италии, частично Испании и Германии.

Пипин Короткий, союзник папы, положил начало каролингской политике в Италии, совершив поход против лангобардов в 754 г., а затем в 756 г. Карл Великий в 774 г. взял в плен короля Дезидерия в Павии, низложил его с престола и возложил на себя корону Италии, но затем он вынужден был продолжить войну, чтобы утвердить свою власть на севере полуострова, на юге же лангобардские герцогства Сполето и Беневенто ускользнули от него.

На юго-западе начал завоевания Пипин, отнявший у мусульман город Нарбонн в 759 г. Однако в преданиях взятие этого города с еще действующим портом оказалось связанным с именем Карла Великого, и эта версия была подхвачена в «Песни о Гильоме Оранжском». «Услышав это, Карл в волнении спросил: „Как называется сей город?“ „Сир, — ответили ему, — он называется Нарбонном... Нет в мире крепости сильнее. Рвы шириной и глубиной в двадцать туазов, в них волны моря плещутся спокойно. Од, полноводная река, подходит к самым укреплениям, по ней проходят корабли, груженные железом, галеры, полные добра на благо горожанам...“ Выслушав это, Карл рассмеялся. „О Боже! Сколь великая удача! — сказал король, испытанный в отваге. — Так это есть Нарбонн, о коем я наслышан как самом гордом городе испанцев?...“ И юный Эмери, который взял город от имени Карла, стал именоваться Эмери Нарбоннским. Позднее, в 801 г., воспользовавшись междоусобицами мусульман, Карл захватил Барселону. Так была создана Испанская марка, простиравшаяся от Наварры до Каталонии, причем главным образом усилиями графа Гильома Тулузского, ставшего позднее героем цикла эпических песен о Гильоме Оранжском. В 806 г. он удалился в основанное им аббатство Желлон и стал именоваться графом Гильомом Пустынником, на каковой сюжет создана была песнь „Монашество Гильома“.

В борьбе с мусульманами и пиренейскими народами Каролинги не всегда были удачливы. В 778 г. Карл взял Памплону, Уэску, Барселону и Жерону, но, не осмелившись атаковать Сарагосу, снес Памплону и вернулся на север. Горцы-баски устроили засаду его арьергарду, чтобы захватить франкский обоз. 15 августа 778 г. в Ронсевальском ущелье они уничтожили войско, которым командовали сенешаль Эггихард, пфальцграф Ансельм и граф Бретонской марки Роланд. Каролингские «Королевские анналы» не говорят ни слова об этом несчастье; анналист помечает под 778 г.: «В этом году король Карл отправился в Испанию и потерпел там большое поражение». Победенные превратились в мучеников, прославив на века свои имена. Их реваншем стала «Песнь о Роланде».

На востоке Карл Великий положил начало завоеваниям, в которых истребление людей перемежалось их обращением в истинную веру. Эта была христианизация силой оружия, которую Средневековье практиковало долгое время. Вдоль побережья Северного моря прежде всего были с трудом завоеваны после ряда походов с 772 по 803 г. саксы; явные победы здесь чередовались с восстаниями временно побежденных, из которых наиболее впечатляющим было восстание 778 г. под руководством Видукинда. На свое поражение при Зюнтеле франки ответили жестокими репрессиями: Карл велел обезглавить в Вердене четыре с половиной тысячи восставших.

Рассылая миссионеров — им в поддержку был издан капитулярный, по которому нанесение им любой раны, равно как и любое оскорбление христианской религии, каралось смертью, — а также направляя в страну из года в год солдат, так что одни крестили, а другие грабили, жгли, избивали и переселяли массы людей, Карл в конце концов усмирил саксов. В

Бремене, Мюнстере, Падерборне, Вердене и Миндене были учреждены епископства.

Германское, особенно саксонское, пространство увлекло Карла на восток. Он покинул долину Сены и Париж, где обитали Меровинги, и перебрался в районы Мааса, Мозеля и Рейна. Постоянно путешествовавший, он более охотно посещал королевские имения в Геристале, Тионвиле, Вормсе, а особенно — в Нимвегене, Ингельхейме и Ахене, где отстроил три дворца. При этом ахенский дворец благодаря особенностям архитектуры, длительности пребывания в нем Карла и важности происходивших там событий приобрел наибольшее значение.

Южная Германия, однако, также привлекала внимание франкского короля, который практически ни одного лета не провел без военных действий («без врагов», как пишут анналисты, выделяя такие времена как исключительные) или скорее — без организации и отправки куда-либо конной армии, чью боеспособность, по сравнению с дедом и отцом, он весьма укрепил за счет породистых лошадей, хороших мечей и знания местности, где велась война. Сам же он, как кажется, довольно редко участвовал в походах. Основой его военных успехов стали коневодство, развитие металлообработки (благодаря эксплуатации возросшего числа поверхностных месторождений руды, что засвидетельствовано топонимикой: каролингской эпохой датируется появление многочисленных названий «Ферьер») и использование услуг знатоков географии.

Завоевав Баварию, он подчинил страну, уже христианизированную и теоретически зависимую от франков со времен Меровингов. Тассилон, баварский герцог с 748 г., сделавший из Регенсбурга одну из самых пышных варварских столиц, пытался использовать против франков лангобардов. Но, разбив лангобардов и одержав первые победы над саксами, Карл Великий в 787 г. двинулся в Баварию, где благодаря поддержке папы, отлучившего Тассилона от церкви, и переходу на его сторону большей части местного духовенства без сопротивления овладел всем герцогством в 788 г. Чтобы избавиться от герцогского семейства, он велел постричь Тассилона и заключил его сначала в Жюмьеже, а затем в Вормсе; жену же, двух его дочерей и двух сыновей также отправил в монастырь. Епископ Зальцбурга Арнольд, помогавший Карлу подчинить Баварию и ее церковь франкскому государству и церкви, в 798 г. стал архиепископом.

Однако новая баварская провинция подвергалась набегам аваров, народа тюрко-татарского происхождения, пришедшего, как и гунны, из азиатских степей; подчинив некоторые славянские племена, они основали на среднем Дунае, от Каринтии до Паннонии, свою «конную» империю. Профессиональные грабители, они благодаря своим рейдам собрали огромную добычу, хранившуюся в Ринге, их главном лагере, имевшем характерную для монгольских шатров круглую форму. Эти богатства были, несомненно, немаловажной приманкой для франков, чьи короли всегда стремились, как в свое время и римляне, получить от завоеваний существенную часть средств существования. Искусно подготовленная кампания была проведена силами трех армий, две из которых подошли с запада по обоим берегам Дуная; правда, третья армия, которую вел из Италии сын Карла Пипин, в 791 г. была остановлена эпизоотией, унесшей значительную часть франкских лошадей. В 796 г. Карл захватил Ринг, предводитель аваров Тудун сдался ему и принял христианство. Он крестился в Ахене, и крестным отцом был сам Карл. Таким образом, франкский король аннексировал западную часть аварской империи, расположенную между Дунаем и Дравой.

Каролингское государство отчасти покусилось и на славянский мир. Походы, совершенные по нижнему течению Эльбы после завоевания Саксонии, привели к покорению одних славянских племен и оттеснению на восток других. Победа над аварами в свою очередь имела следствием включение во франкский мир словенцев и хорватов.

Наконец, Карл атаковал и греков. Но этот конфликт был специфичен. Его особое значение предопределялось тем, что в 800 г. произошло событие, придавшее деятельности Карла новые масштабы: франкский король был увенчан папой в Риме императорской короной.

Идея восстановления империи на Западе, кажется, принадлежала скорее папе, а не Карлу. Карл Великий более всего заботился о том, чтобы освятить раздел бывшей Римской империи на возглавлявшийся им Запад и Восток, который он не собирался оспаривать у византийского василевса, но отказывался признать за ним титул императора, напоминавший об исчезнувшем единстве. В «*Libri Karolini*» 792 г. он именует себя «королем Галлии, Германии, Италии и сопредельных провинций», а василевса — «королем, имеющим резиденцию в Константинополе». Ему казалось необходимым подчеркнуть это равенство и свою независимость, тем более что благодаря иконоборческому движению в Византии франки вновь стали, как и во времена Хлодвиг, защитниками ортодоксии на Западе, и он хотел опротестовать постановления второго Никейского собора 787 г., претендовавшего на разрешение вопроса об иконопочитании для всей церкви, и восточной, и западной.

Но папа Лев III в 799 г. узрел тройную выгоду для себя во вручении Карлу императорской короны. Будучи преследуемым и даже плененным своими врагами в Риме, он нуждался в восстановлении своего авторитета как на практике, так и в теории, и это мог сделать лишь тот, чья власть бесспорна для всех, — император. Далее, как глава светского государства, патримония св. Петра, он желал, чтобы признание его суверенитета было подкреплено силой государя, который в действительности и по своему титулу был бы выше всех прочих. И наконец, он мечтал вместе с частью римского духовенства сделать Карла императором всего христианского мира, включая сюда и Византию, дабы искоренить иконоборческую ересь и установить супрематию римского понтифика над всей церковью.

Карл Великий дал согласие неохотно. Он считал себя королем, получившим корону от бога, «*rex a Deo coronatus*», и, видимо, находил излишним предложение папы, человека отнюдь не всеми признаваемого в качестве «викария Бога». Как короля франков его мало соблазняла церемония, благодаря которой он становился в первую очередь королем римлян, жителей Рима 800 г., уже утратившего славу древнего Рима. Однако он дал убедить себя и короновался 25 декабря 800 г. На Византию же он напал лишь для того, чтобы добиться признания своего титула и равенства с василевсом. Когда дипломатические демарши и план женитьбы на императрице Ирине провалились, он провел ряд военных операций в северной Адриатике, на границе между империями. Но из-за нехватки судов он потерпел поражение от греческого флота. Военное превосходство на суше, однако, позволило ему захватить Фриуль, Крайну и особенно Венецию, которая тщетно пыталась соблюсти нейтралитет и спасти свою зарождавшуюся торговлю. В конце концов в 814 г., за несколько месяцев до смерти Карла Великого, было заключено соглашение. Франки возвращали Венецию, сохраняя за собой земли в северной Адриатике, а василевс признавал за Карлом титул императора.

При столь обширных пространствах империи особую заботу Карла Великого составляли администрация и эффективное управление. Высшие чины, советники, секретари, образовывавшие двор государя, сохраняли те же функции, что и при Меровингах, но они были более многочисленными, а главное — более образованными. Хотя государственные акты по-прежнему издавались преимущественно в устной форме, письменность все более поощрялась, и одной из главных целей культурного возрождения, о котором речь пойдет ниже, было совершенствование профессионализма королевских чиновников. Как хорошо известно, Карл Великий стремился дать почувствовать свою власть во всем франкском королевстве особенно за счет распространения письменных административных и судебных указов, а также увеличения числа своих личных посланцев, то есть представителей центральной власти.

Итак, были письменные средства управления, капитулярии или указы, одни из которых издавались для отдельных районов, как саксонские капитулярии, а другие были всеобщими, как Геристальский капитулярий о реорганизации государства (779 г.), капитулярий о поместьях, регламентирующий управление королевскими вотчинами, или капитулярий «*De litteris colendis*» о реформе образования. Государевы же посланцы обеспечивали управление лично; это были важные светские или церковные персоны, посылавшиеся с годичной

миссией надзора за уполномоченными государя — графами, а в пограничных областях маркграфами или герцогами — или же с целью реорганизации управления. Вершину этой системы управления составляли общие собрания влиятельной церковной и светской знати королевства, которые ежегодно созывались государем в конце зимы. Это был своего рода аристократический парламент (слово «народ», «*forulus*», прилагавшееся к нему, не должно вводить в заблуждение), который обеспечивал Карлу повиновение подданных и который, напротив, навязывал волю магнатов его слабым преемникам.

Грандиозное здание каролингской монархии в течение IX в. стало быстро разваливаться под совместными ударами внешних врагов — новых завоевателей — и внутренних сил дезинтеграции.

Завоеватели подступали со всех сторон. Наиболее страшные прибыли морем с севера и с юга.

С севера шли скандинавы, которых называли просто людьми Севера, норманнами, или же викингами. Они приходили прежде всего пограбить: опустошали побережья, -поднимаясь по рекам, набрасывались на богатые аббатства, иногда осаждали города. Не следует забывать, что скандинавская экспансия была направлена как на запад, так и на восток. Шведы, или варяги, покорили русские земли прежде всего в экономическом отношении, захватив проходившие по ним торговые пути, но, возможно, и в политическом, вызвав к жизни ранние формы государственности. На западе норвежцы атаковали преимущественно Ирландию, а датчане — прибрежные районы Северного моря и Ла-Манша. С 809 г. пересекать Ла-Манш стало опасно. После 834 г. ожесточенные норманнские нападения на порты Квентовик и Дуurstеде в устьях судоходных рек Шельды, Мааса и Рейна стали ежегодными, и наметилось стремление здесь обосноваться. Пока что это означало главным образом создание баз, надежных и удобных для совершения грабительских набегов. В 839 г. норманнский вождь основал королевство в Ирландии, сделав столицей г. Арма. В 838 г. король Дании потребовал у императора уступить земли фризлов. Несмотря на отказ Людовика Благочестивого, норманны оккупировали район города Дуurstеде. Вот некоторые другие их подвиги: 841 г. — разграбление Руана; 842 г. — разрушение Квентовика; 843 г. — опустошение Нанта; в 844 г. они достигли Коруньи, Лиссабона и Севильи; в 845 г. среди их жертв — Гамбург и Париж, разграбленный прибывшей на ста двадцати судах дружиной Рагнара, известного по сагам как Рагнар Додброк. В 859 г. они прорвались в Италию и дошли до Пизы. Это их наиболее глубокий в географическом отношении рейд. Жертвой их бесчисленных набегов стал в 881 г. и Ахен, где они сожгли гробницу Карла Великого. Однако, как и другие завоеватели в другие времена, они начали помышлять о том, чтобы осесть, обосноваться и вместо грабежей воспользоваться благами торговли и культуры.

В 878 г. по Уэдморскому миру они вынудили Альфреда Великого признать за ними часть Англии, а с 980 г. при Свенде и его сыне Кнуде Великом (1019 — 1035) стали ее полными господами. Но только норманны, осевшие на севере Галлии, в области, получившей от них имя Нормандия, после того как Карл Простоватый уступил ее их вождю Роллону по договору в Сен-Клер-сюр-Эпт в 911 г., пустили ростки на Западе и оставили глубокие следы. В 1066 г. они завоевали Англию; начиная с 1029 г. постепенно утвердились в Южной Италии и на Сицилии, где создали одно из наиболее своеобразных государств западного Средневековья. Во времена крестовых походов их увидели и в Византийской империи, и в Святой земле.

С юга нападали мусульмане Ифрикии, после того как арабская династия Аглабидов стала практически независимой от халифата и создала свой флот. Ифрикийские пираты с 806 г. стали появляться на Корсике, в 827 г. они предприняли завоевание Сицилии и менее чем за столетие захватили ее, за исключением нескольких местечек, оставшихся в руках византийцев или местных жителей. Но все крупные города попали в руки завоевателей: Палермо (831 г.), Мессина (843 г.), Энна (859 г.), Сиракузы (878 г.), Таормина (902 г.). С Сицилии они набросились на итальянский полуостров, совершая грабительские набеги,

наиболее впечатляющим из которых был набег 846 г., когда они разграбили собор св. Петра в Риме и захватили такие опорные пункты, как Таранто или Бари, откуда их изгнал в 880 г. византийский император Василий I. Наступление Аглабидов отягощалось на западе Средиземноморья нападениями испанских мусульман на Прованс, Лигурию и Тоскану. Здесь сарацинским опорным пунктом стал Фраксине близ Сен-Тропеа.

Таким образом, пока каролинги устанавливали свое господство на континенте, моря ускользнули от них. И даже на суше на какое-то время возникла новая угроза нашествия из Азии. Это угроза венгров.

Магьярское нашествие разворачивалось по обычному плану. В VII в. венгры осели в государстве хазар — тюрков, исповедующих иудаизм, которые утвердились на нижней Волге, контролируя процветающую торговлю между Скандинавией, Русью и мусульманским миром. Но к середине IX в. другой тюркский народ, печенеги, уничтожили хазарскую империю и изгнали венгров на запад. Жителям западных стран венгры напоминали гуннов. Тот же конный образ жизни, то же совершенство стрельбы из лука, та же жестокость. Они устремились в степи и равнины среднего Дуная, частично свободные благодаря разгрому аварского государства Карлом Великим. Начиная с 899 г. венгры совершили разрушительные набеги на венецианскую область, Ломбардию, Баварию, Швабию. В начале X в. они покончили с Великоморавским государством и вскоре начали нападения на Эльзас, Лотарингию, Бургундию и Лангедок. Среди их главных жертв — Павия, взятая в 924 г., где они сожгли сорок четыре церкви, и Верден, спаленный в 926 г. Некоторые годы были особенно опустошительными: в 926 г. они предали огню и мечу земли от Арденн до Рима, в 937 г. опустошили значительную часть Германии, Франции и Италии, в 954 г. дошли до Камбре на западе и до Ломбардии на юге. Но в 955 г. король Германии Оттон разбил их наголову в битве на реке Лехе, близ Аугсбурга. Их порыв был остановлен. С ними кончилась история варварских нашествий. Кончилась отказом венгров от грабительских набегов, оседанием на определенных землях, христианизацией. В конце X века на свет появилась Венгрия.

Но венгерское нашествие помогло также появиться и новой власти на Западе: оттоновская династия реставрировала в 962 г. императорскую власть, упущенную каролингами более по причине их собственного упадка, нежели из-за внешнего натиска.

Несмотря на стремление воспользоваться римским политическим и административным наследием, франки так и не прониклись государственным духом. Франкские короли рассматривали королевство как свою собственность, наподобие своих поместий или сокровищ. Они с легкостью отчуждали его части. Когда Хильперик женился на Галесвинте, дочери вестготского короля Атанагильда, он на следующий день после бракосочетания предложил молодой жене в качестве «утреннего дара» пять городов южной Галлии, среди которых был и Бордо. Принадлежащее им королевство франкские короли делили между своими наследниками. Время от времени случайно, благодаря смерти или болезни кого-либо из детей, франкские государства группировались под властью одного или двух королей. Так, Дагоберт, отстранив от власти своего безумного кузена Хариберта, царствовал один с 629 по 639 г., а преждевременная смерть Карломана, любимого сына Пипина Короткого, брата Карла Великого, позволила последнему стать единственным владыкой франкского королевства в 771 г. Реставрация империи не помешала Карлу Великому в свою очередь произвести раздел королевства между тремя сыновьями тионвильским указом 806 г. Но в нем ничего не было сказано об императорской короне. Случайно и на сей раз, после смерти Карла Великого в 814 г., единственным господином королевства остался Людовик, поскольку его братья Пипин и Карл умерли раньше отца. Бернард, племянник Карла Великого, получивший от дяди королевство Италию, принес Людовику присягу верности в Ахене, сохранив его за собой. В 817 г. Людовик, прозванный Благодетельным, попытался своим указом разрешить проблему наследования, проявляя заботу о единстве империи, но при этом сохраняя традицию разделов. Он разделил королевство между тремя сыновьями,

однако императорское достоинство передал старшему из них, Лотарю. Позднее рождение четвертого сына, Карла, которому Людовик также пожелал дать часть королевства, поставило указ 817 г. под сомнение. Начавшийся бунт сыновей против отца, их борьба между собой, новые разделы — во всех этих событиях, которыми полно его царствование, Людовик Благочестивый полностью утратил власть. После его смерти в 840 г. переделы и борьба продолжились. В 843 г. был произведен верденский раздел, по которому старший брат Лотарь получил длинный «коридор» от Северного моря до Средиземного с Ахеном, символом франкской империи, и Италию с протекторатом над Римом; Людовик получил восточные территории и стал Людовиком Немецким; Карл по прозвищу Лысый — западные земли. В 870 г. в Мерсене Карл Лысый и Людовик Немецкий поделили между собой земли Лотаря, Лотарингию, за исключением Италии, оставшейся во владении сына Лотаря, Людовика II вместе с императорским титулом. После рибемонтского передела 880 г., когда Лотарингия отошла к Восточно-Франкскому королевству, единство империи оказалось как будто на какое-то время восстановленным при Карле Толстом, третьем сыне Людовика Немецкого, ставшим императором и королем Италии в 881 г., единственным королем Германии в 882 г. и, наконец, королем Западно-Франкского королевства в 884 г. Но после его смерти (888 г.) началось стремительное крушение этого каролингского единства. За исключением каролинга Арнульфа (896 — 899), императорский титул носили лишь итальянские корольки, а в 924 г. он вообще исчез. В Западно-Франкском королевстве короли стали выборными и на престоле чередовались каролинги и представители рода графа Франции, то есть Иль-де-Франса, Эда, героя сопротивления парижан норманнам в 885 — 886 гг. В Германии каролингская династия угасла вместе с Людовиком Дитятей в 911 г., и королевская корона, также вручаемая магнатами после выборов, перешла сначала к герцогу франконскому Конраду, а затем к саксонскому герцогу Генриху I Птицелову. Его сын Оттон I и стал основателем новой императорской династии.

Все эти смуты, борьба и переделы, сколь стремительно они ни разворачивались, оставили глубокие следы на карте и в истории Европы.

Прежде всего при разделе, подготовленном ста двадцатью экспертами в Вердене, которые как будто пренебрегли всеми этническими и естественными границами, были в действительности, как прекрасно показал Роже Дион, приняты во внимание экономические реалии. Проблема была в том, чтобы обеспечить всех трех братьев частью каждого природного и экономического пояса Европы, «от обширных пастбищ пограничных марок до солеварен и оливковых плантаций Каталонии, Прованса и Истрии». В формирующейся Европе, которая не была более сосредоточена на Средиземноморье и где сообщение преимущественно ориентировалось «перпендикулярно растительным зонам», встала проблема отношений между Севером и Югом, между Фландрией и Италией, ганзейскими городами и средиземноморскими, а вместе с тем возросло значение осей север — юг, путей сообщения через Альпы, по Рейну и Роне.

Затем наметились контуры будущих наций: Западно-Франкское королевство стало Францией, с которой начала сливаться Аквитания, долгое время бывшая столь обособленной и своеобразной в королевстве; Восточно-Франкское королевство стало Германией, которая, имея четкую границу лишь на севере, испытывала искушение распространиться на запад, даже за Лотарингию, многие века бывшую яблоком раздора между Францией и Германией, унаследовавшими эту распрю от внуков Карла Великого, а также на юг, где мираж империи и идея подчинения Италии долго сохраняли свой соблазн. Этот *Sehnsucht nach Stiden* перемежался или сочетался с *Drang nach Osten*, с начавшимся натиском на славян. Италия при этих колебаниях политики испытывала угрозу и германских имперских претензий, и светских амбиций пап.

Промежуточные политические образования оказались хрупкими; королевства Прованс, Бургундия и Лотарингия были обречены на поглощение, несмотря на случавшиеся в средние века периоды подъема — как Прованса при анжуйской династии или Бургундии при великих герцогах.

Особенно важно, что эти политические пертурбации благоприятствовали, как в свое время и варварские нашествия, падению императорской власти и авторитета, что, по крайней мере в тот момент, было более существенным и чреватым важными последствиями, чем политическое дробление королевств. Благодаря этому магнаты с большей легкостью захватывали земли, утверждали свое экономическое могущество и на этом основании присваивали публичную власть.

Церковный собор в Туре, созданный в конце царствования Карла Великого, констатировал: «Во многих местах разными средствами имущество бедных людей было сильно урезано, и это имущество тех, кто является свободным, но живет под властью могущественных особ». Церковные и светские магнаты — вот кто все более и более становился новым владельцем этого имущества. Монастыри, аббаты которых, впрочем, принадлежали к семьям влиятельных магнатов, собирали огромные земельные владения, о которых наряду с королевскими доменами мы осведомлены лучше всего, поскольку об их хорошо организованном управлении остались письменные свидетельства. В начале IX в. Ирминон, аббат Сен-Жермен-де-Пре, велел составить полиптик, инвентарь владений аббатства и повинностей держателей земли. В нем описано двадцать четыре владения (и это не все, поскольку часть документа утеряна), девятнадцать из которых были расположены близ Парижа, между Мантом и Шато-Тьерри. Эти владения часто соответствуют современным сельским общинам. Их размеры различны: 398 га обрабатываемых земель во владении Палезо и лишь 76 га в Ножан-Ларто, в первом, правда, откармливалось только пятьдесят свиней, а во втором тысяча.

Но эта экономическая мощь открыла крупным собственникам путь к присвоению публичной власти благодаря процессу, начатому или по меньшей мере поощрявшемуся Карлом Великим и его преемниками в надежде на результаты совершенно противоположные. Действительно, чтобы укрепить франкское государство, Карл Великий умножил число земельных дарений, или бенефициев, людям, чьей верностью он хотел заручиться, и обязывал их приносить ему клятву и вступать в вассальные отношения. Он надеялся такими личными связями обеспечить прочность государства. И чтобы все общество, во всяком случае, люди значительные были привязаны к королю или императору как можно более тесной связью личного соподчинения, он поощрял королевских вассалов, дабы они из собственных подданных также делали своих вассалов. Внешние нашествия ускорили этот процесс, поскольку опасность толкала слабых отдаваться под покровительство сильных и поскольку за бенефиции короли требовали от своих вассалов военной помощи. Начиная с середины IX в. понятие «miles» (солдат, конник) часто используется взамен понятия «vassus» для обозначения вассала. Этот важнейший процесс привел в то же время к установлению наследственности бенефициев. Обычай был порожден практикой, а затем закреплен капитулярием, изданным в Кьерзи-сюр-Уаз, которым Карл Лысый, готовясь к походу в Италию, обеспечивал вассалам неприкосновенность прав наследования отцовских бенефициев для их юных сыновей в случае их смерти. Благодаря наследственности бенефициев вассалы сплачивались в социальный класс.

В то же время экономические и военные потребности, позволявшие или вынуждавшие крупного собственника, особенно если это был герцог, граф или маркиз, действовать самостоятельно, начинали побуждать сеньора препятствовать прямым отношениям его вассалов с королем. С 811 г. Карл Великий жаловался на то, что некоторые отказываются от военной службы под тем предлогом, что их сеньор не призван на нее и они должны оставаться при нем. Те из магнатов, которые, как, например, графы, были наделены публичными полномочиями, имели тенденцию смешивать их со своими сеньориальными правами, тогда как другие, глядя на них, все более и более узурпировали такие полномочия. Несомненно, расчет Каролингов не был полностью ошибочным. Если короли и императоры между X и XIII вв. сумели сохранить некоторые prerogatives суверенной власти, то они этим были обязаны тому, что их могущественные вассалы не могли пренебречь своими обязанностями, во исполнение которых они давали клятву верности.

Понятно, что все происходившее в каролингскую эпоху имело решающее значение для средневекового мира. Отныне каждый человек стал все более зависеть от своего сеньора, и этот узкий горизонт, это подчинение, тяжкое тем больше, чем теснее круг, где оно осуществлялось, получил правовое основание; власть все более была сопряжена с землевладением, основой нравственности стала верность, вера, которые надолго заменили греко-римские гражданские добродетели. Античный человек должен был быть справедливым, средневековый же верным. Злом отныне стала неверность.

Поскольку дух государственности исчез, король Германии Оттон, заняв в 936 г. трон и решив укрепить свою власть, не видел иного средства, как только привязать к себе герцогов, сделав их всех своими вассалами. «Они вложили в его руки свои и обещали ему верность и помощь против всех врагов», — писал хронист Видукин.

Это не помешало им выступить против Оттона, который разбил их коалицию при Андернахе (939 г.). Он закрепился в Лотарингии (944 г.), выступил арбитром в споре за трон Франции между представителями династий Робертинов и Каролингов на синоде в Ингельхейме (948 г.), стал королем Италии (951 г.) и, наконец, с ореолом победителя венгров на Лехе и славян на берегах Регница (955 г.) получил 2 февраля 962 г. императорскую корону в соборе св. Петра в Риме от папы Иоанна XII.

Оттон I сразу же возобновил каролингскую политику, политику Карла Великого и Людовика Благочестивого. Договором 962 г. он восстановил отношения между императором и папой. Император вновь подтверждал светскую власть папы над патримонием св. Петра, но в обмен потребовал, чтобы ни один папа не был избран без его согласия, и в течение века он и его преемники пользовались этим своим правом, доходя даже до смещения неугодных им пап. Оттон I, однако, видел в своей империи, как и Карл Великий, лишь империю франков, ограниченную странами, где он признан королем. Его военные кампании против византийцев проводились лишь ради того, чтобы добиться признания его титула, что и произошло в 972 г. по договору, скрепленному женитьбой его старшего сына на византийской принцессе Феофано. В отношении независимости Западно-Франкского королевства он выказывал уважение.

Эволюция империи при двух его преемниках происходила в направлении возвеличивания императорского титула без укрепления прямой власти его носителя.

Оттон II (973 — 983) заменил титул «императора августа», который носил его отец, титулом «императора римлян» (*Imperator Romanorum*). Его сын Оттон III, воспитанный матерью-византийкой, обосновался в 998 г. в Риме и провозгласил восстановление Римской империи (*Renovatio Imperii Romanorum*), издав буллу, на печати которой с одной стороны изображена голова Карла Великого, а с другой — женщина с копьем и мечом, *Aurea Roma*. В своих мечтах он проникся идеей универсализма. Одна из миниатюр изображает его сидящим во славе на троне и принимающим дары от Рима, Германии, Галлии и от славян. В своих отношениях с восточными соседями он, однако, проявлял гибкость. В 1000 г. он признал независимость Польши, в Гнезно было учреждено архиепископство, а князь Болеслав Храбрый получил титул союзника империи; в то же время была признана независимость Венгрии, и ее государь Стефан, крестившись, получил королевскую корону.

На короткое время воцарилось согласие, и оттоновская мечта казалась близкой к воплощению благодаря общности взглядов юного императора и папы Сильвестра II, мудреца Герберта, также склонного к восстановлению Римской империи. Но мечты быстро рассеялись. Римский народ восстал против Оттона III. В январе 1002 г. он умер, а в мае 1003 г. умер и Сильвестр II. Генрих II предпочел вернуться к «королевству франков» (*Regnum Francorum*), то есть к империи в границах франкского королевства, как продолжала называться Германия.

Но Оттоны передали наследникам ностальгию по Риму и стремление к власти над папами, что породило спор между церковью и империей и возродило борьбу светского воинства и духовенства, которую, несмотря на клерикализацию государства при Каролингах

(а при них в IX в. епископы, такие, как Иона Орлеанский, Агобард Лионский, Хинкмар Реймский, стояли у руля управления) и равновесие сил, достигнутое при Оттонах, так и не удалось погасить.

Когда рассеялись мечты тысячного года о римском мире, готово было дать знать о себе обновление всего Запада. Его неожиданный расцвет в XI веке означал, что западный христианский мир тронулся в путь.

Его силы смогли развиваться лишь на экономической основе, и она, несомненно, возникла раньше, чем часто думают. Можно сказать, что если каролингское возрождение имело место, то это было прежде всего возрождение экономическое. Возрождение, как и в сфере культуры, ограниченное, поверхностное, хрупкое и в большей степени, чем в области культуры, пострадавшее, почти загубленное вторжениями и грабежами норманнов, венгров и сарацинов в IX и начале X в., которые, бесспорно, на один или два века задержали обновление Запада, подобно тому как варварские вторжения IV — V вв. ускорили упадок римского мира.

Легче всего уловить признаки возобновления торговли в VIII — IX вв. Это — активность фризской торговли и порта Дуурстеде, монетная реформа Карла Великого, о которой будет сказано ниже, экспорт сукон, вероятно фламандских, но называвшихся тогда фризскими, тех, которые Карл Великий послал в дар халифу Гарун-аль-Рашиду.

Но в этой по преимуществу сельской экономике есть признаки, позволяющие делать вывод и о развитии аграрного производства: дробления манса, происходящие, несомненно, благодаря распашке новых земель; появление новой системы упряжи, первое известное изображение которой сделано в одной рукописи из Трира около 800 г.; реформа календаря, произведенная Карлом Великим, который дал месяцам имена, говорящие о прогрессе земледелия. Миниатюры с изображением сельских работ по месяцам радикально изменились, исчезли античные символы, уступив место сценам конкретных работ, в которых проявляется сила человека: «Отныне человек выделяется из природы и становится ее господином».

Были ли нашествия IX в. повинны в очередном отступлении или просто задержке развития экономики, но в X веке появились более надежные и ясные черты прогресса. На конгрессе американских медиевистов, посвященном этой эпохе, X век был выделен как период решительных перемен, в частности в области сельскохозяйственных культур и питания, где, по мнению Линна Уайта, широкое внедрение таких культур, богатых протеинами и, следовательно, высококалорийных, как бобы, чечевица, горох, обеспечило, вероятно, западноевропейцев той силой, что нужна была для постройки соборов и подъема обширных пространств целины. «X век — век бобов», — шутливо заключил американский медиевист. Роберт Лопец в свою очередь задается вопросом, не стоит ли признать еще одно Возрождение, Возрождение X века, когда развивалась скандинавская торговля (торжища, *wiks*, как Хантхабу на Ютландском перешейке, вытеснили военные стоянки вроде Треллеборга на датском острове Зеландия), когда хозяйство славян стимулировалось и норманнской торговлей, и арабо-еврейской коммерческой деятельностью вдоль пути, соединяющего Кордову с Киевом через центральную Европу, когда начался подъем областей по Рейну и Маасу, когда уже стала процветать Северная Италия, где рынок Павии получил международное значение, а в Милане начался подъем хозяйства, который глубоко проанализировал Чинцо Вьоланте, и происходил рост цен — «симптом возобновления экономической и социальной жизни».

Это пробуждение средневекового Запада — кому или чему поставить в заслугу? Может быть, как полагает Морис Ломбар, влиянию развивающегося мусульманского мира, мира городских метрополий, возрастающие потребности которых стимулировали на еще варварском Западе производство сырья и другой продукции на экспорт в Кордову, Кайруан, Каир, Дамаск, Багдад, как, например, древесины, железа (франкские мечи), олова, меда и

человеческого товара — рабов, крупным рынком по продаже которых в каролингскую эпоху был Верден? Эта гипотеза, опирающаяся на внешние факторы, еще более опровергает знаменитую теорию Анри Пиренна, приписывавшего арабским завоеваниям замыкание Средиземноморья и упадок западной торговли, тем завоеваниям, которые, напротив, предстают теперь двигателем экономического пробуждения западного христианского мира. Или же вместе с Линном Уайтом поставить это в заслугу прогрессу технологий, совершившемуся на почве самого Запада: прогрессу в сельском хозяйстве, где колесный плуг с отвалом и трехпольный севооборот позволили выращивать те самые овощи, богатые протеинами, а распространение новой упряжи — увеличить площадь обрабатываемых земель и урожайность; прогрессу в военном деле, где стремя позволило подчинить лошадь и появиться новому воинскому классу рыцарей, которые постепенно идентифицировались с крупными землевладельцами, способными вводить в своих владениях новую аграрную технику и технологию? Это объяснение, опирающееся на факторы внутреннего развития, обнажает, кроме того, причины перемещения центра тяжести западного мира к северу, туда, где равнины и неохватные пространства допускали возможность глубокой вспашки и вдохновляли на удалые конные скачки.

Истина, однако, состоит в том, что социальное возвышение магнатов, землевладельцев и рыцарей в одном лице создавало класс, способный воспользоваться экономическим шансом, который предоставился благодаря росту земледелия, а также торговли, еще, правда, ограниченной, часть доходов от которой этот класс оставлял профессионалам — первым западным купцам. Соблазнительно предположить, что завоевания Карла Великого и его военные экспедиции в Саксонию, Баварию, вдоль Дуная, в Северную Италию, в Венецианскую область и даже за Пиренеи имели в виду зоны обмена и преследовали в качестве цели захват зарождающихся торговых путей. А Верденский договор, вероятно, мог быть также и разделом основных путей, как и зон сельскохозяйственных культур. Но после тысячного года все это стало более убедительным. Средневековый христианский мир действительно вышел на историческую арену.

ГЛАВА III. Становление христианского мира (XI — XIII вв.)

Знаменитым стал отрывок из сочинения бургундского хрониста Рауля Глабера: «С наступлением третьего года, последовавшего за тысячным, почти все земли, но особенно Италия и Галлия, оказались свидетелями перестройки церковных зданий; хотя (большая часть из них была хорошей постройки и в этом не нуждалась, настоящее соперничество толкало всякую христианскую общину к тому, чтобы обзавестись церковью более роскошной, чем у соседей. Мир как будто стряхивал с себя ветошь и повсюду облачался в новое белое платье церквей. В то время почти все епископальные, монастырские церкви, посвященные разным святым, даже маленькие деревенские часовни были перестроены верующими и стали еще краше».

Это внешний, но наиболее блестящий признак взлета христианского мира около тысячного года. Широкое строительство, безусловно, сыграло важнейшую роль в прогрессе средневекового Запада в период между X и XIV вв., прежде всего за счет стимулирования экономики. Рост производства строительных материалов (камень, древесина, железо), появление технологий и изготовление орудий труда для этого производства, транспортировка и подъем камня и значительных тяжестей, наем рабочей силы, финансирование работ — все это сделало строительство (и не только соборов, но и бесчисленных церквей разных размеров, хозяйственных сооружений: мостов, риг, складов, а также жилых домов богачей, все чаще строившихся из камня) центром первой и почти единственной средневековой индустрии.

Но этот строительный бум не был первичным явлением. Он произошел в ответ на определенные нужды, среди которых главной была необходимость разместить более многочисленное население. Конечно, не всегда есть прямая связь между размером церкви и

числом прихожан. Соображения престижа и набожность в такой же мере побуждали к большим размерам. Но все же желание дать численно выросшему христианскому народу возможность всему собраться в церквах было, несомненно, очень важным.

Бесплодно было бы в этом развитии христианского мира пытаться различать причины и следствия, поскольку большая часть составляющих этого процесса была одновременно и тем и другим. Еще более трудным делом было бы искать первую и решающую причину этого прогресса. Можно, однако, отказать в этой роли тем факторам, которые часто указывались при объяснении начавшихся на Западе сдвигов. Это касается демографического роста, который был лишь первым и наиболее зримым результатом этого прогресса. Как и относительного умиротворения, наступившего в X в., когда прекратились нашествия, стали развиваться установления «мира», регламентирующие войну за счет ограничения периодов ведения войны и обеспечения некоторым категориям невоенного населения (клирикам, женщинам, детям, крестьянам, купцам и иногда рабочему скоту) защиты, которая гарантировалась клятвой воинов (первое постановление, призванное заставить уважать Божий мир, было вынесено синодом в Шарру в 989 г.). Это повышение безопасности также было лишь следствием стремления широких слоев населения христианского общества оградить начавшийся расцвет. «Все были под впечатлением жестокости бедствий предшествующей эпохи и терзались страхом перед возможностью утратить в будущем блага изобилия», — говорит Рауль Глабер, объясняя устремление к миру во Франции, свидетелем чего он был в начале XI в. Защита, особо обеспечиваемая крестьянам, купцам, рабочему скоту, вьючным и тягловым животным, весьма характерна: давление экономического прогресса вынуждало оружие отступать, вызывало необходимость ограниченного, контролируемого разоружения.

Истоки этого подъема следует искать, обративши взоры к земле, которая в средние века была всему основой. Ведь именно с того времени, когда господствующий класс осел на землю, превратившись в класс крупных землевладельцев, когда вассалитет, преобразуя вассала из подчиненного в привилегированного, стал все более сопровождаться бенефициями, почти всегда представляющими собой землю, земельная аристократия начала поощрять развитие сельскохозяйственного производства. Не то чтобы она, за исключением некоторых церковных сеньоров и высших каролингских чинов, была заинтересована в ведении собственного хозяйства в своих владениях. Но поскольку она требовала от крестьянства несения повинностей и служб, крестьяне вынуждены были ради удовлетворения этих требований идти на усовершенствование способов ведения хозяйства. Я полагаю, что решающие сдвиги, положившие начало так называемой аграрной революции X — XIII вв., скромно проявились в каролингскую эпоху, затем постепенно нарастали к тысячному году, после которого произошло значительное ускорение развития.

Не следует, впрочем, исключать и значение той эпохи, когда варвары перешли к оседлости и когда они, став новыми хозяевами, занялись извлечением доходов. История первых нормандских герцогов или каноника Дудона из Сен-Кантена в XI в. показывает нам, как норманны в течение первого века освоения ими Нормандии превращались в сельских хозяев под руководством своих герцогов, которые брали под свою охрану железные орудия труда, в частности плуги.

Медленное распространение трехпольного севооборота позволяло увеличивать засеваемые площади (вместо половины треть площади оставалась под паром), менять культуры, бороться с неурожаями, прибегая к яровым культурам, если не удавались озимые, или наоборот. Расширявшееся использование асимметричного колесного плуга с отвалом, железных орудий труда обеспечивало более глубокую вспашку. Так росла площадь обрабатываемых земель, повышалась урожайность, становилась более разнообразной продукция и, как следствие, улучшалось питание.

Одним из первых последствий этого было увеличение народонаселения, которое, вероятно, удвоилось между X и XIV вв. Согласно Дж. К. Расселу, население Западной Европы с 14,7 млн. человек около 600 г. дошло до 22,6 млн. к 950 г. и стало насчитывать 54,4

млн. перед «Черной смертью» 1348 г. По мнению М. К. Беннета, рост населения всей Европы происходил с 27 млн. человек в 700 г. до 42 млн. в 1000 г. и до 73 млн. в 1300 г.

Этот демографический подъем имел в свою очередь решающее значение для экспансии христианского мира. Особенности феодального способа производства, благоприятствовавшие некоторому технологическому прогрессу, но не позволявшие подняться над весьма скромным уровнем, не обеспечивали достаточного качественного развития аграрного производства, чтобы оно отвечало нуждам начавшегося демографического роста. Повышение урожайности и питательности продукции было слабым. Феодальное хозяйство — и к этому мы еще вернемся — исключало интенсивный путь развития, оставалось только расширять площадь обрабатываемых земель. Первым проявлением экспансии христианского мира между X и XIV вв. стало напряженное освоение целины. Хронологию этого процесса установить трудно, поскольку письменные источники до XII в. редки, а археологические раскопки в сельских местностях продвигаются слабо, их методика несовершенна, интерпретация результатов щекотлива, ибо средневековый пейзаж часто изменялся или разрушался в последующие эпохи. По мнению Жоржа Дюби, «действия первопроходцев в течение первых двух веков были робкими, непоследовательными и разбросанными, но к 1150 г. они стали более уверенными и более согласованными». В столь важном секторе, как производство зерна, решающие завоевания пришлись на период с 1100 по 1150 г., и об этом свидетельствует палинология: доля пыльцы хлебных злаков в остатках цветов особенно возросла именно в первой половине XII в.

Чаще всего новые поля были лишь продолжением старых и представляли собой постепенно расширявшиеся в окружающих целинных землях и пастбищах прогалины. Новь заставляла отступать сжигавшиеся кустарники, но она редко наступала на леса, как по причине несовершенства орудий труда (главным средством средневековых расчисток было тесло, а не топор), так и потому, что сеньоры желали сохранить места охоты, а сельские общины не хотели чрезмерно сокращать лесные ресурсы, столь существенные для средневекового хозяйства.

Завоевание земли происходило также за счет осушения болот и устройства польдеров. Во Фландрии, где рано и сильно дал о себе знать демографический рост, строительство маленьких плотин во многих местах началось еще до 1100 г.

Иногда расчистки влекли за собой и освоение новых территорий, где строились новые деревни. Мы еще вернемся к этому явлению, имевшему особенно важные социальные последствия.

Параллельно с этой внутренней экспансией христианский мир прибег и к внешней. Даже кажется, что поначалу предпочтение отдавалось второй, поскольку военные средства получения доходов казались более легкими, чем мирные.

Так зародилось двойное завоевательное движение, результатом которого стало расширение границ христианского мира в Европе и далекие крестовые походы в мусульманские страны. Распространение христианства по Европе, с силой возобновившееся в VIII в. и продолжавшееся в IX и X вв., перешло почти полностью в руки немцев, населявших окраинные христианские земли, которые граничили с языческими на севере и востоке. В результате смешались религиозные, демографические, экономические и национальные мотивы, что придало этому движению очень своеобразный характер. Его доминирующим аспектом стало в конце концов противоборство немцев и славян, при котором религиозные мотивы отступили на второй план, поскольку немцы без колебаний вступали в борьбу даже с теми соседями, которые приняли христианство. Еще в IX в. моравский государь Ростислав призвал Кирилла и Мефодия в свое государство, чтобы сбалансировать влияние немецких миссионеров.

Христианизация осуществлялась медленно, с отступлениями. Св. Адальберт, архиепископ Праги в конце X в., считал, например, чехов вернувшимися к язычеству и погрязшими в многоженстве. После смерти Мешко II (1034) вспыхнуло мощное восстание

польского народа, которое сопровождалось возвратом к язычеству. В 1060 г. шведский король Стейн, будучи христианином, отказался разрушить древнее языческое капище в Упсале, а в конце XI в. король Свейн ненадолго вернулся к кровавым жертвоприношениям, за что получил прозвище Блотсвейн. Литва после смерти князя Миндовга (1263), крестившегося в 1251 г., вернулась к культу идолов.

Но все же к тысячному году ряд новых христианских государств расширил христианский мир на севере и востоке: Польша при Мешко в 966 г.; Венгрия при Иштване I (Иштване Святом), ставшем королем в 1001 г.; Дания при Харальде Синезубом (950 — 986); Норвегия при Олафе Тригтвесоне (969 — 1000) и Швеция при Олафе Скотконунге.

Правда, в то же самое время киевский князь Владимир принял крещение от Византии (988), как это сделали веком раньше сербы и болгарский царь Борис. И схизма 1054 г. отделила восточную Европу и Балканы от римского христианского мира.

Прусы приняли христианство лишь в XIII в., и их обращение послужило причиной образования немецкого государства тевтонских рыцарей, которых неразумно пригласил сюда в 1226 г. польский князь Конрад Мазовецкий. Литовцы же стали христианами только после унии Литвы и Польши 1385 г., когда Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и, крестившись в Кракове 15 февраля 1386 г., стал христианским королем Польши и Литвы Владиславом.

Вместе с этими приобретениями, которые благодаря евангелизации языческих народов сделала «*Respublica Christiana*», происходили важные миграции населения внутри христианского мира, сильно изменившие карту Запада. Из этих миграций самой важной, несомненно, была немецкая колонизация восточных земель. Она способствовала освоению новых районов, развитию и преобразению городов, к каковому вопросу мы еще вернемся. Но немецкая экспансия носила также и политический характер. Наиболее видными были успехи ставшего в 1150 г. маркграфом новой Бранденбургской марки Альбрехта Медведя и тевтонских рыцарей, завоевавших земли пруссов в 1226 — 1283 гг.

Скандинавская экспансия была не менее впечатляющей. В X в. она распространилась на Исландию, Гренландию и, быть может, достигла Америки, где норманны, вероятно, высадились около тысячного года в Винланде. Большие успехи сопутствовали ей в Англии, в первый раз при короле Свейне в конце X в. После его смерти в 1014 г. его сын Кнут Великий стал королем Англии, Дании, Норвегии и Швеции. Но когда он умер в 1035 г., англосакс Эдуард Исповедник отнял Англию у датчан. Вновь она была завоевана экспедицией с другой скандинавской базы — из Нормандии. В 1066 г. нормандский герцог Вильгельм Незаконнорожденный захватил Англию, выиграв решающее сражение при Гастингсе.

Другие выходцы из Нормандии направились дальше и, покинув Север, обосновались в Средиземноморье. С начала XI в. нормандские княжества стали появляться в Южной Италии. Робер Гискар овладел Кампанией, разбил папские войска и вынудил папу Николая II в 1059 г. признать свою власть; в 1060 — 1061 гг. он отнял у мусульман Сицилию, а затем изгнал из Италии византийцев, взяв их последние крепости Реджо и Бари (1071 г.). Он даже направил своего сына Боэмунда 1081 — 1083 гг. опустошать Эпир и Фессалию. Так было основано нормандское королевство Обеих Сицилии, одно из наиболее своеобразных политических образований Средневековья. Мусульманский путешественник Ибн-Джубайр, посетивший Палермо во второй половине XII в., пришел в восхищение от королевского двора, где бок о бок жили нормандцы и сицилийцы, греки и мусульмане. Латинский, греческий и арабский были тремя официальными языками королевской канцелярии. Это нормандское государство стало для христианского мира политическим образцом монархии, хотя и феодальной, но с чертами, свойственными государству Нового времени, а также моделью культуры; это был центр переводов с греческого и арабского, очаг слияния разных художественных стилей, о чем свидетельствуют великолепные церкви Чефалу, Палермо и Монтереале, в которых христианские романские и готические элементы достигли оригинального синтеза с традиционным византийским мусульманскими стилями. Именно эта среда воспитала самую любопытную и притягательную фигуру средневекового Запада

-императора Фридриха II.

Французская экспансия была не менее мощной. Ее очагом стала Северная Франция, на равнинах которой демографический рост достиг своего предела, а аграрная революция дала наиболее ощутимые результаты. Эта Северная Франция предприняла колонизацию Южной Франции, пользуясь крестовым походом против альбигойцев, завершившимся парижским договором 1229 г., который подготовил присоединение Лангедока к капетингской Франции, осуществленное после смерти брата Людовика Святого Альфонса де Пуатье в 1271 г. Французы также устремились вместе с другим братом Людовика Святого Карлом Анжуйским на завоевание королевства Обеих Сицилии и вырвали его у наследников Фридриха II, разбив его незаконного сына Манфреда при Беневенто в 1266 г., а его внука Конрадина у Тольякоццо в 1268-м. Но Сицилия ускользнула от Карла Анжуйского после «сицилийской вечерни» 1282 г. и отошла к Арагону.

Особенно важна французская эмиграция в Испанию. Ведь отвоевание почти всей Испании у мусульман, осуществленное христианскими королями с помощью наемников и рыцарей, главным образом французских, пришедших из-за Пиренеев, было одним из главных успехов христианской экспансии в X — XIV вв. Среди тех, кто помогал Реконкисте, были и сыгравшие видную роль французские клюнийские монахи, они также содействовали развитию паломничеств в Сантьяго-де-Компостеллу.

Реконкиста была отнюдь не чередой непрерывных побед. Она знала и поражения, как разрушение базилики в Сантьяго-де-Компостелле в 997 г. знаменитым Аль-Мансуром (Альманзором в рыцарском эпосе) или разгром другим Аль-Мансуром в 1195 г. короля Кастилии в Аларкосе; знала и недолговременные успехи, как взятие Валенсии Фердинандом I в 1065 г., которое пришлось повторить в 1094 г. Родриго Диасу де Вивару — Сиду, и длительные периоды бездействия. Решающий этап начался в 1085 г. со взятием Толедо Альфонсом VI Кастильским и завоеванием в 1093 г. всей области между Дуэро и Тахо; затем последовало взятие Сантарена, Синтры и Лиссабона, позднее утраченных и вновь захваченных в 1147 г. Великой датой стало 16 июля 1212 г. В этот день короли Кастилии, Арагона и Наварры одержали блестящую победу над халифом Кордовы у Лас-Навас-де-Толоса. Однако плоды этой победы, слолившей мусульманское сопротивление, пожаты были позднее. В 1229 г. Яков I Арагонский завоевал Майорку, в 1238 г. — Валенсию, а в 1265 г. — Мурсию. Отныне арагонцы и каталонцы получили морское признание. Взятие Сицилии в 1282 г. подтверждает это. В 1248 г. кастильцы захватили Севилью. И к концу XIII в. мусульмане в Испании оказались оттесненными в маленькое Гранадское государство, сиявшее в XIV в. неповторимым светом красот Альгамбры.

Испанская Реконкиста сопровождалась систематическим заселением и освоением опустошенных земель на каждом этапе завоевания. Испанцам-христианам с Севера, иностранцам, прежде всего французам, предлагались особо благоприятные условия поселения.

С середины XI в. испанская Реконкиста взяла на себя доселе неизвестную миссию религиозной войны и проложила путь, в военном и духовном отношении, крестовым походам. Позднее французская колонизация Южной Франции и королевства Обеих Сицилии, как и немецкая колонизация Пруссии, официально также представлялась как крестовые походы.

Но это расширительное употребление понятия «крестовых походов», которое, принижая их, позволяло соединить с виду различные и изолированные военные предприятия в контексте общей экспансии Запада с середины XI до конца XIII в., не должно скрывать того, что крестовыми походами были все же преимущественно походы в Святую землю. И если их окончательные результаты были незначительными, а для Запада скорее пагубными, нежели благоприятными, то тем не менее они по своему психологическому накалу стали вершиной экспансионизма средневекового христианского мира.

Вот почему необходимо, не забывая о существенной роли в развязывании крестоносных войн не столько собственно экономических, сколько материальных и

демографических причин, особое внимание уделить духовному и эмоциональному аспекту крестовых походов, которые были блестяще проанализированы Полем Альфандери и Альфонсом Дюпроном.

Несомненно, что крестовые походы, даже если их участники ясно не сознавали и не определяли для себя побудительных мотивов, воспринимались рыцарями и крестьянами XI в. как очищающее средство от перенаселенности Запада и жажда заморских земель, богатств и фьефов их увлекала более всего. Но эти походы еще даже до того, как обернулись полным провалом, не утолили жажды земли у западных людей, и последние вынуждены были вскоре искать в самой Европе, прежде всего в развитии сельского хозяйства, решения проблемы, которого не дал заморский мираж. Святые земли, ставшие ареной войны, отнюдь не были источником хороших или плохих заимствований, о которых заблуждавшиеся историки некогда с увлечением писали. Крестовые походы не способствовали подъему торговли, который начался благодаря прежним связям с мусульманским миром и внутреннему экономическому развитию Запада; они не принесли ни технических новшеств, ни новых производств, которые проникли в Европу иными путями; они непричастны к духовным ценностям, которые заимствовались через центры переводческой деятельности и библиотеки Греции, Италии (прежде всего Сицилии) и Испании, где культурные контакты были более тесными и плодотворными, чем в Палестине; они даже непричастны к распространению роскоши и сладострастия, которые в глазах суровых западных моралистов были свойственны Востоку и которыми неверные якобы наградили простодушных крестоносцев, неспособных противостоять чарам и чаровницам Востока. Конечно, полученные не столько от торговли, сколько от фрахта судов и займов крестоносцам доходы позволили некоторым итальянским городам — Генуе, но более всего Венеции — быстро разбогатеть; но что походы пробудили торговлю и обеспечили ее подъем в средневековом христианском мире, в это ни один серьезный историк более не верит. Напротив, они способствовали оскудению Запада, особенно рыцарства; далекие от того, чтобы обеспечить моральное единство христианского мира, они распаляли зарождающиеся национальные противоречия (достаточно среди прочих свидетельств почитать рассказ Втором крестовом походе, который составил монах из Сен-Дени и капеллан Людовика VII Эд де Дей и в котором ненависть между немцами и французами накаляется с каждым эпизодом, или вспомнить об отношениях в Святых землях между Ричардом Львиное Сердце и Филиппом-Августом, а также герцогом Австрийским, который позднее посадил Ричарда в тюрьму); походы сделали непроходимым ров, разделявший Запад и Византию, и вражда между латинянами и греками, обострявшаяся от похода к походу, вылилась в Четвертый поход и взятие Константинополя крестоносцами в 1204 г.; вместо того чтобы смягчить нравы, священная война в своем неистовстве привела крестоносцев к худшим эксцессам, начиная еврейскими погромами, которыми отмечены пути их следования, и кончая массовыми избиениями и грабежами, например в Иерусалиме в 1099 г. или в Константинополе в 1204 г., о чем можно прочитать в сочинениях как европейских хронистов, так и мусульманских и византийских; финансирование крестовых походов стало причиной или предлогом увеличения бремени папских поборов и появления опрометчивой практики продажи индульгенций, а духовно-рыцарские ордена, оказавшиеся в конечном итоге неспособными защитить и сохранить Святые земли, осели на Западе, чтобы предаться там всем видам финансовых и военных злоупотреблений. Таков тяжкий итог этих экспедиций. И я не вижу ничего иного, кроме абрикоса, который христиане, возможно, узнали благодаря крестовым походам.

Можно еще добавить, что недолговечные учреждения крестоносцев в Палестине были первым опытом европейского колониализма, и в качестве прецедента он для историка многозначителен. Несомненно, что Фульхерий Шартрский в своей хронике несколько преувеличил масштабы колониационного движения на Восток. Тем не менее его описание психологии и поведения христианского поселенца весьма примечательно.

«Посмотрите же и поймите, каким образом Господь в наши времена превратил Запад в Восток. Бывшие прежде западными людьми, мы стали восточными; бывший римлянин или

франк стал здесь жителем Галилеи или Палестины; жившие в Реймсе или Шартре, оказались горожанами Тира или Антиохии. Мы уже забыли родные места, и одни не знают, где родились, а другие не желают об этом и говорить. Некоторые уже владеют в этой стране домами и слугами по праву наследования; некоторые женились на иностранках, сирийках или армянках и даже на принявших благодать крещения сарацинках. Один живет с зятем, или невесткой, или тестем, другой окружен племянниками и даже внучатыми племянниками. Этот обрабатывает виноградники, тот — поля. Они говорят на разных языках, но уже научились понимать друг друга. Разные наречия становятся общими для той и другой нации, и взаимное доверие сближает самые несхожие народы. Чужеземцы стали местными жителями, и странники обрели пристанище. Каждый день наши родственники и близкие приезжают к нам сюда, бросая все, чем владели на Западе. Тех, кто был бедным в своей стране, Господь здесь делает богатыми; владевшие несколькими экю здесь обретают бесчисленное количество безантов; имевшим там лишь мызу Господь здесь дарует города. Так зачем же возвращаться на Запад, если Восток столь благодатен? Господь не потерпит, чтобы носящие крест и преданные ему оказались здесь в нужде. И это, как вы видите, есть великое чудо, коим должен восхищаться весь мир. Разве слышал кто о чем-либо подобном? Господь желает нас всех наделить богатством и привлечь к себе как самых дорогих его сердцу друзей, ибо ему угодно, чтобы мы жили согласно его воле, и мы должны от всего сердца смиренно ему повиноваться, дабы счастливо пребывать в мире с ним».

Когда Урбан II в Клермоне в 1095 г. разжигал огонь крестовых походов и когда св. Бернард его раздувал в 1146 г. в Везеле, они надеялись превратить беспрестанные войны в Европе в одну справедливую войну, в борьбу с неверными. Они хотели очистить христианский мир от скандальных сражений между единоверцами, дать страстной воинственности феодального общества похвальный выход, указав великую цель, достижение которой выковало бы столь недостающее ему единение душ и действий. Разумеется, церковь и папство рассчитывали благодаря крестовым походам, духовными руководителями которых они были, получить одновременно средство господства на самом Западе, в той *Respublica Christiana*, которая была торжествующей, но в то же время бурлящей, полной внутренней борьбы и неспособной собрать свои жизненные силы.

Этот великий замысел провалился. Но церковь все же сумела найти ответ на чаяния людей, и ей удалось кристаллизовать вокруг идеи крестового похода подспудные желания и глухие тревоги Запада. Долгое время чувства и помыслы западных людей были обращены к Иерусалиму небесному. Церковь же показала христианам, что его можно обрести через Иерусалим земной, и утолила жажду странствий, владевшую теми христианами, которых реальности этого мира не могли привязать к земле, предложив им паломничество, крестовый поход, обещавший удовлетворить все желания — приключений, богатства и вечного спасения. Крест был еще на Западе не символом страдания, а символом торжества. Накалывая его на грудь крестоносцев, церковь придавала ему его истинное значение и восстанавливала ту функцию, какую он выполнял при Константине и первых христианах.

Хотя в походах принимали участие люди из разных социальных слоев, они были воодушевлены схожими страстными чувствами. Параллельно рыцарской армии возникла армия бедноты. В Первый крестовый поход армия бедноты, как наиболее воодушевленная, тронулась первой, и, перебив по пути много евреев, она постепенно распалась и прекратила существование под ударами голода, болезней и турок, так и не достигнув цели — Святой земли. Но еще долгое время спустя крестоносный дух поддерживался в низших слоях общества, где проникновенность и обаяние его мифов были особенно сильными. И поход детей, юных крестьян, в начале XIII в. стал воплощением этой трогательной приверженности ему.

Поражения, следовавшие одно за другим, быстрое вырождение мистики крестовых походов в политику, даже в политику скандальную, долго не могли успокоить это мощное волнение Запада. Зов заморских земель на протяжении XII в. и позднее будоражил воображение и чувства людей, которым не удавалось найти у себя, на Западе, смысла их

коллективного и индивидуального предназначения.

В 1099 г. Иерусалим был взят, и в Святой земле возникло латинское государство, быстро оказавшееся под угрозой. Людовик VII и Конрад III в 1148 г. не смогли ему помочь, и христианский мир в Палестине стал своего рода беспрестанно сокращающейся шагреновой кожей. В 1187 г. Саладин вернул Иерусалим; Ричард Львиное Сердце во время Третьего крестового похода (1189 — 1192) безуспешно расточал свои подвиги, тогда как Филипп-Август поспешил вернуться в свое королевство. В результате Четвертого похода, обращенного венецианцами против Константинополя, была создана другая эфемерная латинская империя, в Византии, просуществовавшая с 1204 по 1261 г. Тем временем Фридрих II, отлученный папой от церкви, путем переговоров восстановил власть христиан в Иерусалиме в 1229 г., но в 1244 г. город был вновь захвачен мусульманами. Лишь немногие идеалисты хранили в это время былой крестоносный дух. К ним относился и Людовик Святой. Повергая в ужас большинство членов своей семьи, начиная с матери Бланки Кастильской, и своих советников, он сумел увлечь армию крестоносцев, большая часть которой последовала за ним из любви скорее к нему, нежели к Христу, первый раз в 1248 г. в Египет, где он попал в плен к неверным, а во второй раз в 1270 г. в Тунис, где он и умер.

До конца XV в. и даже позднее разговоры о крестовом походе возобновлялись часто. Но в поход никто не отправлялся.

В то время когда Иерусалим владел воображением западных людей, другие города, более реальные и более открытые земному будущему, развивались на самом Западе.

Большинство из этих городов существовало до тысячного года, восходя своим началом к античным и более ранним временам. Даже в варварских, поздно христианизированных странах, у скандинавов, германцев или славян, средневековые города возникли из таких древних поселений, как славянские «гроды» или северные «вики». Основание городов на пустом месте было в средние века редким. Даже Любек был старше актов его основателей Адольфа Шауэнбурга (1143) и Генриха Льва (1158). Однако можно ли говорить, что средневековые города были теми же самыми, что и их предшественники, даже в этих наиболее частых случаях преемственности?

В римском мире города были прежде всего политическими, административными и военными центрами и только затем — экономическими. В Раннее Средневековье, забившись в углы своих старых стен, ставших слишком просторными, города сохраняли почти исключительно лишь политическую и административную функцию, да и то атрофированную. Наиболее видные из них обязаны были своей относительной значимостью присутствию не столько государя, охотно путешествующего и предпочитающего деревню, или его высокопоставленного уполномоченного (их было мало, и за пределами королевского дома они не имели многолюдных свит), сколько епископа. Будучи религией преимущественно городской, христианство поддерживало на Западе городскую жизнь. И если епископальные города сохраняли определенную экономическую функцию, то это была та примитивная функция, которую обеспечивали амбары епископа или городских монастырей, куда свозились припасы из сельских окрестностей и откуда за службу или за деньги, а в голодную пору и бесплатно они распределялись среди части жителей.

Анри Пиренн великолепно показал, что средневековый город зародился и получил развитие благодаря именно своей экономической функции. Город был создан возобновленной торговлей и стал детищем купцов. Континуитет городов первого тысячелетия в средние века был мнимым, и его часто разоблачает то, что средневековый город возникал не на месте, а близ старого ядра поселения. Это был город предместий, на Западе — *portus*, у славян — *podgrozie*. А в тех случаях, когда континуитет все же имел место и средневековые города были преемниками античных, то все же большие города Средневековья возникали на месте маленьких античных или раннесредневековых городков. Венеция, Флоренция, Генуя, Пиза, даже Милан, незначительный до IV в. и затмевавшийся Павией с VII до XI в., а также Париж, Брюгге, Гент, Лондон, не говоря уже о Гамбурге и

Любеке, — все они являются творением Средневековья. За исключением прирейнских городов Кельна, Майнца и особенно Рима (но он в средние века был лишь крупным религиозным центром, наподобие Сантьяго-де-Компостеллы, но с более многочисленным постоянным населением), наиболее крупные римские города в средние века исчезли или отступили на второй план.

Города были порождены пробудившейся торговлей, но также и подъемом сельского хозяйства на Западе, которое стало лучше обеспечивать городские центры припасами и людьми. Стоит смириться с тем, что своим возникновением и расцветом средневековые города обязаны сложному комплексу причин и разным социальным группам. «Новые богачи или сыновья богачей?» — так после Пиренна был поставлен вопрос в знаменитом ученом споре с участием Люсьена Февра о том, кому города были обязаны своим подъемом. Города, конечно, привлекали *homines novi*, выскочек, порвавших с землей или монастырской общиной, лишенных предрассудков, предприимчивых и корыстолюбивых, но с ними вместе или оказывая им поддержку, в частности деньгами, которых у них поначалу не было, определяющую роль сыграли и представители господствующих классов, земельной аристократии и духовенства. Важное участие в подъеме городов приняла и такая группа населения, как минестериалы, сеньориальные служащие, чаще всего происходящие из рабов или сервов, но более или менее быстро поднимающиеся к верхним слоям феодальной иерархии.

Наиболее урбанизированными районами Запада, за исключением тех, где греко-римская, византийская и мусульманская традиции оставили прочные основы (Италия, Прованс, Лангедок, Испания), стали, несомненно, те, где завершались крупные торговые пути. Это Северная Италия, на которую выходили альпийские и морские средиземноморские пути, Северная Германия и Фландрия, на которые замыкалась торговля восточными товарами, и северо-восточная Франция, где на ярмарках Шампани, особенно в XII и XIII вв., встречались товары и купцы Севера и Юга. Но это были одновременно и районы наиболее плодородных равнин, наиболее устойчивого прогресса в распространении плуга, лошади как тягловой силы и трехполья. Конечно, пока что трудно в этой тесной связи между городом и деревней определить, где причины, а где следствия. Города, чтобы зародиться, нуждались в благоприятном сельском окружении, но по мере своего развития они оказывали растущее влияние на сельские окрестности, чтобы удовлетворять свои потребности. Будучи потребителями, лишь частично участвующими в аграрном производстве (полей в городах не было, хотя имелись сады и небольшие виноградники, ролью которых в обеспечении горожан продуктами не стоит пренебрегать), города нуждались в том, чтобы их кормили. Поэтому вокруг них расширялась запашка, росла урожайность, тем более что от сельской округи города получали не только продовольствие, но и людей. Миграция из сельской местности в города между X и XIV вв. была одним из важнейших фактов развития христианского мира. В любом случае можно с уверенностью утверждать, что из разнообразных социальных элементов город создавал новое общество. Бесспорно, что оно также принадлежало к обществу «феодальному», которое подчас представляют чрезмерно сельским. Ведь город в своей целостности самоопределялся как сеньория: сельские окрестности, которые он подчинял своей власти феодального типа (бан), развивались параллельно феодальной вотчине, превращаясь в сеньорию, управляемую на основе феодального бана. Город испытывал сильное влияние феодалов, которые кое-где, как в Италии, и селились в городах. Городские патриции, подражая им, строили каменные дома в виде башен, и эти башни, хотя и служили средством обороны и складами припасов, прежде всего были все же символом престижа, как и у феодалов. Горожане, бесспорно, составляли меньшинство в том преимущественно сельском мире. Даниэль Торнер, моделируя сельскую экономику средневекового Запада, полагает, что горожане составляли 5% всего населения, тогда как 50% его активной части было занято в сельском хозяйстве. Но мало-помалу городскому обществу удалось поставить свои собственные интересы выше интересов сельского. Церковь на сей счет не обманывалась. Если в XII в. глас монахов, таких, как Петр Достопочтенный из

Клюни или св. Бернارد из Сито, был указующим для христианского мира и тот же св. Бернارد тщетно пытался вырвать из Парижа, из объятий городских соблазнов, школяров, чтобы увлечь их в «пустынь», в монастырскую школу, то в XIII в. духовные предводители, доминиканцы и францисканцы, сами обосновались в городах и стали править душами с церковных и университетских кафедр.

Роль предводителя, двигателя, фермента, которую отныне взял на себя город, прежде всего утвердилась в экономической сфере. Если даже сначала город и был преимущественно местом обмена, торговым узлом, рынком, его существеннейшей функцией в этой сфере стало производство. Город — это мастерская. И особенно важно, что в этой мастерской началось разделение труда. В феодальном поместье Раннего Средневековья, даже если там и имела место некоторая специализация ремесленных работ, концентрировались все виды производства — и ремесленные, и сельскохозяйственные. Промежуточным этапом в выделении ремесленников, вероятно, был тот, который можно наблюдать, например, в славянских странах, в Польше и Чехии, где в X — XIII вв. крупные землевладельцы распределяли по отдельным своим деревням специалистов — конюхов, кузнецов, горшечников, тележников, о чем и поныне напоминают топонимы, как Шевче в Польше, подразумевающее шитье сапог. Как писал Александр Гейштор, «речь идет о деревнях, подчиненных власти княжеского управляющего и населенных ремесленниками, которые по-прежнему обязаны заниматься земледелием, чтобы обеспечить себя пропитанием, но на них возложена повинность поставлять определенную ремесленную продукцию». В городах эта специализация была доведена до логического конца, и ремесленник перестал быть одновременно или в первую очередь крестьянином, а бюргер — землевладельцем.

Однако не следует преувеличивать ни динамику развития, ни независимость новых ремесел. Благодаря многим экономическим рычагам (сырье поступало главным образом из феодальных поместий) и правовым (пользуясь своими правами, в частности на сбор пошлин, сеньоры ограничивали, сковывали производство и обмен, несмотря на городские вольности) феодалы контролировали экономическую активность города. Ремесленные цехи, в которые были организованы новые ремесла, представляли собой прежде всего, по точному определению Гуннара Миквица, «картели», не допускавшие конкуренции и стреножившие производство. Чрезмерная специализация ремесел (достаточно открыть «Книгу ремесел» Этьена Буало, регламентирующую в конце правления Людовика Святого, между 1260 и 1270 гг., деятельность парижских цехов, чтобы изумиться, например, числу железообрабатывающих ремесел: двадцать два из общего числа в сто тридцать) была если не причиной, то по меньшей мере признаком слабости новой экономики. Она ограничивалась удовлетворением преимущественно местных нужд. Города, работавшие на экспорт, были редкими. Лишь текстильное производство в северо-западной части Европы, особенно во Фландрии, и в Северной Италии благодаря выпуску дорогих тканей, тонкого сукна и шелка достигло масштабов почти индустриальных и стимулировало развитие смежных производств, особенно изготовление растительных красителей, из которых с XIII в. предпочтение отдавалось вайде. Остается еще сказать о строительстве, но это вопрос особый.

Но города играли также и роль торговых узлов, каковая в исторической литературе, особенно после Пиренна, была за ними справедливо признана, хотя ее значение было несколько преувеличено. Долгое время эту торговлю питали лишь предметы роскоши (ткани, вайда, пряности) и продукты первой необходимости (соль). Тяжелые товары, как древесина, зерно, в сферу крупной торговли входили очень медленно. Чтобы обеспечить эту торговлю, достаточно было небольшого числа рынков и примитивных операций, особенно по обмену монет, для ее обслуживания. В XII — XIII вв. главным местом такого обмена были ярмарки Шампани. Но на арену уже выходили города и порты Италии и Северной Германии. Итальянцы — венецианцы, генуэзцы, миланцы, сиенцы, жители Амальфи, Асти, а вскоре и флорентийцы — действовали более или менее изолированно, в рамках своих городов, так же как и горожане Амьена или Арраса; на севере же возникла большая торговая конфедерация,

быстро приобретшая политическое могущество и начавшая господствовать на обширных торговых пространствах, — Ганза. Ее появление можно связать с заключением в 1161 г. под эгидой Генриха Льва мира между немцами и жителями Готланда, по которому создавалась община немецких купцов, торгующих с Готландом (*universi mercatores imperil Romani Gotlandiam frequentantes*). К концу XIII в. ее влияние распространялось от Фландрии и Англии до Северной Руси. «Немцы повсюду вытесняют своих конкурентов, особенно на Балтике, но также и в Северном море, доходя то того, что запрещают проходить через датские проливы на запад жителям Готланда, на восток — фризам, фламандцам и англичанам, так что даже торговля между Норвегией и Англией оказалась в их руках». Так описывает положение, сложившееся к 1300 г., его исследователь Филипп Доллинер.

Создавая дальние фактории, она дополняла экспансию христианского мира. В Средиземноморье деятельность генуэзцев и венецианцев даже выходила за рамки торговой колонизации. Венецианцы, получившие от константинопольских императоров в 992 и 1082 гг. ряд чрезвычайных привилегий, после Четвертого крестового похода (1204) основали настоящую колониальную империю на берегах Адриатики, на Крите и на островах Ионического и Эгейского морей, в частности в Негропонте, то есть на Эвбее. В XIV — XV вв. в нее вошли острова Корфу и Кипр. Генуэзцы же обосновались в Малой Азии, в Фокее, крупной производительнице квасцов, необходимых текстильному производству, и в Северном Причерноморье (Кафа), откуда они через свои укрепленные пункты вывозили продовольствие и людей, домашних рабов обоего пола.

На севере ганзейские купцы утвердились в христианских землях — в Брюгге, Лондоне, Стокгольме (с 1251 г.), а также в православном мире (Новгород) и языческом (Рига, с 1201 г.). Экспансия купцов ускорила продвижение на восток немецких колонистов, горожан и крестьян; то мирно, а то с оружием в руках они добивались привилегий, которые, помимо экономических выгод, обеспечивали настоящее этническое превосходство. Так, в торговом договоре между смоленским князем и немецкими купцами 1229 г. записано: «Если русский покупает у немецкого гостя товар в долг и при этом он является должником какого-либо другого русского, то немец пусть получит долг первым». Если русский и немец одновременно прибывали к месту волока товаров, то русский должен был пропустить немца первым, если только русский не из Смоленска, в противном случае они бросали жребий. Торговая форма колонизации давала Западу также навыки колониализма, принесшего ему позднее успех, а затем, как известно, тяжкие проблемы.

Будучи двигателем территориальной экспансии, крупная торговля в такой же мере играла существеннейшую роль и в экспансии денежного хозяйства, каковое было еще одним феноменом, связанным с развитием городов. Как центры потребления и обмена, города вынуждены были все более прибегать к использованию монеты для регулирования торговых операций. Решающим периодом здесь стал XIII в. Флоренция, Генуя, Венеция, испанские, французские, немецкие и английские государи, чтобы удовлетворить потребности в деньгах, стали чеканить сначала серебряные монеты высокого достоинства, гроши, а затем золотые (флорентийский флорин появился в 1252 г., эку Людовика Святого в 1263-1265 гг., венецианский дукат в 1284 г.). Роберто Лопец назвал XIII в. «веком возврата к золоту».

Ниже будут объяснены последствия этого растущего преобладания денежного хозяйства над натуральным: внедряясь в сельской местности и преобразуя земельную ренту, оно сыграло решающую роль в эволюции средневекового Запада. Если монетные реформы Карла Великого были проведены при всеобщем, за исключением небольшой группы его советников, невежестве и равнодушии, то монетные операции Филиппа Красивого в конце XIII — начале XIV в., представлявшие собой первую девальвацию денег на Западе, вызвали негодование почти всех слоев общества, а в городах привели к возмущению и народным бунтам. Крестьянская масса, несомненно, золотых монет и даже крупных серебряных в глаза еще не видела, но мелкими монетами, су, она пользовалась все больше и больше. Она также участвовала, хотя еще издавна, в том процессе, благодаря которому деньги вошли в повседневную жизнь западных людей.

Не менее глубокую печать город наложил и на духовную, художественную жизнь. В XI и отчасти в XII вв. монастыри, несомненно, создавали наиболее благоприятные условия для развития культуры и искусства. Мистический спиритуализм и романское искусство расцвели в монастырях. Ключни и большая церковь, построенная аббатом Гуго (1049-1109), символизируют этот приоритет монастырей на заре новых времен, который поддерживался — но иными средствами — обителью Сито и ее филиалами.

Перемещение центра тяжести культуры, благодаря чему первенство от монастырей отошло к городам, ясно проявилось в двух областях — в образовании и архитектуре.

В течение XII в. городские школы решительно опередили монастырские. Вышедшие из епископальных школ, новые учебные центры благодаря своим программам и методике, благодаря собственному набору преподавателей и учеников стали самостоятельными. Так называемая схоластика была дочерью городов. Она воцарилась в новых учебных заведениях — в университетах, представлявших собой корпорации людей интеллектуального труда. Учеба и преподавание наук стали ремеслом, одним из многочисленных видов деятельности, которые были специализированы в городской жизни. Показательно само название «университет», «universitas», иначе — «корпорация». Действительно, университеты были корпорациями преподавателей и студентов, *universitates magistrorum et scholarium*, различавшимися тем, что в одних, как в Болонье, заправляли делами студенты, а в других, как в Париже, — преподаватели. Книга из объекта почитания превратилась в инструмент познания. И как всякий инструментарий, она стала предметом массового производства и торговли.

Романское искусство, бывшее выразительным проявлением взлета христианского мира после тысячного года, на протяжении XII в. стало преобразоваться. Новый лик искусства — готический — появился в городе, а строительство городских соборов стало его высшим достижением. Иконография этих соборов выражала дух городской культуры: в ней деятельная и созерцательная жизнь искала равновесия, когда ремесленные корпорации украшали их витражами, в которых воплощались схоластические познания. Сельские церкви близ городов не очень удачно в художественном отношении и с гораздо меньшими материальными ресурсами воспроизводили облик ставшего образцовым городского собора или же какого-либо из его выразительных элементов: колокольни, башни или тимпана. Созданный для нового городского населения, более многочисленного, более гуманного и более реалистично мыслящего, собор не забывал, однако, напоминать ему о близкой и благодатной сельской жизни. Тема помесячных сельских трудов оставалась одним из традиционных украшений городской церкви.

Вклад церкви в этот подъем христианского мира был одним из главных. Нельзя, правда, сказать, что она непосредственно играла существенную роль в экономическом развитии, каковую ей, сильно преувеличивая, ранее вменяли в достоинство.

Жорж Дюби подчеркивал, что монахи сыграли очень неприметную роль в распашке новых земель, поскольку «ключнийцы и бенедиктинцы старого устава вели жизнь сеньориального уклада, значит, праздную», а новые ордена в XII в. «устраивались на уже освоенных, по крайней мере частично, землях», интересовались прежде всего скотоводством и, следовательно, относительно мало занимались расширением пашни; и наконец, «заботясь о сохранении своей „пустыни“, держа крестьян на расстоянии от себя, новые аббатства скорее способствовали защите отдельных лесных массивов от распашек, которые бы им без этого угрожали».

Тем не менее церковь была весьма деятельной в экономической сфере. На начальной стадии подъема она вкладывала средства, которыми она одна лишь и обладала. Начиная с тысячного года, когда экономический подъем, особенно развитие строительства, потребовал финансирования, которое не могло быть обеспечено обычным течением хозяйственной жизни, церковь извлекла накопленные ею сокровища и пустила их в оборот. Конечно, это

делалось под видом чуда, но чудотворные покровы не должны скрывать от нас экономических реалий. Когда епископ или аббат желал расширить, перестроить собор или монастырь, он сразу же находил чудесный клад, который позволял ему если не полностью совершить задуманное, то по меньшей мере приступить к постройке. Вот, например, епископ Орлеана Арнуль, который незадолго до тысячного года задумал перестроить «великолепным образом» церковь Сент Круа. «Его подвигнуло на это, — пишет Рауль Глабер, — знамение Господне. Однажды, когда каменщики, выбирая место для базилики, проверяли твердость почвы, они обнаружили много золота. Они сочли, что его будет, несомненно, достаточно для покрытия расходов по постройке святыни, даже и очень большого. Они взяли это случайно найденное золото и все отнесли епископу. Тот возблагодарил всемогущего Бога за этот дар, взял его и передал руководителям работ, приказав это золото полностью потратить на строительство церкви. Говорят, что им были обязаны прозорливости св. Эварция, занимавшего некогда этот епископский престол, который, предвидя эту перестройку, и зарыл золото».

В течение XI — XII вв., когда недостаточно уже было евреев на роль заимодавцев, которую они до того полностью брали на себя, и когда христианские купцы еще не перехватили у них ее, монастыри, как хорошо показал Робер Женесталь, выполняли функцию «кредитных касс».

Церковь на протяжении всего этого периода покровительствовала купцам и помогала искоренению предубеждения против них, из-за которого праздный класс сеньоров презирал их. Церковь предприняла реабилитацию деятельности, обеспечивающей экономический подъем, и из труда как наказания Господня, которому, согласно книге Бытия, должен после грехопадения предаваться человек, зарабатывая хлеб насущный в поте лица, сделала средство спасения.

Она всячески приспособлялась к эволюции общества и обеспечивала его необходимыми духовными лозунгами, что было уже показано на примере крестовых походов. В качестве противовеса тяжелой реальности она предлагала мечты о совершенстве. В течение всего этого периода, когда медленно создавалось благосостояние, распространялись деньги и богатство становилось все более соблазнительным, церковь снабжала как людей удачливых, беспокоящихся из-за своего богатства (Евангелие ведь выражает серьезные сомнения насчет способности богатого попасть в царствие небесное), так и подавленных нищетой и её идеологическим оправданием — апологией бедности.

Это явление наметилось в XI в. в многочисленных усилиях вернуться к евангельской простоте (*vita vere apostolica*), приведших к реформированию духовенства и обновлению института каноников, подчиненных так называемому уставу св. Августина, а расцвет порожденного им движения пришелся на конец XI — начало XII в. Оно вызвало к жизни новые монашеские ордена, утверждавшие необходимость удаления от мира ради обретения в одиночестве тех истинных ценностей, которые западный мир, казалось, все более утрачивал. Эти ордена, проповедуя ручной труд, обращаясь к новым видам хозяйственной деятельности, в которой новые способы обработки земли, как трехполье, сочетались с более интенсивным скотоводством и производством шедшей на нужды сукноделия шерсти, а также используя такие технические новшества, как мельницы и кузни, продолжали, совершенствуя, традицию хозяйственной деятельности, начало которой было положено бенедиктинцами.

Пример подавала Италия, которая, вероятно, через греческих монахов, живших по уставу св. Василия в Лации, в Калабрии и на Сицилии, питалась из мощного источника византийского и восточного монашеского движения. Св. Нил Гроттаферратский с X в., затем св. Ромуальд, основатель ордена камальдулов близ Равенны (1012), св. Иоанн Гуальберт, основатель монастыря Валломброза в Тоскане (1020), стали вдохновителями создания в середине XII в. новых орденов и «белого монашества», поднявшегося рядом с традиционным «черным» — бенедиктинцами. Этьен де Мюре основал орден в Гранмоне в 1071 г., св. Бруно создал Шартрез в 1084 г., Роберт Молезмский — Сито в 1098 г., Роберт д'Арбриссель —

Фонтевро в 1101 г., св. Норберт — Премонтре в 1120 г. Символом противостояния нового и старого монашества стал спор между цистерцианцем св. Бернардом, аббатом Клерво (1115 — 1154), и клюнийским аббатом Петром Достопочтенным (1122 — 1156). Против адептов спиритуализма, в котором главной была божественная служба, *opus Dei*, порученная рабами божьими монахам, выступили рьяные сторонники мистики, соединяющей молитву с ручным трудом, которым монахи занимаются вместе с послушниками и братьями мирянами, а религиозной чувственности, питаемой великолепием церковью, блеском литургии и пышностью служб, была противопоставлена жажда простоты и чистых линий. В противовес романскому барокко, изощрявшемуся в роскоши облицовок и причудливости вымученной орнаментики (простота романских построек — это восхитительное, но анахроническое творение XX в.), Сито восприняло зарождающуюся готику, более строгую, более упорядоченную и пренебрегающую частностями ради целого.

Более всего в течение этого периода жажду чистоты среди народных масс утоляли личности маргинальные, религиозные анархисты. Это были малоизвестные нам отшельники, расплодившиеся по всему христианскому миру, которые, занявшись поднятием нови, скрывались в лесах, где их осаждали посетители, или обосновывались в таких местах, где могли помочь путешественникам найти дорогу, мост или брод; не испорченные политикой официального духовенства, они становились наставниками бедных и богатых, скорбящих и влюбленных. С посохом, символом магической силы и страннической жизни, босой и в одежде из шкур — этот образ отшельника завоевал литературу и искусство. Он воплощал беспокойство общества, которое в условиях экономического подъема с его противоречиями искало убежища в одиночестве, открытом, впрочем, миру с его проблемами.

Но успешное развитие городов отодвинуло на второй план и сделало анахроническим и старое и новое монашеское и отшельническое движение, связанное с сельским, феодальным обществом. Продолжая приспосабливаться, церковь произвела новые ордена — нищенствующие. Сделала она это не без труда, не без колебаний. К 1170 г. лионский купец Пьер Вальдо с учениками, лионскими бедняками, которых позднее прозвали вальденсами, зашли в критике церкви столь далеко, что наконец порвали с ней. В 1206 г. сын богатого ассизского купца Франциск вступил как будто бы на тот же путь. Собравшиеся вокруг него единомышленники, поначалу двенадцать «меньших братьев», братьев миноритов, были озабочены лишь тем, чтобы смирением и абсолютной бедностью, обрекавшей на нищенство, способствовать очищению этого испорченного мира. Суровость их обета беспокоила церковь. Папы (Иннокентий III, Гонорий III, Григорий IX), римская курия и епископы стремились навязать Франциску и его товарищам устав, сделав из них орден, входящий в церковную организацию. Франциск был охвачен сильным душевным смятением, разрываясь между своим строгим идеалом и страстной привязанностью к церкви и ортодоксии. Он уступил, но сам удалился в пустыню. Там, в Ла-Верне, накануне его смерти (1226) стигматы положили конец его страданиям, став искуплением и вознаграждением ему. Его орден после него долгое время раздирался борьбой между ревнителями абсолютной бедности и сторонниками приспособления к миру. Папство поддерживало умеренных, выступая против экстремистов, называвших себя братиками, которые кончили тем, что, как и вальденсы, порвали с церковью.

В то же самое время, когда выступление Франциска привело, вопреки его намерениям, к появлению ордена братьев миноритов, или францисканцев, знатный испанский каноник Доминик Гусман охотно принял от папы устав для небольшой группы проповедников, которых он объединил, чтобы проповедью и примером бедности вернуть на путь ортодоксии еретиков. Современники, братья минориты и братья проповедники, получившие название доминиканцев, стали душой нищенствующих орденов, образовавших в XIII в. новое воинство церкви. Их своеобразие и доблесть состояли в том, что они решительно повернулись к городской среде. Именно этому новому обществу они проповедью, исповедью и своим примером стремились дать ответ на возникшие новые вопросы. Они перенесли обители в людные города. Карта францисканских и доминиканских домов в конце XIII в. —

это карта городской сети христианского мира. Они продублировали монастырские кафедры университетскими, где, утвердившись, затмевали всех других. Знаменитые профессора Парижского университета Фома Аквинский и Бонавентура были один доминиканцем, а второй францисканцем.

Однако, несмотря на успешную адаптацию, церковь, и далее применявшаяся к эволюции христианского мира, уже не могла им руководить как в Раннее Средневековье. С конца XII в. новые ордена цистерцианцев и премонстрантов стали терять свое влияние. Даже к нищенствующим орденам отношение уже было не единодушным: коль скоро труд становился базовой ценностью нового общества, допустить, что можно жить нищенством, было непросто. Университетские преподаватели, писатели, которые были, несомненно, выразителями более широкого общественного мнения, сильно попрекали братьев их нищенством. Парижский магистр Гийом де Сент-Амур, Жан де Мен, автор второй части «Романа о Розе», со страстью обрушивали обвинения на новые ордена. Фома Аквинский и Бонавентура, возражая им, вынуждены были напрягать всю силу своих доводов. В глазах части народа доминиканцы и францисканцы были символом лицемерия, а первые к тому же вызывали ненависть тем, что возглавляли репрессивную борьбу с ересью, взяв в свои руки инквизицию. Первый доминиканский мученик св. Петр Страстотерпец был убит в Вероне в 1252 г. взбунтовавшимся народом, и его образ с пронзенной кинжалом головой был во множестве распространен усилиями ордена.

В Раннее Средневековье именно церковные соборы задавали тон христианскому обществу. Соборы XII и XIII вв. уже принаравливались к эволюции этого общества. Наиболее известный и важный из них, IV Латеранский собор 1215 г., который организовал систему обучения и установил обязательное пасхальное причащение, был попыткой вернуть былое влияние и оказался запоздалым. XIII век стал веком секуляризации в большей мере, нежели веком готических соборов и схоластических сумм. В 1277 г. епископ Парижский Этьен де Тампье, издав перечень из 217 осуждаемых им тезисов, и архиепископ Кентерберийский доминиканец Роберт Килуордби с помощью аналогичного документа попытались обуздать интеллектуальную эволюцию. Они осуждали вперемишку и куртуазную любовь, и распушенность нравов, и чрезмерное обращение к разуму в теологии, и поощрение опытной рационалистической науки. Это постановление оказалось действенным лишь в отношении передовых течений мысли, которые не опирались еще на достаточно надежные инфраструктуры. Но несомненно, что, если даже и не все клирики поддерживали эти осуждения, они свидетельствуют не просто об отсталости, но уже о «реакционности» церкви.

Ее идеологическая монополия столкнулась с опасной угрозой. Начиная с первых проявлений подъема Запада около тысячного года лидерство церкви уже стало оспариваться, и прежде всего ересями. Шампанский крестьянин Леутард, проповедовавший неортодоксальное Евангелие жителям Вертю и окрестностей, итальянские еретики из Монтефорте, миланцы-патарены, тесно связанные с городскими движениями, и многие другие возмущали время от времени города и целые области. Ученые еретики, как Росцелин, Абеляр (если он был еретиком), его ученик Арнольд Брешианский, выплеснувший ересь из школ на улицы Рима и поднявший народ против папы, также вносили смуту, но в более ограниченные круги населения. Церковь, часто поддерживаемая государями, охотно предлагавшими ей свою «светскую руку», реагировала быстро и решительно. И в 1022 г. в Орлеане запылали первые костры с еретиками.

Но скоро оформилось и разлилось более мощное и опасное течение. Вдохновленное восточными ересями, связанное с балканским богомилством, оно из Италии проникло во Францию и Центральную Европу. Возникли разнородные в социальном отношении объединения, куда отчасти входило дворянство, но более всего горожане, бюргеры и ремесленники, и под разными названиями появились целые движения, более или менее согласные друг с другом. Наибольшего успеха добилось движение катаров. Катары — манихейцы. Для них было два равно могущественных начала: Добро и Зло. И Господь Бог

беспомощен перед князем зла, которого одни считали равным ему богом, а другие низшим по отношению к нему дьяволом, но с успехом восставшим против него. Земной мир и составляющая его материя — это творение Бога зла. Поэтому и католическая церковь принадлежит ко злу. И в отношении мира, его организации, феодального общества и его наставника — римской церкви возможно лишь полное их отрицание. Катары быстро организовались в церковь со своими епископами, духовенством из «совершенных» людей и создали свой особый ритуал. Это была антицерковь с учением, представлявшим собой антикатолицизм. Они имели сходство и даже связи с другими еретическими течениями XIII в., как вальденсы, спиритуалы и особенно иоахимиты, чье движение, балансировавшее на грани ортодоксии и ереси, вдохновлялось учением калабрийского монаха Иоахима Флорского. Иоахимиты верили в три эпохи: эпоха Закона, или Ветхого завета, за которой следует эпоха Справедливости и Нового завета, когда мир еще испорчен и управляется церковью, которая должна исчезнуть и уступить место Любви и Вечному Евангелию в третью эпоху. Этот миллениаризм выражался также в ожидании конца этого мироустройства и церкви и пришествия нового порядка в определенном году — 1260-м. Когда он прошел, многие стали связывать свою веру в третью эру с понтификатом разделявшего их взгляды папы Целестина V (1294). Понтификат оказался кратким. Целестин V, вынужденный через несколько месяцев отречься, был помещен в монастырь, где вскоре и умер — не без того, чтобы его преемника Бонифация VIII не заподозрили в причастности к его исчезновению. Смерть этого папы, совершившего, по словам Данте, «великое отречение», символизировала поворот в истории христианского мира.

Церковь в конце XIII в. взяла верх над этими движениями. Исчерпав традиционные и мирные средства против катаров и близких им еретиков, она прибегла к силе. Прежде всего к военной. Был организован крестовый поход против альбигойцев, завершившийся победой церкви, которой помогли северофранцузское дворянство, а позднее, после ряда отказов, и французский король, заключивший парижский договор 1229 г. Затем последовали репрессии, организованные новым учреждением церкви — инквизицией. Реально, несмотря на большие затруднения, церковь в начале XIV в. выиграла свою партию. Но она проиграла ее перед судом истории.

Великие ереси XII — XIII вв. нередко рассматривались как «антифеодальные». Если с точки зрения конкретной истории это определение спорно, то в рамках общих объяснений оно имеет смысл. Оспаривая устройство всего общества, эти ереси нападали и на то, что составляло его основу, — феодализм.

Феодализму часто противопоставляли городское движение. Своей политической организацией, коммуной, оно действительно было нередко направлено против сеньоров, особенно церковных; немало епископов стало жертвой восставших горожан, как, например, в Лане в 1112 г., о чем захватывающе рассказал Гиберт Ножанский. Городская жизнь питалась ремесленной и торговой активностью, тогда как феодализм жил за счет поместья, земли. Ментальность горожан, по крайней мере вначале, отличалась эгалитаризмом, основанным на горизонтальной солидарности, объединявшей людей благодаря клятве в сообщество равных; феодальная же ментальность, тяготевшая к иерархии, выражалась в вертикальной солидарности, цементируемой клятвой верности, которую низшие приносили высшим.

Дело в том, что феодализация и городское движение были двумя сторонами одной и той же эволюции, которая одновременно организовывала и пространство, и общество. Говоря словами Даниэля Торнера, западное средневековое общество было крестьянским, которое, как и всякое крестьянское общество, включало в себя незначительный процент горожан и над которым в случае только христианского Запада доминировала суперструктура, определяемая термином «феодализм».

Феодализм зародился, как мы видели, в каролингские времена. Он расцвел около тысячного года в разных вариантах, в зависимости от места и фазы своей эволюции в той или иной стране. Наиболее законченный во Франции и в Германии, он не достиг завершенности в Италии, где прочность античных традиций и раннее участие сеньоров в

городской жизни связывали его развитие. Еще более незаконченным он был в Испании, где особые условия Реконкисты предоставили возглавлявшим ее королям полномочия, ограничивавшие власть феодалов, и где права, предоставлявшиеся воинам и переселенцам, ограждали их свободу. В Англии, в нормандском королевстве Обеих Сицилии, в Святой земле феодализм был «импортированным», более четким и более схожим с некоторыми теоретическими моделями, чем в других странах, но зато и более хрупким. В славянских и скандинавских странах местные традиции придали феодализму другие нюансы.

В этом экскурсе, претендующем лишь на то, чтобы соотнести феодализм с эволюцией Запада в X — XIV вв., удовлетворимся определением его места, следуя за Франсуа Гансхофом, краткой характеристикой его развития на примере одной области, Маконне, пользуясь исследованием Жоржа Дюби, а также его периодизацией, как ее дал Марк Блок.

Феодализм — это прежде всего система личных связей, иерархически объединяющих членов высшего слоя общества. Эти связи имели реальную основу — бенефиций, которым сеньор жаловал своего вассала в обмен за определенные службы и клятву верности. Феодализм в узком смысле слова — это оммаж и фьеф.

Сеньора и вассала соединял вассальный договор. Вассал приносил оммаж сеньору. Наиболее древние тексты, где появляется это слово, происходят из Барселонского графства (1020), графства Сердань (1035), Восточного Лангедока (1033) и из Анжу (1037). Во Франции оно распространилось во второй половине XI в., в Германии впервые появилось в 1077 г. Вассал влагал свои сомкнутые руки в руки сеньора, который должен был сжать их, и выражал волю препоручить себя сеньору примерно по следующей формуле: «Сир, я становлюсь вашим человеком» (Франция, XIII в.). Он произносил затем клятву верности (фуа), за которой мог следовать, как во Франции, взаимный поцелуй, после чего он был «человеком сеньора» (*homme de bouche et de mains*). По вассальному договору вассал обязан был сеньору советом (*consilium*), что, в общем, означало его обязательство участвовать в созывавшихся сеньором собраниях вассалов и вершить, в частности, от его имени суд, а также помощь (*auxilium*), особенно военной и в определенных случаях финансовой. Вассал, таким образом, должен был вносить свой вклад в сеньориальное управление и судопроизводство и служить в войске. Взамен сеньор обязывался оказывать покровительство вассалу. Против неверного, вероломного вассала сеньор мог, обычно по решению его совета, принять меры, главной из которых была конфискация фьефа. Вассал же мог отказать в верности сеньору, который не выполняет своих обязательств. Теоретически такой отказ, право на который было ранее всего признано в Лотарингии в конце XI в., должен был торжественно провозглашаться и сопровождаться отказом от фьефа.

Понятно, что наиболее важные вопросы вращались вокруг фьефа. Слово это появилось на западе Германии в начале XI в. и получило распространение в своем техническом значении к концу столетия, хотя не везде и не всегда использовалось в этом узком смысле. Это скорее термин юристов и историков Нового времени, нежели понятие той эпохи. Самое существенное состоит в том, что фьефом чаще всего была земля. Это подводит под феодализм аграрную основу и дает ясно понять, что феодализм — это прежде всего система землевладения и землепользования.

Сеньор передавал фьеф вассалу во время церемонии инвеституры, которая представляла собой символический акт вручения вассалу какого-либо предмета — штандарта, жезла, кольца, ножа, перчатки, прута, клок соломы и т. д. Она обычно следовала за клятвой верности и оммажем. До XIII в. передача фьефа оформлялась письменным актом лишь в исключительных случаях. Феодализм был эпохой жеста, а не письменного слова. Наиболее существенным в эволюции фьефа было то, что если поначалу сеньор владел им по праву, подобному праву римской собственности, а за вассалом было право пользования доходами, то с XI в. право вассала значительно выросло. Оно приблизилось к праву собственности, правда не достигнув его, хотя само слово «собственность» (*proprietas*) стало произноситься только в XII и XIII вв.; право же сеньора отделилось от него и стало обозначаться понятием «*dominium*». Феодальная система, таким образом, более или менее

исключала понятие собственности, обычно определяемое как право пользования и распоряжения. С этой стороны денежное хозяйство и вообще система городской собственности оказались противостоящими феодальной системе. Но именно в той мере, в какой земля оставалась основой средневекового хозяйства, бюргер, стремившийся приобрести сеньорию, оказывался в ложном положении, пока в конце Средневековья сеньория не разошлась с фьефом.

Рост власти вассала над фьефом был обеспечен установлением наследственности фьефа, что было существенным элементом феодальной системы. Во Франции это совершилось рано, в X — начале XI в. В Германии и Северной Италии, где процесс был ускорен Конрадом II в 1037 г., позднее. В Англии наследственность распространилась лишь в XII в.

Помимо случаев разрыва вассального договора, политической игре в системе феодализма благоприятствовала и множественность вассальных связей, в которые вступал один и тот же человек. Почти каждый вассал был человеком нескольких сеньоров, и это часто затруднительное для него положение позволяло ему обещать самому щедрому из своих сеньоров преимущественную перед другими верность. Чтобы предотвратить анархию, которая могла из этого произойти, наиболее могущественные сеньоры стремились добиться, не всегда успешно, от своих вассалов принесения оммажа, высшего по отношению к приносимым другим сеньорам, — тесного оммажа (*hommage lige*). Именно этого пытались добиться короли от всех вассалов своих королевств. Но в этом случае возникала иная система, не феодальная, а монархическая, к которой мы еще вернемся.

Локальное исследование эволюции феодализма, какое проделал Жорж Дюби в отношении Маконне XI — XII вв., интересно тем, что показывает, как конкретно феодальная система, которую мы только что описали абстрактно и схематично, благодаря господству феодальной иерархии сеньоров и вассалов над крестьянами осуществляла эксплуатацию земли и как она, выходя за рамки вассального договора, обеспечивала каждому сеньору, большому и малому, комплекс чрезвычайно широких прав в его сеньории или фьефе. Эксплуатация осуществлялась через сеньорию, владение, которое было основой социальной и политической организации.

Жорж Дюби настаивает на одном кардинальном факте, причем в отношении не только Маконне. Центром феодальной организации был замок. Появление укрепленных замков, военное назначение которых не должно скрывать их гораздо более широкие функции, было одним из важных феноменов западной истории X — XIII вв.

В конце X в. социальная структура Маконне была еще внешне каролингской. Главной границей оставалась та, что разделяла свободных и сервов, и многие крестьяне были еще свободными. Власть графа, выражавшая силу государства, еще, кажется, уважалась. Но ситуация быстро изменилась, наступал феодализм. Нельзя сказать, что фьеф получил в Маконне широкое распространение. Но замок стал центром сеньории, к которой постепенно отходили все формы власти — экономическая, судебная и политическая. В 971 г. появился титул рыцаря, а в 986-м — первый частный суд, в аббатстве Клюни; в 988 г. впервые сеньор, граф де Шалон, стал взимать подати как с сервов, так и со свободных крестьян. 1004 годом датируется последнее упоминание наместнического суда, независимого от сеньора, а 1019 годом — последний приговор, вынесенный графским судом против кастеляна. Начиная с 1030 г. получил распространение вассальный договор, а в 1032 г. исчезло понятие «*nobilis*» (знатный), чтобы уступить место понятию «*miles*» (рыцарь). Тогда как положение всех крестьян, за некоторыми исключениями (аллодисты, министриалы), унифицировалось и создавался один общий класс (*manants*), среди сеньоров устанавливалась иерархия. К 1075 г. рыцарство, поначалу группа, отличавшаяся «богатством и образом жизни», стало «наследственной кастой, истинной знатью». Оно составляло, однако, два эшелона в соответствии с «распределением власти над низшими»: первым был эшелон кастелянов, владельцев замков (*domini, castellani*), которые осуществляли на той или иной территории всю публичную власть (бывший королевский бан), второй же состоял из простых рыцарей,

за которыми было лишь «небольшое число лично зависимых людей». В своем замке сеньор был господином территории, где он пользовался, вперемешку, и частными, и публичными правами, и это была так называемая баналитетная сеньория, хотя понятие «бан» (*bannus*) было в эту эпоху довольно редким.

К 1160 г. стали вырисовываться новые перемены, и между 1230 и 1250 гг. определилось иное феодальное общество. «Кастелянство перестало быть несущей конструкцией в организации бановой власти». Эта организация развалилась прежде всего из-за расширения слоя знати после того, как на пригорках поднялись укрепленные постройки мелких деревенских рыцарей и в начале XIII в. продублировали цепь укрепленных замков XI — XII вв. Кроме того, она была подточена снизу ослаблением власти сеньоров над крестьянами и ущемлена сверху изъятием части кастелянских полномочий совсем небольшой группой новых могущественных лиц, в которую входили крупные сеньоры, принцы и особенно король. В 1239 г. область Маконне отошла к королевскому домену. Классический феодализм закончился.

Марк Блок различал два возраста феодализма. Первый, до середины XI в., соответствовал почти неизменной организации сельского пространства, где обмен был слабым и нерегулярным, монета редкой, наемный труд почти неизвестным. Второй был результатом широких распахек, возобновления торговли, распространения денежного хозяйства и растущего превосходства купца над производителем.

Жорж Дюби обнаружил в Маконне ту же периодизацию, но он отодвинул на век позже, к 1160 г., поворотный между двумя периодами «момент, когда время независимых кастелянств уступило времени фьефов, цензив и феодальных княжеств».

Именно по отношению к экономическому развитию историки описывали эволюцию и фазы средневекового феодализма. Жорж Дюби, для которого «начиная с середины XI в. социальное движение и экономическое идут в противоположных направлениях: первое, замедляясь, ведет к сплочению классов и замкнутых групп, второе, ускоряясь, подготавливает ослабление всех рамок и освобождение», по существу, согласен с Марком Блоком. Я, однако, не уверен, что эти два движения не происходили в одном направлении дольше. Феодальная сеньория организовала производство и, хорошо ли, плохо, передала его той части горожан, купцам и бюргерам, которые от нее долгое время зависели. Конечно, в перспективе подъем городской буржуазии подтачивал феодализм, но в конце XIII в. она была далека от того, чтобы возобладать над ним, даже и в экономическом отношении. Потребовались века, чтобы растущая дистанция между экономическим могуществом и социально-политической слабостью высших городских слоев привела к буржуазным революциям XVII и XVIII вв.

Остается сказать, что экономическая эволюция помогла широким слоям крестьянства улучшить свою судьбу: на вновь освоенных землях крестьяне-госпиты получали вольности и свободы, особенно ощутимые в городских или полугородских по виду новых поселениях — «*villeneuves*», «*villefranches*», «*bastides*», если касаться только французских наименований. На всех западноевропейских землях в XIII в. распространялось движение по освобождению крестьян, которое улучшало если не материальное, то юридическое их положение. Ограничение сеньориальных поборов и замена барщины и трудовых повинностей обычно фиксированной податью, цензом, а также определение хартиями (а письменное слово, вытеснявшее жест, помогало, по меньшей мере на первых порах, развитию социальной свободы) точного размера основных платежей были признаками и средствами некоторого социального возвышения крестьянства, особенно земледельцев (*la-boueurs*), собственников рабочего скота и орудий труда, в отличие от массы более бедных крестьян (*manouvriers*, *brassiers*).

Остается также сказать, что экономическая эволюция, преимущественно с начала XIII в., не благоприятствовала мелкому и среднему рыцарству, которое залезало в долги быстрее, чем богатели, и вынуждено было продавать часть своих земель. В Маконне последний заем, полученный у рыцарей, датируется 1206 г., а начиная с 1230 мелкие рыцари-аллодисты стали

продавать свой оммаж и превращать свои аллоды в фьефы; наследственное достояние, за исключением обычно собственной запашки, распродалось участок за участком. Приобретателями же были наиболее могущественные сеньоры, которые если не были богаты звонкой монетой, то легко могли взять заем, церкви, особенно городские, которые благодаря подаяниям первыми скапливали монету, и, наконец, разбогатевшие простолюдины, иногда крестьяне, а чаще всего бюргеры. Кризис, который поначалу затронул сеньориальные доходы, феодальную ренту, вылился в XIV в. во всеобщий кризис, который, по сути, был кризисом феодализма.

На том уровне исторической эволюции, который называется политическим, явления часто представляются очень сложными, обремененными массой людей, событий и сочинений историков, охотно соблазнявшихся мнимой ясностью их поверхностных отражений. Политическая история средневекового Запада особо сложна потому, что она воспроизводит крайнюю раздробленность экономики и общества, разделение публичной власти между главами тех более или менее изолированных групп, которые, как мы видели, составляли одну из характерных черт феодализма. Но реальностью средневекового Запада была не только распыленность общества и его управления, но и запутанность властных полномочий по горизонтали и по вертикали. Находясь между многочисленными сеньорами, церковью и церквями, городами, принцами и королями, средневековые люди не всегда могли понять, от кого в политическом отношении они зависят. Даже на уровне администрации и правосудия средневековая история полна отражающих эту сложность конфликтов по поводу юрисдикции.

Зная финал средневековой истории, мы можем взять в качестве путеводной нити эволюцию государств.

Вскоре после тысячного года во главе Запада как будто встали два персонажа — папа и император. Конфликт между ними на протяжении целого периода занял всю авансцену. Но это театр теней, позади которого разыгрывались события более серьезные.

После смерти Сильвестра II (1003) папство имело отнюдь не блистательный вид. Оно пало под ударами сначала сеньоров Лациума, а затем, после 1046 г., — германских императоров. Но оно быстро поднялось. Более того, поднялось вместе со всей церковью, освободившейся из-под власти светских сеньоров. Дело в том, что григорианская реформа, названная по имени папы Григория VII (1073 — 1085), была лишь наиболее внешним проявлением мощного движения, которое тогда увлекло церковь на возвратный путь к ее истокам. Речь шла о восстановлении перед лицом класса воинов автономии и власти класса священников. Последний нуждался в обновлении и самоограничении. Отсюда борьба с симонией и медленное утверждение celibата духовенства. Отсюда стремление укрепить независимость папства, предоставив избрание понтифика коллегии кардиналов (декрет Николая II от 1059 г.). Отсюда же и усилия, направленные на то, чтобы вывести духовенство из-под воли светской аристократии, чтобы отнять у императора и, следовательно, у сеньоров право назначения и инвеституры епископов и чтобы заодно подчинить светскую власть духовной, возвысив меч духовной власти над мечом светской или передав оба папе.

Григорий VII как будто преуспел в этом, когда унизил императора Генриха IV в Каноссе (1077 г.). Но принеший покаяние император быстро взял реванш. Более благоразумный папа Урбан II продолжил борьбу, углубив ее, и прибегнул к крестовому походу, чтобы объединить христианский мир под своим авторитетом. Компромисс был достигнут в Вормсе в 1122 г.: император оставлял папе инвеституру «посохом и кольцом», обещал уважать свободу выборов и посвящений, но сохранил за собой инвеституру «жезлом», символом светской власти епископов.

Борьба в той или иной форме оживилась при Фридрихе I Барбароссе (1152 — 1190), который век спустя после Каноссы, в 1177 г., вынужден был также унизиться в Венеции перед папой Александром III; но по Констанцскому миру 1183 г. перед ним открылась возможность установить господство в Италии и, следовательно, оказывать давление на

папство. Конфликт между папством и империей достиг своего пароксизма при Фридрихе II в первой половине XIII в. С разной степенью удачливости папы Иннокентий III (ум. в 1216 г.) Григорий IX (1227 — 1241) и особенно Иннокентий IV (1243 — 1254) атаковали императора. Наконец папство как будто одержало полную победу. Фридрих II, отлученный от церкви и низложенный на Лионском соборе 1245 г., почти повсюду в Италии и в Германии разбитый, в 1250 г. умер, оставив империю во власти анархии Великого междуцарствия (1250 — 1273). Но, ополчившись против императора, этого колосса на глиняных ногах, власти анахронической, папы упустили из виду возвышение новой власти, которой иногда даже благоприятствовали, — власти королей.

Конфликт наиболее могущественного из них, короля Франции Филиппа Красивого, с папой Бонифацием VIII завершился оскорблением понтифика, получившего пощечину в Ананьи (1303), и ссылкой, «пленением» папства в Авиньоне (1305 — 1376). Столкновение в первой половине XIV в. между папой Иоанном XXII и императором Людовиком Баварским было лишь пережитком, позволившим сторонникам Людовика, и особенно Марсилию Падуанскому в его «Защитнике мира» (1324), определить черты нового христианского мира, где светская и духовная власть четко разделены. Секуляризация охватила и политическую идеологию. Последний великий поборник совмещения двух властей, последний великий человек Средневековья, подведший своим гениальным трудом черту под былой эпохой, Данте умер в 1321 г., обратив свой взор к прошлому.

Среди монахий и государств, наследников политической власти империи, которые поднимались в XI — XIV вв., даже самые сильные не имели ни династической преемственности, ни определенной территории. Ограничиваясь лишь одним примером, можно указать на всю западную часть современной Франции, которая вплоть до XV в. балансировала между французской и английской короной. Но в формировании территориальных объединений, когда через ускорения, замедления и преобразования происходило собирание мелких ячеек средневекового общества, уже вырисовывалось будущее. Суверенные государи стали рапсодами средневекового христианского мира.

На первый план выступают три крупных политических успеха.

Прежде всего в Англии, которая после нормандского завоевания (1066) первой стала являть собой образ централизованной монархии в правление Генриха I (1110 — 1135) и особенно Генриха II Плантагенета (1154 — 1189). С 1085 г. книга Страшного суда опись королевских владений и прав, обеспечила королей бесподобным средством власти. Солидные финансовые учреждения палата Шахматной доски) и тесно связанные с тронном чиновники (шерифы) помогали осуществлять ее. В начале XIII в. разразился продолжавшийся несколько десятилетий тяжелый кризис. Иоанн Безземельный вынужден был согласиться с ограничением королевской власти Великой хартией вольностей (1215), а после восстания дворянства под руководством Симона де Монфора Оксфордские провизии поставили монархию под еще больший надзор. Но Эдуард I (1272 — 1307) и даже Эдуард II (1307 — 1327) сумели стабилизировать королевскую власть, допустив парламентский контроль, благодаря которому в управлении стали соучаствовать знать, духовенство и бюргерство. Войны, удачные против Уэльса и безуспешные против Шотландии, обеспечили англичан новым вооружением и тактикой и приучили часть народа к участию в военных действиях, как и к участию в местном и центральном управлении. В начале XIV в. Англия была наиболее обновленным и наиболее устойчивым христианским государством. Это позволило столь маленькой стране примерно с четырьмя миллионами жителей одержать в начале Столетней войны блестящие победы над французским колоссом с его четырнадцатимиллионным населением.

Франция в начале XIV в. тем не менее не испытывала недостатка темпов развития. Ее продвижение при капетингской монархии было более медленным, но, возможно, более верным. Во времена между избранием Гуго Капета (987) и восшествием на престол Людовика VII (1137) силы слабых капетингских монархов поглощались тяжелой, постоянно

возобновляющейся борьбой с мелкими сеньорами-грабителями, засевшими в своих донжонах в Иль-де-Франсе. Эти короли жалко выглядели в сравнении со своими крупными вассалами, наиболее могущественный из которых, герцог Нормандский, в 1066 г. присоединил к своему герцогству английское королевство, а затем в середине XII в. — обширные владения Плантагенетов. Однако в 1124 г. Франция проявила свою привязанность к королю перед лицом угрозы со стороны германского императора, который вынужден был отступить. Свое растущее могущество Капетинги строили за счет увеличения королевского домена, очищаемого от феодальных смутьянов. Прогресс, очевидный уже при Людовике VII (1137 — 1180) и ошеломляющий при Филиппе-Августе (1180 — 1223), пошел вширь и стал устойчивым при Людовике VIII (1223 — 1226), Людовике Святом (1226-1270). Филиппе Храбром (1270 — 1285) и Филиппе IV Красивом (1285 — 1314). Финансовая база французской королевской власти оставалась слабой, король продолжал получать основную часть доходов с домена, «жил за счет своего», но в его руках была администрация, после того как при Филиппе-Августе были учреждены должности бальи, сенешалей и прево, был расширен Совет и из него выделились палаты, специализирующиеся на финансах и особенно на правосудии, которое с организацией Филиппом Красивым в 1303 г. парламента стало привлекать растущее по мере успешного развития королевского апелляционного суда количество дел. Генеральные штаты, состоящие, как и в Англии, из прелатов, баронов и богатых бюргеров «добрых городов», созданных Филиппом Красивым, скорее оказывали помощь, нежели ограничивали власть короля и его советников, легистов, воспитанных в университетах и проникнутых духом римского права, поставленного на службу суверенному «императору в своем королевстве».

Феодальная реакция последовала за смертью Филиппа Красивого в 1315 г., но в 1328 г. смена династии, приход Валуа взамен рода Капетингов, прошла без затруднений. И новая династия стала, кажется, лишь более открытой феодальным влияниям, еще очень сильным при парижском дворе.

Третьим успехом монархической централизации был тот, который одержало папство. Оно было мало обязано им своей светской властью над той территорией, что предоставлял убогий патримоний св. Петра. Лишь обеспечив себе власть над епископами, взяв в свои руки кодификацию канонического права и особенно используя финансовые источники церкви — не без сильных протестов, например в Англии и Франции, — папство в XII, но преимущественно в XIII в. стало преобразовываться в сильную наднациональную монархию. Она не только выстояла в условиях авиньонского пленения, но и укрепила при этом свою власть над церковью, так что Ив Ренуар мог справедливо утверждать, что Авиньон для этой монархии был лучшим географическим центром, чем эксцентрический Рим.

Успехи объединительной монархической политики на Пиренейском полуострове были меньшими, и там, несмотря на временные союзы, королевства оставались разобщенными. Но эти королевства — Португалия с 1140 г., Наварра, Кастилия, поглотившая Леон после 1230 г., и Арагон, если не принимать в расчет устойчивости арагоно-каталонского дуализма, существовавшего под покровом политического союза, заключенного в 1137 г., — представляли собой стабильные политические образования. В своих границах, менявшихся в зависимости от прогресса Реконкисты и династических комбинаций, каждое королевство добивалось значительных достижений в деле централизации. Царствование Альфонса X Мудрого (1252 — 1284) в Кастилии было эпохой составления обширного сборника законов «Партиды» и подъема, при королевском покровительстве, Саламанкского университета. Арагон, устремившийся под влиянием каталонцев к средиземноморским горизонтам, стал крупной державой при Якове Завоевателе (1213 — 1276), а после ее раздела (1262) расцвета достигло королевство Майорка со столицей в Перпиньяне и городами Майоркой и Монпелье, где были любимые резиденции королей. Особые же условия Реконкисты и заселения Пиренейского полуострова позволили народу через очень жизнестойкие местные собрания, кортесы, которые начали функционировать с середины XIII в. во всех королевствах, принять широкое участие в управлении.

Поражение монархической централизации наиболее явным было в Италии и в Германии. В Италии территориальной коагуляции помешали светская власть пап в центре полуострова и императорская власть на севере. Борьба между гвельфами и гибеллинами, рассыпавшаяся на тысячи эпизодов, сопровождалась игрой фракций и партий между городами и внутри городов. На юге Неаполитанское королевство, или королевство Обеих Сицилии, несмотря на усилия нормандских и германских королей (Фридрих II основал в Неаполе первый государственный университет и обуздал феодалов мельфийской конституцией 1231 г.), а также анжуйцев, стало ареной слишком частой смены иностранных владений, чтобы прийти к устойчивой системе управления. В Германии же императоров искушал итальянский мираж, заслонявший германские реалии. Фридрих Барбаросса как будто сумел навязать феодалам королевскую волю, особенно когда он покончил с наиболее могущественным германским сеньором Генрихом Львом, герцогом Саксонии и Баварии. Но династические распри, войны между претендентами на корону и растущий интерес к Италии, все более, однако, непокорной, привели в Великое междуцарствие (1250 — 1273) к поражению политики монархической централизации. В конце XIII в. живыми политическими силами Германии стали вдоль границ колонизации на севере и на востоке ганзейские города и старые и новые княжеские дома. В 1273 г. императорской короной был увенчан мелкий эльзасский князь Рудольф Габсбург, воспользовавшийся тронем, чтобы заложить на юго-востоке, в Австрии, Штирии и Каринтии, фундамент будущего величия своей династии.

На востоке и севере Европы династические споры, феодальная раздробленность и неопределенность границ играли против авторитета центральной власти, подрываемой сверх того и германской колонизацией.

В Дании королевская власть после взлетов и падений вроде бы взяла в начале XIV в. верх над феодалами, но король был столь беден, что вынужден был в 1319 г. заложить страну своему кредитору графу Голштинскому. В Швеции короли стали в XIII в. выборными, но при короле Магнусе Ладулосе (1274 — 1290) и особенно при Магнусе Эриксене (1319 — 1332) там на время удалось закрепить династии Фолькунгов. Наиболее удачливой была, кажется, Норвегия, где Хакон V Старый (1217 — 1263) разбил светскую и церковную аристократию и установил наследственную монархию.

В Польше после Болеслава Храброго, коронованного в Гнезно в день Рождества Христова в 1076 г., королей больше не было. Династия Пястов, однако, продолжала существовать в лице князей, кое-кого из которых не покидала забота об объединении, как Болеслава Кривоустого (1102 — 1138) и с 1173 г. Мешко Старого. Но восстания светских и церковных феодалов, которым прямую или косвенную помощь оказывали не только немцы, но также чехи и венгры, превратили Польшу в конгломерат независимых княжеств, число которых на протяжении XIII в. неуклонно росло. В 1295 г. Пшемисл Великопольский восстановил у себя польское королевство, однако после него титул польского короля последовательно принимали два чешских короля, так что пришлось ждать коронации в 1320 г., на сей раз в Кракове, мелкого киявского сеньора Владислава Локетка, чтобы наконец утвердилось «*Corona regni Poloniae*». Его сыном был Казимир Великий (1333 — 1370). Но тем временем Конрад Мазовецкий призвал для борьбы с пруссами тевтонских рыцарей, и тевтонцы, опираясь на новые епископства Торн (Торунь), Кульм (Хелмно) и Мариенвердер, основали немецкое государство. Завоевав Померанию с Гданьском, они превратили свою крепость Мариенбург в его настоящую столицу.

Случай Чехии более сложный. В конце XII в. Оттокар I (1192 — 1230) принял, в 1198 г., королевскую корону и сделал ее наследственной в роду Пшемисловичей. Но короли Чехии были также князьями империи и играли в Германии опасную роль. Оттокар II (1253 — 1278), прозванный за роскошь двора «золотым королем», будучи не удовлетворенным титулом курфюрста империи, стал домогаться императорской короны. К Чехии и Моравии он присоединил, благодаря завоеваниям, Австрию, Штирию, Каринтию и Крайну. Но он столкнулся с Рудольфом Габсбургом, который победил его на выборах императора и нанес

ему поражение в битве близ Дюрнкрута в 1278 г. С мечтой о Великой Чехии было покончено, чего не скажешь о немецких мечтах, которые стал реализовывать в XIV в. король из новой, иноземной династии Карл Люксембургский, император Карл IV. Реальностью, однако, было растущее заселение Чехии иммигрантами из Германии.

В Венгрии постоянные споры из-за престола в XI — XII вв. ослабили Арпадов, потомков св. Стефана, однако они сумели в борьбе с немцами и особенно византийцами, попытавшимися аннексировать Венгрию, расширить свое королевство за счет Трансильвании, Словении и Хорватии. Бела III (1173 — 1196), женатый на сестре Филиппа-Августа, казалось, основательно укрепил монархию, но набирающий силу класс феодалов навязал его сыну Андрею II в 1222 г. Золотую буллу, которую в свое время несправедливо называли Великой хартией Венгрии. Вместо того чтобы закрепить национальные вольности, она обеспечила супремагию знати, которая быстро ввергла страну в анархию. Смерть последнего из Арпадов в 1301 г. углубила кризис, поскольку привела к появлению в Венгрии иностранных государей.

1 августа 1291 г. жители долины Ури, вольная община из долины Швиц и объединившиеся люди из долины Унтервальден перед лицом габсбургской угрозы, поклявшись, создали вечный союз, как это часто делали члены городских и горных общин. Тогда было трудно предвидеть, что этот союз станет ядром новой своеобразной политической организации — Гельветической конфедерации. 15 ноября 1315 г. он одержал блестящую победу над Леопольдом Габсбургом у Моргартена. Военная мощь швейцарцев заявила о себе одновременно с их политическим будущим.

В тот момент, когда западный христианский мир достиг апогея своего развития, готовился бросить вызов кризису и пойти на глубокие преобразования, мог бы возникнуть вопрос, каким организующим началом и каким силам предстояло прийти на смену феодализму, еще сильному в социально-экономическом отношении, но приходящему в упадок в политическом. Можно было бы подумать о городах, все более процветавших и излучавших беспримерное культурное влияние, познавших наряду с экономическими, художественными, интеллектуальными и политическими успехами также и военные триумфы. Наиболее ранний из последних относится к 1176 г., когда города Северной Италии нанесли Фридриху Барбароссе поражение у Леньяно, ошеломившее феодальный мир. А в 1302 г. близ Куртре пехотинцы фламандских городов разбили наголову цвет французского рыцарства, собрав затем пятьсот золотых шпор, давших название битве. Именно Генуе, Флоренции, Милану, Сиене, Венеции, Барселоне, Брюгге, Генту, Ипру, Бремену, Гамбургу, Любеку должно было, казалось, принадлежать будущее. И тем не менее новая Европа созидалась вокруг не городов, а государств. Экономическая база городов была недостаточной для политической мощи первого порядка и даже для экономической деятельности широкого размаха. По мере того как крупная торговля переставала ограничиваться предметами роскоши, но стала заниматься также и такими товарами, как зерно, городские центры все менее удовлетворяли ее своими размерами. Уже с конца XIII в. города держались или за счет конфедераций, и это было ганзейское решение проблемы, или же благодаря собиранию вокруг себя сельской округи, и это было фламандское решение проблемы (Брюгге и Гент своей силой были столь же обязаны этой округе, сколь и дальней торговле), но более всего — итальянское: города Лигурии, Ломбардии, Тосканы, Венецианской области и Умбрии окружали себя насущно необходимыми для них «contado». Наиболее урбанизированный из всех город, Сиена, где банковское дело уже в XIII в. пережило свои самые славные времена, эту потребность города в деревне хорошо выразил с помощью искусства. На фресках муниципального дворца, где Амброджо Лоренцетти изобразил между 1337 и 1339 гг. во славу горожанам Доброе и Дурное Управление, город, хотя и окруженный стенами, оштетинившийся высокими башнями и постройками, не отделен от своей округи, необходимого для него «contado». Венеция продлевала себя за счет «Terra Ferma». Возможно, все это нелегко было уловить в конце XIII в. Но время островков,

небольших поселений и малых социальных ячеек готово было пройти, как и время феодализма. Наступал другой тип организации пространства: территориальное государство. Проницательные люди той эпохи ощущали эту реалию в ее демографическом проявлении. Пьер Дюбуа полагал, что король Франции — наиболее могущественный государь христианского мира, поскольку у него больше всего подданных, и Марсилиус Падуанский представлял народонаселение одной из главных опор новых государств. Но большое население может существовать лишь на обширном пространстве, и прогресс начал требовать объединения отнюдь не малых территорий.

ГЛАВА IV. Кризис христианского мира (XIV — XV вв.)

Если большинство христианских государств в начале XIV в. еще колебалось в подвижных границах, то христианский мир в его целостности стабилизировался. Как сказал А. Льюис, он достиг «последней границы». Средневековая экспансия закончилась. Когда она возобновилась в конце XV в., это был уже другой феномен. С другой стороны, прекратились как будто и нашествия Вторжения монголов 1241 — 1243 гг. оставили в Польше и Венгрии страшные следы, особенно в последней, где нашествие куманов, подгоняемых монголами, усилило анархию и дало венграм короля полукумана, полу язычника — Владислава IV (1272 — 1290), против которого папа Николай IV объявил крестовый поход. Но это были лишь рейды, после которых раны быстро заживали. Малая Польша и Силезия, после того как прошли татары, пережили новую волну распашек и подъема сельского и городского хозяйства.

Но христианский мир на рубеже XIII — XIV вв. не просто остановился, но съежился. Прекратились распашки и освоение новой земли, и даже окраинные земли, возделывавшиеся под давлением роста населения и в пылу экспансии, были заброшены, поскольку их доходность была действительно слишком низкой.¹ Начиналось запустение полей и даже деревень, появились «Wustungen», изученные Вильгельмом Абелем и его учениками. Возведение больших соборов прервалось. Демографическая кривая склонилась и поползла вниз. Рост цен остановился, дав пищу депрессии.

Наряду с этими крупными явлениями общего характера возвести о том, что христианский мир входит в кризис, и события, одни из которых поражали уже современников, а другие обрели свой смысл лишь в глазах грядущих исследователей.

Целая серия выступлений, городских бунтов, восстаний, особенно во Фландрии, разразившихся в последней трети XIII в. (в Брюгге, Дуэ, Турне, Провене, Руане, Орлеане, Безье в 1280 г. Тулузе в 1288 г., Реймсе в 1292 г., Париже в 1306 г.), завершилась в 1302 г. на землях современной Бельгии почти всеобщим восстанием, как пишет льежский хронист Хоксем: «В этот год народ почти повсюду поднялся против могущественных людей. В Брабанте это восстание было подавлено, но во Фландрии и в Льеже народ долгое время не сдавался».

В 1284 г. обрушились своды собора в Бове, вознесенные на 48 метров. Готические мечты никогда уже выше не взбирались. Постройка соборов остановилась: в Нарбонне в 1286 г., в Кельне в 1322-м, Сиена же достигла предела своих возможностей в 1366 г.

Началась девальвация монеты, ее порча. Франция при Филиппе Красивом (1285 — 1314) пережила несколько первых в средние века девальваций. Итальянские банки, особенно флорентийские, стали жертвой катастрофических банкротств. Барди, Перуцци, Аччаюоли, Бонакорси, Кокки, Антеллези, Корсики, Уццано, Перендоли и, добавляет флорентийский хронист Джованни Вил-лани, «множество других мелких компаний и отдельных ремесленников» оказались в этом потоке.

Несомненно, что симптомы кризиса проявились в наиболее хрупких секторах экономики: в текстильном производстве, развитие которого поставило его в зависимость от колебаний спроса богатой клиентуры, обслуживавшейся им; в строительстве, где использование огромных средств обходилось все дороже и дороже, по мере того как рабочая

сила, первичные материалы и капиталы находили применение в других, более выгодных отраслях; в денежной экономике, где неумелое использование биметаллизма после возобновления чекана золотой монеты, а также неблагоприятие банкиров, осаждаемых просьбами все более алчных до денег и все более залезающих в долги государей, увеличили проблемы, и без того присущие этой форме экономики, с которой даже и занятые в ней люди еще мало свыклись.

С монетами вещь непонятная случилась.
Не ведаешь, как с ними поступить.
Бегут туда-сюда, надеешься схватить.
Ан смотришь — ничего не получилось.

Так писал Жиль Ли Мюизи, аббат Сен-Мартен-де-Турне, в начале XIV в. Кризис развернулся во всей своей полноте, когда поразил жизненно важную сельскую экономику, В 1315 — 1317 гг. ненастная погода повлекла за собой плохие урожаи, рост цен и всеобщий голод, почти неведомый на Западе, по крайней мере на крайнем Западе, в XIII в. В Брюгге умерло от голода две тысячи жителей из тридцати пяти.

Снижение физической сопротивляемости человеческого организма вследствие постоянного недоедания сыграло свою роль в тех опустошениях, которые, наконец, произвела Великая чума с 1348 г. Склонявшаяся демографическая кривая резко пошла вниз, и кризис превратился в катастрофу.

Но ясно, что кризис предшествовал этому бичу, чуме, которая лишь крайне обострила положение, и что причины этого следует искать в глубинах самих социально-экономических структур христианского мира. Сокращение феодальной ренты и перемены, вызванные растущей ролью денег в крестьянских повинностях, пошатнули основы власти феодалов.

Сколь бы он ни был сильным, этот кризис не повлек спада во всей западной экономике, и он по-разному затронул социальные классы и отдельных людей. Если в какой-то географической или экономической области он дал о себе знать, то рядом наблюдался новый подъем, который шел на смену и компенсировал убытки в соседней области. Традиционное производство дорогих сукон, «старое сукноделие», жестоко пострадало от кризиса, и города, где оно преобладало, пришли в упадок; но по соседству поднялись новые центры, занявшиеся производством не менее дорогих тканей для менее богатой и требовательной клиентуры: это было торжество «нового сукноделия», изготовления шерстянки и бумазеи на основе хлопка. Если одно семейство разорялось, то другое, по соседству, занимало его место.

Пережив период неурядиц, класс феодалов приспособился и стал в широких масштабах заменять земледелие более доходным скотоводством, а тем самым, умножая число огороженных мест, и преобразовывать сельский пейзаж. Он изменил условия эксплуатации крестьян, характер повинностей и платежей, начав применять реальную монету и монету счетную, искусное использование которой позволяло противостоять девальвациям. Но несомненно, что только наиболее сильные, наиболее искусные и наиболее удачливые получали прибыль там, где другие разорялись.

Несомненно также, что убыль народонаселения, ускоренная чумой, сократила рабочую силу и клиентуру, но заработки поднялись, и выжившие стали, в общем, богаче. Несомненно, наконец, что пораженный кризисом феодализм прибегнул к войне как средству облегчения положения господствующих классов. Наиболее знаменательным тому примером является Столетняя война, к которой подспудно стремилась и английская, и французская знать, чтобы разрешить свои затруднения. Но, как и всегда, война ускорила ход событий и на мертвых телах и руинах разродилась новой экономикой и обществом, хотя в данном случае не следует преувеличивать.

Кризис XIV в., таким образом, быстро окупился перекройкой экономической и социальной карты христианского мира. Он создал благоприятные условия и придал выразительность прежней эволюции в сторону государственной централизации. Он

подготовил французскую монархию Карла VII и Людовика XI, власть Тюдоров в английском королевстве, испанское единство при католических королях и почти повсеместно, особенно в Италии, возвышение княжеской власти. Он пробудил, главным образом среди бюргерства, новые потребности в разных изделиях, подтолкнул к поиску новых способов их изготовления и, возможно, к выходу на серийное производство (в интеллектуальной сфере это позволила сделать типография), которое отвечало, в среднем при весьма еще достойном качестве продукции, возросшему уровню жизни новых слоев населения и более широкому распространению благосостояния и хорошего вкуса. Он зачал общество эпохи Возрождения и Нового времени, более открытое и для многих более счастливое, нежели удушливое феодальное общество.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЛАВА V. Генезис

В истории цивилизаций, как и в человеческой жизни, детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет будущее. В период детства средневековой цивилизации, в V — IX вв., зародились строй мышления и особенности чувственного восприятия мира, свои проблемы и темы культуры, которые в будущем формировали и наполняли содержанием структуры средневековой ментальности и чувствования.

Но прежде всего оно предопределило характер взаимодействия этих структур. Ведь хорошо известно, что в каждой цивилизации есть разные слои культуры, различающиеся в зависимости от своего социального или исторического происхождения, и что их комбинации, взаимовлияния и слияния ведут к синтезу новых структур.

Все это особенно сильно ощущалось в Раннем Средневековье на Западе. И наиболее очевидной новой чертой культуры были отношения, установившиеся между языческим наследством и христианством, если допустить, хотя это и далеко от истины, что-то и другое образовывали нечто взаимосвязанное, представляющее собой единую культуру. Но по крайней мере на уровне образованных слоев общества, где была достигнута достаточно высокая однородность взглядов, можно было бы представить отношения этих двух начал как партнерство. А может быть, как соперничество.

Спор, конфликт между языческой культурой и духом христианства прошел через всю раннехристианскую, всю средневековую литературу и, наконец, через многие работы позднейших историков, посвященные средневековой цивилизации. Эти два строя мысли и два восприятия поистине противостояли друг другу, как нынче противостоят марксистская и буржуазная идеологии. Языческая литература в целом создавала для христианского Средневековья трудную проблему, хотя еще в V в. она была в принципе намечена. Но вплоть до XIV в. сосуществовало два крайних подхода: запрещение использовать и даже читать древних авторов и дозволение широко прибегать к ним, в чем не видели греха. Историческая конъюнктура благоприятствовала попеременно то одному, то другому. Принципиально отношение к этой проблеме было определено отцами церкви и прекрасно выражено св. Августином, который заявил, что христиане должны пользоваться древней культурой точно так же, как евреи использовали в свое время добычу, захваченную у египтян. «Если языческие философы, особенно платоники, случайно обрели истины, полезные для нашей веры, то этих истин не только не следует остерегаться, но необходимо отнять их у незаконных владельцев и употребить на пользу нам». Так, некогда израильтяне привезли из Египта захваченные там золотые и серебряные вазы и другие ценности и из них соорудили затем скинию. Эта программа, изложенная в сочинении «О христианском учении» и ставшая в средние века общим местом культуры, открыла путь целому ряду заимствований из греко-римской культуры. В средние века нередко люди очень строго держались буквы этого августиновского текста и использовали лишь отдельные элементы или материалы, как

например камни от разрушенных древних храмов, но иногда брали целые куски, как колонны для соборов, а бывало и целые храмы, как Пантеон в Риме, превратившийся в начале VII в. в христианскую церковь ценой небольших переделок и легкого камуфляжа.

Очень трудно оценить, в какой мере умственный инструментарий античности (словарь, понятия, методы) перешел в средние века. Степень его восприятия, преобразования, искажения меняется от одного автора к другому, и часто даже один и тот же автор колеблется между двумя полюсами средневековой культуры — страхом перед языческой литературой, бегством от нее и страстным восхищением ею, влекущим широкие заимствования. Еще св. Иероним подал пример таких колебаний. Обильно цитировавший, как всегда, античных авторов, которым был обязан своим образованием не менее, чем Библии, он однажды услышал во сне, как Господь воззвал к нему и строго сказал: «Цицеронианство это, а не христианство». Алкуину было такое же видение по поводу Вергилия. Иероним остановился на компромиссе, как и Августин: христианские авторы поступают с языческими подобно евреям в книге Второзакония, которые своим пленникам брили головы, стригли ногти, обряжали их в новое платье, а затем брали в жены.

На практике у средневековых клириков было много способов использовать языческих авторов, так чтобы удовлетворить свой интерес с малыми издержками. Так, в Ключи монах, который в библиотеке брался за чтение рукописи античного автора, должен был пальцем почесать за ухом наподобие собаки, «ибо неверного по праву можно сравнить с этим животным».

Остается сказать, что этот компромисс оберегал некоторую преемственность античной традиции, но он неоднократно нарушался в пользу последней, когда интеллектуальная элита испытывала потребность в возврате к древним истокам. Так происходили возрождения, которыми отмечено все Средневековье, в каролингскую эпоху, в XII в., и, наконец, в эпоху великого Возрождения.

Особенно важно заметить, что двоякая потребность раннесредневековых авторов и в использовании незаменимого духовного наследия греко-римского мира, и в его переплавке в горниле христианства благоприятствовала досадным интеллектуальным приемам: это систематическое искажение мысли древних авторов, постоянные анахронизмы, выдергивание цитат из контекста. Античная мысль выжила в средние века лишь в разорванном, искаженном и униженном христианством состоянии. Вынужденное прибегать к услугам своего поверженного врага, христианство сочло необходимым отнять у своего пленника память и заставило его работать на себя, забыв о своих традициях. Но тем самым оно и само оказалось вовлеченным в эту вневременность мысли. Ведь истины могут быть только вечными. Св. Фома Аквинский в XIII в. сказал, что мало значит то, что хотел автор сказать, важно то, что он сказал и что может быть использовано. Благодаря идее «передачи» (translatio) Рим как бы уходил из Рима, и начиналось великое средневековое смешение всего и вся. Но этот синтез был условием возникновения нового мироустройства.

Клонившийся к упадку античный мир облегчил труд христианских ученых первых веков Средневековья. Дело в том, что Средневековье узнало лишь то из античной культуры, что оно получило от Поздней империи, которая настолько перемолола, упростила и разложила греко-римскую литературу, мысль и искусство, что варваризированному Раннему Средневековью легко было их усвоить.

Ученые Раннего Средневековья позаимствовали программу образования не у Цицерона или Квинтилиана, а у карфагенского ритора Марциана Капеллы, который в начале V в. определил семь свободных искусств в поэме «Бракосочетание Меркурия и Филологии». Они искали познаний в географии не у Плиния или Страбона, которые, впрочем, были уже ниже Птолемея, а у посредственного компилятора III в., века начала упадка, Юлиана Солина, который передал Средневековью картину мира, населенного чудесами, чудовищами и дивами Востока. Воображение и искусство от этого, правда, выиграли, но наука несла убытки. Средневековая зоология была зоологией «Физиолога», александрийского сочинения

II в., переведенного на латынь в V в., где наука растворена в поэзии басенного стиля и в нравоучениях. Животные здесь превращены в символы. И Средневековье извлекло из этого материал для своих бестиариев, так что и зоологические познания эпохи оказались на грани невежества. Эти позднеантичные риторы и компиляторы научили средневековых людей обходиться крохами познаний. Словари, мнемонические стишки, этимологии (ложные), флорилегии — вот тот примитивный интеллектуальный материал, который Поздняя империя завещала Средневековью. Это была культура цитат, избранных мест и дигест.

И разве не то же самое произошло и с христианской частью культуры? Христианское учение — это прежде всего и по существу Священное писание. Оно было основой всей средневековой культуры. Но между текстом и читателем возник двойной экран.

Текст считался очень сложным, более того, столь богатым и исполненным тайны, что нуждался в толкованиях нескольких уровней в зависимости от заключенных в нем смыслов. Отсюда целая серия подходов, комментариев и глосс, за которыми терялся оригинал. Библия утонула в экзегетике. И Реформация XVI в. ощущала вполне понятное чувство ее обретения.

Затем необходимо было путем долгого труда сделать ее доступной всем в отрывках, в виде цитат или парафраз. Библия, таким образом, превращалась в собрание максим и анекдотов.

Сочинения отцов церкви также были тем материалом, из которого хорошо ли, плохо ли извлекали суть учения. Настоящими источниками христианской мысли в средние века стали такие второстепенные и третьестепенные трактаты и поэмы, как «История против язычников» ученика и друга св. Августина Орозия, превратившего историю в вульгарную апологетику, или «Психомакхия» Пруденция, низведшего моральную жизнь до борьбы пороков и добродетелей, или «Трактат о созерцательной жизни» Юлиана Померия, наставлявшего в презрении к миру и мирской деятельности.

Просто констатировать этот упадок интеллектуальной культуры было бы недостаточно. Гораздо важнее понять, что он был вызван необходимостью приспособить ее к условиям той эпохи. Эта эпоха, конечно, оставляла за аристократами, язычниками и христианами, как Сидоний Аполлинарий, свободу предаваться игре в культуру — может быть, и рафинированную, но ограниченную узкими рамками умирающего класса. Писатели же варваризировавшиеся работали на иную публику. Как справедливо писал Р. Р. Болгар по поводу систем образования св. Августина, Марциана Капеллы и Кассиодора, «самым большим достоинством новых теорий было, возможно, то, что они предлагали разумную альтернативу системе Квинтилиана. Ведь мир, в котором процветало ораторское искусство, был близок к смерти, а новая, идущая ему на смену цивилизация не хотела иметь дела с народными собраниями и форумами. Люди будущих столетий, чья жизнь должна была сосредоточиться в поместьях и монастырях, были бы сильно обескуражены, если бы им был предложен непонятный идеал традиционной системы образования и если бы Августин и Капелла не сменили бы Квинтилиана».

Наиболее образованные, выдающиеся представители новой христианской элиты вызывают удивление именно тем, что они, сознавая недостатки своего образования перед лицом великих предшественников, тем не менее отказывались даже и от того запаса утонченной культуры, которым они еще владели или могли бы овладеть, ради того чтобы стать понятными своей пастве. Опроститься, чтобы завоевать сердца, — таков был их выбор. И если он нам кажется не совсем удовлетворительным, то все же он производит впечатление. Это прощание с античной словесностью, совершавшееся вполне осознанно, было эмоциональным моментом самоотвержения главных христианских наставников Раннего Средневековья. Епископ Вьеннский Авит писал своему брату в начале VI в. в предисловии к новому изданию своих поэтических сочинений, что он решил отказаться в будущем от этого жанра, поскольку «слишком малому числу людей понятен силлабический слог». В те же времена Евгиппий колебался, стоит ли публиковать «Жизнь св. Северина», ибо он боялся, что «непонятное для толпы красноречие помешает ей постичь чудесные деяния святого».

Схожие идеи развивал Цезарий Арелатский: «Я смиренно прошу, чтобы слух ученых людей снес без жалоб деревенские выражения, к коим я прибегнул, дабы вся паства Господня могла бы воспринять на простом и заземленном языке духовную пищу. Поскольку люди непросвещенные и простые не способны подняться до образованных, то пусть образованные снизойдут до невежества. Ведь ученые могут понять то, что сказано простакам, тогда как последние не способны воспользоваться сказанным для ученых». И он повторил слова св. Иеронима: «Проповедник должен вызывать скорее стоны, нежели рукоплескания». Несомненно, и рукоплескания, и стоны нужны были, чтобы подчинить людей и иметь возможность управлять ими. Но при переходе от Античности к Средневековью произошла смена средств и путей достижения цели, и эти перемены в чувственном строе жизни и в пропаганде дали знать о появлении нового общества.

В то же время это были и перемены в интеллектуальной сфере жизни, где, несмотря на варваризацию, шел поиск ценностей не менее важных, чем ценности греко-римского мира. Когда св. Августин заявлял, что он предпочитает «терпеть упреки знатоков грамматики, нежели оставаться непонятым народу», и что вещи, реалии имеют преимущество перед словами, то он выражал суть средневекового утилитаризма и даже материализма, который, возможно, к счастью, ослабил в людях античную склонность к словопрениям. Средневековые люди мало заботились о состоянии путей, лишь бы они к цели привели. И тот путь, по которому они брели, плутая, то в грязи, то в пыли, вел к мирному убежищу. Предстояло выполнить огромную работу. Когда читаешь юридические тексты, постановления синодов и соборов, пенитенциарии Раннего Средневековья, то поражаешься широте задач, вставших перед руководителями христианского общества. Материальная скудость, жестокость нравов, нехватка всех благ, и экономических, и духовных, создавали ту великую тяжесть лишений, снести которую могли только люди сильные духом, презирающие какую-либо изысканность и жаждущие лишь успеха.

Слишком часто забывают о том, что это было также время великих еретических движений или скорее великих доктринальных колебаний, ибо ортодоксия была еще далека от законченности, и если она нам подчас кажется уже сложившейся, то это лишь иллюзия. Здесь не место вопросу о том, какие были бы последствия, если бы победили такие мощные течения, как арианство, манихейство, пеласгианство или присциллианство, не говоря уже о более мелких религиозных движениях, будораживших Запад в V — VI вв. Можно, в общем, сказать, что триумф ортодоксии был успехом «среднего пути» между примитивностью арианства или манихейства и сложностью пеласгианства или присциллианства. Пробным камнем, кажется, было отношение к свободе воли и благодати. Склонись в свое время христианство вместе с манихеями перед доктриной предопределения — и тяжкий груз божественного детерминизма навалился бы на плечи Запада, и он оказался бы в полной власти не имеющих противовеса господствующих классов, которые не преминули бы провозгласить себя единственными толкователями всемогущей божественной воли. А если бы восторжествовало пеласгианство, установив верховенство свободной индивидуальной воли человека, то мир, несомненно, оказался бы перед угрозой анархии. Понятно, что Запад сделал верный выбор, когда предпочел средний путь. Благодаря этому в тех условиях, когда рабство исчерпало свои возможности и необходимо было привлечь массы народа к труду, человек смог осознать, несмотря на слабость технического оснащения труда и скромность своих притязаний, что он обладает некоторой властью над природой. Столь хорошо отражавшее дух той эпохи монастырское устройство соединило презрение к миру с хозяйственной и духовной организацией жизни. Установившееся равновесие между природой и благодатью было следствием ограниченности возможностей, бессилия людей Раннего Средневековья. Но оно оставляло открытую дверь будущим преобразованиям.

Раннесредневековое общество, приготавливавшееся к светопреставлению, само того не замечая, придало себе организацию, способную обеспечить в нужный момент подъем западного мира.

Облик цивилизации изменился отнюдь не сразу же после Великого переселения народов. Несмотря на грабежи и разрушения, традиционные очаги культуры лишь в редких случаях быстро угасали и переставали излучать свой свет. Города, ставшие первой жертвой нашествий, в той или иной мере еще сохраняли жизнь.

Своей жизненной силой они иногда были обязаны связанной с ввозом предметов роскоши торговле и наездам восточных купцов, которых называли сирийцами, но которые по большей части были евреями, а иногда — притоку паломников. Но наиболее крупными центрами становились городские резиденции новых варварских королей или же епископов, а также места популярных паломничеств.

Королевские и епископские дворы притягивали разнообразных ремесленников, особенно производивших предметы роскоши, как ткачи, ювелиры, каменщики, но в сокровищницах королей и епископов хранились преимущественно заморские вещи, в первую очередь византийские. Тем не менее такие королевские столицы, как Павия при Лиутпранде (712 — 744), Монца при королеве Геоделинде на рубеже VI и VII вв., Толедо в царствование Реккареда (586 — 601) и до мусульманского завоевания в 711 г., Париж и Суассон при Меровингах, привлекали мастеров и создавали благоприятные условия для их работы, на которой, правда, ощутимо отражался всеобщий упадок экономики, техники и эстетического вкуса. Оскудение проявлялось во всем. Дома чаще всего строили деревянные, а если возводили каменные постройки, то очень небольшие и камень обычно брали из развалов древних зданий. Эстетические усилия при этом были направлены на декорирование, дабы скрыть техническое несовершенство строений. Тесание камня, резьба по камню и изготовление объемной скульптуры, человеческих фигур — все эти искусства почти полностью исчезли. Вкус варваров к роскоши и блеску мишуры удовлетворялся мозаиками, изделиями из слоновой кости и драгоценных металлов, дорогими тканями — иначе говоря, произведениями искусства, которые можно хранить как сокровища в дворцах, церквях, а затем погребать в усыпальницах. Это был триумф малых форм искусства, давших, впрочем, немало шедевров, свидетельствующих о мастерстве и вкусе ремесленников-варваров, их тяготении к стилизованным мотивам искусства степей. Но эти шедевры оказались недолговечными, по большей части они не дошли до нас, и только редкие фибулы, пряжки и головки рукояток мечей достались нам в качестве ценных и прекрасных свидетельств искусства той поры. К ним нужно еще прибавить и такие уникальные ценности, как короны вестготских королей, медный венец Агиульфа и меровингские саркофаги в Жуарре.

Но многие короли, в частности Меровинги, предпочитали жить в своих сельских поместьях, откуда исходило большинство их указов. Если верить епископальным спискам, то города в течение более или менее длительного времени оставались и без епископов. Тем не менее Галлия VI в., судя по описанию Григория Турского, обладала еще довольно густой сетью городов, среди которых выделялись богатые епископальные центры: Суассон, Париж, Сене, Тур, Орлеан, Клермон, Пуатье, Бордо, Тулуза, Лион, Вьенн, Арль. В вестготской Испании ярким очагом городской жизни была Севилья во времена епископата братьев Леандров (579 — 600) и Исидора (600 — 636). Однако наиболее крупными центрами раннесредневековой цивилизации были монастыри, причем монастыри сельские, изолированные от городов. В своих мастерских монастырь сохранял прежние ремесла и искусства, в скрипториях и библиотеках он поддерживал интеллектуальную культуру, а благодаря своим земельным владениям, сельскохозяйственной технике и труду монахов и зависимых крестьян он был важным центром производства и образцовым хозяйством, будучи, конечно, в то же время средоточием религиозной жизни и привлекая верующих обычно мощами какого-либо святого.

Было бы неразумно отрицать большую силу притяжения монастырей и их воздействие на общество. Необходимо подчеркнуть, что, пока в диоцезах шла организация новых христианских городских общин, группировавшихся вокруг епископов или распределявшихся по приходам, и пока земельная и военная аристократия еще не обзавелась в поместьях собственными часовнями, сложившимися в частную феодальную церковь, именно

монастыри медленно внедряли христианские ценности в сельском обществе, в том мире постоянства и устойчивых традиций, который доселе был менее всего затронут новой религией и которому суждено было сыграть столь важную роль в средневековой жизни. В этом позволяет нам убедиться агиография и иконография, часто более поздняя. Во времена христианизации городов главным актом, который совершался теми, кто обращал в новую веру, было разрушение идолов, то есть статуй богов в храмах. В период же с V по XI в., когда шла евангелизация сельских местностей, это было уже разрушение идолов естественных: вырубание священных деревьев, освящение источников, размещение крестов в сельских языческих алтарях.

Понятно, что преобладание монастырей свидетельствует о незрелости западной цивилизации в Раннее Средневековье. Это была еще цивилизация отдельных очагов жизни и оазисов культуры среди пустошей, лесов и заросших полей, цивилизация сельского общества, которого едва коснулась монастырская культура. Развал системы коммуникаций и связи античного мира вернул большую часть Запада к примитивному состоянию, которое характерно для традиционных сельских цивилизаций почти доисторических времен, правда, с легким налетом христианства. Стали возрождаться древние обычаи иберов, кельтов и лигу-ров. Там, где монахи победили греко-римское язычество, они создали благоприятные условия для воскрешения гораздо более древних верований и более хитрых демонов, которые лишь внешне подчинялись христианскому закону. Запад вернулся к состоянию дикости, которая давала о себе знать и прорывалась на протяжении всего Средневековья.

Важно представить себе эффективность и пределы деятельности монастырей. Для этого обратимся к нескольким прославленным агиографией и историографией обителям и монашеским движениям: к Лерену времен христианизации городов, к Монтекассино и развитию бенедиктинского ордена в эпоху начала обращения в христианскую веру сельского мира и к эпоху ирландского монашества, чтобы показать, какими путями шло распространение христианства в Раннее Средневековье. Наконец, остановимся на роли монастырей в возобновлении евангелизации на границах западного мира в VIII — IX вв., благодаря чему была продолжена деятельность ирландских монахов.

Лерен был теснейшим образом связан с развитием религиозной жизни в Провансе, представлявшем собой в V — VI вв. важный центр христианства. Пьер Рише недавно напомнил, что в Лерене прежде всего учились аскетизму, а не наукам. Видные духовные лица, на тот или иной срок поселявшиеся там, желали приобщиться к библейской культуре, «состоявшей не столько в ученой экзегезе, сколько в духовной медитации на библейские темы». Своей религиозной атмосферой он обязан был первому аббату Гонорату, выходцу с Востока, и прибывшему оттуда же Кассиану, который позднее стал основателем монастыря Сей-Виктор в Марселе. С 430 по 500 г. через Лерен прошли почти все крупные прелаты провансальской церкви — Сальвиан, Евхерий Лионский, Цезарий Арелатский, Фавст из Рие, бывшие вдохновителями провансальских синодов, на которых были выработаны глубоко запечатлевшиеся в западном христианстве каноны.

Влияние св. Бенедикта Нурсийского, обосновавшегося около 529 г. в Монтекассино, оказалось гораздо более сильным — прежде всего благодаря личности самого Бенедикта, чудесам которого Григорий Великий посвятил целую книгу своих «Диалогов», пользовавшихся необычайным успехом на протяжении всего Средневековья и приобщавших людей к жизни этого святого. Изложенные в этом житии Бенедикта скромные чудеса, которые он творил своей повседневной деятельной и созерцательной жизнью, помогали всем постигать сверхъестественное. По этой причине, а особенно потому, что св. Бенедикт написал устав или скорее вдохновил на создание устава, именуемого с VII в. бенедиктинским, он стал истинным основателем западного монашества. Не игнорируя, тем более не отвергая традиций восточного монашества, он все же отказался от его чрезмерного аскетизма. Нормы поведения, духовной жизни и чувствования, благодаря ему вошедшие в устав, на диво умеренны и уравновешенны. Бенедикт добился гармонии между ручным, интеллектуальным трудом и собственно религиозной деятельностью в монастырской жизни.

Таким образом, он указал бенедиктинскому монашеству, история которого отмечена блестящими успехами в VI — XI вв., путь соединения хозяйственной деятельности с интеллектуально-художественной активностью и духовной аскезой. После него монастыри стали центрами аграрного производства, мастерскими по изготовлению и иллюминации рукописей и яркими очагами религиозной жизни. Он стремился умерить власть аббатов, требуя мягкости и братских чувств в обращении с общиной, дабы тем самым облегчить управление ею. Он предписывал простоту, но не впадал в крайности, когда дело касалось самоотречения или одеяния. «Если случится, — гласит устав, — что брату предпишут тяжкие или невыполнимые обязанности, то пусть он примет их со всей кротостью и смирением. Однако если он сочтет, что тяжесть их превосходит его возможности, то пусть объяснит это старшему, но сделает это при удобном случае и со смирением, не проявляя ни гордыни, ни возмущения, ни упрямства». «Пусть поступают согласно словам: „И каждому давалось, в чем кто имел нужду“ (Деян. IV, 35). Мы не хотим этим сказать, что следует действовать лицепрятно, ибо это не угодно Богу, но нужно принимать во внимание человеческие нужды. Нуждающиеся в меньшей мере пусть возблагодарят Господа и не сокрушаются, а сильнее нуждающиеся пусть смиряются со своей слабостью и не гордятся проявляемым к ним милосердием. Таким образом все члены тела обретут мир». Особенно настоятельно он предписывает проявлять «скромность, которая является матерью добродетелей». Так античная *temperitas* (умеренность) получила у св. Бенедикта христианское обличье. И все это было сказано в VI в. Когда представляешь себе весь разгул насилия в те еще дикие времена Средневековья, то склоняешься к мысли, что наставления св. Бенедикта никем не были услышаны, но стоит, однако, задаться вопросом, до каких крайностей могли бы прийти люди той эпохи, если бы не прозвучал этот великий умиротворяющий голос.

Совсем иным был дух ирландского монашеского движения. С тех пор как св. Патрик, захваченный в юном возрасте пиратами и проданный в рабство в Ирландии в первые годы V в., обратился в христианство и стал, занимаясь выпасом овец, проповедовать в этой стране Евангелие, Ирландия превратилась в остров святых. Здесь стали быстро расти монастыри, которые наподобие восточных обителей представляли собой городки из отшельнических хижин, группирующихся вокруг хижины аббата. Эти монастыри оказались рассадниками миссионеров, которые в V — IX вв. распространились по соседним Англии и Шотландии, а затем хлынули на континент, куда принесли свои обычаи, ритуалы, практику выстригания тонзур, свои оригинальные пасхальные таблицы, которые папству с трудом удалось заменить римской системой расчета, свою неутолимую страсть к созданию новых монастырей, откуда они осуществляли евангелизацию все новых стран, искореня языческую веру в идолов. Некоторые из них, как св. Брендан, искали уединения на океанских просторах и заселяли пустынные островки, выступающие над водой рифы, живя над опасными пучинами моря. Легендарная одиссея Брендана впоследствии поражала воображение всего средневекового западного мира.

В VI — VII вв. Ирландия экспортировала около 115 святых мужей в Германию, 45 — во Францию, 44 — в Англию, 36 — на территорию современной Бельгии, 25 — в Шотландию, 13 — в Италию. Если большинство из них — личности легендарные, вышедшие из фольклора, то это еще лучше подтверждает, как заметил Бернар Гиймен, сколь глубокий след оставило ирландское монашество в ментальности и чувствах западного мира.

Наиболее знаменитым из этих святых был Колумбан, который между 590 и 615 гг. основал Люксей и Боббию, в то время как его ученик Галл дал свое имя другому монастырю, которому было уготовано блестящее будущее. Всем этим и другим общинам Колумбан дал свой устав, который одно время успешно соперничал с уставом св. Бенедикта.

Духу ирландского монашества была совсем не свойственна бенедиктинская умеренность. Окрепший в суровых условиях севера, он легко мог поспорить с духом восточного аскетизма, известного своей эксцентричностью. В основу устава Колумбана были положены, конечно, требования молиться, заниматься ручным трудом и учением. Но к этому

прибавлялись суровые посты и строгая аскеза. Особенно поражали современников длинные молитвенные стояния со скрещенными руками. Св. Кевин, как утверждали, семь лет так простоял, опершись на доску, ни разу не сомкнув глаз ни днем, ни ночью и не шелохнувшись, так что птицы даже свили гнездо на нем. Были также купания в ледяных водах рек или прудов с пением псалмов и ограничения в пище, которую в этих монастырях принимали лишь один раз в день, никогда при этом не вкушая мяса.

Та же эксцентричность и суровость проявлялась и в покаяниях, свидетельствующих, по словам Габриэля Ле Бра, «о полуязыческом социальном и моральном состоянии народа, нуждавшегося в таком монашеском идеале аскетизма». В ирландских монастырях в полной силе возродились библейские табу, близкие к древним кельтским запретам. Даже в раннем ирландском искусстве, представленном каменными крестами и книжной миниатюрой, ощущается, по определению Франсуа Арди, «еще доисторический вкус, чуждый всякому реализму и тяготеющий к сугубо абстрактному изображению человека и животных». Оно стало одним из источников романского искусства с его причудливыми орнаментами, а к характерным для него вязям восходит одна из наиболее устойчивых тенденций эстетики и вкуса Средневековья.

Ирландские монахи, наконец, приняли участие в великом движении за христианизацию Германии и ее окраин в VII — VIII вв., которое опиралось на основанные ими монастыри. Так Сен-Галлен (основан Галлом около 510 г.) дал жизнь монастырям св. Бавона в Генте (основан св. Амандом около 630 г.), св. Эммерана в Регенсбурге (основан около 650 г.), в Эхтернахе (основан Виллибродом около 700 г.), в Рейхенау (основан Пирмином в 744 г.), в Фульде (основан Штурмом по настоянию св. Бонифация в 744 г.), в Корвее — в 822 г. С V по IX в. на всех фронтах борьбы за христианизацию — в городах, в сельских местностях и за пределами христианского мира — монастыри играли наиболее важную роль.

В этой долгой ночи Средневековья, с V по VIII в., свет излучали и ученые мужи, которых Р. Ренд назвал «зачинателями средних веков». Их исключительная роль заключалась в том, что они спасли основное из античной культуры, изложили его в доступной для средневековой мысли форме и придали ему необходимое христианское обличье. Среди них выделяются четыре человека: Боэций (480 — 524), Кассиодор (480 — 573), Исидор Севильский (560 — 636), Беда Достопочтенный (673 — 735).

Боэцию Средневековье обязано всем тем, что оно знало об Аристотеле и его логике до середины XII в., и теми концептуальными и вербальными категориями, которые легли в основу схоластики. К ним относится, например, определение природы «как формы всякой единичной вещи в ее отличительных особенностях» или человека как «индивидуализированной субстанции разумной природы». Абельяр сказал о нем: «Он неколебимо утвердил нашу веру и свою». Благодаря ему в средневековой культуре исключительно высокое место было отведено музыке.

Кассиодор своими «Наставлениями в божественных и светских науках» дал средневековым людям основы латинской риторики, широко использовавшейся христианской литературой и педагогикой. Он поставил перед монахами монастыря Виварий задачу, о которой Средневековье никогда не забывало: переписывать древние рукописи. Проникнувшись ею, монастырские скриптории выполнили великое дело сохранения древних текстов.

Наследство «славного наставника Средневековья» Исидора Севильского, заключенное главным образом в его «Этимологиях», составляют программа семи свободных искусств, научный словарь, вера в то, что природа вещей сокрыта в их названиях, и неоднократно выражаемое им убеждение, что светская культура необходима для глубокого постижения Священного писания. Он передал средневековым клирикам страсть к энциклопедическим познаниям.

Наконец, Беда в наиболее завершенном виде изложил теорию четырех смыслов Священного писания, которая легла в основу средневековой библейской экзегетики, и

включил в круг интересов христианской мысли, благодаря экзегетике и церковному летосчислению, астрономию и космографию. Но, как большинство образованных англосаксов Раннего Средневековья, Беда весьма решительно отвернулся от классической античной культуры и как бы увлек Средневековье на свой, самостоятельный путь развития.

Пьер Рише в свое время обнаружил, что Каролингское возрождение было лишь итогом серии мелких возрождений, которые после 680 г. дали о себе знать в монастырях Корби, Сен-Мартен-де-Тур, Сен-Галлен, Фульда, Боббио, а также в Йорке, Павии и Риме. Тем самым он помог нам лучше понять действительные масштабы этого явно переоцененного возрождения.

Прежде всего оно не было новаторским. Принятая им программа обучения была всего лишь программой прежних церковных школ, в соответствии с которой «в каждом епископстве и в каждом монастыре учили псалмам, письму, пению, счету, грамматике и заботились о переписке книг».

Культура каролингского двора ничем не отличалась от культуры варварских королей, таких, как Теодорих или Сисебут. Она обычно не шла дальше почти что детских забав, столь соблазнявших варварские умы. Словопрения, загадки, ученые головоломки — все это напоминает игры и упражнения, предлагаемые современными журналами для развлечения. Королевская академия была чем-то вроде светского увеселения, которому предавался кружок близких к государю лиц, которые именовали его забавы ради то Давидом, то Гомером. Император, научившийся читать, но не писать, что было уже большим достижением для мирянина, как дитя забавлялся сделанными для него большими буквами, которые он по ночам угадывал ощупью под подушкой. Увлечение античностью чаще всего ограничивалось знакомством с нею по Кассиодору и Исидору Севильскому.

Как убедительно показал Александр Гейштор, ограниченность Каролингского возрождения была предопределена тем,

ГЛАВА VI. Пространственные и временные структуры (X — XIII вв.)

Когда юный Тристан, сбежавший от норвежских купцов-пиратов, высадился на побережье Корнуолла, «он поднялся с великим усилием на утес и увидел перед собой пустынную песчаную долину, за которой простирался бесконечный лес». Но вот из этого леса внезапно появилась группа охотников, и юноша присоединился к ней. «Тогда они пустились, беседуя, в путь, пока не достигли наконец роскошного замка. Его окружали луга, фруктовые сады, рыбные садки, тони и пашни».

Страна короля Марка — вовсе не легендарная земля, созданная воображением трувера. Это физическая реальность средневекового Запада. Огромный покров лесов и ланд с разбросанными по нему возделанными плодородными прогалинами — таков внешний облик христианского мира. Он подобен негативному впечатку мусульманского Востока — мира оазисов посреди пустынь. Там, на Востоке, лес — редкость, здесь он в изобилии; деревья там — признак цивилизации, здесь — варварства. Религия, рожденная на Востоке под кровом пальм, расцвела на Западе в ущерб прибежищу языческих духов — деревьям, которые безжалостно вырубались монахами, святыми и миссионерами. Любой прогресс на средневековом Западе был расчисткой, борьбой и победой над зарослями, кустарниками и, если нужно было и если техническое оснащение и храбрость это позволяли, над строевым, девственным лесом — «дремучей чащей» Персеваля, *selva oscura* Данте. Но реальное сосредоточение быющей жизни — это совокупность более или менее обширных прогалин, экономических, социальных и культурных ячеек цивилизации. Долгое время средневековый Запад оставался скоплением поместий, замков и городов, возникших среди невозделанных и пустынных пространств. Лес, впрочем, и был тогда пустыней. Туда удалялись вольные или невольные адепты бегства от мира (*fuga mundi*): отшельники, любовники, странствующие рыцари, разбойники, люди вне закона. Это св. Бруно и его спутники в «пустыне»

Гранд-Шартрез или св. Модем и его ученики в «пустыне» Сито, Тристан и Изольда в лесу Моруа («Мы вернемся в лес, который прикроет и защитит нас. Идем, милая Изольда!... Они идут через высокие травы и вереск, и вот уже деревья смыкают над ними свои ветви, и они скрываются за густой листвой») или предтеча, а может быть, и модель Робина Гуда, искатель приключений Эташ Монах, который укрылся в начале XIII в. в лесу Булонэ. Мир убежища, лес имел и свои привлекательные черты. Для рыцаря это был мир охоты и приключений. Персеваль открыл там «красивейшие вещи, какие только могут быть», а некий сеньор советует Окассену, заболевшему из-за любви к Николет: «Садитесь на коня и поезжайте в лес. Вы там развеете свою печаль, увидите травы и цветы, услышите, как поют птицы. И, может статься, вы услышите там заветные слова, от которых вам станет легче на душе».

Для крестьян и вообще мелкого трудового люда лес был источником дохода. Туда выгоняли пастись стада, там набирали осенью жир свиньи — главное богатство бедного крестьянина, который после «откорма на желудях» забивал свою свинью, и это сулило ему на зиму если не обильную пищу, то средство к существованию. Там рубили лес, столь необходимый для экономики, долгое время испытывавшей нужду в камне, железе и каменном угле. Дома, орудия труда, очаги, печи, кузнечные горны существовали и действовали только благодаря дереву и древесному углю. В лесу собирали дикорастущие плоды, которые были основным подспорьем в примитивном рационе сельского жителя, а во время голода давали ему шанс выжить. Там же заготавливали дубовую кору для дубления кож, золу кустарников для отбеливания или окраски тканей, но особенно — смолистые вещества для факелов и свечей, а также мед диких пчел, столь желанный для мира, который долгое время был лишен сахара. В начале XII в. обосновавшийся в Польше французский хронист Галл Аноним, описывая достоинства этой страны, называет сразу же после целебного воздуха и плодородия почвы обилие богатых медом лесов. Пастухи, дровосеки, углежог (лесной разбойник) Эташ Монах, обрядившись в углежог, совершил один из самых удачных своих грабежей), сборщики меда — весь этот мелкий люд жил лесом и снабжал его дарами других. Он также охотно занимался браконьерством, но дичь была прежде всего продуктом заповедной охоты сеньоров. Эти последние, от мельчайших до самых крупных, ревниво оберегали свои права на лесные богатства. Особые служащие сеньоров, «лесные сержанты», повсеместно выслеживали расхитителей-виланов. Сами государи были крупнейшими лесными сеньорами в своих королевствах и энергично стремились оставаться таковыми. Со своей стороны и восставшие английские бароны навязывали в 1215 г. Иоанну Безземельному наряду с Великой хартией вольностей особую Лесную хартию. Когда в 1332 г. Филипп VI Французский распорядился составить перечень прав и владений, из которых он хотел образовать «вдовью долю» королевы Жанны Бургундской, он приказал расписать отдельно «оценку лесов», дававших треть общих доходов этого домена.

Но из леса исходила и угроза — он был средоточием вымышленных или действительных опасностей, тревожным горизонтом средневекового мира. Лес обступал этот мир, изолировал его и душил. Это была главная граница, «ничейная земля» (no man's land) между сеньориями и странами. Из его страшного «мрака» внезапно появлялись голодные волки, разбойники, рыцари-грабители.

В Силезии в начале XIII в. двое братьев несколько лет удерживали лес Садлно, откуда они периодически выходили, чтобы брать в плен на выкуп бедных крестьян округи, и препятствовали герцогу Генриху Бородатому основать там хотя бы одну деревню. Синод в Сантьяго-де-Компостелле должен был обнародовать специальный устав, чтобы организовать охоту на волков. Каждую субботу, кроме кануна Пасхи и Троицы, священники, рыцари и не занятые на работах крестьяне были обязаны участвовать в истреблении волков и ставить капканы; отказавшихся подвергали штрафу.

Из этих прожорливых волков воображение средневекового человека, опираясь на фольклорные образы незапамятных времен, легко делало чудовищ. В каком огромном количестве житий святых встречаем мы чудо приручения волка, подобное тому, как св. Франциск Ассизский приручил свирепого зверя Губбио! Из всех этих лесов выходили

человековолки, оборотни, в которых средневековая дикость смешивала животное с полуварваром-человеком. Иногда в лесу прятались еще более кровавые чудовища — например, провансальский тараск [*Сказочный дракон, персонаж провансальских легенд, обитавший вблизи Та-раскона. — Прим. перев.*], проклятый св. Мартой. Леса были, таким образом, не только источником реальных страхов, но и универсумом чудесных и пугающих легенд. Это Арденнский лес с его чудовищным ведром, убежище четырех сыновей Аймона, где св. Губерт превратился из охотника в отшельника, а св. Тибальд Провенский — из рыцаря в отшельника и углежога; лес Броселианд, место чародейств Мерлина и Вивианы; лес Оберон, где Гуон Бордоский поддался чарам карлика; лес Оденвальд, где под ударами Гагена окончил свою трагическую охоту Зигфрид; Майский лес, где печально бродила Берта Большеногая, а позже сойдет с ума несчастный французский король Карл VI.

Однако если для большинства людей средневекового Запада горизонт ограничивался подчас всю их жизнь кромкой леса, то вовсе не следовало бы представлять себе средневековое общество как мир неподвижных домоседов, привязанных к своему окруженному лесом клочку земли. Напротив, нас озадачивает чрезвычайная мобильность средневековых людей.

Она объяснима. Собственность как материальная или психологическая реальность была почти неизвестна в средние века. От крестьянина до сеньора каждый индивид, каждая семья имели лишь более или менее широкие права условной, временной собственности, узуфрукта. Каждый человек не только имел над собой господина или кого-то обладающего более мощным правом, кто мог насильно лишить его земли, но и само право признавало за сеньором легальную возможность отнять у серва или вассала его земельное имущество при условии предоставления ему эквивалента, подчас очень удаленного от изъятого. Норманнские сеньоры, переправившиеся в Англию; немецкие рыцари, водворившиеся на востоке; феодалы Иль-де-Франса, завоевавшие феод в Лангедоке под предлогом крестового похода против альбигойцев или в Испании в ходе Реконкисты; крестоносцы всех мастей, которые выкраивали себе поместье в Морее или в Святой земле, — все они легко покидали родину, потому что вряд ли она у них была. Крестьянин, поля которого представляли собой более или менее обратимую концессию со стороны сеньора и часто перераспределялись сельской общиной, согласно правилам севооборота и ротации полей, был привязан к своей земле только волей сеньора, от которого он охотно ускользал сначала бегством, а позже путем правовой эмансипации. Индивидуальная или коллективная крестьянская эмиграция была одним из крупных феноменов средневековой демографии и общества. Рыцари и крестьяне встречали на дорогах клириков, которые либо совершали предписанное правилами странствие, либо порвали с монастырем (весь этот мир монахов, против которых напрасно издавали законы соборы и синоды, находился в постоянном коловращении). Они встречали студентов, идущих в знаменитые школы или университеты (разве не говорилось в одной поэме XII в., что изгнание, *terra aliena*, есть непременный жребий школяра), а также паломников, всякого рода бродяг.

Не только никакой материальный интерес не удерживает большинство из них дома, но самый дух христианской религии выталкивает на дороги. Человек лишь вечный странник на сей земле изгнания — таково учение церкви, которая вряд ли нуждалась в том, чтобы повторять слова Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Сколь многочисленны были те, кто не имел ничего или мало и с легкостью уходил! Их скудные пожитки помещались в котомке пилигрима; тот, кто побогаче, имел при себе несколько мелких монет (а деньги тогда долгое время были редкостью); самые же богатые — ларец, куда складывали большую часть своего состояния, немного драгоценностей. Когда путешественники и пилигримы начнут брать с собой громоздкий багаж (сир де Жуанвиль и его спутник, граф Сарребрюк, отправились в 1248 г. в крестовый поход со множеством сундуков, которые доставили на телегах в Оксон, а оттуда по Соне и Роне в Арль), тогда не только выветрится дух крестовых походов, но и ослабеет вкус к путешествию и средневековое общество станет миром

домоседов. Средние века, эпоха пеших и конных странствий, вплотную приблизятся тогда к своему концу — не потому, что Позднее Средневековье не знало странствия, но потому, что начиная с XIV в. странники становятся бродягами, окаянными людьми. Прежде они были нормальными существами, тогда как впоследствии нормальными стали домоседы. Но до тех пор, когда придет пора этой дорожной усталости, Средневековье кишело путниками, и они постоянно встречаются нам в иконографии. Вооружившись посохом в форме греческой буквы тау (он быстро станет символом), согбенные, они идут по дорогам — отшельники, паломники, нищие, больные. Этот беспокойный народ символизировали также слепцы, такие, какими их описывает одно фавлю: «Однажды по дороге близ Компьена брели три слепца без поводыря и провожатого. На них была ветхая одежда, и имели они одну деревянную плешку на троих. Так шли они дорогой в Санлис». Церковь и моралисты относились к странникам с недоверием, и даже само паломничество, за которым часто скрывалось простое бродяжничество, суетное любопытство — средневековая форма туризма, — легко вызывало подозрение. Гонорий Августодунский в начале XII в. был склонен его осуждать или по крайней мере воздерживаться от рекомендации. «Есть ли заслуга в том, — спрашивает в „Светильнике“ ученик, — чтобы идти в Иерусалим или посетить другие святые места?» И учитель отвечает: «Лучше отдать деньги, предназначенные для путешествия, бедным». Гонорий допускает единственный вид паломничества — ради покаяния. В самом деле, очень рано — и это знаменательно — паломничество стало не актом доброй воли, но покаяния. Им наказывался любой тяжкий грех, оно было карой, а не воздаянием. Что касается тех, которые предпринимали его «из любопытства или мелкого тщеславия», как говорит тот же учитель в «Светильнике», то «единственный профит, который они из него извлекают, состоит в том, что они смогли увидеть красивые места, прекрасные памятники да потешили свое тщеславие». Странники были несчастными людьми, а туризм — суетностью.

Жалкая действительность паломничества — не доходя до трагических случаев с крестоносцами, умершими в пути от голода или истребленными сарацинами, — это часто история того бедного человека, о котором рассказывает «Золотая легенда»: «Около 1100 года от воплощения Господа некий француз отправился с женой и сыновьями в Сантьяго-де-Компостеллу, отчасти чтобы бежать от заразной болезни, которая опустошала тогда его страну, отчасти же чтобы увидеть могилу святого. В городе Памплоне жена его умерла, а хозяин постоялого двора отнял у него все деньги и даже кобылу, на которой он вез детей. Тогда бедный отец посадил двоих сыновей на плечи, а остальных повел за руку. Но некий человек, проезжавший мимо на осле, сжалился над ним и отдал ему своего осла, чтобы он мог посадить на него детей. Придя в Сантьяго-де-Компостеллу, француз увидел святого, который спросил у него, узнал ли он его, и сказал ему: „Я апостол Иаков. Это я дал тебе осла, чтобы ты мог прийти сюда, и даю его снова, чтобы ты вернулся домой“.

Но сколько паломников осталось без помощи чудесного осла...

У путешественников не было недостатка ни в испытаниях, ни в препятствиях. Конечно, речной путь использовался повсюду, где это было возможно. Но оставалось много земель, которые нужно было пересечь. Однако почти исчезла разрушенная вторжениями и неподдерживаемая великолепная сеть римских дорог; впрочем, она была мало приспособлена к нуждам средневекового общества. Для этого пешего и конного народа, перевозки которого производились главным образом на спинах вьючных животных или на допотопных телегах и который никуда не торопился (путники охотно делали круг, чтобы обойти замок рыцаря-разбойника или, напротив, чтобы посетить святилище), римская дорога, прямая, вымощенная, предназначенная для солдат и чиновников, не представляла большого интереса. Средневековый люд шел по тропам, дорожкам, по запутанным путям, которые блуждали между несколькими фиксированными пунктами: ярмарочными городами, местами паломничества, мостами, бродами или перевалами. Сколько препятствий нужно было преодолеть: лес с его опасностями и страхами, изборозженный, однако, следами (Николет, «идя по заросшей тропинке в густом лесу, вышла на большую дорогу, где

скрещивались семь других дорог, ведущих в разные концы страны»); бандиты, будь то рыцари или виланы, засевшие в засаде на краю леса или на вершине утеса (Жуанвиль, спускаясь по Роне, заметил «Ла-Рош-де-Глюн, тот самый замок, который король приказал разрушить потому, что его владелец по имени Роже был обвинен в грабеже паломников и купцов»); бесчисленные пошлыны, взимаемые с купцов, а иногда и просто с путешественников у мостов, на перевалах, на реках; скверное состояние дорог, где повозки тем легче увязали в грязи, чем более управление быками требовало профессионального навыка.

Какой-нибудь персонаж шансон-де-жест вроде Бертрана из «Нимской телеги», племянника Гильома Оранжевого, выставляет себя в смешном виде, когда хочет переодеться в возчика. Средневековая дорога была удручающе долгой, медленной. Если мы проследим за путешественниками из числа самых занятых, за купцами, то заметим, что дневные этапы варьировались в зависимости от характера местности от 25 до 60 км. Требовалось две недели, чтобы попасть из Болоньи в Авиньон, путь с шампанских ярмарок в Ним занимал 22 дня, из Флоренции в Неаполь — от 11 до 12. И однако, средневековое общество было охвачено, по словам Марка Блока, «своего рода броуновским движением, одновременно и постоянным, и переменчивым». Почти все люди Средневековья противоречиво эволюционировали между двумя измерениями: ограниченными горизонтами прогалины, где они жили, и отдаленными горизонтами всего христианского мира, где каждый мог внезапно отправиться из Англии в Сантьяго-де-Компостеллу или в Толедо, как английские ученые XII в., жаждавшие приобщиться к арабской культуре; из Орийака (Южная Франция) в Реймс, Вик (Каталония), Равенну и Рим, как это сделал в конце X в. Герберт (будущий папа Сильверстр II); из Фландрии в Сен-Жан-д'Анжели (Сирия), как множество крестоносцев; с берегов Рейна на берега Одера и Вислы, как многочисленные немецкие колонисты. Единственными подлинными искателями приключений в глазах средневековых христиан были те, кто пересекал границы христианского мира: миссионеры или купцы, которые высаживались в Африке и в Крыму, проникали в Азию.

Более быстрым был путь по морю. При попутном ветре корабль мог делать до 300 км в сутки. Но опасности здесь были еще большими, чем на земле. Достигнутая волей случая быстрота продвижения могла быть сведена на нет безнадежными штилями, встречными ветрами и течениями.

Отправимся с Жуанвилем в Египет. «На море с нами произошла удивительная вещь: мы оказались перед горой круглой формы у берегов Берберии. Был час сумерек. Мы плыли весь вечер и думали, что сделали добрых пятьдесят лье, когда на завтра вновь очутились перед той же горой. И так происходило два или три раза».

Но эти задержки были мелочью, если вспомнить о пиратах и бурях. Жуанвиль скоро убедился, что «купцы-авантюристы» должны обладать бешеной отвагой: «Я поразмыслил над тем, насколько безрассуден тот, кто осмеливается подвергать себя такой опасности, присваивая чужое добро или вводя самого себя в смертный грех, ибо он ложится спать, не зная, не очутится ли наутро на морском дне».

Ничто не имело большего успеха в средние века, нежели избитый, но живо передающий реальность образ корабля, застигнутого бурей. Ни один эпизод не повторяется с такой регулярностью в житиях многочисленных святых, как плавание по морю, реальное или символическое, которое фигурирует на огромном числе миниатюр и витражей. Никакое чудо не было распространено более, нежели вмешательство святого, который успокаивает бурю или воскрешает потерпевшего кораблекрушение. Так поступает св. Николай в «Золотой легенде» Якова Воррагинского. «Однажды матросы, оказавшиеся в опасности, слезно взмолились: „Николай, слуга Господний! Если то, что говорят нам о тебе, правда, сделай так, чтобы мы это сейчас проверили на себе“. Тотчас же перед ними предстал некто в облике святого и сказал им: „Вы меня позвали — и вот он я!“ И он принялся помогать им управляться с парусами, с канатами и другими корабельными снастями, и буря немедленно прекратилась».

А теперь нужно постичь, благодаря каким «пружинам» лес, дорога и моря возбуждали чувства средневековых людей. Они воздействовали на них не столько своими реальными аспектами и подлинными опасностями, сколько символами, которые они выражали. Лес — это сумерки или, как в «детской песне» миннезингера Александра Странника, век с его иллюзиями; море — земной мир и его искушения; дорога — поиски и паломничество.

С другой стороны, люди Средневековья входили в контакт с физической реальностью через посредство мистических и псевдонаучных абстракций.

Природа для них — это четыре элемента, которые образуют вселенную и человека, вселенную в миниатюре, микрокосм. Как объясняет «Светильник», телесный человек сотворен из четырех элементов, «а посему его называют микрокосмосом, то есть уменьшенным миром. В самом деле, он составлен из земли (плоть), воды (кровь), воздуха (дыхание) и огня (теплота)».

Одно и то же видение вселенной спускается от самых ученых до самых невежественных. Христианизация, подталкиваемая в той или иной мере старыми символами и языческими мифами, персонифицировала силы природы в странную космографию: четыре реки рая, четыре ветра на бесчисленных розах ветров в рукописях вставляют свой образ — по образцу четырех элементов — между природными реалиями и человеческим чувствованием. Людям Средневековья предстояло проделать, как мы увидим, долгий путь, чтобы встретить по другую сторону экрана символизма физическую реальность мира, в котором они жили.

Размах всех этих движений, миграций, волнений, путешествий был на самом деле в высшей степени ограничен. Географический горизонт был одновременно и духовным горизонтом христианского мира. Поражает неточность ученых в области космографии: обычно допускали, что Земля круглая, неподвижная и находится в центре вселенной; затем вообразили, вслед за Аристотелем, систему концентрических сфер, а начиная с XIII в. — более сложную и близкую к действительности систему движения планет по Птолемею. Но еще поразительнее фантазия средневековой географии за пределами Европы и Средиземноморского бассейна. Особенно примечательной была та теологическая концепция, которая вдохновляла до XIII в. христианскую географию и картографию. Как правило, расположение Земли определялось верованием, что ее «пупом» является Иерусалим и что восток, который чаще всего помещали на картах наверху, на месте Северного полюса, имеет своей высшей точкой некую гору, которая недавно была идентифицирована как Такт-и-Сюлейман в Азербайджане, где находится земной рай и откуда вытекают Тигр, Евфрат, Фисон (обычно отождествляемый с Гангом) и Геон, то есть Нил. Смутные сведения, которые могли иметь христиане об этих реках, вызвали определенные трудности. Их легко поворачивали в другую сторону. Объясняли, что известные истоки Тигра и Евфрата не являются их действительными истоками, которые расположены на склонах райской горы Эдем, а воды этих рек надолго теряются в песках пустыни, прежде чем снова выйти на поверхность. Что касается Нила, то Жуанвиль в рассказе о VII крестовом походе утверждает, что мусульмане, остановленные водопадами, не могли подняться до его истока, таинственного, но реального:

«Подобает теперь повести речь о реке, которая пересекает Египет и вытекает из земного рая... В том месте, где Нил проникает в Египет, местные жители имеют обыкновение расставлять по вечерам сети, а поутру находят в них драгоценные предметы, которые они доставляют в страну, как-то: имбирь, ревень, алоэ и корицу. Говорят, что эти пряности происходят из земного рая, падая под ветром с райских деревьев, подобно тому как ветер ломает в лесу валежник.

Здесь говорят, что султан Вавилоня не единожды пытался узнать, откуда вытекает река, и послал для этой цели своих людей. Они рассказали, что дошли до великого нагромождения скал, на которое невозможно было взобраться. С этой горы падала река, и им показалось, что на ее вершине росло множество деревьев...»

Индийский океан, который считали замкнутым, был средоточием грез,местилищем неудовлетворенных желаний бедного и стесненного христианского мира: мечта об островах, богатых драгоценными металлами, редкими породами деревьев, пряностями. Марко Поло увидел там голого короля, сплошь обвешанного драгоценными камнями; фантастический мир, населенный сказочными людьми и животными, мечта об изобилии и сумасбродстве, рожденная бедным и ограниченным миром, мечта об иной жизни, о разрушении табу, о свободе перед лицом предписываемой Церковью строгой морали, обольщение миром извращенного питания, каннибализма, нудизма, полигамии, сексуальной свободы и распущенности. Самое любопытное — это то, что, когда христиане, рискуя собой, добирались туда, они находили там чудеса: Марко Поло встретил людей, наделенных хвостом, «толстым, как у собаки», а также единорогов (возможно, это были носороги), но они его разочаровали: «Это мерзкий на вид и отвратительный зверь. Он вовсе не таков, каким мы его здесь описываем, когда утверждаем, что он дается в руки девственнице».

Разумеется, люди Средневековья, которые восприняли традицию античных географов, делили Землю на три части -Европу, Африку и Азию, — но они стремились отождествить каждую из них с определенным религиозным пространством, и английский пилигрим, который написал «Путь паломников» о III крестовом походе, констатировал: «Таким образом, две части мира наступают на третий, и Европа, которая все-таки не признает вся целиком Христова имени, должна сражаться против двух других». Эта Европа, которую мусульманское присутствие в Испании мешало отождествить с христианским миром, оставалась для западных людей малоупотребимым, ученым, абстрактным понятием.

Реальностью был христианский мир. Именно применительно к нему средневековый христианин определял и все остальное человечество, и свое место по отношению к другим. И прежде всего по отношению к византийцу.

С 1054 г. византиец считался еретиком. Однако, если обвинение в расколе, отступничестве и было важнейшим, западные люди не доходили до того, чтобы его определить — во всяком случае, назвать. Ведь вопреки теологическим распрям, в частности спору о «филиокве» (ибо византийцы отвергали двоякое исхождение Святого духа, который, по их мнению, исходил только от Бога-отца), и особенно вопреки институционному конфликту (ибо константинопольский патриарх отказывался признавать верховенство папы) они тоже были христианами. Но в середине XII в., во время II крестового похода, западный фанатик епископ Лангрский уже мечтал о взятии Константинополя и побуждал французского короля Людовика VII заявить, что византийцы не являются «христианами на деле, а лишь по имени», что они показали себя виновными в ереси, а изрядная часть крестоносцев полагала, что «греки вовсе не были христианами и что убивать их — это меньше, чем ничто». Этот антагонизм был результатом отдаления, которое с IV в. превратилось в пропасть. Те и другие не понимали больше друг друга, особенно западные люди, из которых даже самые ученые не знали греческого языка.

Это непонимание переросло мало-помалу в ненависть, дочь невежества. По отношению к грекам латиняне испытывали смесь зависти и презрения, идущего от более или менее подавляемого чувства неполноценности. Латиняне упрекали греков в том, что они манерны, трусливы, непостоянны. Но прежде всего они обвиняли их в богатстве. Это была рефлекторная реакция воинственного и бедного варвара на богатого цивилизованного человека.

В 968 г. ломбардец Лиутпранд, епископ Кремонский, посланный германским императором Оттоном I в Константинополь, вернулся оттуда с ненавистью в сердце, порожденной тем, что ему выказали мало знаков внимания. Разве базилиевс Никифор не бросил ему в лицо: «Вы не римляне, а лангобарды»? На что он ответил: «Ромул был братоубийцей, это доказано историей, и она говорит, что он открыл прибежище для несостоятельных должников, беглых рабов, убийц, приговоренных к казни, и, окружив себя толпой людей такого сорта, назвал их римлянами. Мы же, лангобарды, саксы, франки, лотарингцы, баварцы, свевы, бургунды, мы их презираем настолько, что когда приходим в

гнев, то не находим для наших врагов иного оскорбления, чем слово „римлянин“, разумея под ним всю низость, всю трусость, всю жадность, весь разврат, всю лживость и, хуже того, свод всех пороков». А вот и религиозное обвинение, предшествующее схизме: «Все ереси родились и преуспели у вас, а мы, люди Запада, положили им конец и умертвили их». И последнее унижение: при отъезде византийские таможенники отняли у Лиутпранда пять пурпурных плащей, вывоз которых был запрещен, — система, непостижимая для варвара, который жил в условиях рудиментарной экономической организации. Отсюда — новое оскорбление: «Эти дряблые, изнеженные люди, с широкими рукавами, с тиарами и тюбанами на головах, лгуны, скопцы, бездельники, ходят одетые в пурпур, а герои, люди, полные энергии, познавшие войну, проникнутые норой и милосердием, покорные Богу, преисполненные добродетели, — нет!»

Когда в 1203 г., во время IV крестового похода, западное войско готовилось к взятию Константинополя под официальным предлогом, что император Алексей III является узурпатором, то церковники успокаивали угрызения совести у некоторых светских участников этого предприятия, подчеркивая раскольнический характер византийцев. «Епископы и клирики сообща говорили и полагали, — писал хронист Робер де Клари, — что битва является законной и что можно напасть на них, ибо в старину они повиновались римскому закону, а ныне ему больше не подчиняются. Епископы говорили также, что напасть на них будет не грехом, но, напротив, великим деянием благочестия».

Конечно, церковный союз, то есть примирение Византии с Римом, почти постоянно оставался в повестке дня, и переговоры об этом имели место при Алексее I в 1089 г., Иоанне II в 1147 г., Алексее III в 1197 г. и почти при каждом императоре с середины XIII в. до 1453 г. Союз, казалось, удалось даже осуществить на Лионском соборе 1274 г. и последний раз на Флорентийском соборе 1439 г.

Однако нападения на Византийскую империю, предпринятые норманнами Робера Гвискара в 1081 г., Боэмундом в 1185 г., взятие Константинополя западными рыцарями в 1204 г., а также неудача проекта церковной унии вызывали глубокую враждебность между теми, кого оскорбительно называли «латинянами» (но не христианами) и «греками» (но не римлянами). Неотесанным варварам, которые противопоставляли свою простоту неестественности этой цивилизации церемониала, была непонятна застывшая в этикете светская учтивость. В 1097 г., во время приема лотарингских крестоносцев императором Алексеем I, один из них, раздраженный всем этим этикетом, уселся на трон, «находя неподобающим, чтобы один человек сидел, когда столько храбрых воинов пребывают стоя».

Такие же реакции у французов — участников II крестового похода, например несдержанность Людовика VII и его советников перед манерами византийских посланцев с витиеватым языком их речей: епископ Лангрский, «испытывая сострадание к королю и будучи больше не в силах выносить длинные фразы оратора и толмача, сказал им: „Братья мои, сообразуйте не говорить столь часто о славе, величии, мудрости и благочестии короля; он себя знает, и мы его знаем тоже; скажите ему быстрее и без обиняков, чего вы хотите“».

Оппозиция была также и в политических традициях. Люди Запада, для которых главной политической добродетелью была верность — искренняя, честная верность феодала, — считали лицемерием византийские методы, целиком пропитанные соображениями государственной пользы. «Ибо у них, — писал еще Одон Дейльский, французский хронист II крестового похода, — общепринято мнение, что никого нельзя упрекать в клятвопреступлении, если он это позволил себе ради интересов святой империи».

На ненависть латинян греки отвечали отвращением. Анна Комнина, дочь императора Алексея, которая видела участников I крестового похода, описывает их как грубых, хвастливых, надменных и коварных варваров. То были воины, а негоянтам-грекам война претила; они уклонялись от идеи священной войны и были, как и Анна Комнина, в ужасе от того, что люди церкви, епископы и священники, лично участвовали в сражениях. Как можно быть одновременно слугою Бога и «кровожадным человеком, который дышит

смертоубийством»? Превыше всего византийцам внушала ужас алчность людей с Запада, «готовых продать за обол жену и детей».

Богатство Византии было, наконец, последним укором и первым предметом зависти латинян. Во времена первых крестовых походов изумление вдохновляло всех хронистов, которые проходили через Константинополь, на восхищенное описание. Для этих варваров, которые вели убогую жизнь в примитивных и жалких местечках (западные «города» насчитывали лишь несколько тысяч жителей, и городская цивилизация была там неизвестна), Константинополь с его, возможно, миллионным населением, монументами и лавками был откровением. Одон Дейльский показывает нам, как крестоносцы делали покупки или принимали греческих торговцев в своих палатках: «Таким образом, мы покупали рубаху меньше, чем за денье, а тридцать рубах за одно су без марки». В 1097 г. Фульхерий Шартский в числе многих других тарашил глаза: «Сколь благороден и прекрасен Константинополь! Сколько в нем монастырей и дворцов, построенных с изумительным искусством! Сколько удивительных изделий выставлено на его площадях и улицах! Было бы слишком долго и докучно говорить подробно об изобилии всевозможных богатств, о золоте, серебре, тысяче видов тканей, святых реликвиях, которые находятся в этом городе, куда во всякое время многочисленные корабли привозят все, что необходимо людям...»

Привлекали, среди всего прочего, реликвии. Робер де Клари перечисляет, что обнаружили крестоносцы в 1204 г., после того как захватили Константинополь, в одной лишь церкви Фаросской богородицы: «Мы нашли там две части подлинного Животворящего Креста толщиной с ногу и длиной в пол-аршина. Нашли там также наконечник копья, коим пронзили ребро Господа, и два гвоздя, коими были пробиты Его руки и ноги. И нашли там также хрустальный сосуд с Его кровью; и нашли также багряницу, которую сняли с Него, когда вели на Голгофу; и нашли там также благословенный венец из терна с острыми, как шило, шипами. Мы нашли там также одеяние Богородицы и главу монаха святого Иоанна Крестителя и столько других богатых реликвий, что я не смог бы их описать». Отменная добыча для благочестивых норов, которые будут хранить свои трофеи, и для жадных грабителей, которые их дорого продадут.

Даже для тех людей Запада, которые не созерцали ее чудес, Византия была в средние века источником почти всех богатств, ибо оттуда шли самые ценные товары ее собственного или чужеземного производства. Оттуда шли роскошные ткани — шелк, секрет которого она вырвала у Китая в VI в., оттуда шла полновесная до конца XI в. золотая монета, которую на Западе называли просто-напросто «безантом», этот «доллар Средневековья».

Сколько соблазнов пробуждали такие богатства!

И в духовной сфере также можно было довольствоваться подчас восхищенным и признательным заимствованием. Западные теологи XII в. заново открыли для себя греческое богословие, и некоторые из них приветствовали свет, который шел с Востока: *orientate lumen*. Ален Лилльский даже уничижено добавляет: *Quia latinitas penuriosa est...* («Ибо все латинское убого...»).

Можно было также попытаться соперничать с Византией, и одной из самых любопытных попыток отделаться от византийской действительности и мифа было то воображаемое унижение греков, которое выражено в удивительной шансон-де-жест второй половины XII в. «Паломничество Карла Великого»: Карл, возвращаясь из Иерусалима с двенадцатью пэрами, проезжает через Константинополь, где король Гугон устраивает ему пышный прием. После обильного пира император и его спутники, слегка захмелев, развлекались в отведенной им палате тем, что поочередно похвалялись с грубым рыцарским юмором своими вымышленными подвигами. Досталось при этом королю Гугону и его грекам: Роланд, дескать, с такой силой протрубил в рог, что у Гугона обгорели усы. Эта шутка не имела бы последствий, если бы византийский шпион, спрятавшись за пилоном, не услышал ее и не поспешил донести Гугону. Разгневанный король потребовал от гостей, чтобы они подтвердили свое бахвальство на деле. Божественное вмешательство позволило франкам осуществить это, и побежденный Гугон признал себя вассалом Карла Великого; он

устраивает большое празднество, на котором оба императора появляются в золотых коронах.

Но этот поэтический катарсис не мог в достаточной мере погасить всю накопившуюся зависть и злобу. И вот завершение: штурм крестоносцами Константинополя 13 апреля 1204 г., грабеж и жестокая резня мужчин, женщин и детей, когда латиняне наконец-то утолили зависть и ненависть к византийцам. «Никогда еще с сотворения мира ни в одном городе не была взята подобная добыча», — говорит участник IV крестового похода хронист Виллардуэн, и ему вторит византийский хронист Никита Хониат: «Сами сарацины более добры и сострадательны по сравнению с этими людьми, которые носят на плече знак Христа».

Если враждебность средневековых христиан к византийцам, с которыми они находились в постоянных контактах, не обходилась без угрызений совести, по отношению к мусульманам здесь, по-видимому, не было проблемы. Мусульманин был неверным, врагом Господа, и о примирении с ним не могло быть и речи. Антагонизм между христианами и мусульманами был всеобъемлющим — таким, каким его определил папа Урбан II в 1095 г. в Клермоне, выступив с проповедью I крестового похода: «Какой позор будет нам, ежели это столь справедливо презираемое племя неверных, недостойных звания людей и гнусных рабов дьявола возьмет верх над избранным народом всемогущего Бога! На одной стороне будут сражаться отверженные враги Господа, на другой — Его друзья, щедро одаренные подлинными богатствами». В глазах христиан мусульмане были «недочеловеки». В шансон-де-жест «Алискан» поэт, говоря о гибели Вивьена, восклицает:

На теле его насчитали пятнадцать зияющих ран.
Сарацин умер бы от малейшей из них!

Магомет был одним из худших страшилищ средневекового христианства. Он неотступно преследовал воображение христиан в апокалипсическом видении. Он не упоминался иначе как в связи с Антихристом. У Петра Достопочтенного, аббата Клуни в середине XII в., он помещался в иерархии врагов Христа между Арием и Антихристом; у Иоахима Флорского в конце того же века он «приуготовливает приход Антихриста, как Моисей приуготовил Христа». На полях одной рукописи 1162 г. — латинского перевода Корана — карикатура на Магомета представляет его в виде чудовища.

Вместе с тем история отношения средневековых христиан к мусульманам представляет собой историю колебаний и оттенков. В IX в. Альвар из Кордовы, конечно же, видел в Магомете апокалипсического зверя, но Паскас Радберт, отмечая фундаментальный антагонизм, отлично схваченный им в географическом противопоставлении христианства, которое должно распространиться на весь мир, и ислама, который урвал у него обширную область земли, старательно различает мусульман, получивших знание о Боге, и язычников, коим Он вовсе неведом. До XI в. христианские паломничества в завоеванную мусульманами Палестину осуществлялись мирно, и лишь у некоторых теологов вырисовывался апокалипсический образ ислама.

Все изменилось в XI в., когда всей пропагандой, выдвигавшей на первый план ненависть христиан к приспешникам Магомета, были подготовлены и искусно организованы крестовые походы. Свидетельством этого переломного момента являются шансон-де-жест, в которых воспоминания об исламо-христианском симбиозе на границах двух сфер перемешиваются с утверждением ставшего отныне беспощадным противостояния. В жесте «Мене», где рассказывается о детстве Карла Великого, мы видим героя в Толедо на службе у сарацинского короля, который возводит его в сан рыцаря, — эхо историко-легендарных испанских реалий, воплощенных в «Песне о Сиде». Но в то же время Карл и почти все герои шансон-де-жест представлены одержимыми одним желанием: биться с сарацином и победить его. Вся господствующая отныне мифология сводится к поединку христианского рыцаря и мусульманина. Борьба против неверных становится конечной целью рыцарского

идеала. Неверный рассматривается отныне как язычник — причем язычник закоренелый, который заведомо отказывается от истины и обращения в христианство. В булле о созыве Четвертого Латеранского собора в 1213 г. папа Иннокентий III призывал христиан к крестовому походу против язычников-сарацин, а Жуанвиль постоянно называет мусульманский мир «языческим».

И тем не менее через этот опущенный занавес между христианами и мусульманами, которые, кажется, поднимали его только для того, чтобы сражаться, через этот боевой фронт продолжались и даже расширялись мирные контакты и обмены.

Прежде всего торговые обмены. Какие бы эмбарго ни налагало папство на вывоз христианских товаров в мусульманский мир, эти запреты срывала контрабанда. Папы кончили тем, что стали допускать отклонения, появление брешей в этой блокаде, от которой христиане страдали больше, чем мусульмане, и даже начали выдавать лицензии. В этой игре всех превзошли венецианцы. В 1198 г., например, заставив папу признать, что, не имея аграрных ресурсов, они могут жить только торговлей, венецианцы получили от Иннокентия III разрешение торговать «с султаном Александрии» — за исключением, правда, стратегических товаров, включенных папством в «черный список», который был обязателен для всего христианского мира: железо и оружие, смола, деготь, строительный лес, корабли.

Затем интеллектуальные обмены. Не то чтобы многие христианские интеллектуалы испытывали соблазн перейти в иной лагерь. Пожалуй, один лишь Абельяр, павший духом из-за преследования разъяренных противников, помышлял в какой-то момент об этом. «Я впал в такое отчаяние, — признавался он, — что намеревался оставить христианский мир и уйти к язычникам, обеспечив себе уплатой налога (на иноверцев) спокойную христианскую жизнь среди врагов Христа». Но и в самый разгар крестовых походов арабская наука волнами накатывалась на христианский мир, и если она не породила, то по меньшей мере питала то, что мы называем ренессансом XII века. По правде говоря, арабы главным образом передавали христианским ученым греческую науку, накопленную в восточных библиотеках и пущенную в оборот мусульманскими учеными, которые принесли ее на западную оконечность исламского мира, в Испанию, где она по мере Реконкисты жадно впитывалась просвещенными христианами. Отвоєванный христианами в 1085 г. Толедо стал центром притяжения для этих жаждущих, которые в первое время были по преимуществу переводчиками.

Больше того, в Святой земле, главном месте военного противостояния христиан и мусульман, быстро установились отношения мирного сосуществования. Это констатировал — впрочем, с некоторым негодующим удивлением — испано-мусульманский хронист Ибн-Джубайр во время путешествия в Палестину в 1184 г.: «Христиане взимают с мусульман на своей территории определенный побор, который был установлен с доброго согласия. Со своей стороны христианские купцы платят на мусульманской территории пошлину со своих товаров; между ними существует совершенное согласие и во всех обстоятельствах соблюдается равенство. Воины заняты войной, народ же пребывает в мире. В этом смысле ситуация в сей стране настолько необычна, что и длинное рассуждение не смогло бы исчерпать тему...»

По сравнению с этими своеобразными «язычниками», какими были мусульмане, по отношению к которым единственной официальной позицией христиан была священная война, совсем иначе выглядели другие: те, которые еще поклонялись идолам, рассматривались как возможные христиане. До конца XIII в., когда христианство в Европе едва ли не окончательно установилось на западе Руси, на Украине и на Балканах, почти непрерывная миссионерская деятельность раздвигала границы христианского мира. После того как были обращены в ортодоксальное католичество вторгшиеся ариане — в частности, вестготы и лангобарды, а затем, в начале VII в., язычники англосаксы, — этот фронт евангелизации расположился на востоке и севере Европы, обнаружив тенденцию слиться с германской экспансией. Если западная Германия была христианизирована более или менее

мирно англосаксонскими миссионерами, из которых самым известным был св. Бонифаций (Винфрид), то Каролинги, начиная с Карла Великого, чье поведение по отношению к саксам было типичным, стали проводить воинственную и насильственную христианизацию. На первых порах каролингские государи занимали в отношении язычников оборонительную позицию, но после 955 г., когда Оттон I одержал двойную победу над венграми и восточными славянами, начался длительный период агрессивной политики германцев, которые приступили к обращению язычников силой. В начале X века (епископ) Бруно Кверфуртский упрекал германского короля Генриха II, еще не коронованного императором, в том, что он, ведя войну против христиан-поляков, забывает о язычниках-лютичах, которых надлежит, согласно евангельскому завету, обращать в христианство силой оружия. С тех пор эта мысль становится лозунгом борьбы с язычниками. К этим язычникам, кстати сказать, охотно прилагали эпитет «варвары». Хронист Галл Аноним, определяя географическое положение Польши, пишет: «У северного моря ее соседями являются три очень свирепых варварских народа, населяющих Силезию (область лютичей), Померанию и Пруссию, против которых польский князь ведет бесконечную войну, дабы обратить в (истинную) веру. Но он не преуспел ни в том, чтобы вырвать из их сердца коварство мечом проповеди, ни в том, чтобы выкорчевать всю их гадючью породу мечом избиения».

Действительно, это воинственное стремление обратить других в свою веру наталкивалось на сильное сопротивление и вызывало многочисленные и неистовые пробуждения язычества. В 973 г. крупное славянское восстание уничтожило церковную организацию между Эльбой и Одером, в землях велетов и ободритов; и 1038 г. произошло восстание в защиту язычества в Польше, а и 1040 г. пришел черед вероотступничества Венгрии. И Галл Аноним замечает: «Князья этих варварских народов, побежденные в битвах польским князем, часто находили прибежище в крещении, но как только они восстанавливали свои силы, то отрекались от христианской веры и возобновляли войну против христиан». Христианская проповедь почти всегда терпела неудачу, когда она пыталась обратиться к языческим народам и убедить массы. Но, как правило, она добивалась успеха, когда привлекала на свою сторону вождей и господствующие социальные группы. Для византийцев и мусульман интеграция в римский христианский мир означала бы упадок, переход на более низкую ступень цивилизации. Для язычников же вступление в этот мир было, напротив, продвижением. Это хорошо поняли франк Хлодвиг в начале VI в., норманн Роллон в 911 г., поляк Мешко в 966 г., венгр Вайк (св. Стефан) в 985 г., датчанин Гаральд Голубозубый (950 — 986), норвежец Олаф Трюггвасон (997 — 1000). Языческие мятежи часто сопровождались, помимо того, социальными восстаниями: массы возвращались к язычеству из-за враждебности к своим христианизированным вождям, которые располагали обычно достаточными силами, чтобы быстро подавить эти взрывы. Таким образом, средневековое «новое христианство» в противоположность первоначальному христианству, основанному мелким людом, который в конце концов навязал свою веру императору и правящим классам, было христианством, в которое обращали сверху и принудительно. Не следует никогда упускать из виду это изменение христианства в средние века. В том мире насилия первым насилием было обращение в другую веру. Единственное, что вызывало иногда колебания дальновидных вождей, понимавших, какую власть дает им приобщение к христианству, — это выбор между Римом и Константинополем. В то время как поляки и венгры приняли прямо или косвенно решение в пользу Рима, русские, болгары и сербы склонились на сторону Византии. Любопытная борьба влияния имела место в Великоморавском княжестве IX в.: эпизод с Кириллом и Мефодием и оригинальная попытка сочетания римского католицизма с богослужением на славянском языке. Эфемерная попытка, как, впрочем, и сама Великоморавская держава. Римский католицизм восторжествовал в Моравии и Чехии с установлением феодального государства Пшемисловичей.

Добившись стабилизации на севере западного бассейна Средиземноморья, где удалось сдержать натиск Византии и ислама в Испании, Сицилии и Южной Италии, но потерпев в

XIII в. неудачу в Греции и Палестине, западное христианство утвердилось в течение того же XIII в. в полосе от Литвы до Хорватии.

Именно тогда, в XIII в., западные христиане заметили между мусульманами и «варварами» третий вид язычников: монголов. Монгольский миф является одним из наиболее любопытных мифов средневекового христианства. Христиане Центральной Европы, в Малой Польше, Силезии и Венгрии, без всяких колебаний распознавали самых настоящих язычников в тех, кого они называли «татарами» и кто трижды истреблял их в опустошительных набегах, — притом одних из самых жестоких язычников, которых восточные вторжения толкали на запад. Откликаясь на слухи об их терроре, хронист Матвей Парижский писал: «Это бесчеловечные, уподобившиеся зверям создания, каковых должно называть скорее чудовищами, нежели людьми. Они жаждут крови и пьют ее, пожирают собачье мясо и даже человеческую плоть». И в то же время в остальной части христианского мира, в среде князей, клириков и купцов, монголы породили странные мечты. Их считали не только готовыми принять христианство, но уже принявшими его и ожидающими лишь повода, чтобы заявить о себе.

Миф о пресвитере Иоанне, таинственном христианском государе, чье царство помещали в XIII в. в Азии (позднее, в XV в., в Эфиопии), рожденный воображением западных христиан на основе смутных сведений о сохранившихся в Азии нескольких несторианских общинах, распространился на монголов. Отсюда великая мечта о союзе христиан и монголов, который, зажав ислам в свое кольцо, уничтожит его или обратит в христианство и установит наконец царство истинной веры на всей земле. Отсюда и те миссии, которые посылались в середине XIII в. к монголам: два доминиканца и два францисканца, направленные в 1245 г. напой Иннокентием IV, французское посольство, отправленное в 1249 г. Людовиком IX Святым, и в 1253 г. еще одна доминиканская, а также францисканская миссия во главе с фламандцем Вильгельмом Рубруком. До нас дошли два ценнейших рассказа об этих приключениях: свидетельство самого Рубрука и другого францисканца, Джованни да Плано Карпини. То были посольства великой надежды, завершившиеся великим разочарованием. Разочарование Людовика Святого, о котором нам рассказывает Жуанвиль: «Король сильно раскаивался в том, что отправил посланцев и подарки». Разочарование постигло Марко Поло, который пытался в конце века оправдать упования на возможность обращения монголов в христианство и так объяснял неудачу: «Если бы папа послал к великому хану людей, сведущих в искусстве проповеди, то хан стал бы христианином, так как известно, что у него было великое желание стать таковым». Впрочем, на той же странице Марко Поло вкладывает в уста хана Хубилая целую речь, в которой монгольский владыка разъясняет несовместимость социальных и политических структур татар с христианством.

Монгольский миф вызвал около 1300 г. еще несколько экспедиций. Целый ряд миссий, самыми важными из которых были миссии Джованни де Монте Корвино и Одорика де Порденона, завершился даже образованием в Азии маленьких и недолговечных христианских общин. Средневековое христианство оставалось европейским. Но оно предпринимало отважные попытки проникнуть на край света. «Родина татар, — писал еще Жуанвиль, — представляет собой большую песчаную долину, невозделанную и бесплодную. Она начинается у цепи чудовищных скал, которые образуют конец света со стороны востока. Эту цепь еще никто не преодолевал, но, по словам татар, там живут народы Го-га и Магога, которые выйдут оттуда, когда наступит скончание века и появится Антихрист, чтобы все уничтожить».

Таким образом, христианство, потерпев неудачу в Азии и Африке (где первые христианские миссионеры были истреблены мусульманами), вновь обнаружило — но уже за пределами своего опыта — границы воображаемого мира, география которого по-прежнему основывалась на Библии.

Казалось бы, христианство XIII в. хотело выйти из своих границ. Оно начало заменять

идею крестового похода идеей миссии и вроде было готово открыть объятия всему миру.

И тем не менее оно оставалось замкнутым миром того общества, которое могло присоединить к себе насильно одних новых членов (*compelle intrare*), но исключало других, то есть определялось подлинным религиозным расизмом. Принадлежность к христианству была критерием его ценностей и поведения. Война между христианами была злом, но становилась долгом, когда ее вели против иноверцев. Ростовщичество было запрещено в христианской среде, но дозволено неверным, то есть евреям. Ибо все прочие, весь этот пестрый мир язычников, которых христианство либо отвергало, либо держало вне своих границ, существовали внутри него, будучи объектом изъятия из общего права, которое мы рассмотрим ниже.

Здесь же мы хотим лишь определить пространственные горизонты средневекового христианского мира, который, оказавшись между двумя направлениями самого христианства — закрытой религией Ветхого завета, достоянием избранного народа, и открытой ко всеобщему признанию религией Евангелия, — замкнулся в обособленности. Вновь обратимся к «Светильнику» — настольной книге среднего христианина XII в. Ученик, опираясь на два текста из посланий апостола Павла, ставит проблему христианства как религии открытой или закрытой. «В одном месте сказано: „Христос умер за нечестивых“, а в другом: „По благодати Божией Он вкусил смерть за всех“. Так пошла ли Его смерть на благо нечестивым?» И учитель отвечает: «Христос принял смерть за одних лишь избранных» — и подбирает цитаты, которые исключают, что Христос якобы умер «за всех».

Тенденция христианского мира к замкнутости отчетливо проявилась в отношении к язычникам. До Григория Великого ирландские монахи отказывались проповедовать Евангелие своим ненавистным соседям-англосаксам, которых они обрекали на адские муки, чтобы не рисковать встретиться с ними в раю. Языческий мир был долгое время крупным резервуаром рабов для христианской торговли, которую вели купцы-христиане или евреи на христианской территории. Обращение в христианство истощало этот прибыльный рынок и поэтому осуществлялось не без колебаний. Англосаксы, славяне поставляли «человеческий скот» для средневековой торговли до того, как были интегрированы в христианский мир и защищены тем самым от рабства. В конце X в. пражский епископ Адальберт, обвиняя свою паству в возврате к язычеству, особенно сильно упрекал ее за продажу христиан евреям-торговцам. Нехристианин не был по-настоящему человеком, один лишь христианин мог пользоваться правами человека — и среди них защитой от рабства. Вселенские соборы XII — XIII вв. постоянно напоминали о запрете христианам пребывать в рабстве или в услужении у евреев и сарацин. Христианская позиция в вопросе о рабстве выявляет христианский партикуляризм, обособленность, примитивную групповую солидарность и коррелятивную политику «апартеида» по отношению к внешним группам.

Один катехизис XIII в., следуя иудаистской традиции племенного Бога, указывает в качестве первой заповеди: «Един твой Бог, и не произноси имени Его всуе». Средневековое христианство, ревнуя к своему Богу, было далеко от экуменизма.

И однако же, это общество — замкнутое, непроницаемое, враждебное к другим — было своего рода губкой, впитывавшей все ценное, что шло извне. На техническом уровне оно было преобразовано благодаря заимствованиям — таким, как водяная или ветряная мельница, пришедшая с Востока; в экономическом плане оно долгое время пребывало пассивным по отношению к Византии и исламу, получая для своего пропитания и одежды из Константинополя или Александрии почти все, что выходило за пределы необходимого: роскошные ткани, пряности; византийское и мусульманское золото и серебро подстегнуло его переход к денежному хозяйству; его искусство, начиная со степных мотивов, которые вдохновляли все варварское ювелирное ремесло, и кончая куполами и стрельчатыми арками, пришедшими из Армении, Византии или Кордовы; его наука, обращавшаяся к греческим источникам через посредничество арабов, — все это было вскормлено заимствованиями. И если это общество сумело найти в себе ресурсы, которые позволили ему стать созидательной силой, а затем образцом и проводником для других обществ, то не следует забывать, что оно

было вначале учеником, зависящим от всех тех миров, которые оно презирало и осуждало, но которые его вскармливали и обучали в течение долгого времени, когда оно было бедным и варварским и полагало, что сможет замкнуться в своей надменной уверенности.

Замкнутый на земле, закрытый на этом свете христианский мир широко раскрывался вверх, в сторону неба. Материально и духовно не существовало непроницаемых перегородок между земным и небесным мирами. Разумеется, приходилось преодолевать множество ступеней, переходить через пропасти, делать скачки. Но космография или мистическая аскеза равным образом провозглашали, что долгая дорога, великий путь паломничества души, «итинерарий» (если воспользоваться термином св. Бонавентуры) приводит шаг за шагом к Богу.

Вселенная представляет собой систему концентрических сфер — такова была общая концепция; мнения расходились лишь относительно числа и природы этих сфер. Беда Достопочтенный в VIII в. полагал, что Землю окружают семь небес (мы и сейчас говорим «быть на седьмом небе»): воздух, эфир, олимп, огненное пространство, звездный свод, небо ангелов и небо Троицы. В космологии Беда с полной очевидностью, вплоть до терминологии, проявляется греческое наследие. Христианизация этой концепции завершилась ее упрощением, о чем свидетельствовал в XII в. «Светильник» Гонория Августодунского, который различал только три неба: телесное небо, которое мы видим; духовное небо, где обитают духовные субстанции, то есть ангелы, и интеллектуальное небо, где блаженные созерцают лик Святой Троицы. Более научные системы воспроизводили схему Аристотеля, делавшую из Вселенной сложный распорядок пятидесяти пяти сфер, к которым схоласты прибавляли дополнительную внешнюю сферу «перводвигателя», где Бог приводит в движение всю систему. Некоторые теологи, как, например, парижский епископ Гильом Овернский во второй половине XIII в., создали в своем воображении по другую сторону перводвигателя новую сферу, неподвижную эмпирию, местопребывание святых.

Главное заключалось в том, что, несмотря на старания теологов и церкви утвердить положение о духовном, бестелесном характере Бога, уже сама лексика позволяла христианам представлять себе Бога конкретно. Нужно было решить двойную проблему: сохранить тезис о божественной нематериальности, не задевая при этом наивных верований в реальное (как говорили тогда, субстанциональное) бытие Бога. В таком желании удовлетворить одновременно ортодоксальную доктрину и ментальные привычки масс заключалась определенная двусмысленность. «Светильник» Гонория Августодунского является хорошим свидетельством этого немного щекотливого стремления примирить оба представления о Боге.

«Где обитает Бог?» — спрашивает ученик.

«Повсюду в могуществе, на интеллектуальном небе в субстанции», — отвечает учитель.

Но ученик делает новую попытку: «Как можно говорить, что Бог пребывает везде и всегда, но в то же время нигде?»

«Потому что Бог бестелесен, — отвечает учитель, — и, следовательно „не локализован“ (illocatus)».

Этот ответ удовлетворяет ученика, который, впрочем, знает, что Бог пребывает в субстанции на интеллектуальном небе.

Однако для массы Бог существовал телесно — такой, каким Его очень рано начала изображать христианская иконография. Средневековые христиане унаследовали этот образ Бога от иудаизма. Разумеется, такой Бог не показывает себя людям. «Лица Моего не можно тебе увидеть, — говорит он Моисею, — потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». Но древние евреи воображали Бога сидящим на троне, смотрящим на людей с высоты неба, и слова Библии о том, что Бог сотворил человека по образу своему, евреи, а вслед за ними и большинство средневековых христиан понимали как указание прежде всего на физическое сходство и представляли себе Бога с человеческими чертами.

Христианство, особенно после Никейского собора (325 г.), предлагало почитанию верующих Бога в трех лицах, Святую Троицу, которая — если даже оставить в стороне связанные с ней теологические трудности (многие богословы на средневековом Западе впадали в антитринитарные ереси, и учение о Троице было одной из причин враждебности к римскому христианству других родственных религий, например византийского православия) — представляла для массы загадку, которая соответствовала теологической тайне. Тема троичности Бога была, по-видимому, особенно притягательна для ученой богословской среды и имела лишь ограниченный резонанс в массах.

Точно так же и почитание Духа Святого было, очевидно, прежде всего делом ученых — во всяком случае, до Позднего Средневековья, когда возросло число посвященных ему религиозных братств и богоугодных заведений. Когда в 1122 г. Абельяр основал в своем «убежище» Параклете монастырь во имя Духа Святого, это навлекло на него сильные нарекания. «Такое название, — писал он, — было встречено многими с удивлением и даже вызвало яростные наскоки под тем предлогом, что нельзя, дескать, посвящать церковь особо Духу Святому или Богу-отцу, но надлежит, согласно старому обычаю, освящать ее во имя или одного Бога-сына, или Троицы».

Университеты отмечали тогда начало учебного года торжественной мессой Духу Святому, покровителю свободных искусств, однако здесь этот обычай вписывался в очень ортодоксальный и уравновешенный культ Троицы, присущий ученой среде. Статуты Оксфордского университета, составленные до 1350 г., предписывали, например, следующее:

«Поскольку благополучное течение всех дел зависит от того, насколько с самого их начала было проявлено почтение к Богу, и основой любого доброго предприятия является благословение Христово, посему общим мнением магистров было постановлено, что ежегодно в день возобновления занятий после Михайлова дня все магистры должны собираться на мессу Духу Святому, а последний день последнего триместра им надлежит отмечать торжественной мессой Троице и делами милосердия».

У некоторых видных мистиков, например у Гильома из Сен-Гьерри, Троица является центром духовной жизни. Аскеза же представляет собой путь («итинерарий»), идя по которому человек вновь обретает утраченный вследствие первородного греха образ Божий. Три лика Троицы соответствуют трем путям и трем средствам этого духовного очищения, самый процесс которого, однако, един. Бог-отец ведет дорогой памяти, Бог-сын — дорогой разума, Бог — Дух Святой — дорогой любви. Таким образом, душа человека постигала таинство Троицы, познавая свои возможности и освобождаясь от природного начала.

Зато в некоторых народных кругах почитание Духа Святого как одной из ипостасей неслиянной и нераздельной Троицы выродилось в культ Святого Духа или св. Голубя — перевоплощений третьего лика Божьего.

Догмат о Троице или Духе Святом легче усваивался богословами или мистиками, нежели массой верующих, и народная религиозность колебалась между чисто монотеистическим видением Бога и дуалистическим образом Бога-отца и Бога-сына.

Средневековое чувство (sensibilite) и искусство не без труда преодолели старое еврейское табу, которое запрещало реалистическое, то есть антропоморфное, изображение Бога. Он был представлен вначале символами, которые продолжали существовать в иконографии — а возможно, и в психике — и после того, как восторжествовали вочеловеченные образы Бога. В этих символических изображениях Бога очень рано обнаруживалась тенденция скорее различать Отца и Сына, нежели представлять их в одном лице.

Так, рука, которая появляется на небе, показываясь из облака, принадлежит, скорее всего, Богу-отцу. Она является по своему происхождению знаком предписания; само еврейское слово означает одновременно «рука» и «власть». Эта рука, которая могла стать в той или иной сцене очень выразительной, смягчаясь, например, в благословляющем жесте, оставалась прежде всего материализацией постоянно висящей над человеком угрозы. Божью длань всегда окружала атмосфера священного трепета, если не ужаса. Средневековые

короли, которые унаследовали от нее одну из своих регалий, «руку правосудия», обращали себе на пользу эту устрашающую власть руки Господней.

Что касается Христа, то в раннем христианстве его изображали преимущественно в виде агнца, держащего крест или знамя с распятием. Однако это абстрактное представление скоро навлекло на себя критику, так как оно заслоняло человечность, главную черту Христа. Теолог Гильом Дюран, епископ Мандский, свидетельствовал в XIII в. о том, что такое изображение затрудняло понимание смысла: «Поскольку Иоанн Креститель показывает пальцем на Христа и говорит: „Вот Агнец Божий“, то некоторые рисуют Христа в виде ягненка. Но поскольку Христос есть реальный человек, то папа Адриан заявляет, что мы должны изображать Его в виде человека. И действительно, не Агнца надлежит рисовать на распятии, но сначала человека; после него ничто не мешает изобразить Агнца внизу или на обратной стороне распятия».

Мы еще вернемся к вопросу о человеческой природе Христа, основе средневекового гуманизма. Она сыграла важнейшую роль в духовной эволюции Запада.

Однако в течение долгого времени божественный антропоморфизм делал главную ставку на Бога-отца. В борьбе против арианства с V по VII в. желание настоять на божественности Христа привело чуть ли не к совмещению Отца и Сына. Каролингская эпоха, склонная более к проявлениям могущества, нежели к выражению смирения, оставила в тени все то, что могло показаться в Христе слабостью. Чисто человеческие эпизоды в жизни Христа, его близость с бедняками и тружениками, реалистические и вызывающие сострадание моменты страстей Господних — все это было обойдено молчанием.

Бог — Отец и Сын одновременно, «старый человек и молодой бог», как говорит Вальтер фон дер Фогельвайде, — становится Богом во славе. Бог-Пантократор (Вседержитель) на троне в миндалевидном ореоле возносил до самого высокого предела наследие императорского церемониала, который был предписан ему восторжествовавшим христианством Позднеримской империи. Это был Бог, могущество которого проявлялось в сотворении мира (книга Бытия затмевала в теологии, религиозных комментариях и искусстве все прочие книги Библии), в триумфе (агнец и крест становились символами славы, а не смирения), на Страшном суде (от Христа Апокалипсиса с мечом в зубах до Судии романских и готических тимпанов).

Бог стал феодальным сеньором: Dominus («господин»). В «Libri carolini» воспроизводится такое суждение Блаженного Августина о Боге: «Творец зовется творцом по отношению к Своим тварям подобно тому, как господин зовется господином по отношению к своим слугам».

Поэты IX в. делали из Бога владельца небесной крепости, удивительно похожей на императорский дворец в Ахене. Бог во славе — это Бог шансон-де-жест, которые пользуются выражением феодального общества «Сеньор Бог».

Феодальной является вся лексика трактата св. Ансельма Кентерберийского «Почему Богочеловек?», написанного в конце XII в. Бог появляется в нем как феодальный сеньор, повелевающий гремя категориями вассалов: ангелами, которые держат фьефы в обмен на фиксированную и постоянную службу; монахами, которые служат в надежде получить обратно наследственное владение, утраченное из-за вероломства их предков; мирянами, которые погружены в рабство без всякой надежды. То, что они должны Богу, есть *servitium debitum*, вассальная служба. То, чего домогается Бог в отношениях с подданными, так это соответствия их поведения его чести сеньора. Христос пожертвовал своей жизнью «ради чести Божией», наказание грешника желательно Богу «ради своей чести».

Однако еще в большей степени, нежели феодальным сеньором, Бог был царем. Идея царской власти Бога вдохновляла строителей дороманских и романских церквей; такая церковь была задумана как царский дворец, восходивший к царским ротондам Ирана с куполом или абсидой, где стоял трон Пантократора. Эта идея лежала также в основе иконографии Бога во славе, изображавшей его с царскими атрибутами: тронем, солнцем и луной (альфой и омегой знаков всеобъемлющей власти), двором из старцев Апокалипсиса

или ангелов, иногда с короной.

Это царственное и триумфальное видение Бога не пощадило и Христа. Христос Страшного суда с раной в боку — знаком победы над смертью; Христос на кресте, но в венце; Христос на королевских монетах с многозначительной надписью на золотом эку Людовика Святого Французского (XIII в.): «Христос-победитель, Христос-царь, Христос-император» «*Christus vincit, Christus reg-nat, Christus imperat*». Монархическая концепция Бога, которая метила скорее в подданных, нежели в вассалов, имела капитальное значение для политического общества средневекового Запада. С помощью церкви земные цари и императоры, подобия Бога на этом свете, нашли в ней мощную поддержку именно для того, чтобы одержать верх над феодальной концепцией, которая пыталась их парализовать. Наконец, не стоит ли вслед за Норманом Коном попытаться увидеть за этим авторитарным Богом психоаналитический образ отца, чье давление, будь то тирания или доброта, объяснило бы множество коллективных комплексов средневековых людей, послушных детей или мятежных сыновей, — последователей Антихриста, прототипа мятежного сына?

Тем временем бок о бок с этим Богом-монархом пролагал себе дорогу в душах людей Богочеловек смиренного и обыденного человечества. Этот близкий к человеку Бог не мог быть Богом-отцом, который даже в своей патерналистской форме Доброго Бога оставался слишком далеким, самое большее — снисходительным. То был Бог-сын. Эволюция образа Христа в средневековом благочестии непроста. Сложной была уже сама его ранняя иконография. Рядом с Христом-агнцем скоро появился антропоморфный Христос: Христос-пастырь, Христос-учитель, глава секты, которую ему надлежало вести и наставлять в окружении преследователей. Средневековое христианство стремилось, как мы видели, свести Агнца к атрибуту Христа-человека; оно убрало из употребления образ Доброго Пастыря, но сохранило тип Христа-наставника. Одновременно увеличилось количество христологических символов и аллегорий: это мистические мельница и винный пресс, которые означали оплодотворяющую жертву Христову; космологический Христос (наследие солярного символизма), появляющийся в центре колеса на одном из витражей Шартрского собора XII в.; символы виноградной лозы и грозди; анималистические символы льва или орла — знаки могущества, единорога — знак чистоты, пеликана — знак жертвы, феникса — знак воскрешения и бессмертия.

Христос проникал в душу средневекового человека и другими путями. Первым был, несомненно, путь спасения. В тот самый момент, в VIII и IX вв., когда затмилось представление о человеческой природе Христа, развился, вторгшись в литургию и церковную архитектуру, культ Спасителя. Развитию этого культа соответствовало появление в каролингскую эпоху церковной паперти, в которой справедливо видят исходный пункт развития западного фасада романских и готических церквей. Это было обрамление литургии Воскресения и связанной с ней литургии Апокалипсиса, величественное изображение небесного Иерусалима, который путали с земным Иерусалимом со столь типичными для средневековой ментальности взаимопроникновением и сплавом небесных и земных реалий. Однако Христос-Спаситель каролингской эпохи оставался еще связанным с культом, замыкавшимся на самое себя, и доминирующей была тогда церковь замкнутого типа, ротонда, октогон, базилика с двойной абсидой, которая продолжит свое существование уже за пределами каролингского искусства в архитектуре оттоновского периода и позднее — вплоть до больших императорских церквей Рейнского региона в романскую эпоху.

Начиная с XIII в. Христос шире распахнул свои объятия человечеству. Он стал вратами, открывающими доступ к Откровению и Спасению. Аббат Сугерий, строитель Сен-Дени, пишет, что Христос — это истинные врата: *Christus janua vera*. Французский мистик Гильом де Сен-Тьерри обращался к Христу: «О Ты, который сказал: „Я есмь врата, и кто пройдет через меня, будет спасен“, покажи нам, где пребывают Твои врата, когда и кому Ты их открываешь. Дом, что имеет Тебя вратами, — это небо, где обитает Твой отец».

Таким образом, церковь, символ небесного дома, приступ к небу, широко раскрылась

перед верующими. Врата поглотили фасад: романские тимпаны, паперть Сантьяго-де-Компостеллы, великие готические порталы...

Этот очень близкий человеку Христос мог приблизиться еще больше, приняв облик младенца. Успех культа Христа-младенца, который утвердился в XII в., был неразрывно связан с культом Девы Марии. Ниже мы рассмотрим конъюнктуру, которая поддерживала этот успех и делала его неотразимым. Христос-Человек, возродивший человека, — стал новым Адамом рядом с Пречистой Девой, новой Евой.

Но в первую очередь Христос все больше и больше становился Христом-страдальцем, Христом Голгофы и страстей Господних. Распятие, которое изображали все чаще и все более реалистично, сохраняло, безусловно, символические элементы, однако они нередко конкурировали с новым значением почитания Распятого. Такова связь между Адамом и распятием, о которой свидетельствует иконография (череп Адама у подножия креста), а также легенда о том, что Святой крест был сделан из дерева, посаженного на могиле Адама. Можно было бы также, проследив эволюцию почитания самого креста, выяснить, каким образом он из символа триумфа (а он был еще таковым для крестоносцев XI в.) превратился в символ смирения и страдания. Символика креста, кстати сказать, часто встречала сопротивление в народной среде — особенно у еретиков, которые под прямым влиянием восточных ересей (например, богомильской) или благодаря случайному знакомству с еретической традицией отказывались почитать кусок дерева. Для них он был символом предназначаемой для рабов позорной смерти, непереносимым и немыслимым унижением Бога. С курьезным поворотом в неприятии культа креста встретился Марко Поло при дворе великого монгольского хана, который, находясь под влиянием азиатского несторианства, отвергал прежде всего в западном католицизме это богохульство: «Он ни за что не позволяет, чтобы перед ним несли крест, потому что на нем страдал и умер столь великий человек, как Христос». Казнь Иисуса на кресте часто ощущалась народом, привязанным к традиционным формам благочестия, как оскорбление величества в буквальном смысле слова.

Почитание Христа Страждущего создало, разумеется, новые символы, новые объекты благочестия. С XIII в. появился, наряду с почитанием реликвий страстей Господних, культ орудий этих страстей. Они не только сохраняли конкретный, реальный облик, но в первую очередь свидетельствовали о замене новыми знаками традиционных монархических эмблем. Отныне царство Христово стало прежде всего царством Христа, увенчанного терниями, — предвестие темы Ессе Номо, которая заполонила духовную жизнь и искусство XIV в.

Наконец, преимущественный интерес к Христу Страждущему был интегрирован в эволюцию его образа, которая ставила на первый план всю человеческую жизнь Иисуса. В искусстве XIII в. появились реалистические циклы, в которых прослеживалось, от Благовещения до Вознесения, земное существование Человека, ставшего Богом; своим появлением они были во многом обязаны возросшему вкусу к «историям» и развитию жанра театральной мистерии. Четырнадцатое столетие также внесло вклад в эту тенденцию: известна иконографическая значимость цикла фресок о жизни Христа, написанных Джотто в 1304 — 1306 гг. для капеллы дель Арена в Падуе.

Как мы увидим ниже, решающим свидетельством возникновения нового чувствования, выражающего новое общество, было появление индивидуального портрета. Первым портретом Средневековья был портрет Христа. Его архетипом послужил, по-видимому, плат Вероники (Santo Volto) в Лукке. Евангелист Лука, портретист Христа и Богородицы, стал в XV в. покровителем художников.

Богу противостоял и спорил с Ним за власть на небе и земле могущественный персонаж — дьявол. В Раннее Средневековье Сатана не играл роль первого плана и еще в меньшей мере — роль обвиняемого. Он утвердился в XI в. и был создан феодальным обществом. Вместе со своей опорой, восставшими ангелами, он являл собой сам тип вероломного вассала, предателя. Дьявол и Добрый Бог — вот пара, которая доминировала в

жизни средневекового христианства и борьба которой объясняла в глазах человека средних веков каждую событийную деталь.

Разумеется, согласно ортодоксальному христианству, Сатана неровня Богу; он сам — его творение, падший ангел. Великой ересью средних веков, принимавшей различные формы и наименования, было манихейство. А его основу составляла вера в двух богов — бога добра и бога зла, создателя и господина земного мира. Крупнейшее заблуждение манихейства с точки зрения христианской ортодоксии заключалось в том, что эта ересь ставила на одну доску Бога и Сатану, Дьявола и Доброго Бога. Подчас какой-нибудь теолог вроде св. Ансельма так тщательно старался избежать всего, что могло бы походить на манихейство, что он категорически отбрасывал и традиционное верование в законный характер власти дьявола над человеком — то, что называли «правами дьявола». Однако во всем мышлении и поведении людей Средневековья доминировало более или менее осознанное и обобщенное манихейство. Для них по одну сторону был Бог, по другую — Дьявол. Это великое разделение господствовало в моральной, социальной и политической жизни. Человечество раздиралось этии двумя силами, не знавшими компромиссов. Добрый поступок исходил от Бога, дурной — от Дьявола. В день Страшного суда праведники пойдут в рай, грешники в ад. Средневековье если и знало чистилище, то не признавало его. Ему не доставало этой главной основы для дозировки выносимого душе приговора, а скрытое манихейство вынуждало человека средних веков быть нетерпимым. Беспощадный образ этой нетерпимости — разделение человечества на две части, осужденных и спасшихся, запечатленное на тимпане кафедрального собора.

Черное и белое, без середины — такова была действительность для средневековых людей. Впрочем, разве черное — не цвет Дьявола, а белое — верных слуг Бога, ангелов? В «Золотой легенде» св. Иоанн Милостивый рассказывает назидательную историю некоего Петра: «Петр заболел, и было ему видение. Он увидел себя представшим перед Высшим Судилищем и как на одну чашу весов черные дьяволы клали его грехи, а по другую сторону грустно стояли одетые в белое ангелы».

Итак, человек Средневековья был вечным яблоком раздора между Богом и Сатаной. Существование Дьявола представлялось столь же реальным, как и бытие Бога; он даже испытывал меньшую нужду в том, чтобы представать перед человеком в перевоплощенном виде или в видениях. Иконография, разумеется, может изображать его в символической форме: в виде Змия между Адамом и Евой в сцене грехопадения или как плотский или духовный грех — символ сексуального или интеллектуального вожделения. Но главным образом он принимал различный антропоморфный вид. Каждый человек рисковал увидеть его в любой момент. Каждый знал, что его постоянно подстерегает «исконный враг рода человеческого».

Дьявол появлялся в двух ипостасях: соблазнителя и преследователя; возможно, эта двойственная роль была следствием двоякого происхождения его образа. В первом случае он принимал обманчиво привлекательный облик. Во втором — свой истинный устрашающий вид.

Как соблазнитель он представал чаще всего перед людьми, которых мог одолеть лишь хитростью, но не силой. Мы узнаем здесь феодальное представление о том, что герой может быть сражен только из-за предательства. Обычно дьявол принимал облик юной красавицы, однако «Золотая легенда» изобилует рассказами наивных или некрепких в вере паломников, которые поддались искушению нечистого, принявшего вид апостола Иакова.

Дьявол-преследователь, как правило, пренебрегал маскарадом. Он являлся намеченным жертвам в своем подлинном, отвратительном виде. Вот как описывал его в начале XI в. монах Рауль Глабер. Дело происходило «ночью, перед заутреней», в монастыре Сен-Лежар-де-Шампо. «Вдруг я увидел, как у меня в ногах появилось некое страшное на вид подобие человека. Это было, насколько я мог разглядеть, существо небольшого роста, с тонкой шеей, худым лицом, совершенно черными глазами, бугристым морщинистым лбом, тонкими ноздрями, выступающей челюстью, толстыми губами, скошенным узким

подбородком, козлиной бородой, мохнатыми острыми ушами, взъерошенной щетиной вместо волос, собачьими зубами, клинообразным черепом, впалой грудью, с горбом на спине, дрожащими ляжками, в грязной отвратительной одежде». Эта последняя деталь придает видению Рауля Глабера некоторое своеобразие, так как обычно дьявол-преследователь был нагим. В обращении с женщинами он охотнее использовал силу, чем хитрость, но легко прибегал к коварству, если насилие не удавалось. Так было, согласно «Золотой легенде», в случае со св. Юстиной. «Он принял обличие красивого юноши и приблизился к ее ложу, чтобы обнять ее. Однако Юстина, распознав злой дух, отогнала его крестным знамением. Тогда дьявол с Божьего дозволения (мы узнаем в этой формуле желание избежать всякого манихейства) навлек на нее лихорадку».

Несчастные жертвы Сатаны, мужчины и женщины, часто становились добычей сексуального неистовства демонов — инкубов и суккубов.

Особо избранные жертвы подвергались неоднократным натискам Сатаны, который использовал все уловки, маскировки, искушения и пытки. Самой известной из этих героических жертв был св. Антоний, чье искушение станет — уже за рамками средних веков — источником вдохновения для необузданной фантазии художников и писателей от Иеронима Босха до Флобера.

Объект препирательства между Богом и дьяволом на земле, человек, после смерти становился ставкой в их последнем и решающем споре. Средневековое искусство насыщено изображениями финальной сцены земного существования, когда душа умершего раздиралась между Сатаной и архангелом Михаилом прежде, чем победитель уводил ее в рай или ад. Отметим, чтобы и здесь не впасть в манихейство, что противником дьявола был не сам Бог, но его наместник. Однако прежде всего заметим, что эта сцена, которой заканчивалась жизнь средневекового человека, подчеркивает пассивность его существования. Она представляет собой самое сильное и впечатляющее выражение того, что он не принадлежал самому себе.

Сверхъестественная власть, которой пользовались Бог и Сатана, не составляла их исключительную привилегию. В определенной мере ею были наделены также и некоторые люди. Из этих индивидуумов состоял высший слой средневекового человечества. Для обычного человека трагедия заключалась в том, что ему было трудно отличить доброе начало от дурного; он постоянно мог быть обманут, приняв участие в иллюзорном и сомнительном спектакле. Яков Ворагинский напоминает в «Золотой легенде» слова Григория Великого: «Чудеса еще не делают святого; они не более чем его знак» — и уточняет: «Можно творить чудеса, не имея Духа Святого, поскольку и сами злые духи похвалялись этим».

В чем не сомневался средневековый человек, так это в том, что не только дьявол мог, подобно Богу — и, разумеется, с его дозволения, — творить чудеса, но этой способностью обладали также

и смертные, обращая ее ко благу или во зло. Отсюда — двусмысленное, двойственное отношение к черной и белой магии, природа воздействия которой была, как правило, скрыта от непосвященных. Отсюда и антиподы — Симон Волхв и Соломон Мудрый. С одной стороны — злокозненная порода колдунов, с другой — благословенное воинство святых. Несчастье состояло в том, что ведуны принимали облик святых; они принадлежали к большой семье обманщиков-лжепророков. Разоблачив, их можно было обратить в бегство крестным знамением, воззванием к Божьему имени или соответствующей молитвой. Но каким образом их разоблачить? Одной из главных задач истинных святых и было как раз распознавание и изгнание тех, кто творил ложные или, вернее, дурные чудеса, то есть демонов и их земных приспешников, колдунов. Мастером этого дела слыл св. Мартин. «Он блистал умением распознавать демонов, — сказано в „Золотой легенде“, — и разоблачал их, какой бы облик они ни принимали».

Средневековые изобиловали одержимыми, несчастными жертвами колдовских чар или вошедшего в их тело дьявола. Одни лишь святые могли их спасти и заставить нечистого выпустить свою жертву из когтей. Изгнание беса было основной функцией святого.

Средневековое человечество включало в себя массу действительных или потенциальных одержимых, которых тянули в разные стороны злые колдуны и добрые чародеи. Заметим в этой связи, что, хотя добрые чародеи рекрутировались главным образом из среды духовенства, туда могли проникнуть также и некоторые выдающиеся миряне. Так обстояло дело с королями-чудотворцами, к которым мы еще вернемся. Этот феномен представляет собой один из аспектов архаической борьбы между жрецами и воинами. Некоторые из этих последних — более ловкие, более сильные или более удачливые — сумели присвоить частицу власти колдунов. В них реализовывался (свойственный примитивным цивилизациям) тип царя-жреца, редкость которого и относительный неуспех в средневековом обществе указывают на полупримитивный характер этого общества.

По правде говоря, люди в этом обществе имели более бдительных и усердных покровителей, нежели святые. Ими были ангелы, непрерывно сновавшие между небом и землей. Когорте демонов, которые кидались на людей, призываемых их грехами, противостоял сонм бдительных ангелов. Между небом и землей была сооружена лестница Иакова, по которой двумя бесконечными вереницами восходили и сходили эти небесные создания. Восходящая вереница символизировала созерцательную жизнь, сходящая — жизнь активную. С помощью ангелов на эту лестницу карабкались люди; они падали, делали повторные попытки и снова падали — это и была их жизнь. Герда Ландсбергская, настоятельница монастыря св. Одилии в Эльзасе, жившая во второй половине XII в., показывает в своем «Саду наслаждений» («Hortus Deliciarum»), что даже лучшим из людей не удавалось преодолеть последнюю ступень: христианская версия мифа о Сизифе, в котором воплотился разочаровывающий, хотя и упоительный опыт мистиков. «Бог не может быть видим прямо, — писал один из них, Жан де Фекам. — Созерцательная жизнь, начавшись на этом свете, достигнет совершенства лишь при лицезрении Господа. Когда смиренная и простая душа, углубившись в созерцание и разорвав телесные узы, возвышается до лицезрения небес, она не может долго пребывать там, ибо тяжесть плоти тянет ее на землю. Как бы ни была поражена душа безграничностью небесного света, она скоро вновь возвращается к себе на землю, получив тем не менее великую пользу от того малого, что смогла вкусить от божественной сладости. Но вскоре, охваченная страстной любовью, она торопится возобновить свой полет...»

Каждый человек имел своего ангела, и на земле в средние века обитало двойное население, люди и их небесные спутники, или, вернее, тройное, так как к ним прибавлялся подстерегавший их мир демонов.

Именно такое галлюцинирующее общество представляет нам «Светильник» Гонория Августодунского:

— Есть ли у людей ангелы-хранители? — спрашивает ученик.

— Каждая душа в момент соединения с телом вверяется ангелу, который должен постоянно склонять ее к добру и сообщать о всех ее деяниях Богу и ангелам на небе.

— Неотступно ли пребывают ангелы на земле с теми, кого они охраняют?

— Если надобно, они приходят на помощь, особенно по зову молитвы. Это происходит немедленно, ибо они могут в мгновение ока спуститься с неба на землю и вернуться на небеса.

— В каком обличье являются ангелы людям?

— В обличье человека. Так как телесный человек не может видеть духов, то они принимают вид воздушного тела, каковое человек может слышать и видеть.

— Существуют ли демоны, которые подстерегают людей?

— Каждым грехом повелевают демоны, каковых с их чинами суть бесчисленное множество. Они постоянно склоняют души людей к пороку и доносят об их проступках своему князю.

Таким образом, люди средних веков жили под непрерывным двойным надзором. Они никогда не оставались одни. Никто из них не был независим. Все находились в сети земных

и небесных зависимостей.

Небесное общество ангелов было, впрочем, лишь образом общества земного — или, вернее, как считали в средние века, земное общество было лишь сколком с общества небесного. Как утверждал в 1205 г. Жерар, епископ Камбрэ и Арраса: «Царь царей организует по различным чинам небесное, духовное общество, равно как и общество земное, мирское. Сам Бог установил священный распорядок чинов на небе и на земле».

Иерархия ангельских чинов, истоки которой можно обнаружить в посланиях апостола Павла, была разработана псевдо-Дионисием Ареопагитом, чей трактат «О небесной иерархии» был переведен в IX в. на латинский язык Иоанном Скотом Эриугеной, но проник в западную теологию и духовную жизнь лишь во второй половине XII в. Он имел громадный успех, был признан в университетских кругах XIII в. и наложил отпечаток вначале на творчество Альберта Великого и Фомы Аквинского, а затем на Данте. Его мистическая теология легко опускалась до уровня популярных представлений, что обеспечило ему огромный резонанс.

Представление о небесной иерархии сковывало волю людей, мешало им касаться здания земного общества, не расшатывая одновременно общество небесное. Оно зажимало смертных в ячейках ангелической сети и взваливало на их плечи вдобавок к грузу земных господ тяжелое бремя ангелической иерархии серафимов, херувимов и престолов, господств, сил и властей, начал, архангелов и ангелов. Человек корчился в когтях дьявола, запутывался среди трепыхания и биения миллионов крыл на земле и на небе, и это превращало его жизнь в кошмар. Ведь реальностью для него было не только представление о том, что небесный мир столь же реален, как и земной, но и о том, что оба они составляют единое целое — нечто запутанное, заманивающее людей в тенета сверхъестественной жизни.

Этому смешению пространства или, если угодно, пространственной непрерывности, которая переплетала и соединяла небо и землю, соответствовала аналогичная непрерывность времени. Время — лишь момент вечности. Оно принадлежит одному Богу и может быть только пережито. Овладеть временем, измерить его, извлечь из него пользу или выгоду считалось грехом. Урвать от него хоть одну частицу — воровством.

Это божественное время непрерывно и линейно. Оно отличается от времени философов и ученых греко-римской античности, которые, если и не исповедовали единый взгляд на время, прельщались все же в той или иной мере представлением о постоянно возобновляемом циклическом времени, вечном круговороте. Такое время было и постоянно новым, исключаяющим всякое повторение, ибо нельзя войти дважды в одну и ту же воду, и постоянно схожим. Это представление оставило, разумеется, свой след в средневековой ментальности. Наиболее очевидным и действенным его пережитком среди всех циклических мифов был миф о колесе Фортуны. Тот, кто сегодня возвышен, завтра будет унижен, а того, кто ныне пребывает внизу, поворот Фортуны скоро вознесет на самый верх. Здесь было множество вариантов. Но все они повторяли в разной форме то, что можно, к примеру, прочесть на одной итальянской миниатюре XIV в.: «Я не царствую, я буду царствовать, я царствую, я царствовал („Sum sine regno, regnabo, re-gno, regnavi“). Образ колеса Фортуны, идущий, несомненно, от Бозция, пользовался в средние века удивительным успехом. В это внесли свою лепту тексты и иллюстрации энциклопедий XII — XIII вв.: „Светильник“ Гонория Августодунского, „Сад наслаждений“, „Альбом“ Виллара де Синекура, „Королевский свод“. В „Своде“ подчеркивалось, что успех этому образу обеспечила (иконографическая) программа готических церквей, „тех кафедральных соборов и королевских аббатств, где госпожа Фортуна вращает свое колесо быстрее, чем ветряная мельница“. Колесо Фортуны было идеологическим костяком готической розы. Оно изображено в непосредственном виде на розах соборов в Амьене, Бове, Базеле, а в стилизованной форме его можно было в XIII в. видеть повсюду. В нем мы снова узнаем символ и выражение того мира, где царила неуверенность и где воплощение этой неуверенности, колесо Фортуны, служило уроком покорности судьбе, имобильности.

Миф о колесе Фортуны занимал важное место в духовном мире средневекового Запада. Ему, однако, не удалось помешать средневековой мысли отказаться от идеи круговорота и придать времени линейное, не круговое направление. История имеет свое начало и конец — таков был главный тезис. Эти крайние точки, начало и конец, являются одновременно позитивными и нормативными, историческими и телеологическими. Вот почему любая западная хроника в средние века начиналась с сотворения мира, с Адама, и, если она смиренно останавливалась на том времени, когда писал хронист, под ее истинным окончанием всегда подразумевался Страшный суд. Каждая средневековая хроника представляет собой «рассуждение о всемирной истории». Хронист в меру своего таланта либо находил в этом общеисторическом «обрамлении» глубокую причинную зависимость, либо делал из него чисто формальную экспозицию. Но в любом случае хроника могла быть — бессознательно или нет — орудием политических пристрастий. Оттон Фрейзингенский пользовался в середине XII в. этим вектором времени, чтобы доказать провиденциальный характер Священной империи германской нации. Современного читателя обычно поражает контраст между притязаниями на этот глобальный охват и узостью конкретного кругозора средневековых хронистов и историков. Особенно показателен в этом плане пример Рауля Глабера в начале XI в.; можно было бы, впрочем, привести десятки подобных. В начале своей хроники Глабер упрекает Беду Достопочтенного и Павла Диакона за то, что они писали «лишь историю своих народов и отечеств», и заверяет, что его замысел состоит в том, чтобы «поведать о событиях, происшедших во всех четырех концах света». Но на той же странице он заявляет, что установит «преемственность времен» от начала царствований Генриха II Саксонского и Роберта Благочестивого. Однако скоро обнаруживается, что его исторический горизонт ограничивается тем, что можно было видеть из Бургундии, где он провел большую часть своей жизни, а точнее, из монастыря Ключи, где он написал основную часть хроники. Все образы, которые западное Средневековье оставило нам о самом себе, построены по такой же модели. Пользуясь языком кино, можно сказать, что эта модель представляла собой резкие переходы от общего плана к узкому кадру — к тем «проголинам», о которых мы говорили выше и которые внезапно расширялись в молниеносных наездах на бесконечность, вселенную и вечность.

Время для клириков Средневековья и тех, кто находился под их воздействием, было историей, которая имела определенное направление. Однако она шла по нисходящей линии, являла собой картину упадка. В непрерывность христианской истории вмешивались различные факторы периодизации. Одной из наиболее действенных схем было разделение времени по дням недели. Эта старая иудейская теория, пришедшая в средние века через Августина, Исидора Севильского и Беду, была воспринята на всех уровнях мышления — от научно-популярного творчества Гонория Августодунского до высокой теологии Фомы Аквинского. Миниатюры «Liber Floridus» Ламберта Сент-Омерского (ок. 1120 г.) показывают успех этой концепции. Макрокосм, вселенная, проходит, как и микрокосм, человек, через шесть возрастов наподобие шести дней недели: от сотворения Адама до потопа, от потопа до Авраама, от Авраама до Давида, от Давида до вавилонского пленения, от вавилонского пленения до Рождества Христова, от Христа до конца света. Таковы же и шесть возрастов человека: детство, юность, молодость, зрелость, старость и дряхлость (их пределы, по Гонорию: 7 лет, 14 лет, 21 год, 50 лет, 70 лет, 100 лет или смерть).

Шестой возраст, которого достиг мир, есть, стало быть, возраст дряхлости. Средневековое мышление и чувство были проникнуты глубочайшим пессимизмом. Мир стоит на грани гибели, на пороге смерти. *Mundus senescit* (мир стареет) — это убеждение ранних христиан, возникшее в эпоху бедствий Позднеримской империи и вторжений варваров, было все еще живо и в XII в. Оттон Фрейзингенский писал в своей «Хронике»: «Мы видим, что мир дряхлеет, угасает и, если можно так сказать, готов уже испустить дух». Этот лейтмотив выходит за рамки банального повторения общих мест об упадке нынешнего века и воспоминаний о славном, молодом и добродетельном прошлом. Восхваление ушедших времен у средневековых авторов — не просто дань психологической

и литературной традиции, но выражение их основных убеждений. Именно поэтому одинаково страстно звучит начало «Жития Алексея, человека Божьего» и в редакции XI в.:

Памятна слава исчезнувших лет:
В них справедливость, любовь и совет,
Вера была. Ничего больше нет,
Все онемело, утратило цвет.
Прежним не станет уже белый свет!

Ной, Авраам и Давид — имена
Богом любимые. Их времена
Славны и доблестны. Ныне одна
Дряхлость и хрупкость, упадка волна.
Все размывает, все губит она!

И в «феодализованной» версии XII в.:

Памятна слава исчезнувших лет:
В них справедливость, любовь и совет,
Вера была. Ничего больше нет.
Все онемело, утратило цвет.
Прежним не будет уже белый свет!

Прадедов доблесть неведома нам
И добродетель. О горе векам!
Жены теперь изменяют мужьям,
Рыцари — клятвы вассальной словам.
Скоро настанет конец временам!

Ной, Авраам и Давид — имена
Богом любимые. Их времена -
Славны и доблестны. Ныне одна
Порча и гибель. Повсюду она!
Все размывает упадка волна!

Верность ребенку отец не хранит,
Сын же — отцовскую старость не чтит.
У беззаконья — законности вид.
Муж изменяет жене. Позабыт
Церкви порядок и божеский стыд.

Вера слабеет, и жизнь непрочна -
Долго не сможет продлиться она!

Еще более явная и близкая катастрофа ждет нуворишей, которые появились в ходе «перестройки» XIII в.:

И радость, и веселье угаснут до зари, -
Об этом нынче всякий со страхом говорит.
Дрожат перед грядущим — богатый и бедняк...
Конец не за горами!
Клянусь вам — это так!...

(Пер. Д. А. Коцюбинского)

Тот же погребальный звон слышен и в поэзии вагантов. Знаменитая поэма «Встарь цвела наука...» из «*Carmina burana*», представляет собой сетование на нынешнее время. Е. Куртиус перефразирует ее следующим образом: «Молодежь более ничему не желает учиться, наука в упадке, весь мир стоит вверх ногами, слепцы ведут слепцов и заводят их в трясину, осел играет на лире, быки танцуют, батраки идут служить в войско. Отцов церкви, Григория Великого, Иеронима, Августина, Бенедикта Нурсийского, можно встретить на постоялом дворе, под судом, на рыбном рынке. Марию более не влечет созерцательная жизнь, а Марфу жизнь деятельная, Лия бесплодна, у Рахили гноятся глаза, Катон зачастил в кабак, а Лукреция стала уличной девкой. То, чего прежде стыдились, ныне превозносится. Все отклонилось от своего пути».

Такие же ламентации по поводу «урбанизации» истории и ее омещанивания. Великий Данте, подводя итог средним векам, вкладывает в уста своего предка Каччагвиде жалобу на упадок городов и старых патрицианских родов.

Стареющий мир усыхает, уменьшается в размерах, уподобляясь, говоря словами Данте, «плащу, который быстро укорачивает своими ножницами Время». То же самое происходит и с людьми. Учитель в «Светильнике» говорит ученику, которого интересуют подробности конца света: «Люди станут меньше ростом, чем мы, потому что и мы не столь высоки, как древние». «В стародавние времена люди были красивы и большого роста, — писал в начале XIII в. Гийом Провенский, — а ныне это дети и карлики». Как в какой-нибудь пьесе Ионеско или Беккета, актеры средневековой сцены чувствовали, что они зачахнут до того, как наступит неотвратимая развязка.

Однако в этом необратимом процессе упадка, единственном направлении истории, были если не купюры, то по крайней мере привилегированные моменты.

Линейное время было разрезано надвое в главном пункте: воплощении Господа. В VI в. Дени Малый заложил основы христианской хронологии, которая вела счет времени с отрицательным и положительным знаком от Рождества Христова: до и после Иисуса Христа. Судьба людей представлялась совершенно разной в зависимости от того, по какую сторону от этого центрального события они жили. До Христа у язычников не было никакой надежды на спасение. Будут спасены одни лишь праведники, которые ждали в лоне Авраамовом, когда Христос сойдет в лимб, чтобы освободить их. Следует, однако, иметь в виду, что тема сошествия Христа в лимб появилась только в апокрифическом евангелии Никодима и получила распространение поздно, в XIII в., под влиянием главным образом «Исторического зеркала» Винсента из Бове и «Золотой легенды» Якова Ворегинского.

Кроме как многочисленным ветхозаветным праведникам, спасение было уготовано также нескольким популярным персонажам античности, которых священное предание исторгло околным путем из ада.

Самым популярным античным героем в средние века был Александр Македонский, вдохновитель целого романного цикла; он побывал и на дне морском, спустившись туда в батискафе, и на небесах, куда его подняли два грифона. Рядом с ним стоял Траян, обязанный своим спасением некоему милосердному деянию, о котором сообщает «Золотая легенда».

«Был некогда в Риме языческий император по имени Траян, каковой, несмотря на язычество, выказал великую добродетель. Рассказывают, что однажды, когда он спешно отправлялся на войну, к нему пришла одна вдова и, обливаясь слезами, сказала: „Умоляю тебя отомстить за моего сына, которого подло убили“. Траян ей ответил, что сделает это, вернувшись из похода. Но вдова не успокоилась: „А если тебя убьют на войне, от кого тогда

мне ждать правосудия?“ На что Траян отвечал: „От того, кто будет править после меня“. „Но тебе, — продолжала вдова, — какая в том будет выгода?“ „Никакой“, — ответил Траян. „Так не лучше ли будет для тебя, если ты сам окажешь мне правосудие и получишь воздаяние за добрый поступок?“ Тогда Траян, тронутый ее слезами, слез с коня и тотчас же распорядился отомстить за гибель невинного юноши.

Рассказывают далее, что убийцей оказался сын самого Траяна, который сбил юношу с ног, когда мчался на коне во весь опор по улицам Рима. И посему Траян отдал его в рабы матери погибшего и щедро одарил ее.

Но вот однажды (спустя сотни лет) Григорий Великий, проходя по форуму Траяна, вспомнил о справедливости и доброте императора. Войдя в базилику святого Петра, он горько оплакивал его душу и молился за нее. И тогда свыше ему ответил глас: «Григорий, Я услышал твою мольбу и избавил Траяна от вечной кары, но поостерегись впредь возносить Мне молитвы за осужденного на муки». Согласно (Иоанну) Дамаскину, голос сказал Григорию только: «Я исполняю твою просьбу и прощаю Траяну». Сам этот факт не вызывает ни малейших сомнений; мнения не согласуются лишь относительно сопутствующих ему деталей. Одни полагают, что Траяну была возвращена жизнь, дабы он мог стать христианином и получить таким образом прощение. Другие утверждают, что Траянова душа не была немедленно избавлена от вечных мук, но кару просто-напросто отложили до Страшного суда. Третьи держатся того мнения, что кара была лишь смягчена по мольбе Григория. Четвертые говорят: Григорий не просил за Траяна, но только оплакивал его душу. Пятые, наконец, считают, что Траян был освобожден лишь от физических мук ада, но не от моральной кары, каковая состоит в том, что он был лишен счастья лицезреть Господа.

Этот длинный рассказ с его казуистикой, различными вариантами спасения души Траяна показывает, с каким трудом и только в исключительных случаях мог попасть язычник в «правильное русло» истории и избежать вечных мук.

Подобное спасение было даровано и Вергилию, который благодаря четвертой эклоге считался пророком.

Но, как правило, персонажи античной истории были осуждены на забвение. Они разделили судьбу тех идолов, свергнув которых средневековое христианство вычеркнуло из своей памяти то «отклонение от истории», каким оно считало языческую древность. Оно проделало эту разрушительную работу с максимально возможной полнотой — с тем единственным ограничением, что техническое невежество и бедность вынуждали его использовать для своих нужд часть храмов, обреченных обычно на уничтожение. «Вандализм» средневекового христианства — независимо от того, был ли он направлен против античного язычества или средневековых ересей, книги и памятники которых беспощадно уничтожались, — представлял собой лишь одну из форм того исторического тоталитаризма, который побуждал вырывать с корнем все сорняки на поле истории.

Конечно, плеяда древних мудрецов, чьи имена стали символическими — Донат (или Приск), Цицерон, Аристотель, Пифагор, Птолемей, Евклид, к которым следует прибавить Боэция, — персонифицировали подчас на церковных порталах — например, в Шартре — семь свободных искусств. Но когда избежавшие этого ostracism Аристотель или Вергилий и проскальзывали в иконографию средневековых церквей, то в том смешном виде, в каком их изображали широко распространенные анекдоты. Верхом на Аристотеле сидела юная индианка Кампаспа, которой он пленился на старости лет, а Вергилий висел в клетке, где его выставила на всеобщее посмешище некая коварная римская дама, назначившая ему свидание. От всей этой уничтоженной античной истории осталась в конечном счете лишь одна символическая фигура — сивилла, предвестница Христа, которая придала сбившейся с дороги античности исторический смысл.

Христианская история приобрела свою классическую форму во второй половине XII в. под пером Петра Коместора («Пожирателя»), автора «Схоластической истории», содержащей вольное изложение библейской истории.

Священная история начиналась с первичного события: акта творения. Ни одна из

библейских книг не имела такого успеха и не сопровождалась таким количеством комментариев, как «Бытие», вернее, ее начало, которое трактовалось как шестидневная история, «Hexameron» («Шестиднев»). Под естественной историей понималось сотворение неба и земли, животных и растений; под человеческой — прежде всего история главных действующих лиц, ставших основой и символами средневекового гуманизма, Адама и Евы. История, наконец, определялась драматическим происшествием, из которого проистекало все остальное: искушением и первородным грехом.

Затем, однако, история как бы разделялась на две большие створки: сакральную и мирскую, причем в каждой господствовала одна главная тема. В сакральной истории такой доминантой было предвозвестие. Ветхий завет возвещал Новый в доходившем до абсурда параллелизме. Каждый эпизод и любой персонаж имели свои соответствия. Эта тема пробила в готическую иконографию и расцвела на порталах кафедральных соборов, в фигурах ветхозаветных пророков и евангельских апостолов. В ней воплотилось основное свойство средневекового восприятия времени: через аналогию, как эхо. Поистине не существовало ничего такого, что не напоминало бы о чем-то или о ком-то уже существовавшем.

В мирской истории господствовала тема перехода власти. В каждую данную эпоху мир имеет один центр, живет по биению одного сердца. Путеводной нитью средневековой философии истории была основанная на орозианской интерпретации пророчества («сна») Даниила идея преемственности империй, передачи власти от вавилонян к мидянам и персам, затем к македонянам, а от них к грекам и римлянам. Преемственность эта осуществляется на двойном уровне: власти и цивилизации. Передача власти (*translatio imperii*) означает прежде всего передачу знания и культуры (*translatio studii*).

Разумеется, этот упрощенный тезис не только искажал историю. Он подчеркивал изоляцию западной христианской цивилизации, отбрасывая современные ей византийскую, мусульманскую и азиатские цивилизации. Он был тесно связан с политическими страстями и пропагандой.

Оттон Фрейзингенский видел завершение мировой истории в Священной Римской империи германской нации. Высшая власть перешла «от римлян к грекам (византийцам), от греков к франкам, от франков к лангобардам, от лангобардов к германцам („немцам“).

Кретьен де Труа перемещал ее во Францию в знаменитых стихах «Клижеса»:

Нам книги древние порукой:
Обязаны своей наукой
Мы Греции, сомненья нет,
Откуда воссиял нам свет.
Велит признать нам справедливость
За ней ученость и учтивость,
Которые воспринял Рим
И был весьма привержен к ним.
В своем благом соединенье
Они нашли распространенье
У нас во Франции теперь.
Когда бы только без потерь
Им сохраниться здесь навеки!

(Пер. В. Б. Микушевича)

Ричард Бьюри в XIV в. считал венцом истории Англию. «Дивная Минерва обходит разные нации и перемещается с одного конца Вселенной на другой, чтобы отдавать себя всем народам. Мы видим, что она уже побывала у индийцев, вавилонян, египтян, греков, арабов и латинян. Она покинула Афины, оставила Рим, забыла Париж и только что счастливо достигла Великобритании, знаменитейшего из островов, микрокосма Вселенной».

Проникнутая страстным национальным чувством концепция перехода власти внушала прежде всего средневековым историкам и теологам веру в подъем Запада. Движение истории постоянно перемещает центр тяжести мира с востока на запад, и норманн Ордерик Виталий использует в XII в. этот аргумент, говоря о превосходстве своих соотечественников-норманнов. Оттон Фрейзингенский писал: «Человеческое могущество и мудрость родились на Востоке и начали завершаться на Западе». Ему вторил Гуго из Сен-Виктора: «Божественное провидение распорядилось таким образом, что всеобщее правление (миром), которое вначале находилось на Востоке, по мере того как время подходит к своему концу, перемещается на Запад, чтобы уведомить нас о том, что близится конец света, ибо ход событий уже достиг края Вселенной».

Эта упрощенная и упрощающая концепция имела, однако, ту заслугу, что она связывала историю и географию («Нужно разом принимать во внимание место и время, где и когда произошли события», — говорил тот же Гуго из Сен-Виктора) и подчеркивала единство цивилизации.

На более низком уровне национальной истории ученые средних веков и их аудитория задерживались на тех событиях, которые свидетельствовали, что их страна развивается в общеисторическом русле и причастна самым тесным образом к истории спасения. Для Франции при этом на первый план выступали три момента: крещение Хлодвиг, царствование Карла Великого и первые крестовые походы, рассматриваемые как деяние французов (*gesta Dei per francos*). В XIII в. при Людовике IX эта направляемая провидением французская история получила продолжение, но уже в изменившемся ментальном контексте. Если до этого историки опускали незначительные эпизоды, чтобы связать воедино моменты, имеющие смысловое значение, то теперь в «Королевских хрониках Сен-Дени» святой король вписывался в новую канну непрерывной истории.

Однако даже эта христианизированная «прозападная» история не порождала оптимизма. Об этом ясно говорит приведенная выше фраза Гуго из Сен-Виктора; она является итогом, симптомом неотвратимого приближения конца истории.

Действительно, средневековые христианские мыслители пытались изо всех сил остановить историю, завершить ее. Феодалное общество с его двумя господствующими классами, рыцарством и духовенством (*chevalerie -et clergie* у Кретьена де Труа), рассматривалось как конец истории — точно так же, как Гизо и XIX в. увидел в триумфе буржуазии венец исторической эволюции.

Схоласты старались обосновать и укрепить представление об остановке истории, исходя из того, что историчность обманчива и опасна, а подлинную ценность имеет одна лишь вневременная вечность. XII век был заполнен борьбой между сторонниками учения о постепенно открываемой истине («Истина — дочь времени», — сказал якобы Бернар Шартрский) и приверженцами теории неизменной истины. Гуго из Сен-Виктора горячо выступал против Абельяра, который даже у ветхозаветных праведников искал ясного знания о воплощении Христа. Он утверждал, что история представляет собой развертывание Божественного провидения во времени. Однако Фома Аквинский скажет спустя столетие, что «бесполезно заниматься историей учений: важна лишь та частица истины, которая в них может содержаться. Этот отчасти полемический аргумент позволял ему заимствовать у Аристотеля, не вступая в дискуссию о языческом окружении его собственного учения. Но перед нами здесь также и глубинная тенденция поиска неизменной истины, стремление уйти от зыбкого исторического времени.

Перед лицом этих двух тенденций — пессимистической концепции упадка истории и вневременного оптимизма, интересовавшегося только вечными истинами, — пробивались робкие попытки оценить настоящее и будущее. Здесь главной тенденцией была та, которая, принимая схему возрастов мира и диагноз о наступившей старости, подчеркивала преимущества старческого возраста. Так, образ измельчания истории был ловко повернут к выгоде настоящего времени в знаменитых словах Бернара Шартрского: «Мы лишь карлики, взобравшиеся на плечи гигантов, но видим благодаря этому дальше их». Св. Бонавентура

также использовал образ возрастов и старости мира, чтобы подчеркнуть приумножение человеческих знаний; эту мысль позже подхватил Паскаль.

Исчерпывалось ли этим все то чувство прогресса, на которое было способно Средневековье? Когда изучаешь употребление терминов «modernus», «moderni», «modernitas», то возникает ощущение, что в XII в. в концепции времени и в историческом сознании что-то уже было готово измениться. Безусловно, слова эти имели по преимуществу нейтральный смысл. Они обозначали современников, живущих — в отличие от предшествовавших им *antiqui* — в настоящее время, которое Уолтер Мап определял как промежуток в сто лет. Но эти слова, как и сама новизна, очень часто вызывали подозрения, и тот же Уолтер Мап замечает: «Каждой эпохе не нравится ее новизна, и каждый век отдает предпочтение предыдущим». Мы еще встретимся с этой неприязнью Средневековья по отношению к новизне.

И однако, *modernitas* и *moderni* все больше и больше утверждали себя в XII в. с гордостью, в которой чувствуется вызов прошлому и обещания на будущее. Приближалась эпоха, когда понятие «новое время» станет программой, утверждением, знаменем. Четвертый Латеранский собор в 1215 г. санкционирует обновление (*aggiornamento*) христианского поведения и чувствования, и это откроет врата осознанию новизны переживаемого времени. Поборниками этой переоценки ценностей станут нищенствующие ордена. Как сказано в «Нормандских анналах», «эти два ордена — меньшие братья (францисканцы) и братья проповедники (доминиканцы) — были приняты Церковью и народом с большой радостью по причине новизны их уставов». Однако этот новый «запуск» колеса истории стал возможен лишь благодаря появлению нового отношения ко времени — отношения, выросшего из эволюции уже не абстрактного времени клириков, но многих конкретных времен, в сети которых жили люди средневекового христианства.

Марк Блок нашел поразительную формулу, которая, казалось бы, резюмировала отношение средневековых людей ко времени: полное безразличие.

Это безразличие выражалось у скупых на даты хронистов (они вообще, как мы увидим ниже, были равнодушны к точным цифрам) в неопределенных выражениях типа «в это время», «тем временем», «вскоре после этого». Смещение времен было в первую очередь свойственно массовому сознанию, которое путало прошлое, настоящее и будущее. Оно, это смещение, проявлялось особенно отчетливо в стойкости чувства коллективной ответственности — характерной черте примитивизма. Все ныне живущие люди отвечают за проступок Адама и Евы, все современные евреи ответственны за страсти Христовы, а все мусульмане — за магометову ересь. Как было уже отмечено, крестоносцы конца XI в. считали, что они направляются за море, чтобы покарать не потомков палачей Христа, а самих палачей. Равным образом и долго сохранявшийся анахронизм костюмов в изобразительном искусстве и театре свидетельствует не только о смешении эпох, но главным образом о чувстве и вере средневековых людей в то, что все существенное для человечества является современным. Каждый год на протяжении тысячелетий литургия заставляла христиан заново переживать сжатую в ней с необычайной силой священную историю. Здесь мы имеем дело с магической ментальностью, которая превращает прошлое в настоящее, потому что канвой истории служит вечность.

Однако уже само воплощение Господа влекло за собой необходимость датировок. Жизнь Христа разделила историю на две части, на этом событии основывалась христианская религия; отсюда — и склонность, более того, чрезвычайная чувствительность к хронологии. Но эта хронология не определялась протяженностью времени, которое делится на равные отрезки и может быть точно измерено, — то, что мы называем объективным или научным временем. Она имела знаковый характер. Средневековье, столь же жадное на даты, как и наша эпоха, датировало события по другим правилам и с другими целями. То, что важно было датировать в средние века, отличалось от того, что важно датировать нам. Приняв это, несомненно, существеннейшее различие, мы, как мне кажется, поймем, что средневековый

человек был далек от безразличия ко времени. Напротив, он был к нему особенно чувствителен. Просто-напросто, если он не был точен, так это потому, что не испытывал в том нужды, ибо само событие не рассматривалось им в плане отсылки к определенной дате, то есть числу. Однако ссылка на время отсутствовала редко. Так обстояло дело в шансон-де-жест. В поэме «Мене» ее герой, юный Карл Великий, нападает на своего врага Бреманта в Иванов день. Намек ли это на то, что в рукоять его меча была заделана реликвия — зуб Иоанна Крестителя? Или здесь следует видеть более или менее осознанную связь с обрядами Иванова дня и ролью, которую играла в них молодежь? Во всяком случае, поэт не преминул датировать этот эпизод.

Адене Леруа в начале поэмы «Берта Большеногая» рассказывает, как прочел о приключениях своей героини в «Книге истории», посетив аббатство Сен-Дени:

В городе Париже я был в пятницу,
А так как это была именно пятница,
То пришла мне в голову мысль
Направиться, дабы почтить Бога, в Сен-Дени,
И пробыл я там вплоть до среды.

Употребляемые в этих примерах обозначения того или иного дня зависели от различных хронологических систем, которые сосуществовали в сознании средневекового человека. Истина состоит в том, что он не знал ни унифицированного времени, ни единообразной хронологии. Множественность времен — такова реальность для средневекового разума.

Нигде потребность в хронологии не была столь сильной, как в священной истории. Все, что касалось Христа, требовало измерения во времени, поэтому в «Светильнике» земная жизнь Иисуса излагается самым детальным образом. «Почему девять месяцев пребывал Он во чреве Богоматери? В котором часу Он родился? Почему в течение тридцати лет не объявлял Он о Себе? Сколько часов пребывал Он в смерти? — Сорок».

В строгой хронологии нуждались также шесть дней творения и история грехопадения: «Сколько времени Адам и Ева пребывали в раю? — Семь часов. — Почему не дольше? — Потому что немедленно после того, как женщина была создана, она предала. В третий час по своему сотворению мужчина дал имена животным, в шестой час только что созданная женщина вкусила от запретного плода и предложила его мужчине, который съел его из любви к ней, и вскоре, в девятом часу, Господь изгнал их из рая».

Средневековые люди доводили до крайности аллегорическое толкование содержащихся в Библии более или менее символических дат и сроков творения. И в то же время они преувеличивали буквальный смысл данных Священного писания. Особенно все то, что фигурировало в «исторических книгах» Библии, понималось ими как реальные и датированные факты. Всемирные хроники начинались с дат, в которых проявляется подлинная одержимость хронологией. Но здесь, впрочем, не существовало единодушия. Яков Ворагинский откровенно признавал: «Нет согласия относительно даты рождения во плоти Господа нашего Иисуса Христа. Одни говорят, что это произошло через 5228 лет после сотворения Адама; другие — через 6000 лет; третьи, следуя хронике Евсевия Кесарийского, — через 5199 лет, во времена императора Октавиана». И он осмотрительно добавляет: «Первым, кто установил дату в 6000 лет, был Мефодий, но он, кажется, нашел ее скорее по мистическому вдохновению, нежели по хронологическому расчету».

Конечно, средневековая хронология в собственном смысле слова, способы измерения времени, приемы определения даты и часа, сам хронологический инструментарий — все это носило рудиментарный характер. Здесь полностью сохранялась преемственность с греко-латинским миром. Устройства, служившие для измерения времени, оставались либо связанными с капризами природы — таковы солнечные часы, либо определяли лишь

отдельные временные отрезки — как песочные и водяные часы. Использовались, наконец, и заменители часов, которые не измеряли время в цифрах, но определяли конкретные временные вехи: ночь разделялась на «три свечи», короткие промежутки определяли временем, потребным для чтения молитв «Miserere» или «Отче наш».

Это были неточные инструменты, целиком зависящие от непредвиденной случайности вроде облака, слишком крупной песчинки и мороза, а также от умысла человека, который мог удлинить или укоротить свечу, прочесть молитву быстро или медленно. Но это были также различные системы счета времени.

В разных странах год начинался по-разному, согласно религиозной традиции, которая отталкивалась от различных моментов искупления человечества и обновления времени: с Рождества, Страстей Господних, Воскресения Христова и даже с Благовещения. Самый распространенный хронологический «стиль» на средневековом Западе начинал год с Пасхи. Очень мало был распространен стиль, которому, как известно, принадлежало будущее: с 1 января, Обрезания Господа. С различных моментов начинались и сутки: с заката, полуночи или полудня. Сутки делились на часы неодинаковой протяженности; это были более или менее христианизированные старые римские часы. Час был примерно равен нашим трем: утреня (около полуночи), хвалины (3 часа пополуночи), час первый (6 часов утра), час третий (9 часов), час шестой (полдень), час девятый (15 часов), вечерня (18 часов), навечерие (21 час).

В повседневной жизни средневековые люди пользовались хронологическими ориентирами, заимствованными у различных социовременных систем. Измерение времени зависело от экономических и социальных структур. В самом деле, ничто не выражает лучше структуру средневекового общества, как метрологические феномены и возникавшие вокруг них конфликты. Временные и пространственные меры были орудием социального господства исключительной важности. Тот, кто распоряжался ими, и высшей степени усиливал свою власть над обществом. Множественность времен в средние века можно уподобить социальным битвам этой эпохи. Подобно тому как в деревне и городе шла борьба вокруг мер емкости, которые определяли рационы питания и уровень жизни (за и против сеньора или городских властей), так и мера времени была ставкой в борьбе, которую вели за нее господствующие классы: духовенство и аристократия. Как и письменность, мера времени оставалась в течение большей части Средневековья достоянием могущественных верхов. Народная масса не владела собственным временем и была неспособна даже определить его. Она подчинялась времени, которое предписывали колокола, трубы и рыцарские рога.

Но средневековое время было прежде всего временем аграрным. В мире, где самым главным была земля, с которой жило — богато или бедно — почти все общество, первым хронологическим ориентиром был аграрный.

Сельское время — это время большой длительности. Время сельскохозяйственных работ, крестьянское время, было временем ожидания и терпения, постоянства, возобновления и если не неподвижности, то по крайней мере сопротивления переменам. Оно не было насыщено событиями и не нуждалось в датах — или, вернее, его даты подчинялись природному ритму. Ибо сельское время было природным временем с его делением на день, ночь и времена года. Проникнутое контрастами, оно подпитывало средневековую тенденцию к манихейству: оппозицию мрака и света, холода и тепла, деятельности и праздности, жизни и смерти.

В том мире, где искусственный свет был редкостью (техника освещения даже применительно к дневному времени начала развиваться лишь в XIII в. с появлением оконного стекла), ночь была чревата угрозами и опасностями. Духовенство пользовалось восковыми свечами, сеньоры факелами, простонародье обходилось сальными свечами. Поэтому особенно велика была опасность пожара — достаточно прочесть по этому поводу, среди множества других, рассказ Жуанвиля о пожаре, вспыхнувшем ночью в каюте

французской королевы на корабле, который вез Людовика IX в Святую землю.

Против угроз, исходивших от людей, запирались на ночь ворота, в церквах, замках и городах выставлялась бдительная стража. Средневековое законодательство карало с исключительной силой правонарушения и преступления, которые совершались ночью. Это было серьезным отягощающим обстоятельством.

Но главным образом ночь была временем сверхъестественных опасностей, искушений, привидений и дьявола. Немецкий хронист Титмар Мерзебургский в начале XI в. приводит множество историй о привидениях: «Бог даровал день живым, а ночь отдал мертвым». Ночь принадлежала ведьмам и демонам. С другой стороны, для монахов и мистиков она была предпочтительной порой их духовной битвы, бдений и молитв. Святой Бернар приводит слова Давида-псалмопевца: «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой».

Время борьбы и победы, всякая ночь напоминала о символической ночи Рождества. Откроем снова «Светильник» Гонория Августодунского на главе, посвященной Христу. «В какой час Он был рожден? — В полуночный. — Почему в полуночный? — Чтобы нести свет истины тем, кто скитается в ночи заблуждения».

В эпической и лирической поэзии ночь была временем невзгод и приключений. Часто она связывалась с другим темным пространством — лесом. Лес и ночь, соединившись воедино, внушали ужас. Так однажды заблудилась там Берта Большеногая:

Она горько плакала, оказавшись в лесу,
А когда настала ночь, начала причитать:
«Ах, ночь! Как ты длинна и как многого должно страшиться!»

Напротив, все «светлое» — ключевое слово средневековой литературы и эстетики — было прекрасным и добрым: солнце, сверкающее на латах и мечех воинов, голубые глаза и белокурые волосы молодых рыцарей. «Прекрасен, как день» — это выражение никогда не ощущалось глубже, нежели в средние века. Когда героиня «Ивейна» Лодина говорит: «Пусть ночь станет днем», это значило нечто большее, чем нетерпеливое желание снова увидеть возлюбленного.

Другой контраст между временами года. По правде говоря, Средневековье знало лишь зиму и лето. Слово «весна» появляется в ученой латинской поэзии, в частности у вагантов: «Проходит весна жизни. Близится наша зима». Здесь также противостоят друг другу лишь два времени года, каковыми являлись обычно лето и зима. В литературе на национальных языках лето было временем обновления. Мария Французская говорит о «летнем вечере, когда леса и луга вновь покрываются зеленью и расцветают сады».

Оппозиция «зима — лето» занимает большое место в поэзии миннезингеров. «Услады лета» противопоставляются в ней «зимней тоске». В своей знаменитой поэме «Майская песнь» Вальтер фон дер Фогельвейде воспекает лето, которое гонит прочь зиму, лишенную ярких красок, пения птиц и радостей на вольном воздухе. Более близкий к крестьянскому сознанию поэт Нейдхарт обращается к зиме в стиле обрядов — фольклорных празднеств: «Убирайся прочь, зима, беги, ты творишь зло!»

Персонификацией лета у миннезингеров был май, месяц обновления, что подтверждает мысль об отсутствии весны — или, точнее, ее поглощении летом. «Чувство мая» было настолько сильным в средневековом сознании, что миннезингеры придумали даже глагол «маить» («es maiet»), означавший освобождение и радость.

Лучше всего выражает аграрный характер времени в средние века повторявшаяся повсюду — в рельефах церковных тимпанов, на фресках и миниатюрах, в литературе, и особенно в поэзии, — тема двенадцати месяцев. Изображали месяцы в виде сцен сельских будней — от рубки леса и выпаса свиней до забоя свиней и пирушек по этому поводу у очага. Иконографические традиции или географические особенности сельского хозяйства в той или иной стране вносили свои вариации в трактовку темы. На Севере обычно позже

изображалась жатва и не фигурировал сбор винограда. Во французской поэзии, как было замечено, апрель часто занимал то место, что май в немецкой, и поэтому французскому влиянию приписывается тема поэмы Генриха фон Фельдеке, воспевающего апрель («В месяце апреле распускаются цветы») вместо обычного для немецкого миннезанга мая.

Повсюду тема двенадцати месяцев представлялась в виде цикла сельских работ, но в этот почти полностью крестьянский цикл включились и сцены сеньориальной, куртуазной жизни, приходящиеся на апрель — май. Это конная прогулка сеньора, обычно молодого, как и пробуждающаяся природа, или феодальная охота. Гак классовая тема проникала в тему экономическую.

При этом важно то, что наряду или, лучше сказать, вместе с крестьянским временем выступали и другие формы социального времени: время сеньориальное и время церковное.

Сеньориальное время было прежде всего военным. Оно составляло особый период года, когда возобновлялись военные действия и когда вассалы обязаны были нести службу сеньорам. Это было время военного сбора.

Сеньориальное время было также и временем взноса крестьянских податей. Вехами годовичного времени были большие праздники, и некоторые из них аккумулировали чувство времени крестьянской массы: это праздники, к которым приурочивались натуральные оброки и денежные платежи. Даты взносов варьировались в разных районах и сеньориях, но в хронологии взносов выделялся общий период — конец лета, когда после сбора урожая взималась основная часть податей. Наиболее важной датой был день св. Михаила (29 сентября), иногда же взносы отсрочивались до дня св. Мартина зимнего (11 ноября).

Но средневековое время прежде всего было религиозным и церковным. Религиозным потому, что год в первую очередь представлял как год литургический. И особенно важной чертой средневековой ментальности было то, что этот литургический год воспринимался как последовательность событий из драмы воплощения, из истории Христа, разворачивавшейся от Рождественского поста до Троицы, а кроме того, он был наполнен событиями и праздниками из другого исторического цикла — жизни святых. Дни памяти великих святых вклинивались в христологический календарь, и наряду с Рождеством, Пасхой, Вознесением и Троицей одной из важнейших дат религиозного года был день Всех святых. Что еще более усиливало значение этих праздников в глазах средневековых людей, окончательно придавая им роль временных вех, так это то, что они, помимо сопровождавших их внушительных религиозных церемоний, давали и точки отсчета экономической жизни, определяя даты крестьянских платежей или выходные дни для ремесленников и наемных рабочих.

Церковным же время было потому, что только духовенство умело измерять его. Церковь одна нуждалась в этом в целях литургических и одна способна была это делать, хотя и с небольшой точностью. Церковный счет времени, и особенно расчеты дней Пасхи (в Раннее Средневековье предмет спора ирландской и римской систем), дал первый толчок прогрессу в измерении времени. Духовенство было хозяином времени. Колокольный звон, призывающий священников и монахов к службе, был единственным средством отсчета дневного времени. Лишь с его помощью можно было приблизительно определить время дня, ориентированное на часы церковных служб, благодаря чему регламентировалась жизнь всех людей. Крестьянская жизнь была настолько подчинена этому церковному времени, что Жан де Гарланд в начале XIII в. дал слову «колокол» («сатрапа») следующую фантастическую, но характерную для той эпохи этимологию: он произвел его от слова «поле», «село» («campus»), утверждая, что «такое название дали крестьяне, живущие в селах и не умеющие определять часы иначе, как по звону колоколов».

Время аграрное, время сеньориальное, время церковное. Характерным для них было, наконец, то, что все они тесно зависели от природного времени. Наиболее очевидна эта связь в аграрном времени, но если присмотреться, то она столь же явна и в двух других его видах.

Сеньориальное время было привязано к природному благодаря военным действиям. Они начинались только летом и на его исходе заканчивались. Хорошо известно, что

феодалы ополчения распускались, как только завершался трехмесячный срок вассальной военной службы. Еще более увеличивало эту зависимость от природного времени постепенное превращение средневековой феодальной армии в кавалерию. Эта эволюция была санкционирована еще капитулярием Пипина Короткого от 751 г. С тех пор сбор армии происходил не в апреле, как раньше, а в мае, когда зеленеют луга и лошадей можно обеспечить подножным кормом. Куртуазная поэзия, заимствовавшая свой лексикон у рыцарства, называла время служения возлюбленного своей даме «летней службой».

Церковное время было не менее подчиненным ритму природы. Не только большинство крупных религиозных праздников, которые были наследниками старых языческих, приуроченных к важным явлениям природы (Рождество, например, заменило древний праздник зимнего солнцестояния), но и весь литургический год был согласован с природным ритмом сельскохозяйственных работ. Литургический год, от Рождественского поста до Троицы, охватывал период приостановки сельских работ. Лето и часть осени, период наиболее напряженных работ, были свободны от крупных праздников, за исключением Успения Богородицы, 15 августа, празднование которого прививалось, кстати, медленно. В иконографии сюжет Успения получил распространение в XII в., а праздник утвердился не ранее XIII в. Яков Ворагинский засвидетельствовал примечательный факт переноса первоначальной даты дня Всех святых ради того, чтобы не сбивать календарь сельскохозяйственных работ. Изначально этот праздник, утвержденный папой Бонифацием IV в начале VII в., отмечался 13 мая, как и в Сирии, где он появился в IV в., приспособленный к ритму преимущественно городской жизни этой страны. В конце VIII в. он был перенесен на 1 ноября, ибо, как сказано в «Золотой легенде», «папа считал за лучшее праздновать его в такое время года, когда собран весь урожай и паломникам легче найти пропитание». Рубеж VIII — IX вв., когда Карл Великий дал месяцам новые названия, в общем отражающие сельские труды, представляется заключительным этапом аграризации средневекового Запада.

Фундаментальная зависимость временных структур средневековой ментальности от природного времени, характерная для сельского общества, лучше всего проявляется у хронистов. Среди главных событий они неизменно отмечали необычные для естественного порядка явления: ненастья, эпидемии, неурожаи. Эти столь ценные для исследователей социальной и экономической истории указания непосредственно предопределялись средневековой концепцией времени как упорядоченной природой длительности.

Эту зависимость можно найти даже в мире ремесла и торговли, на первый взгляд как будто более свободном от природы. У ремесленников противоположность дня и ночи, зимы и лета давала о себе знать в цеховой регламентации. Ночной труд обычно запрещался. Многие ремесла имели сезонные ритмы активности, как, например, ремесло каменщиков, жалование которых в конце XIII в. было различным зимой и летом. В мире морской торговли, в которой видят один из двигателей средневековой экономики, зимой замирала навигация, и так было по крайней мере до конца XIII в., пока не получили распространения компас и ахтерштевеньный руль. Суда стояли на якоре даже в Средиземном море с начала декабря до середины марта, а в северных морях часто и дольше.

Несомненно, однако, что в течение XIV в. средневековое время хотя и медленно, но менялось. Успехи городов, возвышение купеческой буржуазии и различных работодателей, нуждавшихся в точном измерении рабочего времени и времени торговых и денежных операций, особенно развитие векселей, подтачивали традиционные формы времени и способствовали их унификации. Уже в XIII в. начало дня стало возглашаться стражниками звуком трубы, а в торговых городах и особенно в центрах суконного производства Фландрии, Италии и Германии появился рабочий колокол. Технический прогресс и развитие науки, подвергшей критике аристотелевскую и томистскую физику, раздробили время и сделали его дискретным, подготовив появление новой меры времени — часа, двадцать четвертой части дня. Часы Герберта Аврилакского, созданные около тысячного года, были, несомненно, водяными, но более совершенными, нежели описанные кастильским королем

Альфонсом Мудрым в XIII в. Но в конце этого века было сделано решающее усилие, приведшее к изобретению механических часов, получивших распространение в Италии, Германии, Франции, Англии, а в XIV — XV вв. и во всем христианском мире. Время начало секуляризоваться и стало мирским временем башенных часов, теснившим церковное время звонниц. Механические часы, еще очень хрупкие и часто ломавшиеся, оставались данниками природного времени, поскольку начало дня варьировалось от города к городу и обычно привязывалось к столь непостоянному моменту, как восход или заход солнца.

Тем не менее переворот свершился достаточно глубокий, чтобы Данте, этот защитник былого, почувствовал, что прежний способ измерения времени уходит в прошлое, а вместе с ним и все общество. Сожаление об этом выражает у него Каччагвида:

Флоренция тогда, в окружье древних стен,
Когда часы показывали терции и ноны,
Жила размеренно, счастливо и без перемен.

Но до того, как совершился переворот в осознании времени, наиболее важным для средневекового человека было не то, что меняется, а то, что пребывает в неизменности. «Для средневекового христианина ощущать свое существование значило ощущать свое бытие, которое мыслилось как неизменная сущность». Иначе говоря, существовать значило сознавать сопричастность вечности, поэтому время спасения было главным для человека.

В глазах западного мира между небесами и землей, столь тесно связанными между собой нерушимыми узами, тем не менее существовала напряженность. Надежде заслужить здесь, на земле, небесное блаженство в умах и сердцах людей противостояло страстное желание, чтобы небесное совершенство снизошло на землю.

Надежда заслужить вознесение на небо побуждала к бегству от мира (*fuga mundi*). В христианском обществе оно началось с того времени, когда после признания государством новой веры наиболее требовательные к себе и ближним люди стали с IV в. выражать свое неприятие мира уходом в пустыню. Первые и наиболее яркие тому примеры дали отцы Востока и Египта. Жития отцов-пустынников на протяжении всего Средневековья пользовались необычайным успехом на Западе. Презрение к миру (*contemptus mundi*) стало одной из главных тем средневековой культуры. Причем оно не была лишь уделом мистиков и теологов, таких, как, например, Иннокентий III, который в конце XII в., еще до своего понтификата, написал трактат «О презрении к миру», содержащий идейную квинтэссенцию этого чувства. К ней обращались и поэты, среди сочинений которых на эту тему хорошо известны поэмы Вальтера фон дер Фогельвейде и Конрада фон Вюрцбурга о «*Frau Welt*», о даме, персонифицирующей мирскую суетность, которая соблазнительна сзади и отвратительна спереди. Презрение к миру, таким образом, было глубоко укоренившимся в ментальности широких социальных слоев.

Далеко не все могли следовать этому чувству в жизни, но некоторые отдавались ему, становясь отшельниками и преподнося людям образец праведности. С самого начала, еще в Египте, отшельничество породило два течения — уединение в пустыне по примеру св. Антония и объединение в общины, начало чему положила обитель св. Пахомия. Оба эти течения были представлены и на Западе, но народом почитались только представители первого. Несомненно, что поначалу монахи картезианского или цистерцианского орденов пользовались большим духовным авторитетом, чем монахи традиционных орденов, более обмирщенных даже и после клунийской реформы, как бенедиктинцы. Белое монашество — а их белое одеяние было символом смирения и чистоты — противостояло черному и с самого начала оказывало более сильное влияние на воображение народа. Но очень скоро в глазах народа оно слилось с черным монашеством и даже с клириками, живущими в миру. Отшельник же, живущий в одиночестве, не перестал в представлении мирян воплощать собой идеал пустынножительства, который был в христианстве наиболее возвышенным.

Развитие отшельничества происходило в соответствии со своей конъюнктурой, и в

одни эпохи отшельников появлялось больше, а в другие — меньше. В то время, когда западный мир вырвался из раннесредневекового состояния застоя и в XI — XII вв. добился важных социальных, демографических и экономических успехов, как бы в противовес мирским победам, желая сбалансировать их, поднялось мощное отшельническое движение. Оно началось, несомненно, в Италии, имевшей через Византию контакты с богатым отшельническо-монашеской традицией Востоком, с деятельности св. Нила Гроттаферратского, св. Ромуальда, основавшего в начале XI в. близ Флоренции орден камальдулов, и св. Иоанна Гуальберта, создавшего общину в Валломброзе.

Завершилось же оно созданием орденов премонстрантов, картезианцев и цистерцианцев, но наряду с этими крупными его победами были и более скромные результаты, как основание Пьером д'Арбрисселем обители в Фонтевро, а особенно появление многочисленных одиноких отшельников и отшельниц, не связанных уставом и церковной организацией, ближе стоявших к идеалу свободной религиозной жизни, часто наделявшихся народом колдовскими способностями и с легкостью представлявшихся ему в ореоле святости, которые заселили леса и пустыни христианского мира. Отшельник был образцом праведности, исповедником и наставником. Именно к нему обращались страждущие души, будь то рыцари или любовники, отягощенные виной. В эпосе или в романах отшельник появляется в любом лесу, как, например, старый Огрин, к которому обратились за советом Тристан и Изольда.

Отшельник Огрин долго убеждал их,
Советуя покаяться в грехах.
Он рассказал им о пророчествах Писанья,
И помнить их призвал о Судном дне.

Для средневековых людей отшельник был прибежищем христианских идеалов, которым, как казалось, изменяла церковь. Здесь можно вспомнить Вальтера фон дер Фогельвейде, поносившего священников, которым он ставил в пример отшельника; при этом он оплакивал несчастную церковь, слишком юного папу Иннокентия III и взывал к Богу о помощи христианскому миру: «И долго плакал сей отшельник...»

Отшельники нередко приходили к тому, что становились возмутителями спокойствия и народными предводителями. Превращаясь в странствующих проповедников, они поначалу обосновывались в людных местах, на перекрестках дорог и близ мостов, а затем и вовсе покидали свои пустыни ради публичных городских площадей, что многим казалось делом неслыханным. Так, в начале XII в. картезианец Пайен Болотен написал целую поэму против этих «лжеотшельников», а знаток канонического права Ив де

Шартр выступил с критикой сторонника уединенной жизни отшельника Рено, защищая жизнь в монашеской общине.

Наряду с отдельными всплесками популярности отшельничества на протяжении всего Средневековья существовала и более спокойная, устойчивая тяга к одиноким пустынножителям. Иконография изображала их такими, какими они были в действительности, — воплощенным бунтом гордого самоотречения против преуспевающего и цивилизованного мира. Босые, одетые в шкуры, обычно козлиные, с посохом в форме греческой буквы тау, знаком креста, который должен был защищать наподобие спасительного знака, упоминаемого в книге Иезекииля («...не троньте ни одного человека, на котором знак...») и в Апокалипсисе, посохом паломников и странников, наделявшимся магической силой и силой спасения, они искушающе воздействовали на умы, напоминая о св. Антонии, одержавшем победу над всеми дьявольскими соблазнами, и о св. Иоанне Крестителе, основателе отшельнического спиритуализма.

Но не могли все стать отшельниками. Тем не менее многие стремились достичь этого казавшегося гарантией спасения идеала, по крайней мере символически. Обычай облачаться в монашеское одеяние на пороге смерти, весьма распространенный среди великих мира сего,

свидетельствует о желании обрести монашеское, точнее, отшельническое совершенство. Удаление рыцаря от мира в пустынь было важной темой эпических песен, особенно пострижение в монахи перед смертью, и наиболее известным произведением на эту тему является «Монашество Гильома». Этому примеру следовали и богатые купцы. Венецианский дож Себастьяно Циани, сколотивший на торговле такое состояние, что его богатство вошло в поговорку («Богат, как Циани», — говорили в Венеции), в 1178 г. удалился в монастырь Сан-Джорджо-Маджоре, то же самое сделал и его сын Пьеро Циани в 1229 г., также сложивший с себя полномочия дожа. А богатый сиенский банкир Джованни Толомеи специально основал в 1313 г. монастырь Монте-Оливето-Маджоре, чтобы перед смертью туда удалиться. Как писал в начале XI в. св. Ансельм графине Матильде Тосканской, «если вы почувствуете приближение смерти, то до того, как покинуть жизнь, предайте себя полностью воле Бога и ради этого всегда держите наготове монашеское одеяние».

Зов пустыни, пробуждавший также тягу к экзотике и приключениям, достигал иногда и людей из народа. Так случилось с матросом корабля св. Людовика, о неожиданном призвании которого на пути из Святой земли рассказал Жуанвиль. «Обеспечив себя свежей водой и другими припасами, мы покинули остров Кипр и прибыли на остров Лампедуза, где наловили много кроликов. Там среди скал мы обнаружили древний скит с садом, устроенным жившими в нем ранее отшельниками. В саду были оливковые, фиговые деревья, посадки винограда и другие растения, а посреди него протекал ручей. Мы с королем дошли до конца сада и увидели сначала первый свод, под которым была выбеленная известью молельня с крестом из красной глины. Затем мы прошли под второй свод, и перед нами предстали два совершенно истлевших человеческих тела; они лежали бок о бок со скрещенными на груди костями рук, головами, обращенными на восток, как хоронят покойников. Когда мы вернулись на корабль, то узнали, что один матрос остался на острове; командир корабле сказал, что он решил стать отшельником, и поэтому королевский мажордом Никола де Суази велел оставить для него на берегу три мешка сухарей, дабы ему было чем питаться».

Для тех же, кто не способен был на такой покаянный подвиг, церковь предусмотрела иные средства спасения души. Это дела милосердия и благотворительность, дарения церквям, а для ростовщиков и всех несправедливо наживших богатство — его возвращение после смерти. Так завещание стало пропуском на небеса.

Не сознавая ясно того, сколь одержимы были люди Средневековья жаждой спасения и страхом перед адом, совершенно невозможно понять их ментальности, а без этого неразрешимой загадкой останется поразительная нехватка у них жажды жизни, энергии стремления к богатству, что вызывало чрезвычайную мобильность состояний, ибо даже наиболее алчные до земных благ в конце концов, хотя бы и на смертном одре, выражали презрение к миру, а такой умственный настрой, мешавший накоплению богатства, отнюдь не приближал средневековых людей в психологическом и материальном отношении к капитализму.

Покаянное бегство от мира было, однако, не единственным выражением устремлений средневековых людей к спасению и вечной жизни. Было и другое, столь же мощное духовное течение, увлекавшее многих страждущих людей надеждой на возможность воцарения небесного блаженства на земле, возвращения золотого века или потерянного рая. Это было миллениаристское; течение, связанное с мечтой о тысячелетнем царствии Божьем на земле.

Историческая эволюция этого верования довольно сложна. Миллениаризм был одной из ипостасей христианской эсхатологии, он опирался на апокалипсическую традицию и был тесно связан с мифом об Антихристе. Он формировался и обогащался за счет Апокалипсиса. Хотя эта книга возвещает страшные беды, ее трагический настрой оставляет место надежде, которая питала веру в лучшие времена. Апокалипсис утверждает неизбежность решительных перемен. «И сказал Сидящий на престоле: се творю все новое»; и должно свершиться

видение автора Апокалипсиса, и небесный Иерусалим спустится на землю: «и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Видение это сопровождается тем сиянием и блеском, которые столь завораживающе действовали на средневековых людей.

Небесный Иерусалим представал «во славе Божией; светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». И «город этот не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец».

Однако, хотя все завершается в Апокалипсисе победой Бога и спасением человека, предшествующие этому бедствия, которые должны обрушиться на землю, постоянно владели воображением людей. Этому помогали и многие евангельские тексты, также содержащие страшные описания событий, которые должны свершиться накануне явления Сына Человеческого. Вот что возвещает, например, Матвей: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это начало болезней».

Эти предвестники светопреставления — войны, голод, эпидемии — казались особенно явными людям Раннего Средневековья. Разрушительные варварские нашествия, страшная чума VI в. и неурожаи непрерывной чередой своей держали людей в напряженном ожидании, в котором страх смешивался с надеждой, но наиболее сильным был все же страх, панический ужас, владевший массами людей. Средневековый Запад, пока он жил ожиданием желанного спасения, был миром, проникнутым страхом. Стоит отметить некоторые вехи истории становления этого страха с доктринальной точки зрения и процесса как бы генетической передачи его от одного поколения к другому.

В конце VI в., когда Великая чума, которая, неоднократно возобновляясь на протяжении столетия, укрепила веру в близость и неминуемость Страшного суда, пошла на спад, Григорий Великий, избранный в 590 г. папой и ставший преемником бессильных понтификов (одному из них римский народ во время эпидемии кричал: «Пусть чума и голод тебя поразят!»), завещал Средневековью особый спиритуализм конца света с призывом ко всеобщему покаянию, положив начало доктринальной истории страха.

В сумме идей и представлений, выражавших это чувство, постепенно на первый план стал выступать образ Антихриста. В зародыше его можно обнаружить в пророчествах Даниила, в Апокалипсисе, в двух посланиях апостола Павла фессалоникийцам. Позднее его облик и история обрели более конкретные очертания и сочинениях св. Иренея в конце II в., Ипполита Римского в начале III в. и, наконец, Лактанция в начале IV в. Заметим, что все их предсказания грядущих катастроф сложились в условиях тяжелых испытаний, выпавших на долю их времен: это иудейская война, экономический кризис конца I в., всеобщий кризис римского мира в III в., чума VI в. В итоге сложилось следующее представление об Антихристе: накануне светопреставления должен появиться дьявольский персонаж, который будет заправлять всеми бедствиями мира и попытается увлечь человечество на путь вечной гибели. Это антагонист Христа — Антихрист. Но против него восстанет другой персонаж, Царь последних времен, который попытается объединить род человеческий, чтобы повести его к спасению, и, наконец, вновь сошедший на землю Христос повергнет Антихриста.

Миф об Антихристе впервые был использован в VIII в. одним монахом по имени Петр, который позаимствовал его из греческого сочинения VII в., приписываемого им некоему Мефодию, затем он появился в X в. в сочинении Адсона, посвященном жене Людовика IV Заморского королеве Герберге, а после тысячного года он получил распространение на Западе благодаря обнародованным Альбуином пророчествам Сивиллы Тибурской, которые были составлены в IV — V вв. в византийской среде.

Антихрист отныне занял привилегированное положение в трудах теологов и видениях мистиков. О нем не раз писали в Ключи: аббат Одон в начале X в., монах и поэт Бернар де Морваль в середине XII в. Но особенно благоприятную почву он нашел в Германии XII в. в сочинениях Ансельма Хавельбергского, Герхоха Рейхерсбергского, Оттона

Фрейзингенского, Хильдегарды Бингенской. Эта святая монахиня видела его во сне: это «черное как уголь чудовище с огромной головой, горящими глазами, ослиными ушами и железными клыками, торчащими из разверстой пасти».

Важно то, что Антихриста и его противника, Царя последних времен, стали широко использовать с разными религиозными и политическими целями, и они искушали как клириков, так и широкие народные массы. В мире, где идея поединка, соперничества была доминирующей в религиозной жизни, образ соперника Христа и легкость приложения эпизодов его истории к реальным ситуациям весьма благоприятствовали популяризации Антихриста ради разъяснения и укрепления веры. Поэтому довольно быстро, самое позднее с XII в., за него ухватился религиозный театр, который был в средние века наиболее массовым видом искусства, и сделал этот образ привычным для всех. «Действо об Антихристе», самые интересные версии которого из дошедших до нас сложились в Англии и Германии, играли по всему христианскому миру. Главными действующими лицами были Антихрист и его противник — «справедливый царь». Пробуждавшие сильные страсти, эти знаменитые персонажи средневековой сцены стали служить интересам политической пропаганды, и в зависимости от ситуации с ними идентифицировали тех или иных политических деятелей. В Германии ради пропаганды национальной идеи Фридриха I Барбароссу и Фридриха II представляли Царями последних времен, то же самое делали во Франции, где, ссылаясь на один отрывок из сочинения Адсона, предрекали объединение всего христианского мира под властью короля Франции, отводя, в частности, роль Царя Людовику VII во время II крестового похода. Гвельфы же, сторонники папы, наоборот, видели в Фридрихе II Антихриста, как позднее и противники папы Бонифация VIII, которые называли его Антихристом на троне св. Петра. Хорошо известно, каким успехом пользовалось в качестве оружия пропаганды имя Антихриста в XV и XVI вв. Антихристами были и Савонарола для его врагов, и римские папы для реформаторов.

Большинство легенд, связанных с историческими персонажами, тяготели к мифу об «уснувшем императоре», перекликавшемся с восточным мифом о «сокрывшемся эмире». Для народных масс, алчных до миллениаристских откровений, Фридрих Барбаросса, Бодуэн Фландрский, Фридрих II не умирали. Они или спали в пещере, или скитались переодетыми в ожидании, когда можно будет проснуться или открыться перед людьми, чтобы повести всех к блаженству. Народные предводители не раз выступали, пользуясь этой верой, например Танхельм в Зеландии и Брабанте около 1110 г. Он проповедовал, одетый монахом, в открытом поле. Толпы народа стекались, чтобы послушать этого человека, который, «как ангел Господень» был наделен удивительным красноречием. Он воспринимался как святой, поэтому не случайно его смертельные враги из Утрехтского капитула в одном из посланий 1112 г. жаловались, что «дьявол как будто придал ему облик ангела света». Так же действовал и предводитель движения пастушков во Франции в 1251 г., бывший монах, называвший себя Яковом из Венгрии. Нередко под видом ожидаемых земных мессий выступали чистые узурпаторы: в России смутного времени Лжедмитрии, во Франции начала XIX в. лже-Людовик XVII, во Фландрии начала XIII в., лже-Бодуэн — типичный и хорошо известный образец узурпатора, странствующий отшельник, ставший «государем и святым, столь почитаемым, что люди целовали шрамы на его теле, свидетельствующие о долгом мученичестве, дрались из-за волос его и лоскутьев одежды, пили воду после его мытья, как поступали несколькими поколениями ранее и в отношении Танхельма». В 1225 г. во время страшного голода он получил от своих приверженцев титул императора.

Церковь, обычно безуспешно, обличала этих возмутителей мира, называя их или Антихристами, или лжепророками, которые, по словам Евангелий и миллениаристских текстов, должны помогать Антихристу и соблазнять народ ложными чудесами. Миллениаризм был сложным явлением, но в нем можно выделить несколько представлений, обладавших наибольшей притягательностью и потому особенно важных для средневековой ментальности.

В начале своей «Золотой легенды» Яков Ворагинский перечисляет знамения,

возвещающие пришествие Антихриста и приближение конца света: «Страшному суду будут предшествовать три события — устрашающие знамения, появление Антихриста и всеобщий пожар. Знамений накануне Судного дня будет пять, ибо св. Лука сказал: „И будут знамения в солнце, и в луне, и в звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится“. Три первых знамения описаны в книге Апокалипсиса. Св. Иероним, однако, в своих „Еврейских анналах“ насчитывает пятнадцать знамений. «1. В первый день море поднимется на сорок локтей выше гор и застынет как стена. 2. Во второй день оно опустится столь низко, что будет едва заметно. 3. На третий день всплывут морские чудовища и издадут столь страшный рев, что он дойдет до небес. 4. На четвертый день возгорится вода морская. 5. На пятый день с деревьев и всех растений истечет кровавая роса. 6. На шестой день обрушатся все дома. 7. На седьмой день камни будут биться друг о друга и раскалываться на четыре части. 8. На восьмой день будет всеобщее землетрясение и все люди и звери будут повергнуты на землю. 9. На девятый день земля разровняется, а горы и холмы превратятся в пыль. 10. В десятый день люди выйдут из пещер и будут бродить как безумные, лишившись речи. 11. В одиннадцатый день восстанут из могил кости усопших. 12. На двенадцатый день на землю упадут звезды. 13. На тринадцатый день умрут все живые, чтобы потом воскреснуть с мертвыми. 14. На четырнадцатый день сгорят земля и небо. 15. В пятнадцатый день возникнут новые земля и небо и все воскреснут.

Во-вторых, Страшному суду будет предшествовать явление Антихриста, который попытается ввести людей в соблазн четырьмя способами: 1. Ложным толкованием Священного писания, чтобы убедить, будто он и есть провозвещенный Мессия. 2. Совершением чудес. 3. Раздачей даров. 4. Наложением наказаний.

И в-третьих, перед Страшным судом свершится великий пожар, возжженный Господом, дабы обновить мир, повергнуть в страдания осужденных и явить миру избранных».

Отвлекаясь пока от связанных с Антихристом социальных и политических событий, стоит обратить внимание на череду удивительных физических и метеорологических явлений, которые в этом редкостном рассказе совершаются накануне Судного дня. Здесь сведены воедино все астрономические и тектонические чудесные явления, почерпнутые из греко-римской традиции, которые таким образом питали исключительную чувствительность средневековых людей к природным знамениям, внушавшим им столько страха и надежд. Кометы, ливни, падающие звезды, землетрясения, подъемы морской воды — все вызывало панику тем большую, что страшны были не столько природные катаклизмы, сколько предвещаемый ими конец света.

Но в то же время эти знамения, вызывая ужас перед грядущими испытаниями, были и вестниками надежды, обещавшими в конце концов воскресение. Так страх в средние века смешивался с надеждой.

Уточняясь и обрастая мечтами о революционных переменах, миллениаристский миф все более сеял надежды и воодушевлял различные народные движения. В начале XIII в. калабрийский монах Иоахим Флорский переработал его и сделал взрывоопасным, так что на протяжении всего столетия он будоражил часть духовенства и широкие слои мирян. Доктрина Иоахима построена на религиозном делении истории на три эпохи, которое конкурировало с более ортодоксальным августиновским делением на шесть возрастов. Речь идет об эпохах Ветхого завета, Нового завета и после Нового завета соответственно — Отца, Сына и Св. Духа. Первая из них завершилась, вторая близка к завершению, а третья, возвещенная Апокалипсисом, скоро должна наступить. Иоахим Флорский назвал даже дату ее начала (Средневековье было падким на даты) — 1260 г. Существенно то, что иоахимитская доктрина обладала большой разрушительной силой. Действительно, для Иоахима и его последователей церковь разложилась и вместе с существующим миром была осуждена. Она должна была уступить место новой церкви, церкви праведников, отрекающейся от богатства и устанавливающей царство равенства и духовной чистоты. Особенно важно то, что, опуская бесконечные теологические тонкости и, по существу, очень

консервативный мистицизм, многочисленные его последователи из клириков и мирян брали от этой доктрины лишь антиклерикальные, антифеодальные и эгалитаристские пророчества. Это учение имело такой резонанс, что король Людовик Святой, внимательно следивший за религиозными движениями, прежде чем отправиться в Святую землю, посетил францисканца-иоахимита Гуго де Диня, который уединился в местечке Йер в Провансе, привлекая к себе массы людей. Иоахимизм, сотрясавший в середине века Парижский университет, пережил, как известно, 1260 год, воодушевляя некоторые объявленные еретическими группировки францисканцев — спиритуалов, а затем братиков. Один из них, Пьер-Жан Олив, написал в конце XIII в. комментарий к Апокалипсису, а другой, Якопоне да Тоди, составил сбор-пик «Laudi», являющийся вершиной средневековой религиозной поэзии.

Миллениаризм иоахимитского толка соединился в XIII в. с античным представлением о золотом веке, веке полного равенства, не знающего властей и деления на социальные классы, воспроизведенном Жаном де Меном во второй части «Романа о Розе». Этот длинный и яркий текст нужно знать, напомним лишь наиболее существенные его места.

«Некогда, во времена наших предков, как свидетельствуют писания древних, люди любили друг друга чистой и верной любовью, а не сластолюбивой и корыстной, и потому в мире царила доброта... Земля не была тогда возделанной, а оставалась украшенной дарами Бога и плодоносила сама по себе, обеспечивая всех пропитанием».

Далее идет описание почти в духе Руссо первоначального счастливого существования благодаря равенству людей. «Ни короли, ни князья в те времена еще не покушались преступно на чужое добро. Все были равны и ничего не имели в собственности; они хорошо знали, что любовь и власть никогда не живут дружно и не сосуществуют».

Затем он разворачивает критику социального и политического порядка. «Древние люди жили сообща, не зная ни принуждения, ни цепей, мирно и честно, и они не отдали бы свою свободу за все золото Аравии или Фригии. Они не пускались в паломничества и не покидали своей страны, чтобы узнать чужие края; Ясон еще не построил своего судна и не отправился в море за золотым руном...

Но появилась Ложь с копьем наперевес, а с нею Грех и Несчастье, которые не знают меры; Гордыня, столь же презиращая меру, явилась со своей свитой — Алчностью, Завистью, Сластолюбием и прочими пороками. Они выпустили из преисподней Бедность, о которой до сих пор никто не знал. Да будет проклят тот ненавистный день, когда на земле появилась Бедность!...

Вскоре эти злодеи из ненависти и зависти к людскому счастью завоевали всю землю, посеяв раздоры, распри, споры, тяжбы, злословие, злонамеренность, мстительность и войны; обезумев от жажды золота, они вспороли землю, чтобы вытащить из ее чрева скрытые сокровища, драгоценные металлы и камни...

И как только род людской оказался во власти этой банды, он переменялся; люди стали творить зло, распространяя ложь и обман, они привязались к собственности и разделили даже землю, установив границы, а затем начали сражаться за нее и захватывать кто сколько может; самым сильным достались и самые большие доли...»

А вот зарождение политической власти в представлении Жана де Мена. «Тогда потребовалось, чтобы был кто-то охраняющий жилища, преследующий злодеев и вершащий правосудие, чью власть никто не смел бы оспаривать. И люди собрались, чтобы выбрать его. Они нашли промеж себя самого представительного, ширококостного, коренастого и сильного мужа и поставили его государем и сеньором. Тот поклялся хранить справедливость и защищать их дома при условии, что каждый выделит ему из своего добра средства на жизнь, и все согласились... Потребовалось вновь собрать народ, чтобы сделать раскладку поборов и выделить государю служащих. Так все были обложены поборами и стали платить ему, а кроме того, ему были уступлены обширные земельные владения. Таково происхождение земных королей и князей...

А к тому времени люди скопили сокровища. Из золота, серебра и других металлов они стали делать посуду, кольца, пояса, застежки, монеты, а из крепкого железа — оружие: ножи,

мечи, копья, кольчуги, и все для того, чтобы сражаться со своими ближними. В то же время они возвели башни и стены из тесаных камней, укрепили города и замки и отстроили большие дворцы, ибо владевшие всем этим богатством испытывали сильный страх, как бы у них его не похитили хитростью или силой. И с тех пор несчастные люди стали достойны сожаленья, ибо не знали больше покоя после того, как присвоили себе то, что ранее было общим, как солнце и воздух».

Таким образом, миллениаризм с его ожиданием возврата золотого века был средневековой формой веры в возможность общества без классов и государства, где не будет места ни королям, ни князьям, ни сеньорам.

Низвести небесное блаженство на землю, обрести здесь небесный Иерусалим — такова была мечта многих на средневековом Западе. И если я излишне задержался, восстанавливая этот миф, впрочем, в весьма упрощенном виде, то сделал это потому, что он, несмотря на всю свою замаскированность и неприятие его официальной церковью, переворачивал души и сердца людей; он обнажил глубинные пласты психологии народных масс Средневековья, напряженность их экономического и физического бытия, подчиненного таким постоянным факторам их существования, как капризы природы, голод и эпидемии; он стал выражением бунта против социального порядка, подавляющего слабых, и против заинтересованной в этом порядке и выступающей его гарантом церкви. В своих мечтах, по сути религиозных, эти люди уповали на то, что небеса сойдут на землю, и произойти это должно после невыразимых страданий.

Это беспокойное желание найти во глубине веков новый мир не допускало поиска действительного обновления. Золотой век средневековых людей лежал у истоков прошлого. Их будущее было давно прошедшим. И они продвигались вперед с обращенным назад взглядом.

ГЛАВА VII. Материальная жизнь (X — XIII вв.)

Средневековый Запад — бедно оснащенный мир. Хочется сказать «технически отсталый». Следует, однако, повторить, что вряд ли допустимо говорить в данном случае об отсталости и тем более о неразвитости. Ибо если Византия, мусульманский мир и Китай явно превосходили тогда Запад по степени развития денежного хозяйства, городской цивилизации и производству предметов роскоши, то и там технический уровень был весьма невысок. Конечно, Раннее Средневековье знало даже определенный регресс в этой области по сравнению с Римской империей. Лишь с XI в. появляются и распространяются важные технологические достижения. Однако в период между V и XIV вв. изобретательство проявлялось слабо. Но как бы то ни было, прогресс — в основном скорее количественный, нежели качественный, — не может не приниматься во внимание. Распространение орудий труда, механизмов, технических приспособлений, известных с античности, но остававшихся в большей или меньшей мере редкими исключениями, случайными находками, а не общими нововведениями, — таков позитивный аспект эволюции на средневековом Западе.

Из числа собственно «средневековых изобретений» два самых впечатляющих и революционных восходят в действительности к античности. Но для историка датой их рождения (то есть временем распространения, а не самого открытия) являются средние века. Так, водяная мельница была известна в Иллирии со II в. до н. э., а в Малой Азии с I в. до н. э. Она существовала в римском мире, ее описывает Витрувий, и его описание показывает, что римляне внесли в устройство водяных мельниц существенное усовершенствование, заменив горизонтальные колеса на вертикальные с зубчатой передачей, которая соединяла горизонтальную ось колеса с вертикальной осью жерновов. И все же правилом оставался ручной жернов, который вращали рабы или животные. В IX в. мельница уже распространена на Западе: 59 мельниц упомянуты в полиптихе богатого аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Но еще в X в. «Сен-Бертинские анналы» описывали сооружение аббатом водяной мельницы близ Сент-Омера как «дивное зрелище нашего времени». Интенсивное распространение

водяных мельниц приходится на XI — XIV вв. Так, в X в. в одном из кварталов Руана существовали две мельницы, в XII в. появляются пять новых, в XIII -еще десять, в XIV в. — уже четырнадцать.

Средневековый плуг также почти несомненно происходит от колесного плуга, описанного еще в I в. Плинием Старшим. Он распространялся и медленно совершенствовался в Раннее Средневековье. Филологические исследования позволяют считать весьма правдоподобным распространение плуга в славянских землях — в Моравии перед вторжением венгров в начале X в. и, может быть, на всех землях славян до аварского вторжения 568 г., поскольку относящаяся к нему совокупность терминов является общей для различных славянских ветвей и, следовательно, предшествующей их разделению, которое последовало за продвижением аваров. Но еще для IX в. трудно сказать, какому виду орудия соответствовали *саггисае*, упоминаемые каролингскими картуляриями и полиптихами. Равным образом среди мелких орудий труда рубанок, например, изобретение которого часто приписывают средним векам, был известен с I в.

С другой стороны, правдоподобно, что изрядное число «средневековых изобретений», которые не являются греко-римским наследием, было заимствовано на Востоке. Это, вероятно, касается (хотя и не доказано) ветряной мельницы: она была известна еще в Китае, затем в Персии в VII в., ее знали в арабской Испании X в., и лишь в конце XII в. она появляется на христианском Западе. Однако локализация первых ветряных мельниц, былое существование которых прослеживается ныне в ограниченной зоне вокруг Ла-Манша (Нормандия, Понтье, Англия), а также типовые различия между восточной мельницей, не имеющей крыльев, но оборудованной сквозными проемами в стене, которые направляли ветер на большие вертикальные колеса, западной мельницей с четырьмя длинными крыльями и мельницей средиземноморского типа с многими треугольными полотнищами, натянутыми с помощью тросов (как это можно видеть еще и поныне в Микенах и Португалии), — все это допускает возможность независимого появления ветряной мельницы в трех названных географических зонах.

Но какова бы ни была значимость распространения этих технологических достижений, то, что характеризует, несмотря ни на что, технический универсум средневекового Запада в большей мере, нежели недостаток изобретательского гения, так это его рудиментарный характер. Совокупность технических недостатков, трудностей, узких мест — вот что прежде всего держало средневековый Запад в примитивном состоянии. Совершенно очевидно, что в широком плане ответственность за эту бедность и технический застой нужно возложить на социальные структуры и ментальные установки.

Одно лишь господствующее меньшинство светских и церковных сеньоров испытывало и могло удовлетворять потребности в предметах роскоши, которые прежде всего импортировались из Византии или мусульманского мира (драгоценные ткани, пряности). Часть сеньориальных потребностей удовлетворялась за счет продуктов, не требовавших ремесленной или промышленной переработки (охота давала дичь для питания и меха для одежды). Требовалось лишь небольшое количество изделий от некоторых категорий специалистов (золотых дел мастеров, кузнецов). Основная масса населения хотя и не поставляла сеньорам столь дешевую и пригодную для эксплуатации рабочую силу, как античные рабы, но все же была довольно многочисленна и достаточно подчинена экономически, чтобы, используя простейшие орудия труда, содержать господствующие классы и обеспечить собственное скудное существование. Это, однако, не означает, что господство светской и духовной аристократии имело одни лишь негативные, тормозящие последствия для развития техники. В некоторых сферах потребности и вкусы господствующего класса стимулировали известный прогресс. Так, обязанность для лиц духовного звания, и особенно для монахов, иметь как можно меньше связей с внешним миром, включая связи экономические; желание избавиться от материальных забот, чтобы посвятить себя *opus Dei* — собственно духовным занятиям (богослужение, молитвы), так же как и обет благотворительности, который обязывал их заботиться об экономических нуждах

не только своей многочисленной familia, но и о пришлых бедняках и нищих путем раздачи продовольствия — все это побуждало их развивать в какой-то мере техническое оснащение. Идет ли речь о первых водяных или ветряных мельницах, об усовершенствовании сельскохозяйственной техники — мы часто видим в авангарде монашеские ордена. Не случайно то тут, то там в Раннее Средневековье изобретение водяной мельницы приписывали святому, который поставил ее в данном районе, — например, Оренсу Ошскому, построившему в IV в. мельницу на озере Изаби, или Цезарию Арелатскому, который в VI в. соорудил ее в Сен-Габриеле на Дюрансе.

Эволюция вооружения и военного искусства, имевших важнейшее значение для военной аристократии, способствовала прогрессу металлургии и баллистики.

Церковь, как мы видели, была заинтересована в усовершенствовании измерения времени для нужд церковного календаря, а также в строительстве храмов — первых больших зданий Средневековья; она подхлестывала технический прогресс не только в строительном деле, но и в изготовлении инструментов, средств транспорта, в прикладных искусствах — таком, как искусство витража.

И все же ментальность господствующих классов оставалась антитехнической. На протяжении почти всего Средневековья, до XIII в., отчасти и позже, орудие труда, инструмент, самый труд в своих технических аспектах появлялись в литературе или искусстве только как символы. Нашим представлениям о мельнице, винном прессе и двуколке мы обязаны христологическим аллегориям мельницы и мистического пресса или колеснице Ильи-пророка, которые нам преподносит, в частности, «Hortus Deliciarum» XII в. Некоторые орудия труда появляются в средневековой иконографии лишь как символический атрибут святого. Так, сапожное шило весьма часто изображается в качестве традиционного орудия пыток, которым подвергали некоторых мучеников — например, св. Бенigna Дижонского или даже самих святых покровителей сапожников Крепина и Крепиниана. Вот особенно показательный факт. Вплоть до XIV в. св. Яков Младший изображался с сукновальным вальком, которым один из палачей проломил ему в Иерусалиме череп. Позже изображение валька как орудия мученичества исчезает, его заменяет другой ремесленный инструмент, стальной чесальный гребень: изменилось общество и его ментальность.

Не существует, вне всяких сомнений, иной сферы средневековой жизни, нежели техническая, в которой с такой антипрогрессивной силой действовала бы другая черта ментальности: отвращение к «новшествам». Здесь еще в большей мере, чем в прочих сферах, нововведение представлялось чудовищным грехом. Оно подвергало опасности экономическое, социальное и духовное равновесие. Новшества, обращенные на пользу сеньора, наталкивались, как мы увидим ниже, на яростное или пассивное сопротивление масс.

В течение долгого времени на средневековом Западе не было написано ни одного трактата по технике; эти вещи казались недостойны пера, или же они раскрывали бы некий секрет, который не следовало передавать.

Когда в начале XII в. немецкий монах Теофил писал трактат «О различных ремеслах», то он стремился не столько обучить ремесленников и художников, сколько показать, что техническое умение есть божий дар. Английские трактаты по агрикультуре XII в., как и руководства по ведению хозяйства (самое известное из которых принадлежит Уолтеру Хенли), а также «Флета» — всего лишь еще сборники практических советов. Только с появлением в начале XIV в. трактата «О выгодах сельского хозяйства» болонца Пьетро ди Крещенци можно говорить о возобновлении традиции римских агрономов. Другие так называемые «труды по технике» — всего лишь эрудитские, часто псевдонаучные компиляции, не имеющие большого документального значения для истории естественных знаний. Таковы трактаты «О названиях инструментов» Александра Некхама, «О растениях» Альберта Великого и даже «Правила для сбережения земель», которые Робер Гроссест составил в 1240 г. для графини Линкольн.

Слабость технического оснащения в средние века проявилась прежде всего в самых его основах. Это преобладание ручных орудий над механизмами, малая эффективность оборудования, убогое состояние сельскохозяйственного инвентаря и агротехники, результатом чего были очень низкие урожаи, скудость энергетического обеспечения, слабое развитие средств транспорта, а также техники финансовых и коммерческих операций.

Механизация практически не сделала никакого качественного прогресса в средние века. Почти все употреблявшиеся тогда механизмы были описаны учеными эллинистической эпохи, главным образом александрийскими, которые нередко намечали и их научную теорию. Средневековый Запад, в частности, не ввел ничего нового в системы трансмиссий и преобразования движения. Пять «кинематических приводов» — винт, колесо, кулачок, стопор, шкив — были известны в античности. Еще один из таких приводов, кривошип, изобретен, кажется, в средние века. Он появился в Раннее Средневековье в простых механизмах (таких, как вращающийся жернов, описанный в утрехтской псалтыри в середине IX в.), но распространился, по-видимому, лишь к концу средних веков. Во всяком случае, его наиболее эффективная форма, система шатун-кривошип, появилась только в конце XIV в. Правда, многие из этих механизмов или тех машин, которые античность знала часто лишь в качестве курьезных игрушек — таковы александрийские автоматы, — получили распространение и приобрели реальную эффективность именно в средние века. Определенное эмпирическое умение средневековых работников позволяло им также восполнить в той или иной мере недостаток знаний. Так, комбинация кулачкового вала и пружины, которая позволяла приводить в действие ударные орудия — такие, как молоты и дробилки (*maillets*), — заменяла в некоторой степени неизвестную систему шатун-кривошип.

Можно ли, если не объяснить ментальностью этот застой техники преобразования движения, то по меньшей мере связать его с некоторыми научными и теологическими концепциями? Несмотря на труды Иордана Неморария и его школы в XIII в., аристотелева механика не была самым плодотворным научным вкладом философии, хотя и не следует приписывать Аристотелю, как это делали в средние века, трактат «О механике», автор которого остается неизвестным. Даже в XIV в. ученые, которые более или менее решительно критиковали физику и преимущественно аристотелеву механику — такие, как Бредвардин, Оккам, Буридан, Орем, теоретики «импульса» (*impetus*), — оставались, как и сам Аристотель, пленниками метафизической концепции, которая в корне подрывала их динамику. «Импульс», как и «запечатленная сила» (*virtus impressa*), оставался именно «силой», «движущей способностью» — метафизическим понятием, из которого выводился процесс движения. Впрочем, в основе этих теорий движения по-прежнему лежали теологические вопросы.

Показательный пример такого подхода продемонстрировал в 1320 г. Франсуа де Ла Марш, который задался вопросом, «заключена ли в таинствах некая сверхъестественная сила, которая им формально присуща». Это побудило его поставить проблему о том, «может ли в искусственном инструменте находиться (или быть полученной от внешнего действующего) некая сила, внутренне присущая этому инструменту». В этой связи он исследовал случай свободно брошенного в воздух тела и заложил тем самым, как это справедливо было отмечено, основы физики «импульса».

К этому теологическому и метафизическому затруднению (*handicap*) присоединилось определенное безразличие по отношению к движению, которое кажется мне еще в большей мере, чем безразличие ко времени, характерной чертой средневековой ментальности, хотя обе эти категории вроде бы связаны, поскольку для Фомы Аквинского так же, как для Аристотеля, «время есть число движения». Средневековый человек интересовался не тем, что движется, а тем, что неподвижно. Он искал покоя — *quies*. Напротив, все то, что беспокойно, «искательно», казалось ему суетным — эпитет, обычно прилагаемый к этим словам, — и немного дьявольским.

Не будем преувеличивать воздействия этих доктрин и экзистенциальных тенденций на технический застой. В слабом развитии средневековых «машин» проявилось прежде всего

общее технологическое состояние, связанное с определенной экономической и социальной структурой.

Когда некоторые усовершенствования и появлялись, как, например, в станках с вращательным движением, то они либо возникали позднее — такова система вращения посредством кривошипа, применяемая в прялках, появившихся около 1280 г. в рамках кризиса производства дорогих тканей (речь идет о прялке, приводимой в действие рукой пряжи, которая чаще всего работала стоя; ножная педаль появилась только с системой шатун-кривошип), либо же их применение было ограничено работой с непрочными материалами, что объясняет, почему мы располагаем очень немногими предметами, выточенными в средние века.

Применение подъемных механизмов было стимулировано быстрым развитием строительства — особенно церквей и замков. Однако более обычным был, несомненно, подъем строительных материалов по наклонной плоскости. Подъемные машины, которые несколько не отличались (во всяком случае, по принципу) от античных — простые лебедки с возвратным блоком, краны типа «беличье колесо», — оставались курьезами или редкостями, и использовать их могли одни лишь князья, города и некоторые церковные общины. Таков был малоизвестный механизм, называемый «ваза», которым пользовались в Марселе для спуска на воду кораблей. Монах Жерве восхищался в конце XII в. талантом архитектора Гильома из Санса, который доставил из Кана знаменитый камень для реконструкции собора в Кентерберии, уничтоженного пожаром в 1174 г. «Он построил хитроумные машины, чтобы загружать и разгружать корабли, а также поднимать камни и раствор». Удивление вызывал также подъемный кран, действовавший по принципу беличьего колеса, которым оборудовались в XIV в. некоторые порты. Будучи редкостью, он везде вызывал интерес и поэтому фигурирует на многочисленных картинах. Одним из первых обзавелся таким краном Брюгге, а в Люнебурге и Гданьске и сегодня еще можно увидеть его отреставрированные экземпляры. Любопытен также первый домкрат, известный по рисунку Виллара де Оннекура в первой половине XIII в.

До появления огнестрельного оружия в артиллерийском деле также продолжала действовать эллинистическая традиция, усовершенствованная римлянами. Предками средневековых метательных орудий были скорее «скорпион» или «онагр», описанные в IV в. Аммианом Марцеллином, нежели катапульта или баллиста. Одно из этих орудий, «требуюше», метало снаряд поверх высоких стен, тогда как другое, «мангонно», посылало свои ядра ниже, но дальше; кроме того, его можно было лучше наводить. Но во всех случаях оставался в силе принцип пращи.

Само слово «машина» прилагалось, впрочем, на средневековом Западе (как и в Поздней Римской империи, где под *mechanici* понимались военные инженеры) лишь к осадным орудиям, которые, в общем-то, были лишены всякой технической изобретательности. Такую «машину» описал Сугерий в своем «Жизнеописании Людовика VI Толстого», рассказывая о штурме королем замка Гурне в 1107 г.:

«Чтобы разрушить замок, изготовляют, не мешкая, военные приспособления. Воздвигается высокая машина, возвышаясь своими тремя этажами над сражающимися; нависая над замком, она должна помешать лучникам и арбалетчикам первой линии передвигаться внутри замка и подниматься на стены. Вследствие этого осажденные, непрерывно, днем и ночью, стесняемые этими приспособлениями, не могли больше оставаться на стенах. Они благоразумно старались найти убежище в подземных норах и, коварно стреляя из луков, опережали смертельную угрозу со стороны тех, кто возвышался над ними на первом зубчатом ограждении осадной башни. К этой машине, которая высилась в воздухе, пристроили деревянный мост, который, достаточно протягиваясь вверх и спускаясь полого к стене, должен был обеспечить бойцам легкий проход в башню...»

Оставалось использование для ремесленных (или, если угодно, промышленных) нужд водяной мельницы. В этом, наряду с новой системой упряжи, состоял крупный технический прогресс Средневековья.

Средние века — это мир дерева. Древесина была универсальным материалом. Часто посредственного качества, ее брусy в любом случае были невелики по размеру и кое-как обработаны. Большие цельные брусy, которые служили для постройки зданий, корабельных мачт, несущих конструкций — то, что называлось *le megrain*, — трудно поддавались рубке и обработке; это были дорогие материалы, если не предметы роскоши. Сугерий, отыскивая в середине XII в. деревья достаточно большого диаметра и высоты для остова аббатства Сен-Дени, считал чудом, что ему удалось найти их в долине Шевреза.

Такое же чудо приписывали в начале XIV в. св. Иву. Лес был такой ценностью, а высокий ствол — вещью настолько редкой, что требовалось чудо, чтобы не погубить его небрежной обработкой.

«Святой Ив, увидев, что собор в Трегье грозит обрушиться, отправился к могущественному и славному сеньору Ростренену и изложил ему нужды церкви. Сеньор... наряду с другими вещами даровал ему всю необходимую древесину, какую можно найти в рощах и лесах. Святой послал дровосеков рубить и перевозить лучшие и желанные деревья. Так был срублен и доставлен строевой лес, потребный для сего благочестивого и святого дела... Когда приглашенный святым искусный архитектор определил размеры церкви, он приказал рубить балки, согласно правилам геометрии, в надлежащих, как ему казалось, пропорциях. Однако скоро он обнаружил, что балки оказались слишком короткими. И вот с причитаниями он рвет на себе волосы... и, красный от стыда, берет веревку, идет к святому, падает перед ним на колени и говорит ему, перемежая речь воплями, слезами и стонами: „Что мне делать? Как посмею я снова предстать перед тобой? Как смогу пережить такое бесчестие и возместить великий ущерб, что причинил церкви Трегье? Вот мое тело, моя шея, а вот и веревка. Повесь меня, потому что своей оплошностью я погубил добытые твоими хлопотами лесины, велев укоротить их на две пяди“. Святой, разумеется, его ободряет и удлиняет чудесным образом бревна до нужного размера».

Лес, наряду с продуктами земли, являлся в средние века столь драгоценным материалом, что он стал символом земных благ. «Золотая легенда» называет в числе душ, которые идут в чистилище, тех, «кто уносит с собой лесину, сено и солому, то есть тех, кто привязан к земным благам больше, чем к Богу».

Хотя найти высокие стволы было трудно, лес тем не менее оставался на средневековом Западе самым обычным продуктом. В «Романе о Лисе» говорится о том, что Лис и его товарищи, постоянно рыская в поисках материальных благ, имеют в избытке один-единственный ресурс — лес. «Они развели большой огонь, потому что в дровах не было недостатка». Очень рано лес на средневековом Западе стал одним из главных предметов экспорта. В нем нуждался мусульманский мир, где деревья (кроме лесов Ливана и Магриба) были, как известно, редкостью. Лес был самым великим «путешественником» западного Средневековья; его перевозили на кораблях и сплавливали всюду, где были водные пути.

Другим предметом экспорта на Восток с каролингской эпохи было железо — вернее, франкские мечи, упоминаниями о которых изобилуют мусульманские источники Раннего Средневековья. Но в данном случае речь шла о предмете роскоши, изделии умелых варварских кузнецов, использовавших в технике металлообработки опыт, пришедший дорогой степей из Центральной Азии, этого мира металлов. Само же железо в противоположность дереву было на средневековом Западе редкостью.

Не следует удивляться, что в VIII в. оно было еще настолько редко, что сен-галленский монах-летописец рассказывает о том, как лангобардский король Дезидерий, увидев в 773 г. со стен Павии ошестившуюся железом армию Карла Великого, вскричал в изумлении и страхе: «О, железо! Увы, железо!» Но даже и в XIII в. францисканец Варфоломей Английский говорит в своей энциклопедии «*De proprietatibus rebus*» о железе как о драгоценном предмете: «Со многих точек зрения железо более полезно для человека, нежели золото, хотя скаредные души алкают золота больше, чем железа. Без железа народ не смог

бы ни защищаться от своих недругов, ни поддерживать господство общего права; благодаря железу обеспечивается защита невинных и карается наглость злых. Точно так же и всякий ручной труд требует применения железа, без которого нельзя ни обработать землю, ни построить дом».

Ничто не доказывает ценность железа в средние века лучше, чем то внимание, которое уделял ему св. Бенедикт, наставник в средневековой материальной и духовной жизни. В своем «Уставе» он отвел целую главу, двадцать седьмую, надлежащей заботе монахов о *ferramenta* — железных орудиях, которыми владел монастырь. Аббат должен был доверять их лишь тем монахам, «образ жизни и руки которых обеспечат им сохранность». Порча или потеря этих инструментов являлись серьезным нарушением устава и требовали сурового наказания. Среди чудес св. Бенедикта, которые поражали душу средневекового человека с тех пор, как Григорий Великий заповедовал их в качестве фундаментального наставления, есть одно, о котором сообщает Яков Ворагинский. Оно бросает яркий свет на ценность железа в средние века. Иногда это чудо приписывали Соломону, в чем нет ничего удивительного, ибо тот слыл в средние века великим знатоком технических и научных секретов; в Ветхом завете это чудо уже сотворил Елисей (4 Цар 6,5 — 7). Прочитаем рассказ «Золотой легенды»:

«Однажды, когда некий человек скашивал с Божьей помощью колючки близ монастыря, с его косы соскочило лезвие и упало в глубокое озеро, и человек этот сильно сокрушался. Но святой Бенедикт сунул черенок косы в озеро, и лезвие тотчас же всплыло и само наделось на рукоять».

В хронике первых нормандских герцогов, написанной в середине IX в., Дудон Сен-Кантенский говорит, что эти князья дорожили плугами с железным лемехом и установили примерные наказания за кражу этих орудий. В своей фавле «Виллан из Фарбю» аррасский поэт Жан Бодель в конце XII в. рассказывает о том, как один кузнец положил у двери кусок раскаленного железа в качестве приманки для дураков. Проходивший мимо крестьянин велел своему сыну схватить его, потому что такой кусок — удачная находка. При слабом производстве железа в средние века большая его часть предназначалась для вооружения. То, что оставалось для сошников, серпов, кос, лопат и других орудий, составляло лишь небольшую часть дефицитной продукции — хотя начиная с IX в. она постепенно росла. Но в целом для средних веков остаются справедливыми указания каролингских описей, которые, перечислив поименно несколько железных орудий, обо всех остальных упоминают оптом под рубрикой «*Ustensilia lignea ad ministrandum sufficienter*» («Деревянные орудия в количестве, достаточном для производства работ»).

Следует отметить также, что большая часть железных орудий служила для обработки дерева: скребки, топоры, буравы, садовые ножи. Не нужно забывать, наконец, что среди железных орудий преобладали инструменты небольших размеров и малой эффективности. Главным же орудием не только столяра или плотника, но даже средневекового дровосека было тесло — очень старый, простой инструмент типа кирки, орудие великих средневековых расчисток, которые были нацелены скорее на молодые поросли и кустарники, чем на строевой лес, перед которым средневековый инвентарь оставался чаще всего бессильным.

Итак, нет ничего удивительного в том, что железо, как мы видели, пользовалось таким вниманием, что его наделяли чудодейственными свойствами. Ничего удивительного и в том, что кузнец в Раннее Средневековье представлялся существом необыкновенным, близким к колдуну. Таким ореолом он, несомненно, был обязан прежде всего своей деятельности как оружейника, умению ковать мечи. Традиция, которая делала из оружейника, наряду с золотых дел мастером, сакральное существо, была унаследована средневековым Западом от варварского, скандинавского и германского общества. Саги прославляют этих могущественных кузнецов: Альберика, Мима, самого Зигфрида, выковавшего неподобный меч Нотхунг, и Велюнда, которого «Сага о Тидреке» показывает нам в работе:

«Король сказал: „Добрый меч“ — и хотел взять его себе. Велюнд же отвечал: „Он еще недостаточно хорош, нужно, чтобы он стал еще лучше, и я не успокоюсь, пока не добьюсь

этого“. Велюнд вернулся в свою кузницу, взял напильник, сточил меч в мелкую стружку и смешал ее с мукой. Потом он накормил этой смесью прирученных птиц, которых три дня держал без пищи. Он расплавил птичий помет в горне, получил железо, очистил его от окалины и снова выковал меч размером меньше первого. Меч этот хорошо прилегал к руке; первые же изготовленные Велюндом мечи были больше обычных. Король, разыскав Велюнда, похвалил меч и заверил, что это самый острый и лучший из всех мечей, какие он когда-либо видел. Они спустились к реке. Велюнд взял клочок шерсти толщиной в три пяди и такой же длины и бросил его в воду. Он спокойно погрузил в реку меч, и лезвие рассекло шерсть так же легко, как оно рассекло само течение...»

Следует ли искать символику в эволюции образа св. Иосифа, в котором в Раннее Средневековье склонны были видеть *faber fer-rarius*, кузнеца, и который затем, в эпоху «деревянного» Средневековья, стал воплощением человеческого существа — плотником? Или же здесь нужно снова поразмыслить о возможном воздействии на техническую эволюцию некоей ментальности, связанной с религиозным символизмом? В иудаистской традиции дерево — это добро, железо — зло; дерево — животворящее слово, железо — грешная плоть. Железо нельзя употреблять само по себе, его следует соединять с деревом, которое отнимает у него вредоносность и заставляет служить добру. Плуг, таким образом, — это символ Христа-пахаря. Средневековые орудия труда изготавливались главным образом из дерева и были, следовательно, малопроизводительными и непрочными.

Впрочем, истинным соперником дерева в средние века было не железо: его употребляли обычно в небольших количествах и лишь во вспомогательных целях (для изготовления режущих инструментов, гвоздей, подков, болтов и оттяжек, которыми укрепляли стены).

Соперником дерева был камень. Эта пара составляла основу средневековой техники. Архитекторов называли равным образом *carpentarii et lapidarii* (плотниками и каменщиками), строительные рабочие часто именовались *operarii lignorum et lapidum* (рабочие по дереву и камню).

Долгое время камень по отношению к дереву был роскошью, благородным материалом. Начавшийся с XI в. мощный подъем строительства — важнейший феномен экономического развития в средние века — состоял очень часто в замене деревянной постройки каменной; перестраивались церкви, мосты, дома. Владение каменным домом — признак богатства и власти. Бог и Церковь, а также сеньоры в своих замках были первыми обладателями каменных жилищ. Но вскоре это стало также признаком возвышения наиболее богатых горожан, и городские хроники старательно упоминали об этом. Не один средневековый хронист повторял слова Светония о том, как гордился Август тем, что он принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным. Прилагая эти слова к великим строителям, аббатам XI и XII вв., хронисты заменяли кирпич и мрамор на дерево и камень. Принять деревянную церковь и оставить ее каменной — успех, честь и подвиг в средние века.

Известно, что одно из крупных достижений в средние века заключалось в том, что удалось вновь овладеть техникой возведения каменных сводов и изобрести их новые системы. Но относительно руин некоторых крупных сооружений XI в. по-прежнему возникает проблема: перешли ли уже тогда от деревянного покрытия к каменному своду? Так, аббатство Жюмьеж все еще остается с этой точки зрения загадкой для историков техники и искусства. Даже каменные здания со сводами сохраняли многие деревянные элементы, прежде всего стропила. Поэтому они были уязвимы для огня. Пожар, который в 1174 г. уничтожил собор в Кентербери, возник на деревянном чердаке. Монах Жерве рассказывает, как огонь, тлевший под крышей, внезапно вырвался наружу: «*Vae, vae, ecclesia ardet!*» («Увы, увy, церковь горит!»), как плавилась свинцовые плиты на крыше, обрушивались на хоры сгоревшие балки, и огонь охватил скамьи. «Пламя, питаемое всей этой массой дерева, Поднимается на пятнадцать локтей, пожирая стены и особенно колонны церкви». Ученые составили длинный перечень средневековых церквей, сгоревших из-за деревянных стропил. Жюль Кишера отметил в одной только Северной Франции

кафедральные соборы Байе, Манса, Шартра, Камбре, монастырские церкви в аббатствах Мон-Сен-Мишель, Сен-Мартен в Туре, Сен-Нааст в Аррасе, Сен-Рикье в Корби и т. д.

Время, которое идеализирует все, идеализирует и материальное прошлое, оставляя от него лишь долговечное и уничтожая преходящее, то есть почти все.

Средние века для нас — блистательная коллекция камней: соборов и замков. Но камни эти представляют только ничтожную масть того, что было. Лишь несколько костей осталось от деревянного тела и от еще более смиренных и обреченных на гибель материалов: соломы, глины, самана. Ничто не иллюстрирует лучше фундаментальную веру средних веков в разделение души и тела и загробную жизнь одной лишь души. Тело Средневековья рассыпалось в прах, но оно оставило нам свою душу, воплощенную в прочном камне. Но эта иллюзия времени не должна нас обманывать.

Самый важный аспект слабого технического оснащения обнаруживается в сельском хозяйстве. В самом деле, земля и аграрная экономика являются основой и сущностью материальной жизни в средние века и всего того, что она обуславливала: богатства, социального и политического господства. А средневековая земля скупа, потому что люди были еще неспособны много извлекать из нее.

Прежде всего потому, что имели дело с рудиментарным инвентарем. Земля плохо обрабатывалась. Вспашки были недостаточно глубоки. Долгое время в разных местах продолжали пользоваться ралом античного типа, приспособленным к поверхностным почвам и неровной местности средиземноморского региона. Его сошник симметричной формы, иногда окованный железом, по часто сделанный просто из затвердевшего в результате обжига дерева, больше царапал землю, чем рассекал ее. Плуг с асимметричным сошником, отвалом и подвижным передком, снабженный колесами и влекомый более мощной упряжкой, который медленно распространялся в течение средних веков, являл собой весьма значительное достижение.

Тем не менее тяжелые глинистые почвы, плодородие которых зависело от качества обработки, оказывали средневековым орудиям труда упорное сопротивление. Интенсификация пахоты в средние века — результат не столько усовершенствования инвентаря, сколько повторения операции. Распространялась практика трехкратной пахоты, а на переломе от XIII к XIV в. — четырехкратной. Но оставались ведь необходимые вспомогательные работы. Часто после первой пахоты комья разрыхляли руками. Прополку делали не везде, употребляя для удаления чертополоха и других сорняков простейшие орудия: вилы и насаженный

на палку серп. Борона, одно из первых изображений которой появилось на вышивке конца XI в., известной как «ковер» Байе, получила распространение в XII и XIII вв. Время от времени приходилось также глубоко вскапывать поле лопатой. В итоге земля — плохо вскопанная, плохо вспаханная, плохо аэрированная — не могла быстро восстанавливать свое плодородие.

Это жалкое состояние инвентаря можно было бы в какой-то мере компенсировать унавоживанием почвы. Однако слабость средневековой агрикультуры была в этой области еще более очевидной.

Искусственных химических удобрений, разумеется, не существовало. Оставались естественные удобрения. Они были крайне недостаточны. Главной причиной тому была нехватка скота, вызванная отчасти второстепенными причинами (например, эпизоотиями), но прежде всего тем, что луга отходили на второй план по отношению к пашне, земледелию, потребности в растительной пище, тогда как источником мяса частично служила дичь. Впрочем, и среди домашних животных наиболее охотно разводили тех, которые паслись в лесу — свиней и коз — и навоз от которых большей частью пропадал. Навоз от других животных тщательно собирали — в той мере, в какой это позволяло делать блуждание стад, которые паслись обычно на открытом воздухе и редко запирались в стойла. Бережно использовался помет голубей. Сеньор подчас облагал держателя тяжелым побором в виде

«горшка навоза». Привилегированные агенты сеньоров получали, напротив, в качестве жалованья «навоз от одной коровы и ее теленка»; таковы были пребендарии, управлявшие некоторыми поместьями, например в Мюнвайере в Германии XII в.

Значительным подспорьем служили удобрения растительного происхождения: мергель, истлевшие травы и листва, жнивье, оставшееся после пастьбы по нему животных. По многочисленным миниатюрам и скульптурным изображениям видно, что злаки срезали серпом почти у самого колоса — во всяком случае, в верхней части стебля — таким образом, чтобы оставлять как можно большее количество соломы сперва на корм скоту, а потом для удобрения. Наконец, удобрения приберегали для прихотливых и прибыльных культур: виноградников и садов. На средневековом Западе бросался в глаза контраст между огороженными маленькими парцеллами, отведенными под сады, которые обрабатывались самыми изощренными методами, и большими пространствами земли, отданной на произвол рудиментарной техники.

Результат этой убогости инвентаря и нехватки удобрений заключался прежде всего в том, что земледелие носило не интенсивный, но в значительной мере экстенсивный характер. Даже в тот период, XI — XIII вв., когда демографический рост повлек за собой увеличение площади обрабатываемой земли посредством расчисток, средневековая агрокультура была особенно «странствующей», то есть переложной. К примеру, в 1116 г. жители одной деревни в Иль-де-Франсе получили разрешение расчистить некоторые части королевского леса, но при условии, что «они их будут обрабатывать и собирать урожай только в продолжение двух жатв, а потом отправятся в другие части леса». На бедных почвах было широко распространено подсечно-огневое земледелие, что подразумевает некий аграрный нomaдизм. Сами расчистки зачастую приводили к появлению временных распашек-заимок, которыми изобилует средневековая топонимика и которые так часто встречаются в литературе, когда речь идет о деревне: «Ренар пошел на заимку...»

Плохо обработанная и мало обогащенная земля быстро истощалась. Поэтому ей нужно было давать частый отдых для восстановления плодородия — отсюда широко распространенная практика пара. Несомненный прогресс между IX и XIV вв. состоял в замене тут и там двухпольного севооборота трехпольным, который приводил к тому, что земля оставалась бесплодной только один год из трех вместо двух, или, точнее, позволял использовать две трети обрабатываемой поверхности вместо одной трети. Но трехполье распространялось, по-видимому, более медленно и не столь повсеместно, как это утверждалось прежде. В средиземноморском климате на бедных почвах долго держалось двухполье. Автор английского агрономического трактата «Флета» благоразумно советовал своим читателям предпочитать один хороший урожай в два года двум посредственным в три. В таком районе, как Линкошир, нет ни одного достоверного примера применения трехпольного севооборота до XIV в. В Форэ в конце XIII в. были земли, которые давали урожай лишь три раза за тридцать лет.

Добавим к этому и другие факторы, которые влияли на слабую производительность земли. Такова, например, тенденция средневековых хозяйств к автаркии, что было одновременным следствием экономических реалий и менталитета. Прибегать к помощи извне, не производить всего нужного — не только проявление бессилия, но и бесчестие. Для монастырских владений стремление избежать любого контакта с внешним миром прямо вытекало из духовного идеала уединения; экономическая изоляция была условием духовной чистоты. Это рекомендовал даже умеренный устав св. Бенедикта. Его LXVI глава гласит: «Монастырь должен, насколько это возможно, быть организованным таким образом, чтобы производить все необходимое, иметь воду, мельницу, сад и разные ремесла, дабы монахи не были вынуждены выходить за его стены, что пагубно для их душ».

Когда цистерцианцы обзавелись мельницами, св. Бернар угрожал их разрушить, потому что они представляют собой центры сношений, контактов, сборищ и, хуже того, проституции. Но эти моральные предубеждения имели под собой материальную базу. В мире, где средства транспорта были дороги и ненадежны, а денежное хозяйство, отношения

обмена развиты слабо, производить самому все то, в чем есть нужда, значило следовать здравому экономическому расчету. Вследствие этого в средневековом сельском хозяйстве господствовала поликультура, а это означает, что земледелец был вынужден приспосабливаться к любым, даже самым жестоким географическим, почвенным и климатическим условиям. Виноград, например, культивировали в самом неблагоприятном климате, далеко на север от его нынешних Границ. Его можно было встретить в Англии: крупным центром виноделия был парижский район, а Лан мог быть назван в средние века «столицей вина». В обработку вводили плохие земли и даже непригодную почву заставляли производить тот или иной продукт.

Результат всего этого — низкая продуктивность сельского хозяйства. В каролингскую эпоху в королевском поместье Аннап (Франция, департамент Нор) урожай, по всей видимости, был близким к 1:2 — 2,7, а подчас едва превышал сам-один, то есть всего-навсего возмещал семена. Заметный прогресс произошел между XI и XIV вв., но урожайность оставалась низкой. Согласно английским агрономам XIII в., нормальным урожаем для ячменя следовало считать 1:8, для ржи — 1:7, для бобовых — 1:6, для пшеницы — 1:5, для овса — 1:4. Действительность, кажется, была не столь блестящей. На хороших землях Винчестерского епископства урожайность составляла 3,8 для пшеницы и ячменя и 2,4 для овса. Для пшеницы правилом было, по-видимому, соотношение три или четыре к одному.

Непостоянство урожаев зависело в значительной степени от территории. В гористой местности их уровень мало отличался от каролингской эпохи (сам-два), в Провансе он возрастал до сам-три или сам-четыре; в некоторых илистых долинах, в Артуа например, он мог превышать сам-десять и доходить до восемнадцати, то есть приближаться к современному урожаю на землях среднего качества. Еще более важно, что эти колебания могли быть значительными в разные годы. В Рокетуаре, в Артуа, пшеница давала урожай 1:7,5 в 1319 г. и 1:11,6 в 1321 г. Наконец, в одном и том же хозяйстве во многом разнилась урожайность отдельных культур. В маноре аббатства Рамсей урожайность ячменя колебалась между шестью и одиннадцатью, тогда как овес едва возвращал семена.

В области источников энергии явный прогресс сказывался по мере распространения мельниц (прежде всего водяной) и различных приложений гидроэнергии: в сукновальном деле, для обработки конопли, дубления кож, в пивоварении, для заточки инструментов. Следует, однако, быть осторожным, когда речь заходит о хронологии появления и распространения этих механизмов. Этот процесс проходил отнюдь не синхронно. Например, что касается сукновальной мельницы, то в XIII в. во Франции здесь был замечен регресс; Англия переживала подлинный расцвет лишь с конца XIII в., в этом видят признак самой настоящей «промышленной революции»; в Италии такая мельница распространилась не сразу и не повсюду. Флоренция в XIII — XIV вв. отправляла свои сукна на мельницы в Прато; первое упоминание о сукновальной мельнице в Германии датируется только 1223 г. (в Шпайере), и, кажется, это был для XIII в. исключительный случай. Железоделательные мельницы — самые важные для промышленного развития — появились лишь в конце нашего периода. До XIII в. такая мельница являлась редкостью; обнаружение ее в 1104 г. в Каталонии нельзя считать бесспорным, хотя подъем кузнечного дела в этой провинции во второй половине XII в. и был, возможно, связан с распространением этих мельниц. Первое надежное упоминание о них датируется 1197 г. для одного монастыря в Швеции. Бумажные мельницы, существовавшие с 1238 г. в Ятове (Испания), не получили распространения в Италии до конца XIII в. (Фабриано, 1268 г.); свидетельство о первой французской бумажной мельнице появилось в 1338 г. (Труа), немецкой — в 1390 г. (Нюрнберг). Гидравлическая пила была еще диковиной, когда около 1240 г. Виллар де Оннекур зарисовал ее в своем альбоме. Водяная мельница по-прежнему применялась главным образом для помола зерна. Согласно «Книге Страшного суда» (1086 г.), в Англии в конце XI в. насчитывалось 5624 мельницы.

Несмотря на прогресс в XII и XIII вв. в использовании энергии воды и ветра, основным источником энергии в средневековой Европе все еще служила мускульная сила человека и животных. Здесь также появились важные достижения. Наиболее впечатляющим и самым богатым по последствиям было, безусловно, то из них, которое вслед за Р. Лефевром де Ноетт и А.-Ж. Орикуром получило название «новая запряжка». Речь идет о совокупности технических усовершенствований, которые позволили к началу второго тысячелетия лучше использовать тягловую силу животных и увеличить производительность их труда. Эти нововведения дали прежде всего возможность применять для перевозок, пахоты и других сельскохозяйственных работ более быструю, чем вол, лошадь.

Античная запряжка, при которой тяга приходилась на горло, сжимала грудь животного, затрудняла его дыхание и быстро утомляла. Принцип новой запряжки заключался в том, что посредством хомута тягловая сила была переложена на плечи, хомут сочетался с подковами, которые облегчали движение животного и защищали его ноги, а упряжка цугом позволяла перевозить тяжелые грузы, что имело основное значение для строительства больших религиозных и гражданских зданий.

Первое бесспорное изображение хомута — решающего элемента новой запряжки — находится в одной из рукописей муниципальной библиотеки Трира, датируемой примерно 800 г., однако новая упряжка распространилась только в XI — XII вв.

Не следует также упускать из виду, что средневековый рабочий скот был низкорослым и слабосильным по сравнению с современными животными. Рабочая лошадь вообще принадлежала к более мелкой породе, нежели тяжелый боевой конь, который должен был нести на себе если не конные доспехи, то по крайней мере тяжеловооруженного всадника. Здесь снова обнаруживается примат военного начала и воина перед экономическим началом и производителем. Вытеснение быка лошадью не было всеобщим явлением. Преимущества лошади были настолько велики, что папа Урбан II, провозглашая в Клермоне в 1095 г. ввиду Первого крестового похода Божий мир, брал под божественное покровительство «лошадей, на которых пашут и боронят»; превосходство лошади признавалось у славян с XII в. до такой степени, что, согласно хронике Гельмольда, единицей измерения пашни была площадь участка, который можно было обработать за день парой быков или одной лошадью, а в Польше в это же время лошадь стоила вдвое дороже быка, поскольку производительность ее дневного труда была на 30% выше. Тем не менее многие крестьяне и сеньоры отступали перед двумя помехами: высокой номинальной ценой лошади и тем, что ее нужно было кормить овсом. Уолтер Хенли в своем «Трактате о ведении хозяйства» рекомендовал предпочитать лошади быка — потому, что его дешевле прокормить и с него, кроме работы, можно получить мясо.

В Англии после прогресса в использовании лошади к концу XII в., особенно в восточных и центрально-восточных графствах, эта тенденция в XIII в., кажется, застопорилась — возможно, в связи с возвратом к прямой обработке земли самим феодальным собственником и барщине. В Нормандии в XIII в. пахота на лошадях была обычным делом: в 1260 г. руанский архиепископ Эд Риго приказал конфисковать лошадей, обнаружив во время своей инспекторской поездки по диоцезу, что на них пашут в праздник св. Матвея. Так же должно было обстоять дело и на землях сеньоров Оденард, поскольку на иллюстрациях к описи рент («Vieil Rentier», около 1275 г.) изображается только лошадь. Бык остался владыкой пашни не только на Юге и в средиземноморских регионах, где овес выращивать трудно, но в XIII в. его использовали для пахоты также в Бургундии и Бри. О ценности лошади для крестьянина — даже в привилегированном районе (Артуа, около 1200 г.) — можно прочесть в фаблио Жана Боделя «Две лошади», где противопоставляются лошадь, «годная для плуга и бороны», и «тощая кляча».

Не следует пренебрегать и тем обстоятельством, что наряду с лошадью и быком на сельскохозяйственных работах даже вне средиземноморской зоны использовали осла. В одном орлеанском документе, где перечислялся рабочий скот, сказано: «или бык, или лошадь, или осел». Согласно другому документу 1275 г. из Бри, крестьяне были обязаны

отбывать барщину на пахоте со своими быками, лошадьми и ослами. Вол и осел присутствовали в смиренной реальности Средневековья, как в евангельской сцене Рождества.

И все же основой всего оставалась человеческая энергия. В сельском хозяйстве, в ремесле и вплоть до судоходства, где парус служил лишь слабым подспорьем веслу, ручной труд являлся главным источником энергии.

Однако производительность этих человеческих источников энергии, которые Карло Чиполла назвал «биологическими преобразователями», была ограничена тем, что класс производителей, как мы увидим ниже, почти полностью совпадал с социальной категорией, которая плохо питалась, если не голодала. По расчетам К. М. Мазера и К. Чиполлы, в средневековом доиндустриальном обществе «биологические преобразователи» давали минимум 80% энергии; отсюда и слабость энергетических ресурсов: примерно 10 тыс. калорий в день на человека (в современном индустриальном обществе 100 тыс.). Не следует удивляться, что человек представлял для средневековых сеньоров столь ценный капитал, что некоторые из них, например в Англии, облагали особым побором молодых неженатых крестьян. Церковь, вопреки своему традиционному прославлению девственности, делала все больший акцент на «плодитесь и размножайтесь» — лозунге, который отвечал прежде всего техническим структурам средневекового мира.

Такая же проблема существовала и в области транспорта. Здесь опять-таки не следует пренебрегать значением физической энергии человека. Разумеется, барщинные повинности, заключавшиеся в ручной переноске клади — остаток античного рабства, — становились все менее частыми и, по-видимому, исчезли после XII в. Но еще в XI в., например, монахи Сен-Ванна требовали от своих сервов, живших в Лаумесфельде в Лотарингии, чтобы они переносили на плечах мешки с зерном на расстояние в шесть миль. При постройке соборов работы по переноске тяжестей, которые возлагались в качестве епитимьи или богоугодного дела на различные классы общества, имели не только психологический и духовный аспект, но также техническое и экономическое значение. Взрыв этой своеобразной формы благочестия произошел в 1145 г. в Нормандии. Среди многочисленных свидетельств имеется знаменитый рассказ Робера де Торињи о строительстве кафедрального собора в Шартре: «В этот год люди принялись тащить на своих плечах телеги, груженные камнем, лесом, съестными припасами и другими предметами для сооружения церковных башен... Сначала это происходило в Шартре, а затем почти во всем Иль-де-Франсе, Нормандии и во многих других местах...» В том же году аббат Эмон описывает такое же зрелище в Сен-Пьер-сюр-Див, в Нормандии: «Короли, принцы, люди, могущественные в миру, отягощенные почестями и богатством, мужчины и женщины знатного происхождения склоняли свои надменные выи и впрягались цугом, на манер животных, в телеги с вином, пшеницей, маслом, известью, камнем и прочими продуктами, необходимыми для поддержания жизни или постройки церквей». Такой же рассказ мы находим в хронике Мон-Сен-Мишеля и руанской хронике. Может быть, эта кампания 1145 г. по размаху и участию в ней всех классов общества была исключением. «Кто не видел этих сцен, не увидит никогда ничего подобного», — пишет Робер де Торињи. Однако аналогичные сцены — более скромного масштаба, но не менее впечатляющие по составу актеров — можно было увидеть и в XIII в. с участием в них Людовика Святого — будь то в Святой земле или в аббатстве Ройомон, где король со своими братьями (эти последние волей-неволей) возил строительный материал.

Как бы то ни было, основным способом транспортировки грузов оставалась переноска тяжестей людьми или животными. Это было следствием плохого состояния дорог, ограниченного числа телег и повозок, отсутствия удобных приспособлений — ведь тачка, которая, несомненно, появилась на строительных площадках в XIII в., распространилась лишь к концу следующего столетия, и с ней, по-видимому, не все ладилось — и, наконец, дороговизны гужевого транспорта. Миниатюры показывают нам людей, сгибающихся под тяжестью досок, корзин и заплечных поклаж. Иногда мы видим тягловых животных в чести

— после того, как они потрудились: таковы каменные изображения быков на башнях соборов в Лане. Животные вообще играли главную роль в средневековых перевозках. Мул и осел были незаменимы не только для преодоления гористых участков в средиземноморском регионе; вьючный транспорт широко применялся и там, где условия рельефа этого, казалось бы, не требовали. В контрактах, заключенных в 1296 г. на шампанских ярмарках между итальянскими купцами, покупателями сукон и холстов, и возчиками, было обговорено, что последние обязуются доставить товары в Ним в течение 22 дней «на своих животных, без телеги»; там же фигурировали «десять тюков сукна, которые перевозчик должен привезти и доставить в Савон прямой дорогой без телеги в течение 35 дней».

Недостаточно был развит и морской транспорт, несмотря на некоторые технические усовершенствования, которыми не следует пренебрегать. Однако эти улучшения не произвели еще всего своего эффекта до XIV в. (или позже), да и само их значение оставалось ограниченным.

Невелик прежде всего был тоннаж флотов на христианском Западе. Невелики и сами суда — даже с увеличением их водоизмещения в XII — XIII вв., особенно на севере, где корабли предназначались для перевозки объемных грузов, зерна и леса, и где появилась ганзейская кокка, тогда как на Средиземноморье венецианцы строили галеры или, точнее, галеасы — торговые галеры более крупных размеров. О каких величинах можно вести речь? Вместимость свыше 200 тонн кажется исключением. Невелик также общий тоннаж. Число «больших» кораблей было очень ограничено. Конвои, которые Венеция — первая морская держава того времени — направляла с начала XIV в. один или два раза в год в Англию и во Фландрию, насчитывали две-три галеры. Общее число «купеческих галер», которые обслуживали в двадцатых годах XIV в. три главных торговых пути, составляло примерно 25 единиц. В 1328 г., например, восемь кораблей работали на «заморском» направлении (то есть Кипр и Армения), четыре — на фландрском и десять — на «романском» (Византийская империя и Черное море). В августе 1315 г., когда Большой совет, получив тревожные известия, приказал своим кораблям на Средиземном море сорганизоваться в конвой, он исключил из их числа большие суда, которые вследствие своей тихоходности были плохо приспособлены для плавания в составе каравана, — таковых насчитывалось девять. Впрочем, размеры этих кораблей ограничивались в инструктивном порядке, так как большая величина и тихоходность не должны были препятствовать их использованию в военных целях. По подсчетам Фредерика Лайна, общий тоннаж венецианского флота в XIV в. достигал примерно 40 тыс. тонн при среднем водоизмещении судна в 150 тонн.

Внедрение архиштивня, которое прогрессировало в XIII в. и делало корабли более маневренными, не имело, вероятно, столь большого значения, какое ему приписывали. Что касается употребления компаса, которое повлекло за собой составление более точных карт и позволяло плавать в зимнее время, то оно распространилось только после 1280 г. Средние века, наконец, не знали квадранта и морской астролябии — инструментов эпохи Ренессанса.

Недостаточно была развита, наконец, и добыча полезных ископаемых. Слабая производительность землеройных и подъемных механизмов и отсутствие приспособлений для откачки воды ограничивали добычу разработкой поверхностных или неглубоких месторождений. Добывали железо, медь и свинец. Каменный уголь был, возможно, известен в Англии с IX в.; он недвусмысленно упомянут в Форэ в 1095 г., но его разработка началась по-настоящему лишь в XIII в. К этому же времени относится начало добычи соли на шахтах Галле (Саксония), а также Велички и Бохни в Польше. Свинец добывался главным образом в Корнуолле, но о методе его добычи нам ничего не известно. Производительность золотых и серебряных рудников вскоре перестала отвечать требованиям развивавшегося денежного хозяйства, и нехватка драгоценных металлов, несмотря на интенсификацию добычи — особенно в Центральной Европе (например, в Кутна-Горе в Чехии), — повлекла за собой в конце средних веков монетный голод, который прекратился лишь в XVI в. с наплывом американских металлов.

Все эти металлы производились в недостаточном количестве и в большинстве случаев посредством рудиментарного оборудования и техники. Плавильные печи с мехами, которые приводились в действие энергией воды, появились в конце XIII в. в Штирии, а затем, около 1340 г., в районе Льежа. Доменные печи конца Средневековья не могли тотчас же революционизировать металлургию. Решающие сдвиги появились, как известно, лишь в XVII в., а их распространение пришлось на следующее столетие. Речь идет о применении каменного угля при выработке железа и использовании силы пара для откачки подземных вод.

В результате мы видим, что наиболее значимые технические достижения в «индустриальной» сфере касались ее отдельных и притом не основных отраслей, а их распространение датируется к тому же концом Средневековья. Самое впечатляющее из них — это, несомненно, изобретение пороха и огнестрельного оружия. Однако их военная эффективность сказалась далеко не сразу; это был медленный процесс. В течение XIV в. и даже позже первые пушки сеяли страх в рядах неприятеля скорее благодаря производимому ими грохоту, нежели смертоносному действию. Их значение будет определяться главным образом тем, что развитие артиллерии вызовет начиная с XV в. подъем металлургии.

Масляная живопись была известна с XII в., но она сделала решающие успехи лишь в конце XIV — начале XV в.; ее применение утвердилось, согласно традиции, в творчестве братьев Ван Эйк и Антонелло да Миссина, но она в конечном счете революционизировала живопись в меньшей степени, нежели открытие перспективы.

Производство стекла, известного еще в античности, вновь возродилось лишь в XIII в., главным образом в Венеции, но приобрело форму промышленного производства в Италии только в XVI в. Равным образом и бумага одержала триумф лишь с появлением типографии. Стекло в средние века — это в основном витраж, и трактат Теофила, написанный в начале XII в., свидетельствует о расцвете этого искусства в христианском мире.

Кстати, трактат Теофила «О различных ремеслах» («*De diversis artibus*») — «первый трактат по средневековой технике» — прекрасно показывает ее ограниченные пределы.

Прежде всего и главным образом техника служила Богу. Теофил описывает приемы, которые применялись в монастырских мастерских и предназначались в первую очередь для постройки и украшения церквей. Первая книга его трактата посвящена изготовлению красок, то есть миниатюре и побочно фреске; вторая — витражу, третья — металлургии, преимущественно ювелирному делу.

Затем он описывает технику производства предметов роскоши на примере текстильного промысла, где одежда в основном шилась на дому, а мастерские выделяли роскошные ткани.

Техниками и изобретателями в средние века были искусные ремесленники, владеющие секретами изготовления индивидуальных вещей с помощью простейшего инвентаря. Это относится и к тем, в ком хотели видеть интеллектуальную элиту: к итальянским или ганзейским купцам, в связи с которыми говорили, например, о некой «интеллектуальной супрематии». Однако долгое время главная работа купца не требовала особой квалификации и состояла в том, чтобы переезжать с места на место. Купец — лишь один из странников на средневековой дороге. В Англии его называли *piepowder* — «пыльноногий», покрытый пылью дорог. Он появился в литературе — например, в фавлю Жана Боделя «Безумное желание» в конце XII в. — как человек, который целые месяцы проводит вне дома, «в поисках товара», и возвращается «радостный и веселый» после долгого пребывания «в дальних краях». Иногда этот путник, если он достаточно богат, устраивался таким образом, чтобы повернуть большую часть своих дел на шампанских ярмарках. Но если в эти дела и вмешивался «интеллектуал» (причем это происходило только в южной части христианского мира), то это был нотариус, который составлял для него, как правило, очень простые контракты. Даже церковь, которая, осуждая как ростовщичество любую кредитную операцию, вынуждала тем самым купца прибегать к более сложным и тонким приемам, не достигла того, чтобы заставить его усовершенствовать свою технику решающим образом.

Два инструмента, которыми был отмечен определенный, хотя технически и ограниченный прогресс в коммерческой практике — вексель и двойная бухгалтерия, — получили распространение только с XIV в. Техника торговых и финансовых сделок представляется даже для средних веков одной из самых неразвитых. Наиболее важная операция — обмен — ограничивалась обменом вещей «из рук в руки».

Лишь один представитель мира техники достиг, быть может, высшей ступени: архитектор. Сфера его деятельности была, безусловно, той единственной областью, которая имела в средние века неоспоримый промышленный аспект. По правде говоря, лишь в век готики искусство строить превратилось в науку, а сам архитектор стал ученым, да и то не во всем христианском мире. Он добился того, что его величали «мэтром», и пытался даже добиться звания «магистр каменного строения» («magister lapidum»), как другие носили звания магистров искусств или докторов права. Производя расчеты по правилам, он противопоставлял себя архитектору-ремесленнику, применявшему традиционные рецепты, то есть каменщику. Сосуществование, а иногда и противостояние двух типов строителей длилось, как известно, до конца средних веков, и на переходе от XIV к XV веку на строительной площадке миланского собора произошел знаменательный спор между французским архитектором, для которого «ars sine scientia nihil est» («нет искусства без науки»), и ломбардскими каменщиками, для которых «scientia sine arte nihil est» («нет науки без искусства»).

Имеет ли смысл, наконец, напоминать о том, что если средневековые ремесленники и доказали свою сноровку, смелость и художественный гений (свидетельство тому — кафедральные соборы, да и не только они; Жуанвиль восхищался крытым рынком в Сомюре, «построенным на манер клуатров белых монахов» [*То есть внутренних дворов цистерцианских монастырей с аркадами. Прим. перев.*]), то в целом творения Средневековья были — вопреки тому, как это слишком часто считают, — скверного качества. В средние века приходилось постоянно что-то ремонтировать, заменять, переделывать. Нужно было без конца отливать заново колокола. Часто рушились здания, прежде всего церкви. Обвал в 1284 г. хоров кафедрального собора Бове вдвойне символичен. Он знаменовал собой прекращение подъема готики, но еще в большей мере показал общую судьбу многих средневековых построек. Экспертизы при ремонте церквей, особенно кафедральных соборов, даже стали для архитекторов с конца XIII в. одним из главных источников средств существования, и большинство шедевров средневековой архитектуры стоит и поныне благодаря ремонтам и реставрациям последующих столетий.

Итак, Средневековье мало что само изобрело и мало чем обогатило даже продовольственную флору. Рожь, например, — главное приобретение средних веков — к настоящему времени почти исчезла в Европе; это было лишь преходящее обогащение агрикультуры. И тем не менее эта эпоха означает определенный этап в покорении природы человеком с помощью техники. Разумеется, даже самое важное завоевание — мельница (или, точнее, ибо это главное, ее распространение) — зависело от капризов природы: мог прекратиться ветер, высохнуть или, напротив, замерзнуть водный поток. Но вот что говорит по этому поводу Марк Блок: «Водяные и ветряные мельницы — зерновые, дубильные, сукновальные; мельницы, приводящие в действие гидравлические пилы и кузнечные молоты; хомут и подковы, упряжка цугом и, наконец, самопрялка — сколько достижений, которые в равной мере приводили к более эффективному использованию природных сил, одушевленных или нет; следовательно — к сбережению человеческого труда или, что почти то же самое, к росту производительности труда. Почему? Отчасти потому, что было меньше людей, но прежде всего потому, что господин имел меньше рабов».

Некоторые современники осознавали эту прямую связь между человеческой жизнью и техническим прогрессом — при том, однако, что Средневековье вовсе не числило технический прогресс в ряду своих ценностей. Были люди, которые его оплакивали. Так, например, Гийо Провенский в начале XIII в. сожалел о том, что в его время, даже в военной области, «художники» должны уступать дорогу «техникам», «рыцари» — «арбалетчикам,

саперам, обслуге камнеметов и инженерам». Другие, напротив, радовались.

Еще в античный период при появлении первых водяных мельниц одна из эпиграмм «Антологии» прославляла это достижение: «Поберегите ваши руки, столь привычные к жернову, о девы, которые еще недавно мололи зерно! Вас ждет отныне долгий сон, и вы не будете внимать пению петухов, что приветствуют зарю. Ибо вашу работу Деметра повелела делать нимфам». В V в. аббат Лоша радовался тому, что монастырская мельница позволяет «одному брату выполнять работу многих». А в XIII в. монах из Клерво, описывая промышленные приспособления, сложил подлинный гимн во славу машин:

«Один из рукавов (реки) Об, протекая через многочисленные мастерские аббатства, снискал себе повсюду благословения за те услуги, что он оказывает (обители). Река принимается здесь за большую работу; и если не вся целиком, то по крайней мере она не остается праздною. Русло, излучины которого разрезают долину пополам, было прорыто не природой, но сноровкой монахов. И таким путем река отдает обители половину самой себя, как бы приветствуя монахов и извиняясь, что она не явилась к ним вся целиком, поскольку не смогла найти канал, достаточно широкий, чтобы ее вместить.

Когда подчас река выходит из берегов и выплескивает за свои обычные пределы слишком обильную воду, то ее отражает стена, под которой она вынуждена течь. Тогда она поворачивает вспять, и волна, которую несет с собой прежнее течение, принимает в своих объятиях отраженную волну. Однако, допущенная в аббатство — в той мере, в какой ей это позволяет стена, исполняющая роль привратника, — река бурно устремляется в мельницу, где она сразу же принимается за дело, приводя в движение (колеса) для того, чтобы молот тяжелыми жерновами пшеницу или трясти решето, которое отделяет муку от отрубей.

И вот уже в соседнем здании она наполняет котел (для варки пива) и отдается огню, который кипятит воду, дабы изготовить напиток для монахов, ежели паче чаяния виноградарь ответил на заботу виноградаря дурным ответом бесплодия или же кровь грозди оказалась негодной и нужно заменить ее дочерью колоса. Но (и после этого) река не считает себя свободной. Ее зовут к себе стоящие подле мельницы сукновальни. Она уже была занята на мельнице приготовлением пищи для братьев; есть, стало быть, резон потребовать, чтобы она позаботилась и об их одежде. Она не спорит и ни от чего не отказывается. Она попеременно поднимает и опускает тяжелые бабы, или, если угодно, молоты, а еще лучше сказать, деревянные ноги (ибо это слово более точно выражает характер работы сукновалов), и сберегает сукновалам много сил. О, мой Бог! Какое утешение даруешь Ты своим бедным слугам, дабы их не угнетала великая печаль! Как облегчаешь Ты муки детей своих, пребывающих в раскаянии, и как избавляешь их от лишних тягот труда! Сколько бы лошадей надрывалось, сколько бы людей утомляли свои руки в работах, которые делает для нас без всякого труда с нашей стороны эта столь милостивая река, которой мы обязаны и нашей одеждой, и нашим пропитанием. Она объединяет свои усилия с нашими и, перенеся все тяготы жаркого дня, ждет от нас лишь одну награду за свой тяжелый труд: чтобы ей позволили свободно удалиться после того, как она старательно сделала все, что от нее требовали. Заставив стремительно вращаться множество быстрых колес, она вся покрывается пеной, словно ее самую перемололи, и ее течение становится более вялым.

Покинув сукновальню, она устремляется в дубильную мастерскую, где выказывает столь же живости, сколь и тщания, дабы изготовить материал, необходимый для обуви братьев. Потом она разделяется на множество мелких рукавов и посещает в своем услужливом течении различные заведения, проворно разыскивая те, что имеют в ней нужду. Идет ли речь о том, чтобы печь, просеивать, вращать, дробить, орошать, поднимать или молот, — везде она предлагает свою помощь и никогда в ней не отказывает».

Экономика средневекового Запада имела целью обеспечить людям средства существования. Дальше этого она не шла. Если кажется, что она переступает грань удовлетворения минимальной потребности, то это потому, что «существование» есть, конечно же, понятие социально-экономическое, а не чисто материальное. Оно варьируется в

зависимости от социальных слоев. Для массы достаточно средств существования в прямом смысле слова, то есть того, с чего жить физически: прежде всего пищи, затем одежды и жилища. Средневековая экономика носит главным образом аграрный характер; стало быть, она основана на земле, которая доставляет все необходимое. Это требование обеспечить средства существования является до такой степени основой средневековой экономики, что в Раннее Средневековье, когда она только складывалась, предпринимались попытки посадить каждую крестьянскую семью — социально-экономическую единицу — на единообразный участок земли, который должен был обеспечить нормальную жизнь: манс, *terra unius familia*, как говорит Беда.

Для высших слоев понятие «существование» предполагало удовлетворение гораздо больших потребностей; оно должно было позволить им сохранить свой статус, не опускаться ниже определенного ранга. Средства существования доставлял им в слабой мере импорт из-за рубежа, а в остальном — труд народной массы. Этот труд не имел целью экономический прогресс — ни индивидуальный, ни коллективный. Он предполагал, помимо религиозных и моральных устремлений (избежать праздности, которая прямым ведет к дьяволу; искупить, трудясь в поте лица, первородный грех; смирить плоть), в качестве экономических целей обеспечить как свое собственное существование, так и поддержать тех бедняков, которые неспособны сами позаботиться о себе. Еще св. Фома Аквинский сформулировал эту мысль в «Своде богословия»: «Труд имеет четыре цели. Прежде всего и главным образом он должен дать пропитание; во-вторых, должен изгонять праздность, источник многих зол; в-третьих, должен обуздывать похоть, умерщвляя плоть; в-четвертых, он позволяет творить милостыни». Экономическая цель средневекового Запада — создавать необходимое, *necessitas*. Это оправдывало деятельность и влекло за собой даже отступление от некоторых религиозных правил. В случае *necessitas* была разрешена обычно запрещенная работа в воскресенье, дозволялось работать священнику, которому были запрещены многие «ремесла». А некоторые специалисты по каноническому праву оправдывали необходимостью даже воровство. Раймон де Пеньяфор писал в своем «Своде» в первой трети XIII в.: «Если кто-либо украдет по необходимости что-то из пищи, питья или одежды по причине голода, жажды или холода, совершает ли он в действительности кражу? Нет, он не совершает ни кражи, ни греха, если речь идет о действительно необходимом». Но стремиться раздобыть себе большее — это грех гордыни, *superbia*, одна из самых тяжелых разновидностей греха. Экономический идеал, установленный в каролингскую эпоху Теодульфом, оставался значимым для всего Средневековья. По его мнению, следовало напомнить «тем, кто занимается негодиями и торговлей, что они не должны желать земных выгод больше, чем жизни вечной... Равным образом и те, кто тяжело трудится на полях, чтобы приобрести пищу, одежду и другие необходимые вещи, должны давать десятины и милостыни(...). В самом деле, Бог дал каждому его ремесло, дабы он имел, с чего жить, и каждый должен извлекать из своего ремесла не только все необходимое для тела, но также и опору для души, что еще более необходимо».

Всякий экономический расчет, который пошел бы дальше предвидения необходимого, сурово осуждался. Разумеется, земельные сеньоры, главным образом и прежде всего церковные, особенно аббатства, которые располагали персоналом более высокого интеллектуального уровня, стремились знать, предвидеть и улучшать производство на своих землях. Этот экономический интерес демонстрируют капитулярии, полиптихи, императорские или церковные описи каролингской эпохи, из которых самым известным являлся «Полиптих аббата Ирминона», составленный в начале IX в. в парижском аббатстве Сен-Жермен-де-Пре. В середине XII в. сочинение Сугерия об управлении аббатством Сен-Дени изменило эмпирический характер руководства монастырским хозяйством, а с конца этого столетия управление крупными, прежде всего церковными, сеньориями перешло в руки специалистов. В манорах крупнейших английских аббатств крепостной управляющий, *reeve*, должен был в Михайлов день предъявлять все счета писцам, которые вносили их в книги прежде, чем представить для проверки присяжным. Речь идет здесь

скорее о том, чтобы перед лицом надвигающегося кризиса все еще продолжать производить необходимое, лучше управляя и считая, и противостоять успехам денежного хозяйства. Недоверие к расчету будет царить еще долго, и, как известно, нужно ждать XIV в., чтобы увидеть появление подлинного внимания к исчисляемому количеству — например, еще грубой статистики Джованни Виллани по флорентийской экономике; внимания, порожденного в конечном итоге и здесь в большей мере кризисом, который поражает города и обязывает считать, нежели неким влечением к исчисленному экономическому росту. Знаменитый итальянский сборник новелл, «Novellino» (середина XIII в.), свидетельствует об этом враждебном учету и числу состоянии умов:

«Однажды у царя Давида, которого Бог своей милостью возвысил из пастухов, возникло желание подсчитать число своих подданных. То был акт высокомерия, и он сильно разгневал Бога, который послал ему ангела, повелев сказать так: „Давид, ты согрешил. Вот что посылает сказать тебе твой Господь: хочешь ли ты пребывать три года в аду или три месяца в руках твоих врагов либо желаешь отдаться на суд в руки Господа?“ И ответил Давид: „В руки Господа моего желаю отдаться, и пусть он сделает со мной все, что Ему угодно“. Итак, что же сделал Бог? Он покарал его за грех, потому что он возгордился великим числом (подданных). Случилось так, что, едуци однажды верхом, увидел Давид ангела Божьего с обнаженным мечом, коим он разил (людей). Давид тотчас спешился и сказал: „Ради Бога, мессир! Не убивайте невинных; убейте лучше меня, ибо я виновник“. Тогда, снисходя к этим словам, Бог помиловал народ и остановил избиение».

Экономический подъем в средневековой Европе, датируемый XI — XII вв., был лишь результатом демографического роста. Речь шла о том, что нужно было накормить, одеть и обеспечить жилищем гораздо большее число людей. Основным средством решения этой проблемы были расчистки и расширение площади пахотных земель. Повышению урожайности путем интенсификации самого земледелия (трехполье, удобрения, улучшение инвентаря) заранее отводилась второстепенная роль. Даже размеры больших романских и готических церквей отвечали сперва простой необходимости принимать более многочисленный христианский люд. Да и монастырские хозяйства, проводники и свидетели экономического развития, часто увеличивают или уменьшают объем производства в зависимости от колебаний населения обители. В Кентерберийском аббатстве во второй половине XII в. натуральные оброки с крестьян уменьшались одновременно с сокращением числа монахов.

Было естественно, что это безразличие и даже враждебность по отношению к экономическому росту отражались в сфере денежного хозяйства и оказывали сильное сопротивление развитию в этой сфере духа наживы.

Средневековье, как и античность, знало в качестве главной, если не единственной формы займа потребительский заем, производственного займа почти не существовало. В среде христиан было запрещено взимание процента с потребительского займа; это представляло собой осужденное церковью чистейшей воды ростовщичество. Три библейских текста (Исх. 22, 25; Лев. 25, 35 — 37; Втор. 23, 19 — 20) порицали заем под проценты среди евреев, реагируя против влияния Ассирии и Вавилона, где были очень распространены ссуды зерном. Эти предписания, хотя и мало соблюдаемые древними евреями, были восприняты церковью, которая опиралась на слова Христа: «...и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая...» Таким образом, были оставлены в стороне все пассажи, где Христос, который лишь указал в этой фразе на идеал для наиболее совершенных своих учеников, намекнул без осуждения на финансовую практику, заклеянную церковью как ростовщичество. Все отношение Христа к Матвею, мытарю или банкиру, во всяком случае, «денежному человеку», должно было бы укрепить снисходительность христианства к финансам. Но Средневековье почти полностью игнорировало или обошло молчанием этот аспект. Напротив, средневековое христианство, осудив потребительские займы между христианами (еще одно доказательство его определения как замкнутой группы) оставило роль ростовщиков евреям, что не помешало крупным аббатствам в Раннее Средневековье

самим в известной мере играть роль «кредитных учреждений». Оно долго противилось также производственному займу, да и вообще осуждало как ростовщичество все формы кредита — стимула, если не условия, экономического роста. Схоласты — в том числе св. Фома Аквинский, мало понимавший, вопреки тому, как это обычно полагают, позицию купеческой среды и проникнутый идеями мелкого земельного дворянства, из которого он вышел, — призвали на помощь Аристотеля. Они усвоили его различие между автаркической экономикой семейного типа и экономикой торгового типа или, точнее, между натуральным хозяйством, нацеленным на простое использование имущества, то есть на поддержание существования, а посему достойным похвалы, и денежным хозяйством, действующим вопреки природе и, следовательно, порицаемым. Эти схоласты заимствовали у Аристотеля утверждение, что «деньги не рожают денег», и долгое время любая кредитная операция, приносящая процент, наталкивалась на эту догму.

В самом деле, все средневековые социальные категории испытывали на себе сильное экономическое и психологическое давление, которое имело результатом, если не целью, противодействие всякому накоплению, способному породить экономический прогресс. Крестьянская масса была низведена до минимального жизненного уровня вследствие взиманий части продукта ее труда сеньорами в форме феодальной ренты и церковью в форме десятин и милостыней. Сама церковь тратила часть своих богатств на роскошь, окружавшую высшее духовенство — епископов, аббатов и каноников, омертвляя другую часть к вящей славе Бога в строительстве и украшении церквей, а также в пышных литургиях, и употребляла остаток на пропитание бедняков. Что касается светской аристократии, то ее манила возможность растрачивать свои излишки в дарениях и милостынях, в демонстрациях великодушия во имя христианского идеала милосердия и рыцарского идеала щедрости, что оказывало значительное и притом негативное влияние на экономику. Достоинство и честь сеньоров состояли в том, чтобы тратить, не считая: потребление и расточительность, свойственные примитивным обществам, почти полностью поглощали их доходы. Жан де Мен был совершенно прав, когда в «Романе о Розе» он соединил в пару Щедрость и Бедность и осудил обеих: та и другая, действуя сообща, парализовывали средневековую экономику. Если, наконец, и существовало накопление, то это была тезаврация, которая выключала драгоценные предметы из оборота и имела, кроме функции престижа, лишь одну несозидательную экономическую функцию. Драгоценная посуда, монетные сокровища, переплавленные в слитки или пущенные в обращение в момент какой-либо катастрофы, в случае кризиса, должны были обеспечить только средства существования и не питали никакую регулярную и продолжительную производственную деятельность.

Слабое развитие техники производства, усиленное ментальными привычками, обрекало средневековую экономику на стагнацию, одно лишь обеспечение средств существования и престижных расходов меньшинства. Препятствия на пути экономического роста порождались прежде всего феодальным строем, который сам зависел, впрочем, от низкого технологического уровня. Конечно, феодальная система не сводится к домениальной системе, но она покоится на способе экономической эксплуатации, схема которой при всех географических и хронологических вариациях остается одной и той же. Феодальная система — это, в сущности, присвоение сеньориальным классом — церковным и светским — всего сельского прибавочного продукта, обеспеченного трудом крестьянской массы. Эта эксплуатация осуществляется в условиях, которые лишают крестьян возможности участвовать в экономическом прогрессе, — без того, однако, чтобы пользователи системой сами имели бы гораздо больше возможностей для производительных вложений.

Конечно, как мы видели, феодальная рента, то есть совокупность доходов, которые сеньориальный класс извлекает из эксплуатации крестьян, не имеет постоянно ни одинакового состава, ни одинаковой стоимости. В разные эпохи варьировалось отношение между двумя частями земельной сеньории: доменом, или резервом, непосредственно эксплуатируемым сеньором благодаря прежде всего барщинам части крестьян, и

держаниями, предоставленными вилланам за отработки и уплату оброков. Равным образом менялась пропорция между отработками и оброками, между натуральными оброками и денежными. Значительно варьировались также в зависимости от социальных категорий возможности располагать натуральными или денежными излишками. Если большинство сеньоров было «богато», то есть имело чем обеспечить себе и средства существования, и необходимый избыток для поддержания ранга, то были также и «бедные сеньоры». Об одном из них, который, кажется, даже не был в состоянии содержать себя и семью, говорит Жуанвиль: «Тогда прибыл на лодке некий бедный рыцарь с женой и четырьмя детьми. Я велел их накормить в моем доме. После трапезы я позвал бывших там дворян и сказал: „Сделаем доброе дело и освободим этого бедного человека от его детей. Пусть каждый из нас, и я в том числе, возьмет по ребенку“». А вот некий Дю Клузель, рыцарь из Форэ, которого обнаружил Эдуард Перруа: он был так беден, что сделался, чтобы прожить, приходским кюре и нотариусом в своей деревне. И наоборот, если подавляющее большинство крестьян с трудом обеспечивало себе жизненный минимум, то некоторые достигали большего достатка. Мы к этому еще вернемся.

Эти вариации в формах сеньориальной эксплуатации шли в разных направлениях. Разумеется, барщинные отработки почти повсюду в XII — XIII вв. имели тенденцию к сокращению и даже к исчезновению. Но это не являлось общим правилом, и, как известно, на востоке от Эльбы — в Пруссии, Польше и России — в конце средних веков сложилось «вторичное крепостное право», которое просуществовало до XIX в. Несомненно также, что в течение тех же XII — XIII вв. все больше возрастал размер денежных оброков по отношению к натуральным, достигая, например, в Букингемшире в 1279 г. трех четвертей феодальной ренты. Однако Жорж Дюби прекрасно показал, что в Клуни, особенно после 1150 г., пропорция продуктов земли в оброках, получаемых в зависящих от аббатства сеньориях, напротив, увеличивалась.

Но во всех регионах и во все времена — по крайней мере до XIV в. — сеньориальный класс поглощал в непроизводительных расходах доходы, которые ему обеспечивала крестьянская масса, сама едва удовлетворявшая свои основные потребности.

Безусловно, очень трудно установить типичный бюджет сеньора или крестьянина. Документов немногочисленны и недостаточны, значительно варьируются имущественные уровни, нелегко определить методы численной оценки различных элементов такого бюджета. Тем не менее мы можем с большим правдоподобием установить бюджеты нескольких крупных английских вотчин в конце XIII — начале XIV в. Баланс между расходами (пропитание, военное снаряжение, строительные работы, траты на предметы роскоши) и доходами едва оставлял для самых богатых из них возможности инвестиций, которые колеблются в пределах 6 — 10% доходов. Что касается доходов, то они почти исключительно состояли из феодальной ренты, то есть взимания с крестьян части труда и продукта. И лишь в конце XIII и в XIV в. кризис феодальной ренты привел сеньоров, могущих это сделать, к тому, чтобы искать ресурсы вне реорганизации сеньориальной эксплуатации: во фьефах, уплачиваемых деньгами («кошельковые» или рентные фьефы), в доходах с войны (выкупы), реже — в торговле сельскохозяйственными излишками или в покупке рент.

Наконец, когда кажется, что сеньоры содействовали экономическому прогрессу, то это происходило в известной мере вопреки им самим, ибо, оставаясь в логике феодальной системы, они делали это не с целью экономической выгоды, но ради фискального взимания, феодального побора. Когда они ставили мельницу, обзаводились винным прессом и хлебной печью, то делали это для того, чтобы обязать крестьян пользоваться ими за плату или получить освобождение от этой обязанности, уплатив определенный побор. Когда они содействовали прокладке дороги или строительству моста, учреждению рынка или ярмарки, то опять-таки для того, чтобы взимать пошлины: рыночные, дорожные и т.д. Напротив, крестьянская масса была лишена избытков, а иногда и части необходимого из-за изъятий в форме феодальной ренты. Она не только должна была отдавать сеньору значительную часть

плодов своего труда в виде натуральных или денежных оброков, но и сама ее производительная способность сокращалась из-за вымогательств сеньора, который облагал барщинами или поборами за освобождение от повинностей, оставлял себе обычно лучшие земли и большую часть навоза, а также обеспечивал себе ту малую часть крестьянского бюджета, что предназначалась для развлечения, то есть посещения деревенской таверны, которая, как и пресс, мельница или печь, принадлежала сеньору. Майкл Постан подсчитал, что в Англии во второй половине XII в. феодальная рента изымала из крестьянских доходов половину или немного больше и что для разряда несвободных держателей это едва позволяло виллану содержать себя и семью.

Когда какому-нибудь крестьянину удавалось расширить свое держание, то обычно не для того, чтобы прямо увеличить ресурсы, но чтобы производить достаточно для пропитания и выплаты феодальной ренты, чтобы уменьшить необходимость продавать за любую цену часть урожая ради уплаты сеньориальных оброков и ограничить таким образом свою зависимость от рынка.

Если даже среди крестьян и имелись, как мы увидим ниже, более зажиточные категории, то не следовало бы полагать, что часть сельского населения — те, кого называют аллодистами, владельцы свободной земли, «аллода», над которыми не тяготели ни отработки, ни оброки, — выпадала из экономической феодальной системы. Верно, что такие аллодисты, владельцы небольшого участка земли, были в средние века более многочисленными, нежели это часто утверждается. Прежде всего большее, чем полагали ранее, число аллодов избежало, по-видимому, процесса феодализации. Затем крестьянский аллод — кроме Англии, где свободные держатели, фригольдеры, мало чем, впрочем, отличались от аллодистов, — был частично восстановлен в XI — XII вв. различными способами: по договору между крестьянином и сеньором о «совместной посадке» («*complant*») виноградника, который становился свободным владением; благодаря присвоению втихомолку из-за беспечности сеньора и его служащих участка земли, который после нескольких лет свободного владения получал статус аллода, или благодаря ловкости некоторых крестьян, которым удавалось основать свободные заимки на обочине сеньориальных расчисток.

Наконец, если даже для Франции является ложной поговорка «Нет земли без сеньора», изобретенная скорее юристами-теоретиками, нежели практиками, то это тем более справедливо для таких регионов, как Италия, где городской континуитет сохранил в ближайшей округе городов «оазисы независимости» (выражение Джино Луццато), или как Испания, где благодаря особым условиям Реконкисты часть отвоеванных земель оказалась вне сеньориальной зависимости, или как некоторые части Польши и Венгрии, где дезорганизация, вызванная татарским вторжением 1240 — 1243 гг., позволила освободиться кое-кому из крестьян. Мы видим, как после этого шторма цистерцианские аббатства не без труда восстанавливали свои сеньории.

Однако независимость этих аллодистов не должна порождать иллюзию. Экономически они подвергались господству сеньора, так как над их личностью тяготели его вымогательства — прямо или косвенно посредством судебных и баналитетных поборов, которые они должны были платить с продукта своей земли. Еще более прочно они зависели от сеньора потому, что он господствовал на местном рынке и, больше того, во всей экономике региона.

Таким образом, аллодисты не избегали экономической эксплуатации со стороны сеньориального класса. Экономически они почти не отличались от крестьянской массы, большая часть которой была обречена вследствие взимания феодальной ренты на бедность, а часто и на нищету, то есть на нехватку самих средств существования, на голод.

Результатом плохого технического оснащения, связанного с социальной структурой, которая парализует экономический рост, было то, что средневековый Запад представлял собой мир, находящийся на крайнем пределе. Он без конца подвергался угрозе лишиться средств к существованию. Мир жил в состоянии крайне неустойчивого равновесия.

Средневековый Запад — это прежде всего универсум голода, его терзал страх голода и слишком часто сам голод. В крестьянском фольклоре особым соблазном обладали мифы об обильной еде: мечта о стране Кокань, которая позже вдохновила Брейгеля. Но еще с XIII в. она стала литературной темой как во французском фавлю «Кокань», так и в английской поэме «Страна Кокань». Воображение средневекового человека неотступно преследовали библейские чудеса, связанные с едой, начиная с манны небесной в пустыне и кончая насыщением тысяч людей несколькими хлебами. Оно воспроизводило их в легенде почти о каждом святом, и мы читаем о них чуть ли не на любой странице «Золотой легенды».

Чудо св. Бенедикта очевидно: «Великий голод свирепствовал во всей Кампаньи, когда однажды в монастыре святого Бенедикта братья обнаружили, что у них осталось лишь пять хлебов. Но святой Бенедикт, видя, как они удручены, мягко упрекнул их за малодушие, после чего сказал в утешение: „Как можете вы пребывать в горести из-за столь ничтожной вещи? Да, сегодня хлеба недостает, но ничто не доказывает, что завтра вы не будете иметь его в изобилии“. И действительно, на завтра у дверей кельи святого нашли двести мешков муки. Но и поныне никто не знает, кого послал для этого Господь».

А вот чудо св. Якова: «Случилось однажды так, что некий паломник родом из Везеле оказался без гроша. А так как он стыдился просить милостыню, то лег спать голодным под деревом. Проснувшись, он нашел у себя в котомке хлебец. Тогда он вспомнил, что видел во сне, как святой Яков обещал позаботиться о его пропитании. И этим хлебом он жил две недели, пока не вернулся домой. Он не отказывал себе в том, чтобы утолять голод дважды в день, но на завтра вновь находил в котомке целый хлебец».

Или чудо св. Доминика: «Однажды братья, а было их сорок человек, увидели, что из еды у них остался лишь один маленький хлебец. Святой Доминик приказал разрезать его на сорок частей. И когда каждый с радостью брал свой кусок, в рефекторий вошли двое юношей, похожих друг на друга как две капли воды; в полах плащей они несли хлебы. Они молча положили их на стол и исчезли — так, что никто не знал, откуда они пришли и каким образом удалились. Тогда святой Доминик простер руки: „Ну вот, дорогие братья, теперь у вас есть еда!“»

Объектом всех этих чудес являлся хлеб — не только в память о чудесах Христа, но и потому, что он был основной пищей масс. Чудо в Кане Галилейской, хотя в нем также воплотилась власть Христа, не знало столь большого успеха в обществе, где долгое время одни лишь высшие слои пили много вина. Однако чудеса, связанные с пищей, могли касаться и других символических в экономическом плане пищевых продуктов. Таково чудо с единственной коровой бедного крестьянина. «Когда он (св. Герман) проповедовал в Британии, случилось так, что король этой страны отказал ему и его спутникам в гостеприимстве. Но некий свинопас, увидев, как измучены они голодом и холодом, пригласил их к себе и заколол для них своего единственного теленка. Но после трапезы святой Герман приказал обернуть кости шкурой, и по его молитве Бог возвратил животному жизнь».

Когда в поэзии миннезингеров во второй половине XIII в. куртуазное вдохновение уступило дорогу реалистическому крестьянскому настроению, там утверждались кулинарные темы, и появился жанр *Fresslieder*, песен о еде.

Навязчивая мысль о голоде встречалась по контрасту и у богатых, где, как мы увидим ниже, продовольственная роскошь, хвастовство едой выражали — на этом фундаментальном уровне — классовое поведение. Проповедники не ошибались, когда делали из гурманства или, как говорили в средние века, «глотки» (*gula*) один из типичных грехов сеньориального класса.

Необычайно интересный документ представляет собой в этом отношении «Роман о Лисе». Театр, эпопея голода, он показывает нам Лису, его семейство и товарищей, постоянно движимых зовом их пустых желудков. Пружина почти всех «ветвей» цикла, побудительная причина хитрости Лиса — вездесущий и всемогущий голод. Кража ветчин, сельдей, угрей, сыра, ворона, охота на кур и птиц...

Когда Лис и его товарищи превратились в баронов, они первым делом закатили пир, и миниатюра обессмертила пиршество животных, ставших сеньорами: «Дама Эрзан с радостью устраивает им празднество и готовит все, что может: ягненка, жаркое, каплунов в горшке. Она приносит всего в изобилии, и бароны с избытком утоляют свой голод».

Уже в шансон-де-жест фигурировали гиганты с неумеренным аппетитом — родственники персонажей крестьянского фольклора, предки Пантагрюэля, братья сказочных людоедов. Самый знаменитый — баснословно прожорливый Ренуар-с-дубиной, который съедает в один присест целого павлина.

С навязчивой мыслью об обеде мы встречаемся не только в агиографии, но и в вымышленных королевских генеалогиях. Многие средневековые династии имели своим предком легендарного короля-крестьянина, добытчика еды, в образе которого узнается миф об античных царях и героях, кормильцах людей, Триптоleme и Цинциннате. Таковы у славян Пшемисел, предок чешских Пшемисловичей, который прежде, чем стать королем, ходил за плугом (как это показывает фреска начала XII в. церкви св. Екатерины в Зноймо), или Пяст, от которого пошла первая польская династия. Хроника Галла Анонима называет его «пахарем», «крестьянином» и даже «свинопасом», что сближает его с мифическим королем бриттов, о котором нам говорит «Золотая легенда»: «Святой Герман по Божьему велению приказал, чтобы к нему привели свинопаса с женой, и, ко всеобщему великому изумлению, он провозгласил королем сего человека, который оказал ему гостеприимство („гостеприимный пахарь“ — говорит также Галл Аноним о Пясте). И с тех пор британская нация управляется королями, вышедшими из рода свинопасов». О Карле Великом в одной поэме IX в. говорилось:

Вот великий император.
Добрый сеятель и жнец
И мудрый земледелец.

Самое, может быть, ужасное в этом царстве голода — то, что его владыка непредсказуем и неукротим. Непредсказуем, потому что связан с капризами природы. Непосредственной причиной голода является плохой урожай, то есть сбой в природном порядке: засуха или наводнение. Не только исключительная суровость климата порождала время от времени продовольственную катастрофу — голод, но и повсюду достаточно регулярно недород каждые три-пять лет вызывал голод с более ограниченными, менее драматическими и впечатляющими, но все же смертельными последствиями.

В самом деле, при каждом неблагоприятном случае адский цикл разворачивался заново. Сначала климатическая аномалия и ее следствие — плохой урожай. Дорожали продукты, увеличивалась нужда бедняков. Те, кто не умирал от голода, подвергались другим опасностям. Потребление недоброкачественных продуктов — травы, испорченной муки, вообще негодной пищи, иногда даже земли, не считая человеческого мяса, упоминания о котором не следует относить на счет фантазии того или иного хрониста, — влекло за собой болезни, часто смертельные, или хроническое недоедание, которое подтачивало организм и нередко убивало. Цикл завершался так: ненастье, голод, рост цен, эпидемия и в любом случае, как говорили тогда, «мор», то есть резкое увеличение смертности.

То, что придавало капризам природы катастрофический характер, — это прежде всего слабость средневековой техники и экономики и особенно бессилие государственной власти. Конечно, голод существовал и в античном мире, например в римском. Там также низкая урожайность объясняла отсутствие или нехватку излишков, из которых можно было бы создавать запасы для раздачи или продажи во время недорода. Но муниципальным и государственным властям удалось худо-бедно поставить на ноги систему заготовки и распределения продовольствия. Вспомним о роли зернохранилищ, *horrea*, в римских городах и виллах. Хорошее содержание сети дорог и связи наряду с административным единообразием позволяли также в некоторой мере доставлять продовольственную помощь из

района избытка или достаточного обеспечения в район, где ощущалась нехватка.

Почти ничего из этого не осталось на средневековом Западе. Нехватка транспорта и дорог, множественность «таможенных барьеров» — сборов и пошлин, взимаемых каждым мелким сеньором у каждого моста и пункта обязательного проезда, не считая разбойников и пиратов, — сколько препятствий к тому, что будет называться во Франции до 1789 г. «свободная циркуляция зерна»! Конечно, крупные светские и особенно церковные сеньоры (богатые монастыри), государи, а начиная с XIII в. и города создавали запасы и во время недорода или голода осуществляли экстраординарное распределение этих резервов или пытались даже импортировать продовольствие.

Хронист Гальберт Брюгтский рассказывает, как фландрский граф Карл Добрый старался в 1125 г. бороться с голодом в своих владениях: «Но добрый граф заботился о том, чтобы всеми средствами помочь беднякам, раздавая милостыни в городах и селениях лично или через своих должностных лиц. Он кормил в Брюгге сотню бедных, и от Великого поста до новой жатвы каждый из них ежедневно получал по большому хлебу. Такие же меры он принял и в своих других городах. В тот же год сеньор граф постановил, чтобы треть земель была засеяна бобами и горохом, потому что они созревают раньше, что даст возможность быстрее помочь беднякам, если голод к тому времени не прекратится. Он упрекал за позорное поведение горожан Гента, которые позволили бедным людям умирать у дверей их домов вместо того, чтобы дать им пищу. Он запретил варить ячменное пиво, чтобы лучше прокормить бедняков. Он приказал также выпекать хлеб из овса, чтобы бедняки могли бы по крайней мере продержаться на хлебе и воде. Он установил цену вина в шесть су за кварту, чтобы остановить спекуляцию купцов, которые были вынуждены таким образом обменивать свои запасы вина на другие товары, что позволило легче прокормить бедняков. Он распорядился также, чтобы каждый день за его собственный стол садилось тринадцать бедняков».

Этот текст, помимо того, что он показывает нам одну из редких попыток перейти от простой благотворительности к политике продовольственной помощи, напоминает также о двух важных фактах. Прежде всего о страхе перед повторением плохих урожаев. Продовольственное предвидение не могло никоим образом идти дальше одного года. Низкая урожайность, медленное внедрение трехпольного севооборота, который позволял сеять озимый хлеб, несовершенство способов хранения продуктов — все это в лучшем случае оставляло надежду, что удастся застраховать себя в промежутке между старым и новым урожаем.

Мы располагаем бесчисленными свидетельствами о плохом хранении продуктов, их естественной порче и уничтожении животными. И еще полбеды, что в средние века не умели хорошо сохранять вина и поэтому приходилось либо пить молодое вино, либо прибегать к процедурам, которые ухудшали его качество. Это, в конце концов, дело вкуса, и к тому же вино, несмотря на его большое потребление, не являлось основным продуктом питания. Вот сетование крупного церковного сеньора, склонного к аскетизму, Петра Дамиана, который в 1063 г. проезжал через Францию, чтобы председательствовать в качестве папского легата на Лиможском соборе: «Во Франции повсюду царит обычай смолить бочки прежде, чем наполнять их вином. Французы говорят, что это придает ему цвет, но многих иностранцев от него тошнит. У нас самих такое вино очень скоро вызвало зуд во рту». И заметим, что, если проблема питьевой воды и не достигала той остроты, как в областях полупустыни или в современных больших агломерациях, то и она вставала иногда на средневековом Западе. Тот же самый Петр Дамиан, питающий отвращение к французскому вину, прибавляет: «Даже питьевую воду и ту с большим трудом удастся подчас найти в этой стране».

В хрониках и легендах мы встречаем упоминание о вреде, который причиняли крысы. Базельские анналы отмечают под 1271 г.: «Крысы уничтожают зерно, сильный голод». История о гамельнском крысолове-флейтисте, который в 1271 г. под предлогом, что он избавит город от наводнивших его крыс, увел оттуда детей, примешивает фольклорный мотив к реальной борьбе против вредных грызунов. Хронисты информируют нас в

особенности о вреде, который причиняли полям насекомые: о редких вторжениях саранчи, огромные тучи которой в 873 г. распространились от Германии до Испании, а осенью 1195 г. появились в Венгрии и Австрии, как это отмечает Klosterneuburger Annalist; о внезапном размножении майских жуков, которые, согласно мельским анналам, в 1309 — 1310 гг. опустошали в течение двух лет виноградники и фруктовые сады Австрии. Еще больше страдал от зловредных насекомых урожай, хранившийся в амбарах.

Из текстов, подобных хронике Гальберта Брюггского, мы узнаем также, что обычными жертвами голода и сопровождающих его эпидемий были низшие слои населения, бедняки. Они не могли делать запасов, потому что излишки поглощались вымогательством сеньоров. Не имея денег, даже тогда, когда развивалось денежное хозяйство, они были лишены возможности покупать продукты питания по крайне высоким ценам.

Иногда некоторые власти принимали меры для борьбы против скупщиков и спекулянтов, но эти меры обычно не давали эффекта, в частности потому, что, как мы видели, трудно было организовать импорт из-за рубежа. Бывало, разумеется, и иначе. В 1025 г., например, падерборнский епископ Майнверк «во время великого голода послал закупить пшеницу в Кельне: ее доставили на двух кораблях и по распоряжению епископа распределили среди жителей округа». Фландрский граф Карл Добрый должен был строго наказывать клириков, забывших во время голода 1125 г. о своих обязанностях раздавать продуктовые милостыни.

Безусловно, человеку свойственно чувство голода. Оно, как сказано в «Светильнике», является искушением за первородный грех:

«Голод — одна из кар за первородный грех. Человек был сотворен, чтобы жить, не трудясь, пожелай он это. Но после грехопадения он мог искупить свой грех только трудом... Бог, стало быть, внушил ему чувство голода, дабы он трудился под принуждением этой необходимости и вновь обратился таким путем к вещам вечным».

Но подобно тому как несвобода — другое следствие первородного греха — была уделом сервов, голод ограничивался исключительно категорией бедных. Эта социальная дискриминация бедствий, которые поражали бедных и щадили богатых, была настолько нормальна для Средневековья, что все удивились, когда внезапно появилась «черная смерть», эпидемия чумы, от которой гибли без разбора и бедные, и богатые. Лишь в редчайших случаях голод был настолько велик, что он находил своих жертв во всех классах. Пример этого приводит хронист, монах из Клуни, Рауль Глабер (1032 г.): «Сие карающее бесплодие зародилось в странах Востока. Оно опустошило Грецию, достигло Италии, передалось оттуда Галлии, пересекло эту страну и переправилось к народам Англии. Поскольку нехватка продуктов поражала целиком всю нацию, то гранды и люди среднего состояния разделяли с бедняками бледную немочь голода; разбой власть имущих должен был прекратиться перед всеобщей нуждой».

В замечательной книге Фрица Куршмана о голоде в средние века («Hungersote im Mittelalter») собраны сотни текстов из хроник вплоть до великого голода 1315 — 1317 гг. В них разворачивается бесконечное траурное шествие стихийных бедствий, голодных лет и эпидемий с их ужасающими эпизодами, включая каннибализм, и неизбежной развязкой — мором и традиционными жертвами — бедняками.

Вот знаменитый текст из хроники Рауля Глабера. 1032 — 1034 гг.: «Голод принялся за свое опустошительное дело, и можно было опасаться, что исчезнет почти весь человеческий род. Атмосферные условия стали настолько неблагоприятны, что нельзя было выбрать подходящего дня для сева, но главным образом по причине наводнений не было никакой возможности убрать хлеб. Продолжительные дожди пропитали всю землю влагой до такой степени, что в течение трех лет нельзя было провести борозду, могущую принять семя. А во время жатвы дикие травы и губительные плевелы покрыли всю поверхность полей. Хорошо, если мюид семян давал одно сетье урожая [*Мюид и сетье — меры емкости сыпучих тел и жидкости в средневековой Франции. Они варьировались в зависимости от места и времени, но обычно зерновое сетье было в шесть-семь раз меньше мюида. — Прим. перев.*], а с него

едва получали пригоршню зерна. Если по случаю и удавалось найти в продаже что-нибудь из продуктов, то продавец мог запрашивать любую цену. Когда же съели и диких зверей, и птиц, неутолимый голод заставил людей подбирать падаль и творить такие вещи, о каких и сказать страшно. Некоторые, чтобы избежать смерти, ели лесные корни и траву. Ужас охватывает меня, когда я перехожу к рассказу об извращениях, которые царили тогда в роду человеческом. Увы! О горе! Вещь, неслыханная во веки веков: свирепый голод заставил людей пожирать человеческую плоть. Кто был посильнее, похищал путника, расчленил тело, варил и поедал. Многие из тех, кого голод гнал из одного места в другое, находили в пути приют, но ночью с перерезанным горлом шли в пищу гостеприимным хозяевам. Детям показывали какой-либо плод или яйцо, а потом их уводили в отдаленное место, там убивали и съедали. Во многих местностях, чтобы утолить голод, выкапывали из земли трупы.

В округе Макона [*Вблизи этого города находилось аббатство Ключи, где была составлена хроника Рауля Глабера. — Прим. перев.*] творилось нечто такое, о чем, насколько нам известно, в других местах и не слыхивали. Многие люди извлекали из почвы белую землю, похожую на глину, примешивали к ней немного муки или отрубей и пекли из этой смеси хлеб, полагая, что благодаря этому они не умрут от голода. Но это принесло им лишь надежду на спасение и обманчивое облегчение. Повсюду видны были одни лишь бледные, исхудалые лица да вздутые животы, и сам человеческий голос становился тонким, подобным слабому крику умирающих птиц. Трупы умерших из-за их огромного количества приходилось бросать где попало без погребения, и они служили пищей волкам, которые долго еще потом продолжали искать свою добычу среди людей. А так как нельзя было, как мы сказали, хоронить каждого отдельно по причине большого числа смертей, то в некоторых местах люди из страха Божьего выкапывали то, что обычно называют скотомогильниками, куда бросали по пятьсот и более трупов, сколько хватало места, вперемешку, полураздетыми, а то и вовсе без покрова; перекрестки дорог и обочины полей также служили кладбищами...»

Эта мрачная литания продолжалась даже в XIII в., когда великий голод стал, кажется, приходить реже. 1221 — 1222 гг.: «В Польше три года подряд лили проливные дожди и происходили наводнения, результатом чего стал двухлетний голод, и многие умерли». 1223 г.: «Были сильные заморозки, которые погубили посевы, от чего последовал великий голод во всей Франции». В том же году: «Очень жестокий голод в Ливонии — настолько, что люди поедали друг друга и похищали с виселиц трупы воров, чтобы пожирать их». 1263 г.: «Очень сильный голод в Моравии и Австрии; многие умерли, ели корни и кору деревьев». 1277 г.: «В Австрии, Иллирии и Каринтии был такой сильный голод, что люди ели кошек, собак, лошадей и трупы». 1280 г.: «Великая нехватка всех продуктов: хлеба, мяса, рыбы, сыра, яиц. Дело дошло до того, что в Праге за грош с трудом можно было купить два куриных яйца — тогда как раньше столько стоило полсотни. В тот год нельзя было сеять озимые, кроме как в далеких от Праги краях, да и там сеяли очень мало; и сильный голод ударил по беднякам, и много их от этого умерло».

Голод и бедняки стали подлинной язвой городов — до такой степени, что городской фольклор создавал воображаемые сцены «очищения от голодающих». Вот история, которую можно сравнить — при всем ее реалистическом облике — с легендой о гамельнском крысолове.

Итак, согласно сборнику «Новеллино» XIII в., «в Генуе была большая дороговизна, вызванная нехваткой продуктов, и там собралось великое множество бродяг. Тогда (городские власти) снарядили несколько галеасов, наняли гребцов, а затем объявили, что все бедняки должны отправиться на побережье, где они получают хлеб из общественных запасов. Их пришлось столько, что все диву давались... Всех их погрузили на корабли, гребцы взяли за весла и доставили эту публику в Сардинию. Там было с чего жить. Их там оставили, и в Генуе таким образом прекратилась дороговизна».

Не забудем, наконец, что от всех этих бедствий особенно сильно страдал скот. Жертва

бескормиц и своих собственных болезней (бесконечно повторяющихся эпизоотии), он, кроме того, во время голода шел под нож: люди хотели сберечь для себя его корм (в частности, овес) и запастись мясом. Мы видим, кстати сказать, что в этих случаях церковь позволяла употребление мяса во время поста. «В это время (около тысячного года), — пишет Адемар Шабанский, — среди жителей Лимузена вспыхнула горячка... Епископ Адуен, видя, как в Великий пост люди становятся добычей голода, решил, что они могут есть мясо, дабы не дать им умереть голодной смертью». В 1286 г. Парижский епископ разрешил беднякам есть мясо во время Великого поста по причине сильного голода. Мир на грани вечного голода, недоедающий и употребляющий скверную пищу...

Отсюда брала начало череда эпидемий, вызываемых потреблением непригодных в пищу продуктов. В первую очередь это наиболее впечатляющая эпидемия «горячки» (*mal des ardents*), которую вызывала спорынья (возможно, также и другие злаки); эта болезнь появилась в Европе в конце X в.

Как рассказывает хронист Сигеберт Жамблузский, 1090 г. «был годом эпидемии, особенно в Западной Лотарингии. Многие гнили заживо под действием „священного огня“, который пожирал их нутро, а сожженные члены становились черными, как уголь. Люди умирали жалкой смертью, а те, кого она пощадила, были обречены на еще более жалкую жизнь с ампутированными руками и ногами, от которых исходило зловоние».

Под 1109 г. многие хронисты отмечают, что «огненная чума», «*pestilentia ignearia*», «вновь пожирает людскую плоть».

В 1235 г., согласно Винценту из Бове, «великий голод царил во Франции, особенно в Аквитании, так что люди, словно животные, ели полевую траву. В Пуату цена сетье зерна поднялась до ста су. И была сильная эпидемия: „священный огонь“ пожирал бедняков в таком большом числе, что церковь Сен-Мэксен была полна больными».

Горячечная болезнь лежала в основе появления особого культа, который привел к основанию нового монашеского ордена. Движение отшельничества XI в. ввело, как мы видели, почитание св. Антония. Отшельники Дофине заявили в 1070 г., что они якобы получили из Константинополя мощи святого анахорета. В Дофине тогда свирепствовала «горячка». Возникло убеждение, что мощи св. Антония могут ее излечить, и «священный огонь» был назван «антоновым». Аббатство, в котором хранились мощи, стало называться Сент-Антуан-ан-Вьеннуа и расплодило свои филиалы вплоть до Венгрии и Святой земли. Антониты (или антонины) принимали в своих аббатствах-госпиталях больных, и их большой госпиталь в Сент-Антуан-ан-Вьеннуа получил название госпиталя «увечных». Их парижский монастырь дал имя знаменитому Сент-Антуанскому предместью. Реформатором (если не основателем) этого ордена был знаменитый проповедник Фульк из Нейи, который начал с того, что метал громы и молнии против ростовщиков, скупающих продовольствие в голодное время, а кончил проповедью крестового похода. Примечательно, что фанатичными участниками Первого крестового похода 1096 г. были бедные крестьяне из районов, наиболее сильно пострадавших в 1094 г. от эпидемии «священного огня» и других бедствий, — Германии, рейнских областей и восточной Франции.

Появление на Западе спорыньи, частый голод и горячка, вызывающие конвульсии и галлюцинации, деятельность антонитов, рвение участников народного крестового похода — здесь целый комплекс, где средневековый мир предстает в тесном переплетении своих физических, экономических и социальных бед с самыми неистовыми и одновременно одухотворенными реакциями. Изучая характер питания и роль чуда в средневековой медицине и духовной жизни, мы каждый раз вновь обнаруживаем эти сплетения невзгод, необузданности и высоких порывов, из которых складывалось своеобразие средневекового христианства в глубине его народных слоев.

Ибо средневековый мир, даже оставляя в стороне периоды чрезвычайных бедствий, был обречен в целом на множество болезней, которые объединяли физические несчастья с экономическими трудностями, а также с расстройствами психики и поведения.

Плохое питание и жалкое состояние медицины, которая не находила себе места между

рецептами знахарки и теориями ученых педантов, порождали страшные физические страдания и высокую смертность. Средняя продолжительность жизни была низка, даже если попытаться определить ее, не принимая в расчет ужасающую детскую смертность и частые выкидыши у женщин, которые плохо питались и были вынуждены тяжело работать. В современных индустриальных обществах средняя продолжительность жизни составляет около 70 — 75 лет, тогда как в средние века она никоим образом не должна была превышать 30 лет. Гильом де Сен-Патю, перечисляя свидетелей на процессе канонизации Людовика Святого, называет сорокалетнего мужчину «мужем зрелого возраста», а пятидесятилетнего — «человеком преклонных лет».

Физические дефекты встречались также в среде знати, особенно в Раннее Средневековье. На скелетах меровингских воинов были обнаружены тяжелые кариесы — следствие плохого питания; младенческая и детская смертность не щадила даже королевские семьи. Людовик Святой потерял несколько детей, умерших в детстве и юности. Но плохое здоровье и ранняя смерть были прежде всего уделом бедных классов, которых феодальная эксплуатация заставляла жить на крайнем пределе — так что один плохой урожай низвергал в пучину голода, тем менее переносимого, чем более уязвимы были организмы. Мы покажем ниже, в главе о чудесах, роль святых целителей. Набросаем здесь лишь печальную картину самых серьезных средневековых болезней, связь которых с недостаточным или некачественным питанием очевидна.

Самой распространенной и смертоносной из эпидемических болезней Средневековья был, конечно же, туберкулез, соответствующий, вероятно, тому «изнурению», «*languor*», о котором упоминает множество текстов.

Следующее место занимали кожные болезни — прежде всего ужасная проказа, к которой мы еще вернемся. Но и абсцессы, гангрены, чесотка, язвы, опухоли, шанкры, экзема (огонь св. Лаврентия), рожистое воспаление (огонь св. Сильвиана) — все выставляется напоказ в миниатюрах и благочестивых текстах. Две жалостные фигуры постоянно присутствуют в средневековой иконографии: Иов (особо почитаемый в Венеции, где имеется церковь Сан Джоббе, и в Утрехте, где построили госпиталь св. Иова), покрытый язвами и выскребываемый их ножом, и бедный Лазарь, сидящий у дверей дома злого богача со своей собакой, которая лижет его струпья: образ, где поистине объединены болезнь и нищета.

Золотуха, часто туберкулезного происхождения, была настолько характерна для средневековых болезней, что традиция наделяла французских королей даром ее исцеления.

Не менее многочисленными являлись болезни, вызванные авитаминозом, а также уродства. В средневековой Европе было великое множество слепцов с бельмами или дырами вместо глаз, которые позже будут блуждать на страшной картине Брейгеля, калек, горбунов, больных базедовой болезнью, хромых, паралитиков.

Другую впечатляющую категорию составляли нервные болезни: эпилепсия (или болезнь св. Иоанна), танец святого Ги; здесь же приходит на память св. Виллиброд, который был в Эхтернахе в XIII в. патроном *Springprozession*, пляшущей процессии на грани колдовства, фольклора и извращенной религиозности. С горячечной болезнью мы глубже проникаем в мир расстройств психики и безумия. Тихие и яростные безумства лунатиков, буйно помешанных, идиотов — в отношении к ним Средневековье колебалось между отвращением, которое старались подавить посредством некоей обрядовой терапии (изгнание бесов из одержимых), и сочувственной терпимостью, которая вырывалась на свободу в мире придворных (шуты сеньоров и королей), игры и театра. Праздник дураков подготовил разгул Ренессанса, где повсюду, от «Корабля дураков» до комедий Шекспира, резвились безумцы, до тех пор пока в век классицизма на них не обрушились репрессии и они не оказались в больницах-тюрьмах, в том «великом заточении», которое было открыто Мишелем Фуко в его «Истории безумия».

А у самых истоков жизни — бесчисленные детские болезни, которые пытались облегчить множество святых покровителей. Это целый мир детских страданий и невзгод: острая зубная боль, которую успокаивает св. Агапий; конвульсии, которые лечат св.

Корнелий, св. Жиль и многие другие; рахит, от которого помогают св. Обен, св. Фиакр, св. Фирмин, св. Маку; колики, которые также лечит св. Агапий в компании со св. Сиром и св. Германом Оссерским.

Стоит поразмыслить над этой физической хрупкостью, над этой психологической почвой, пригодной для того, чтобы на ней внезапно расцветали коллективные кризисы, произрастали телесные и душевные болезни, религиозные Сумасбродства. Средневековые были по преимуществу временем великих страхов и великих покаяний — коллективных, публичных и физических. С 1150 г. вереницы людей, несущих камни для постройки кафедральных соборов, периодически останавливались для публичной исповеди и взаимного бичевания. Новый кризис в 1260 г.: сначала в Италии, а затем в остальном христианском мире неожиданно появились толпы флагеллантов. Наконец, в 1348 г. великая эпидемия чумы. «Черная смерть», стимулировала галлюцинирующие процессы, которые будут воссозданы современным кинематографом в фильме Ингмара Бермана «Седьмая печать». Даже на уровне повседневной жизни полуголодные, дурно питающиеся люди были предрасположены ко всем блужданиям разума: снам, галлюцинациям, видениям. Им могли явиться дьявол, ангелы, святые, Пречистая дева и сам Бог.

Средневековый Запад жил под постоянной угрозой падения в пропасть. Стоило только чуть отклониться от нормальных условий, так сразу же недостаток мастерства и оборудования создавал узкие места. В округе Вормса в 1259 г. исключительно обильный урожай винограда натолкнулся на нехватку сосудов для хранения вина и «сосуды продавались дороже, чем само вино». В 1304 г. в Эльзасе необычайно щедрый урожай злаков и винограда вызвал резкое падение, подлинный обвал местных цен, тем более что реки из-за засухи обмелели, мельницы бездействовали и выпечка хлеба приостановилась. Стало невозможно транспортировать вино по Рейну: уровень воды понизился настолько, что во многих местах между Страсбургом и Базелем реку можно было перейти вброд. Недостаток и дороговизна сухопутных средств транспорта не позволяли заменить ими водный путь, вышедший из строя.

Мы уже видели, что, несмотря на прогресс благодаря плугу, трехполью, многоразовой пахоте и прополке, был скоро достигнут предел плодородия земли, что урожаи оставались низкими и что люди Средневековья должны были искать дополнительные ресурсы скорее в увеличении обрабатываемой площади, нежели в повышении урожайности. Средневековая агрикультура была обречена пребывать экстенсивной. Но это пожирание пространства было одновременно и уничтожением богатства. Ибо человек был неспособен восстанавливать уничтожаемые им природные богатства или ждать, когда они восстановятся естественным образом. Расчистки, особенно очищение «порушенной целины» от остатков растительности, истощали земли и прежде всего уничтожали, казалось бы, беспредельное богатство средневекового мира — лес.

Вот один текст среди многих прочих, который показывает, как быстро средневековая экономика оказывалась бессильной перед лицом природы, ибо ответ природы на технический прогресс, который ее лишь насиловал, — это истощение, которое в свою очередь заставляло прогресс идти вспять. На территории Кольмара, во французских Нижних Альпах, городские консулы постановили в конце XIII в. уничтожить гидравлические пилы, которые вызывали обезлесение региона. Эта мера имела то следствие, что леса наводнила толпа «бедных и неимущих людей», вооруженных ручными пилами, которые причиняли «ущерба в сто раз больше». Множились меры, призванные защитить леса, сужение площади или исчезновение которых влекло за собой не только уменьшение основных ресурсов — дерева, дичи, меда диких пчел, но и усиливало в некоторых регионах и на некоторых почвах — особенно в средиземноморских странах — действие процесса обезвоживания, приобретавшего часто катастрофический характер. На южной кромке Альп, от Прованса до Словении, была организована начиная с 1300 г. защита рощ и лесов. Общая ассамблея жителей Фольгары в области Трентино, созванная 30 марта 1315 г. на городской площади,

постановила:

«Если кто-либо будет застигнут на том, что он рубил лес на горе Галилеи до тропы, которая ведет от Коста до горы, и от вершины до подножия, то заплатит пять су с каждого пня. Да не смеет никто рубить стволы лиственницы, чтобы разводить на горе костер, под страхом штрафа в пять су со ствола».

Человек в данном случае был не единственным виновником. Опустошителем являлся также скот, бродивший по полям и лугам. Поэтому увеличивалось число «заповедников», где был запрещен выгул или пастьба животных — особенно коз, этих главных врагов средневековых крестьян.

Например, в Фольгаре: «Если кто-либо будет обнаружен в виноградниках со стадом коз или овец, то он заплатит двадцать су за все стадо или пять су, если это произойдет в другом месте. Если обнаружат, что кто-либо поехал на телеге, запряженной волами или коровами, не по общественной дороге, а пересек чужой луг, то он заплатит пять су с пары скотов».

Кризис, который был описан как «кризис XIV века», заявил о себе тем, что забрасывались плохие, второстепенные земли, по которым только что прокатилась волна расчисток, вызванная демографическим ростом. С конца XIII в., особенно в Англии, оставались земли, которые неспособны были быстро восстановить свое плодородие. Ими снова овладевали ланды и лесные поросли... Средневековое человечество не вернулось к отпавшим основам, но оно не могло расширить, как того хотело, свои возделанные прогалины. Природа оказывала ему сопротивление, а подчас и побеждала его. Эта картина наблюдается от Англии до Померании, где тексты XIV в. говорят нам о «мансах, вновь занесенных песком и поэтому заброшенных или, во всяком случае, невозделанных». Истощение земли становилось важнейшей проблемой для средневековой, по преимуществу аграрной экономики.

Но когда начала вырисовываться экспансия денежного хозяйства, она также, наряду с другими трудностями, скоро наталкивалась на естественное ограничение — истощение рудников. Несмотря на возобновление в XIII в. чеканки золотых монет, важную роль играло серебро. Но с конца XIII в. заметен упадок его традиционной добычи в Дебришире и Девоншире, в Пуату и Центральном Массиве, в Венгрии и Саксонии. Здесь также узким местом была прежде всего техника. Большинство этих старых разработок достигло такой глубины, где становилась большой опасностью затопления, и рудокоп был бессилён перед водой. Иногда также рудные жилы просто-напросто истощались.

Альфонс де Пуатье, брат Людовика Святого, озабоченный тем, чтобы скопить драгоценный металл для крестового похода в Тунис, выговаривал в 1286 г. своему сенешалю в Руэрге за «столь малую сумму серебра», добытого в руднике Орзеала. Он распорядился установить там все возможное техническое оборудование — водяную и ветряную мельницы, а при нехватке лошадей и рук увеличить число рабочих. Напрасно...

Конечно, на смену шли новые рудники в Богемии, Моравии, Трансильвании, Боснии, Сербии. Но их продукции было недостаточно для нужд христианской Европы в конце XV в. Христианский мир страдал от «монетного голода». Его утолили в следующем столетии золото и особенно серебро Америки.

Последнее ограничение — истощение людских ресурсов. Долгое время западная экономика не страдала от нехватки рабочей силы. Конечно, беглый раб активно разыскивался хозяином; новые монашеские ордена во главе с цистерцианцами старались возместить отсутствие сервов введением института конверсов, «мирских братьев». Но то был поиск наиболее дешевой рабочей силы, а не истинный недостаток рабочих рук. Число нищих и то уважение, которым они пользовались — францисканцы и доминиканцы сделали из нищенства духовную ценность, — свидетельствуют о существовании опекаемой и почитаемой безработицы. Во второй половине XIII в. у Гильома де Сент-Амура и Жана де Мена появились первые нападки на здоровых нищих. Остановка демографического роста, а затем и попятное движение сделали менее многочисленной и более дорогой крестьянскую рабочую силу, которая и без того уже сократилась и вздорожала вследствие освобождения

сервов от личионаследственной зависимости. Многие сеньоры в целях экономии рабочих рук обращались к животноводству. Великая эпидемия чумы 1348 г. превратила демографический спад в катастрофу, и спустя несколько десятилетий наступил кризис рабочей силы. Повсюду слышались только жалобы на обезлюдение, которое влекло за собой запустение новых возделанных земель. Вот лишь один текст из сотен. Бранденбург в 1372 г.: «Известно, что чума и мор были столь свирепыми, что унесли с собой большинство земледельцев, так что сегодня они очень малочисленны и редки, а большая часть земель пребывает невозделанной и заброшенной». В конечном итоге средневековой экономике не хватало самого крестьянина, недоедающего и наполовину истребленного эпидемиями. Демографическое неблагополучие было последним тормозом для мира, находившегося на крайнем пределе.

Материальная нестабильность объясняет в большой мере присущее человеку средних веков чувство неуверенности. Люсьен Февр хотел написать историю чувства безопасности, фундаментального стремления человеческих сообществ. Остается сделать это. Средневековье фигурировало бы в этой истории с отрицательным знаком. Люди в конечном счете обретали ощущение безопасности единственно в религии.

Безопасность в этом мире достигалась благодаря чуду, которое спасало рабочего — жертву несчастного случая на производстве: упавших с лесов каменщиков, которых святой чудесным образом поддерживал в падении или воскрешал на земле; мельников или крестьян, попавших в мельничное колесо и чудом вырванных из рук смерти; лесорубов, от которых молитва отводила падающее дерево. Такой случай произошел в XI в. со спутником святого лимузенского отшельника Гоше д'Орейлем. Чудо в средние века занимает место общественной безопасности.

Но в первую очередь безопасность была связана с потусторонним миром, где рай сулил избранным жизнь, свободную наконец от страхов, внезапных бед и смерти. Но кто мог быть уверен, что он спасется? Боязнь ада усугубляло чувство земной неуверенности.

Разумеется, материальная жизнь в средние века знала определенный прогресс. Правда, отсутствие точных количественных данных, а также то обстоятельство, что феодальная экономика плохо годится для применения тех статистических методов, с помощью которых оценивают темпы развития если не капиталистического, то по крайней мере денежного хозяйства, не позволяет достичь точности, присущей исследованиям по экономической истории Нового и Новейшего времени. Тем не менее можно сделать набросок средневековой экономической конъюнктуры и заметить долгую фазу экспансии, которая соответствует в определенной мере улучшению благосостояния.

Напомним основные данные этого подъема. Прежде всего демографический рост. Между концом X и серединой XV в. население Запада удвоилось: в Западной Европе, вероятно, проживало, согласно Дж. Расселу, от 22,5 млн. жителей около 950 г. до 54,5 млн. накануне «черной смерти» 1348 г., а во всей Европе, по подсчетам М. Беннета, от 42 млн. около тысячного года до 73 млн. в 1300 г. Демографический подъем был, по всей вероятности, особенно сильным около 1200 г. Выведенные Слихером Ван Басом индексы прироста населения за пятидесятилетний период дают 109,5 за 1000 — 1050 гг., 104,3 за 1050 — 1100 гг., 104,2 за 1100 -1150 гг., 122 за 1150 — 1200 гг., 113,1 за 1200 — 1250 гг., 105,8 за 1250 — 1300 гг. С 1200 г. по 1340 г. население Франции возросло, очевидно, с 12 до 21 млн. человек, Германии — с 8 до 14 млн., Англии — с 2,2 до 4,5 млн. Эта фаза роста расположена между двумя периодами демографического спада, когда население Европы сократилось приблизительно с 67 млн. чел. в 200 г. до 27 млн. к 700 г. и с 73 млн. в 1300 г. до 43 млн. к 1400 г. Отметим, что число европейцев начала XIV в., по максимальной оценке, было чуть выше, чем в конце II в., в эпоху римского процветания. С демографической точки зрения Средневековье можно, кажется, количественно определить как простое наверстывание.

Такая же эволюция характеризует аграрное производство, цены и заработную плату. Численная оценка сельскохозяйственного производства на средневековом Западе невозможна — во всяком случае, для современного состояния исторической науки.

Фрагментарно и грубо может быть прослежен один индекс — увеличение урожайности, о чем уже шла речь. Но как не забыть при этом, что расширение площади обрабатываемых земель способствовало росту сельскохозяйственного производства в большей мере, нежели интенсификация земледелия?

Индекс цен более надежен. Мы не располагаем в настоящее время кривыми цен до 1200 г., а для Англии — до 1160 г. Если принять за 100 уровень цен на пшеницу в 1160 — 1179 гг., то этот индекс возрастает, по подсчетам Сливхера Ван Баса на основании данных лорда Бивериджа, до 139,3 (1180 — 1199), 203 (1200 — 1219), 196,1 (1220 — 1239), 214,2 (1240 — 1259), 262,9 (1260 — 1279), 279 (1280 — 1299), с высшей точкой в 324,7 во время сильного голода 1314 — 1315 гг. и относительным (по сравнению с аномальным вздорожанием предыдущего периода) снижением до 289,7 в 1320 — 1339 гг. Это делает очевидным тот феномен, который Майкл Постан назвал «подлинной революцией цен».

Несколько возросла и заработная плата. В Англии реальная оплата труда сельскохозяйственных рабочих выросла с 1251 по 1300 г. на 5,1%, а дровосеков — на 9,4%. Однако это увеличение осталось слабым, и, несмотря на возрастание роли наемного труда, наемные рабочие все еще составляли меньшинство в трудящейся массе.

Это замечание, которое, впрочем, не ставит под сомнение реальность определенного экономического роста между X и XIV вв., показывает очевидную необходимость сопоставить данную конъюнктуру с эволюцией экономических и социальных структур, то есть с тем, что традиционно называется, с одной стороны, переходом от натурального хозяйства к денежному, а с другой — эволюцией феодальной ренты.

В середине прошлого века Бруно Гильдебранд разделил экономическое развитие общества на три фазы: *Naturalwirtschaft*, *Geld-wirtschaft* и *Kreditwirtschaft* — натуральное хозяйство, денежное хозяйство и кредитное хозяйство. В 1930 г. Альфонс Допш в своей великой книге «Натуральное и денежное хозяйство в мировой истории» ввел эти термины и, во всяком случае, эту проблему в оборот медиевистов. Речь, стало быть, идет о том, чтобы оценить роль денег в экономике. Эта роль незначительна, когда мы имеем дело с натуральным хозяйством, где производство, потребление и обмен осуществлялись, за редким исключением, без вмешательства денег. Если, напротив, они являлись главным в функционировании экономической жизни, тогда перед нами денежное хозяйство.

Как же обстоит с этим дело на средневековом Западе?

Напомним прежде всего вслед за Анри Пиренном и Марком Блоком о некоторых необходимых уточнениях. Прежде всего меновая торговля играла весьма слабую роль в средневековых обменах. Под натуральным хозяйством на средневековом Западе следует понимать хозяйство, где все обмены были сведены до крайнего минимума. Натуральное хозяйство, следовательно, является почти синонимом замкнутого хозяйства. Сеньор и крестьянин удовлетворяли свои экономические потребности в рамках вотчины, а крестьянин главным образом в рамках своего двора: он питался за счет примыкающего к дому сада-огорода и той части урожая со своего держания, которая ему оставалась после уплаты сеньориальных поборов и церковной десятины; одежду изготавливали дома женщины, имелся у семьи и основной инвентарь — ручная мельница, гончарный круг, верстак.

Если в текстах указываются денежные оброки, это еще не значит, что они действительно были уплачены звонкой монетой. Денежное исчисление не было жестко связано с денежным платежом. Деньги были лишь отношением, «они служили мерой стоимости», были оценкой — *argesiadura*, как сказано в одном месте «Песни о Сиде» по поводу расчетов в товарах. Безусловно, нельзя сказать, что этот пережиток денежного словаря не имел никакого значения. Остаток, как и во многих других областях античного наследия, он был в конечном счете лишь свидетельством упадка. Тем более не следует принимать «за чистую монету» упоминания о монете в средневековых текстах: в христианской средневековой литературе сохранялись языческие выражения. Когда море называлось Нептуном, а лошадь, обещанная монахами Сен-Пер в Шартре в 1107 г., была представлена в акте двадцатью солидами, то в первом случае речь шла о языковой привычке,

а во втором — об уточнении стоимости лошади, объекта сделки. Просто-напросто, поскольку церковь не сражалась против денежных исчислений с тем же рвением, как с выражениями, напоминавшими о язычестве, они лучше сохранились. Марк Блок обратил внимание на примечательный текст из Пассау, где слово «цена» употреблено парадоксальным образом для обозначения натурального эквивалента денежной суммы.

Ясно, наконец, что деньги на средневековом Западе никогда не исчезали из обихода. Не только церковь и сеньоры располагали все время определенной наличностью для престижных расходов, но и сам крестьянин не мог полностью обойтись без денежных покупок: он должен был, например, покупать соль, которую ему редко удавалось обменять на другой продукт. Возможно, что крестьяне, да и вообще бедняки, добывали несколько нужных им монет скорее милостыней, чем продажей своих продуктов. Во время голода, когда особенно жестоко ощущалось отсутствие у бедняков звонкой монеты, распределение продовольствия сопровождалось раздачей денег. Так поступал фландрский граф Карл Добрый в голодном 1125 г.: «Каждодневно, во всех городах и селениях, через которые он проезжал, вокруг него теснилась толпа, и он собственноручно распределял продукты, деньги и одежду». Когда голод кончился и наступила пора нового хорошего урожая, бамбергский епископ дал каждому бедняку «одно денье и серп», орудие труда и „подъемные“».

Следует заметить, что сфера денежного хозяйства была гораздо большей, чем это кажется на первый взгляд, если принять во внимание два весьма распространенных на средневековом Западе явления: употребление сокровищ, предметов роскоши и ювелирных изделий как денежных резервов и существование других денег, кроме металлических.

Действительно, Карл Великий продал, кажется, часть своих самых драгоценных рукописей, чтобы помочь беднякам. Вот один пример из сотен: в 1197 г. некий немецкий монах встретил своего поспешно идущего собрата. «Я спросил у него, куда он бежит, и услышал в ответ: „Менять. Накануне жатвы нам приходится забивать скот и закладывать чаши и книги, чтобы кормить бедняков. Но только что Господь послал нам человека, который дал золота, коего достаточно для покрытия наших долгов. И вот я иду менять его на деньги, дабы выкупить залоги и восстановить стада“».

Но эта форма тезаврации, которая отступает только перед нуждой, свидетельствует о слабости и негибкости денежного обращения.

Равным образом и существование неметаллических денег (бык или корова, кусок ткани и особенно перец) является бесспорным признаком архаизма, проявлением экономики, которая с трудом переходит от натуральной стадии к денежной. Впрочем, и природа металлической монеты сама долгое время оставалась архаичной. В самом деле, монета оценивалась по стоимости не как знак, но как товар; она стоила не столько, какова была ее теоретическая стоимость, написанная на лицевой или оборотной стороне (на последней вообще ничего не пишут), но столько, какова была реальная стоимость содержащегося в ней драгоценного металла. Чтобы узнать это, ее взвешивали. Как сказал Марк Блок, «монета, которую надо положить на весы, очень похожа на слиток». Лишь в самом конце XIII в. французские легисты с трудом начали различать ее действительную стоимость (вес в золоте) и нарицательную, то есть ее трансформацию в денежный знак, инструмент обмена.

Впрочем, на каждой фазе средневековой истории денег явления, которые часто интерпретировались как признаки возрождения денег, свидетельствуют гораздо скорее о пределах денежного хозяйства.

В Раннее Средневековье увеличилось число монетных дворов. Многие исчезнувшие ныне населенные пункты (особенно в вестготской Испании), которые, несомненно, были лишь местечками, имели мастерскую, где чеканили монету. Но, как справедливо заметил Марк Блок, «главной причиной монетной раздробленности было то, что деньги мало циркулировали».

Монетная реформа Карла Великого, который ввел систему «ливр — су — денье» (1 ливр = 20 су, 1 су = 12 денье), отвечала необходимости приспособиться к упадку денежного хозяйства. Золотые монеты больше не чеканились. Ливр и су были не реальными монетами,

но переводными, счетными. До XIII в. единственной монетой, которую действительно чеканили, было серебряное денье, то есть очень маленькая единица, но вроде бы только в нем и была нужда. Однако это исключало существование еще более мелкой разменной монеты для еще более скромных обменов. Показательна реакция участников Второго крестового похода, попавших в 1147 г. на территорию Византии. «Там, — пишет Эд Дейльский, — мы впервые увидели медные и оловянные монеты. За одну из них мы, к несчастью, отдали, а вернее сказать, подарили пять денье».

Монетный ренессанс XIII в. особенно ослепил историков возобновлением чеканки золотых монет: *genois* и флорина в 1252 г., эку Людовика Святого, венецианского дуката в 1284 г. Но, сколь бы значительно ни было это событие, оно — ввиду малого количества монет в обращении — является скорее симптомом, нежели экономической реальностью. Реальность же состоит в том, что чеканили серебряный грош в Венеции (1203 г.), Флоренции (около 1235 г.), во Франции (около 1265 г.), в Монпелье (1273 г.), во Фландрии (около 1275 г.), в Англии (1275 г.), в Чехии (1296 г.). На этом среднем уровне обменов находился тогда прогресс денежного хозяйства. Ибо этот прогресс реален.

Особняком стоит, быть может, пример Испании, так как близость мусульманской экономики (эмиры Кордовы не прекращали чеканку золотых монет, а с продвижением Реконкисты это продолжали делать христианские короли — например, в Толедо в 1175 г.) внесла в испанскую экономику некий элемент соблазна. Работы испанских и аргентинских медиевистов (Клаудио Санчес-Альборноц, Луис Гарсиа да Вальдевиллано, Рейна Пастор да Тогнери) показали, однако, что и там очень ясно обнаружился — с некоторым отрывом от остального христианского мира — цикл «натуральное хозяйство — денежное хозяйство». Наличие мусульманских центров производства на Юге продлило до начала XI в. фазу повышения цен, которая совпала с концом периода денежной экономики. В XI и в первой половине XII в. произошло падение цен, отразившее наступление фазы натуральной экономики, после того как с предыдущей фазой завершилась «демонетизация» христианских королевств. С середины XII в., напротив, снова развивается фаза денежной экономики.

Об этой экономической эволюции косвенно осведомляет нас также отношение к монете и к деньгам вообще. Конечно, в христианстве заключено недоверие к золоту и серебру, однако редкость денег в Раннее Средневековье придала им скорее некий престиж, усиленный тем фактом, что чеканка монеты была признаком власти. Короче, деньги стали символом политической и социальной мощи в большей мере, нежели экономического могущества. Суверены чеканили золотые монеты, которые не имели экономического значения, но служили для демонстрации престижа. Сцены чеканки монет занимают изрядное место в иконографии: мы их видим в Сен-Мартен-де-Бошервиле, Сувении, Вормсе. Монеты и монетчики были причастны к сакральному и одновременно проклятому характеру кузнецов и вообще металлургов; это усиливалось особым очарованием драгоценных металлов. Роберт Лопес назвал монетчиков аристократией Раннего Средневековья. Аристократия — да, но скорее магическая, чем экономическая. Подъем денежного хозяйства вызывал, напротив, взрыв ненависти против денег. Действительно, начавшийся экономический прогресс совершался к пользе определенных классов и представлял, следовательно, как новый гнет. Св. Бернар Клервосский метал громы и молнии против проклятых денег. Обличалась за жадность церковь, которой эта эволюция в своем начале пошла особенно на пользу, так как благодаря платам за требы, пожертвованиям и церковной фискальной системе она накопила большие богатства и могла быстро пустить часть денег в обращение.

Вырисовывается эволюция и в морали. *Superbia*, гордыня, по преимуществу феодальный грех, до этого рассматриваемая обычно как мать всех пороков, начинала уступать первенство *avaritia*, сребролюбия.

Осуждалась также и другая группа, которая выиграла от экономической эволюции и которую мы ради простоты будем называть буржуазией, то есть высший слой нового городского общества. Ее клеймили писатели и художники, состоявшие на службе традиционных правящих классов: в церковных скульптурах показан, к отвращению и ужасу

верующих, ростовщик, отягощенный мошной, которая влечет его в ад.

Медленное замещение натурального хозяйства денежным достаточно продвинулось к концу XIII в. для того, чтобы привести к важным социальным последствиям.

Несмотря на превращение части натуральных поборов в денежные, относительная «жесткость» структуры феодальной ренты и уменьшение вследствие быстрой порчи монеты ее денежного эквивалента привели к обеднению части сеньориального класса в тот самый момент, когда рост престижных расходов усиливал его нужду в деньгах. Это и лежало в основе «кризиса XIV века» — первого кризиса феодализма.

Перед лицом этого кризиса сеньориального мира раскололся и крестьянский мир. Меньшинство, способное извлечь доход из продажи своих излишков, богатело и образовывало привилегированную категорию, класс кулаков [Так во французском тексте: *une classe de koulaks*. — Прим. перев.]. Мы встречаем эту категорию как в документах английских маноров, так и в литературных текстах. Вот, к примеру, «Роман о Лисе»:

«Наступает рассвет, встает солнце, освещая заснеженные дороги, и мессир Констан Дегранж, зажиточный фермер, выходит из дому в сопровождении своих работников. Он трубит в рог, зовя собак, а потом приказывает, чтобы ему привели коня... Однажды Ренар подкрался к ферме, стоявшей близ леса: там было множество кур и петухов, а также уток и гусей. Она принадлежала мессиру Констану Десно, фермеру, который имел дом, наполненный всякими припасами, и сад, где росло множество фруктовых деревьев, приносящих вишни, яблоки и прочие плоды. Дома у него были в изобилии и жирные каплуны, и соленья, и ветчины, и сало. Все это добро защищал крепкий палисад из дубовых кольев и колючего кустарника...»

Зато пауперизация основной массы усилилась. Демографический подъем проявился не только в расширении площади обрабатываемых земель и повышении в некоторых случаях их плодородия. Еще с большим основанием можно утверждать, что он повлек за собой дробление держаний, в результате чего мелкие крестьяне должны были либо наниматься в услужение к своим более состоятельным соседям, либо залезать в долги. В этом крестьянском мире, эксплуатируемом сеньорами или его же собственными более богатыми сочленами, где земля была скупа, а рты многочисленны, задолженность представляла собой великое бедствие. Эта была задолженность городскому ростовщику, часто еврею, или более богатому крестьянину, обычно достаточно ловкому для того, чтобы избежать клейма ростовщика, которым был отмечен только еврей.

Преобладание мелких держаний видно на примере Бёврекена, вблизи Булони, где на землях, принадлежавших аббатству Сен-Бертен, в 1305 г. из 60 держаний 43% имели площадь менее 2 га; 21% — от 2 до 4 га; 20% — от 4 до 8 га и только 10% — свыше 8 га. В Видон-Беке (Англия) с 1248 г. по 1300 г. доля крестьян, владевших менее чем 6 га, выросла с 20,9% до 42,8%.

Крестьянская задолженность ростовщикам-евреям выявляется на примере Перпиньяна, где нотариальные регистры показывают, что около 1300 г. среди дебиторов городских ростовщиков 60 % составляли крестьяне, из которых 40% делали займы осенью, когда играли свадьбы и платили сеньориальные поборы, причем 53% должников обязывались погасить заем в августе и сентябре, после жатвы и сбора винограда. Кредиторами были также итальянские купцы и менялы, которых называли ломбардцами. Их можно было встретить повсюду — будь то Намюра (Фландрия), где документы показывают, как между 1295г. и 1311г. у них в долгу оказались почти все жители одной деревни, или Альпы, где в начале XIV в. ростовщики из Асти имели ссудно-залоговые лавки (*casana*) почти в каждом маленьком местечке во владениях Савойского дома.

Развитие денежного хозяйства больше всего, по-видимому, пошло на пользу купцам. Действительно, рост городов был связан с прогрессом денежной экономики, а «возвышение буржуазии» представляло собой появление общественного класса, экономическая власть которого покоилась скорее на деньгах, чем на земле. Но каков был численный вес этого

класса к 1300 г. или к 1350 г.? Сколько мелких купцов являлись всего лишь уличными торговцами, во всем сходными с теми ростовщиками более близких к нам времен, о которых мы знаем, что они имели малое отношение к капитализму? Что же касается меньшинства крупного купечества или (что не одно и то же) городской элиты, к которой мы еще вернемся — назовем ее патрициатом, — то какова была природа его доходов, экономического поведения и воздействия на экономические структуры?

Купцы лишь в малой мере вмешивались в сельскохозяйственное производство. Несомненно, те ростовщики, о которых у нас только что шла речь, в особенности из Намюра, камуфлировали займом под залог опережающую скупку урожая, который затем они продавали на рынке. Однако доля сельскохозяйственной продукции, которая поступала таким путем в торговлю при их посредничестве и к их выгоде, оставалась слабой.

Купец в начале XIV в. — это всегда главным образом продавец особенных, редких, роскошных и экзотических товаров, растущий спрос на которые со стороны высших общественных категорий влек за собой увеличение численности и значения коммерсантов. Они были неким дополнением, приносили ту малую часть необходимого избытка, которую не могла произвести местная экономика. И в той мере, в какой они были «побочным элементом» и не посягали на основы экономической и социальной структуры, понятливые клирики их извиняли и оправдывали. Так, Жиль Ле Мюизи, аббат монастыря Сен-Мартен в Турени, писал в своем «Сказе о купцах»:

Чтобы могла страна всем нужным ей снабдиться,
Приходится купцам в поте лица трудиться,
Чтоб все, чего в ней нет, привезть со стороны.
Преследовать же их не должно без вины.
Поскольку, по морям скитаясь беспокойны,
Везут в страну товар, за что любви достойны.

(Перев. А. Х. Горфункеля)

По правде говоря, купцы являлись маргиналами. Основным предметом их сделок служили дорогие, но малообъемные товары: пряности, роскошные ткани, шелка. Это особенно верно по отношению к первопроходцам торговли — итальянцам. Их главная сноровка заключалась, по-видимому, всего-навсего в том, что, зная стабильные цены на Востоке, они могли заранее рассчитать свою прибыль. Руджеро Романо был, конечно, прав, видя в этом основную причину купеческого «чуда» в христианской Европе. Так же обстоит дело, хотя и в более слабой степени, с ганзейцами, но похоже, как это утверждал наряду с другими исследователями М. Лесников, что до середины XIV в. торговля зерном и даже лесом имела для ганзейцев второстепенное значение, тогда как воск и меха приносили им большие доходы.

Сама природа зачастую огромных купеческих прибылей от торговли предметами роскоши показывает, что эти операции совершались на «обочине» основной экономики. Об этом же говорит и структура торговых компаний: большинство купеческих ассоциаций, кроме прочных сообществ семейного типа, создавалось лишь для одной сделки, деловой поездки или на срок от 3 до 5 лет. Не было ни подлинной непрерывности в их предприятиях, ни долговременных инвестиций — если, конечно, не принимать в расчет долго сохранявшийся обычай растрачивать значительную, а иногда и основную часть своего состояния в посмертных дарениях.

Чего же домогались купцы и особенно городские патриции? Это либо землевладение, которое не только защищало их от голода, но и приобщало к более высокой категории земельного собственника, а при благоприятном случае, приобретя поместье, они могли даже возвыситься до ранга сеньора. Либо это были доходные земли и недвижимость внутри городских стен или займы сеньорам и князьям, а иногда и совсем скромным дебиторам. Но прежде всего это были вечные ренты.

Вспомним очерченную выше экономическую и социальную эволюцию. Высшие слои, сеньоры, вследствие развития феодальной ренты все больше превращались в «земельных ратье», по выражению Марка Блока, и все меньше занимались непосредственным ведением хозяйства. Деньги, которые они при этом могли извлечь, не вкладывались в той же мере в экономический прогресс. Существовавший в большинстве стран институт дерожеанции [*Утрата дворянского статуса при занятии «неблагородным» делом.* — Прим. перев.] мешал земельной аристократии делать дело, и средства, которые могли бы быть по меньшей мере вложены в землю и подпитать прогресс сельского хозяйства, бесследно исчезали во все более растущих и всепожирающих расходах на престиж и роскошь.

Как бы то ни было, неоспоримые успехи развития денежного хозяйства имели важные социальные последствия. Распространение наемного труда начинало заметно изменять статус различных классов — прежде всего в городе, но также все больше и в деревне. Все увеличивался ров между классами, а точнее, между социальными категориями внутри класса. Мы уже это видели на примере сельских классов: сеньоров и крестьян. Но это еще более справедливо в отношении городских классов. Высший слой отрывался от среднего и мелкого люда ремесленников и рабочих. Но если очень часто основой их различий являлись деньги, то отныне социальная иерархия еще в большей мере определялась другой, новой ценностью — трудом. Действительно, городские классы завоевывали себе место благодаря важности их экономической функции. Сеньориальному идеалу, основанному на эксплуатации крестьянского труда, они противопоставили систему ценностей, в основе которой лежал свой собственный труд, сделавший их могущественными. Однако, ставший в свой черед классом ратье, высший слой нового городского общества заставлял принять и новую линию разграничения социальных ценностей, которая отделяла ручной труд от других форм деятельности. Это соответствует, впрочем, и эволюции крестьянских классов, где элита, состоявшая из «пахарей» — зажиточных крестьян, собственников рабочего скота и орудий труда, — противостояла остальной массе «батраков» и «поденщиков», у которых не было ничего, кроме их рук. В городской среде новый водораздел изолировал категорию «людей ручного труда», ремесленников и пока что немногочисленных наемных рабочих. Был момент, когда интеллектуалы из университетских кругов пытались определить себя как работников умственного труда, занятых — рука об руку с другими ремесленниками — на «строительной площадке» города. Они поспешили связать понятие элиты с представлением о собственноручном труде. Но даже нищий поэт Рютбеф гордо воскликнул: «Я не из тех, кто работает руками».

ГЛАВА VIII. Христианское общество

Около тысячного года западная литература начала описывать христианское общество по новой схеме, сразу же получившей признание. «Троякий люд» составлял общество: священники, воины, крестьяне. Три категории были различны, но дополняли друг друга: каждая нуждалась в прочих. Их гармоничное единство и было «телом» общества. Вероятно, эта схема впервые появилась в весьма вольном переводе трактата Боэция «Об утешении философией», сделанном в конце IX в. английским королем Альфредом Великим. Король должен иметь «людей молитвы, конных людей, людей труда» (jebedmen, fyrdmen, weorcmen). Век спустя эта трехчастная структура вновь возникает у Эльфрика и Вульф-стайна. Около 1080 г. ее приводит епископ Адальберон Ланский в поэме, посвященной королю Роберту Благочестивому. «Община верных образует единое тело, но три тела включает в себя государство, ибо иной закон, закон людской, различает два класса, поскольку дворяне и сервы живут по разным уставам. Один класс — воины, покровители церквей и защитники народа, всех без исключения, как сильных, так и слабых, заботящиеся также и о своей безопасности. Другой класс — сервы; сии несчастные людишки имеют что-либо лишь ценой мучительного труда. Кто с абакон в руке мог бы подсчитать все заботы сервов, их тяжелые работы и долгие переходы? Всем — деньгами, одеждой, пропитанием — снабжают они весь

свет. Ни один свободный человек не смог бы ни прожить без сервов, ни выполнить какой-либо работы, ни совершить какой-либо траты. Мы видим, что короли и прелаты сами — сервы своих сервов. Серв кормит хозяина, утверждающего, что это он кормит серва. И не видит серв конца своим слезам и горестям. Так дом Божий, единым почитаемый, разделен на три части: одни молятся, другие сражаются, третьи работают. Три соседствующие части не страдают от своей раздельности: услуги, оказываемые одной из них, служат условием для трудов двух других; в свою очередь каждая часть берет на себя заботу о целом. Так это тройственное сочленение остается единым, благодаря чему закон может торжествовать, а люди — вкушать мир».

Этот важнейший текст в некоторых своих фразах необычен. Формула «серв кормит хозяина, утверждающего, что это он кормит серва», словно вспышка молнии, высвечивает реальность феодального общества. Констатация «дом Божий, единым почитаемый, разделен на три части» провозглашает существование классов и как следствие классовых антагонизмов, пусть и прикрытых ортодоксальным заявлением о социальной гармонии.

Для нас важна здесь характеристика трех классов общества, вскоре ставшая классической: молящиеся, воюющие, работающие (*oratores, bellatores, laboratores*).

Было бы интересно проследить судьбу этой темы, ее связь с другими молитвами, например с библейской генеалогией (три сына Ноя), с германской мифологией (три сына Ригра). Пр процитируем лишь один из десятков текстов, где трехчленность рядится в анималистические одежды.

Эадмер Кентерберийский, в начале XII в. излагая учение святого Ансельма, развивает этот «пример» (*exemplum*) — своего рода символическую притчу:

«Пример об овцах, быках и собаках.

Предназначение овец — давать молоко и шерсть, быков — пахать землю, псов — защищать овец и быков от волков. Бог хранит их, коли каждый вид сих животных исполняет свой долг. Так же и сословия учинил Он, дабы несли различные службы в этом мире. Он установил одним — клирикам и монахам — молиться за других, чтобы они, исполненные доброты, подобно овцам, наставляли людей, питая их молоком проповеди, и внушали им горячую любовь к Богу руном доброго примера. Он установил крестьянам, чтобы они, подобно быкам, обеспечивали жизнь себе и другим. Наконец, воинам установил Он проявлять силу в необходимых пределах, как от волков защищая от врагов тех, кто молится и пашет землю».

Но служит ли эта литературная тема достойным введением к изучению средневекового общества? Какова была ее связь с действительностью? Отражала ли она реальную социальную структуру средневекового Запада?

Ж. Дюмезиль блестяще обосновал гипотезу о том, что трехчастное деление свойственно всем индоевропейским обществам и средневековый Запад связан в данном случае с италийской традицией (Юпитер, Марс, Квирин), возможно, при посредничестве кельтов.

Другие, в том числе и В. Абаев, считают, что «функциональная трехчастность» есть необходимый этап в эволюции всякой идеологии, особенно социальной. Важно, что эта схема возникла или возродилась именно тогда, когда она стала соответствовать эволюции западного общества.

Как мы уже убедились, между VIII и XI вв. аристократия становится военным классом, классом воинов (*miles*) и рыцарей. Похоже, что это утверждение справедливо и для пограничных районов христианского мира, поскольку «воинов» можно обнаружить и на надгробных надписях XI в., найденных в кафедральном соборе Гнезно.

Как показал Е. Делярюэль, в каролингскую эпоху клирики замыкаются в клерикальную касту, что нашло отражение и в эволюции литургии, и в эволюции церковной архитектуры: закрытые хоры и клуатры, отведенные капитулу, ликвидация «внешних» школ при монастырях. Отныне священник служил мессе спиной к верующим, которые теперь не участвовали в выносе Святых Даров, не допускались к сослужению в евхаристическом

каноне — читать стали вполголоса. Гостию стали готовить не из обычного теста, а из опресок, показывая, сколь чужда месса обыденной жизни. Положение крестьян также имело тенденцию унифицироваться на самом низком социальном уровне — на уровне сервов.

Стоит лишь сопоставить эту схему с раннесредневековыми, чтобы убедиться в ее новизне. Между V и IX вв. чаще всего встречались две картины общества. Порой это была дробная схема, перечислявшая многие социальные или профессиональные категории, в которых можно распознать следы римской классификации, выделявшей профессиональные группы, юридические классы, социальные уровни. Так, в X в. епископ Ратгер Веронский называл десять категорий: граждане, воины, ремесленники, медики, торговцы, адвокаты, судьи, присяжные (*temoins*), прокураторы, патроны, наемники, советники, сеньоры, рабы (или сервы), хозяева, ученики, богатые, бедные, нищие. В этом списке можно так или иначе узнать специализацию профессиональных и социальных категорий, характерных для римского общества и, быть может, в какой-то мере сохранившихся в Северной Италии.

Но чаще общество мыслилось в противостоянии двух групп: в определенной перспективе ими могли быть клирики и миряне, если же речь шла лишь о светском обществе, то — сильные и слабые, большие и меньшие, богатые и бедные, с юридической точки зрения говорилось о свободных и несвободных. Очевидно, что эта дуалистическая схема соответствовала упрощению социальных категорий Раннего Средневековья: меньшинство монополизировало функции духовного, политического и экономического управления, масса подчинялась. Забота о нюансах или использование трехчастной схемы могла в редких случаях отражать особенности мышления классификатора, предпочитавшего троичность (подобно тому как в наших школах сочинения принято делить непременно на три части). Так, например, у Рауля Глабера между большими и меньшими появлялись еще и «средние» (*mediocres*). Но что в реальности отражала эта риторическая трехчастность?

Трехчастность функциональная, появившаяся около тысячного года, была совсем иного рода. Она соответствовала религиозной, военной и экономической функциям и характеризовала определенную стадию эволюции примитивных обществ — возможно, и не только индоевропейских. В текстах вроде притчи Эадмера Кентерберийского и в животном символизме иных обществ можно было бы найти если не прямую преемственность, то хотя бы сходство, не оставляющее сомнений в родстве социальных представлений Средневековья с представлениями иных, более примитивных обществ. Э. Бенвенист подчеркивает, что в аграрных очистительных обрядах (*suovetaurilia*) греко-италийских культов обнаруживаются соответствия: свинья — Теллус, баран — Юпитер, бык — Марс. Л. Гершель соединяет в мышлении и в жреческой практике Древнего Рима человека, коня и быка с тремя функциональными ценностями — верховной властью, воинской доблестью и хозяйственным процветанием, а Ж. Дюмезиль указывает на символическое значение орла Юпитера, волчицы Марса и свиньи богинь земли и плодородия. Овцы, быки и собаки Эадмера были, таким образом, средневековым воплощением животного символизма трехчастного общества.

Но что же означает эта функциональная трехчастность и каковы отношения между этими тремя функциями, точнее, между представляющими их классами? Трехчастная схема символизировала социальную гармонию (наподобие апологии Менения Агриппы «Желудок и части тела»), в образной форме нейтрализовала борьбу классов, мистифицируя народ. Очевидно, что трехчастная схема призвана закрепить подчиненность трудящихся (экономического класса производителей) двум другим классам, но она также делает воинов защитниками церкви и религии, подчиняя их тем самым священникам. Закрепление этой схемы можно рассматривать как эпизод в древнем соперничестве воинов и колдунов — одновременно с григорианской реформой разворачивалась борьба империи и папства. Тогда же слагались жесты, ставшие литературной ареной борьбы класса духовенства с военным классом, совсем как «Илиада», свидетельствовавшая о борьбе воинской доблести с шаманической силой, что блестяще показал В. Т. Абаев применительно к эпизоду с Троянским конем. Обратим внимание на дистанцию, разделившую Роланда и Ланселота, — то, что именуют христианизацией рыцарского идеала, было, в сущности, победой священной

власти над воинской силой. У Роланда есть классовая мораль — он думает о своем линьяже, о своем короле, о своей родине. От святого в нем разве только то, что он сам послужил моделью для образа святого своей эпохи, понимаемого в XI — XII вв. как «воин Христов». Но весь артуровский цикл увенчивается триумфом первой функции над второй. Уже в произведениях Кретьена де Труа в результате эволюции Персеваля зыбкое равновесие между «духовным» и «рыцарским» завершается поисками Грааля и преображением рыцаря, видением Великой пятницы. Смерть Артура в эпилоге цикла означала закат воинства: меч Эскалибур, символический инструмент военного класса, брошен королем в озеро, а Ланселот становится своего рода святым. Шаманическая власть, правда в сильно очищенном виде, поглотила воинскую доблесть.

С другой стороны, уместен вопрос, совпадает ли третья категория «работающих» («*laboratores*») со всеми производителями, все ли крестьяне представляют эту хозяйственную производительную функцию?

Серия текстов, составленных между концом VIII в. и XII в., показывает, что термин «*labor*» и производные от него слова употреблялись в хозяйственном значении, но не в чистом виде, а всегда так или иначе контаминируясь с моральной идеей тягот, утомительного труда. Это вполне соответствовало точному значению термина, относящегося к дополнительной работе с землей, будь то распашка нови или повышение урожайности. «Капитулярный о Саксах» в конце VIII в. различает «*substantia*» и «*labor*» — имущество наследственное и приобретенное, подлежащее оценке. «*Labor*» — это и расчистка пашни, и результаты такой расчистки. Глосса к рукописи канона норвежского синода 1164 г. уточняет, что «*labores*» есть «*novales*», то есть поднятая целина. «*Labora-tor*» — тот, чьи хозяйственные возможности позволяют производить больше. Хартия монастыря св. Винсента Маконского в 926 г. говорит о «тех лучших, из коих состоят *laboratores*». Отсюда и во французском языке появившееся с X в. слово «*laboureur*» («пахарь») означало высший слой крестьянства, тех, кто обладает хотя бы парой быков и собственными орудиями труда.

Поэтому трехчастная схема, даже столь яркая, как у Адальберона Ланского, идентифицирующего «*laboratores*» с сервами, представляла лишь высшие слои общества: духовный класс, класс воинов и высший слой производительного класса. Речь идет только о «лучшей части», об элите.

В Позднее Средневековье во Франции эта схема ляжет в основу деления на духовенство, дворянство и третье сословие. Но последнее не совпадало со всеми незнатными («ротюрье»), к нему не относились даже все буржуа — оно представляло высший слой буржуа — нотаблей. Средневековью была присуща неопределенность взглядов на природу этого третьего класса, теоретически объединившего всех, кто не принадлежал к первым двум, но на деле включавшего лишь их наиболее богатую или наиболее образованную часть. Неопределенность эта во время Французской революции нашла свое выражение в конфликте между теми людьми 89-го года, кто хотел остановить революцию после победы верхов третьего сословия, и теми, кто хотел обеспечить триумф всего народа.

Таким образом, в представлениях об обществе в так называемый «первый феодальный период» (примерно до середины XII в.) масса живущих трудами рук своих попросту отсутствовала. Ведь св. Винсент Маконский еще в XI в. «*laboratores*» противопоставлял «*pauperiores qui manibus laborant*», «беднейшим, работающим своими руками». Марк Блок с удивлением заметил, что церковные и светские сеньоры в ту эпоху охотно обращали драгоценные металлы в ювелирные изделия, с тем чтобы переплавлять их по мере необходимости, не считаясь при этом с экономической эпохе были неведомы труд и трудящиеся. Перевод «*laboratores*» просто как «всех трудящихся» означал бы непонимание языка эпохи.

Мы говорим о классах, применяя этот термин к категориям трехчастного общества, тогда как традиционно считают, что трем функциям в средневековую эпоху соответствовали три сословия (*ordres*).

Это объясняется неточностью словоупотребления. Термин «*ordo*» — скорее

каролингский, чем собственно феодальный, — принадлежал к церковному словарию, соответствуя религиозному видению мира, разделенного на мирское и церковное, духовное и земное. Таким образом, «ordo» могло быть лишь два: «духовенство» и «народ», «клирики» и «миряне»; чаще же тексты говорят об «обоих сословиях» («utraque ordo»). И только юристы Нового времени решили без особых оснований провести различие между классами, определяемыми экономически, и, сословиями, определяемыми юридически.⁴ В действительности, «ordo», хоть и было понятием религиозным, так же как и класс, основывалось на социально-экономической базе. А тенденция превратить в «ordo» классы, составлявшие трехчастную схему, свойственная ее средневековым творцам и пользователям, отражала стремление придать ей характер объективной и извечной реальности, созданной Богом и угодной ему, сделав социальную революцию невозможной.

Замена понятия «ordo» понятием «conditio» (положение), как это порой случалось начиная с XI в., а с XIII в. замена «conditio» на «etat» (состояние) были, таким образом, весьма значимыми изменениями. Это обмирщение видения мира было важно уже само по себе, но главное, что оно сопровождалось разрушением трехчастной схемы, отражающим эволюцию средневекового общества. Известно, что критический момент в истории трехчастных схем наступал с возникновением в обществе нового класса, не предусмотренного схемой. Различные общества (Ж. Дюмезиль показал это на примере обществ индоевропейских) по-своему решают эту проблему. Новый класс может оставаться в стороне, если ему будет отказано во включении в схему; он может быть слит с одним из ранее существовавших классов, и, наконец, более революционный вариант вводит новый класс в старую схему, превращая ее из трехчастной в четырехчастную.

Таким нарушителем спокойствия стал класс купцов, чье появление ознаменовало переход от закрытой к открытой экономике, — класс могущественный экономически и не довольствующийся подчинением священникам и воинам. Отчетливо видно, как традиционное средневековое общество пробовало найти один из консервативных вариантов решения: так, например, в английской проповеди XIV в. можно прочесть, что Бог создал клириков, дворян и крестьян, а дьявол — бюргеров и ростовщиков, а немецкая поэма XII в. утверждала, что четвертый класс, класс ростовщиков («Wuocher»), правит тремя прочими.

Несмотря на то что трехчастную схему общества еще долго можно будет обнаружить как литературный или идеологический сюжет, следует признать, что со второй половины XII в. и в течение всего XIII в. она разрушается и уступает место более сложной и гибкой схеме, отразившей серьезные потрясения в обществе.

Трехчастное общество сменяется обществом «etats», то есть категорий, определяемых по социально-профессиональному положению. Их число могло варьироваться по усмотрению автора, но сохранялись определенные константы — в частности, смешение религиозной классификации, основанной на клерикальных и семейных критериях, а также разделение по профессиональным функциям и социальному положению. Впрочем, иногда к новой схеме приспосабливались сюжеты, взятые из Библии или христианского символизма, наподобие того, как три сына Ноя иллюстрировали трехчастную схему. Гонорий Августодунский сравнивал общество с церковью, колоннами которой служат епископы, витражами — магистры, сводом — князья, черепичной крышей — рыцари, вымощенным полом — народ, поддерживающий и питающий своим трудом весь христианский мир. В XIII в. саксонский популярный проповедник-францисканец Конрад отождествлял алтарь с Христом, башни — с папой и епископами, хоры — с клириками, неф — с мирянами. Тогда же Бертольд Регенсбургский различал 10 социальных классов, соответствующих 10 чинам ангельским. Немецкий сборник проповедей, составленный около 1220г., перечисляет 28 «etats»: 1) папа; 2) кардиналы; 3) патриархи; 4) епископы; 5) прелаты; 6) монахи; 7) крестоносцы; 8) послушники; 9) странствующие монахи; 10) секулярные священники; 11) юристы и медики; 12) студенты; 13) странствующие студенты; 14) монахини; 15) император; 16) король; 17) князья и графы; 18) рыцари; 19) дворяне; 20) оруженосцы; 21) бюргеры; 22)

купцы; 23) розничные торговцы; 24) герольды; 25) крестьяне послушные; 26) крестьяне мятежные; 27) женщины и 28)... братья проповедники (то есть доминиканцы)! По существу, это были две параллельные иерархии клириков и мирян, возглавляемые соответственно папой и императором.

В «Книге о манерах» Этьен из Фужера (ок. 1175 г.) не использует еще термин «*etats*», но в первой части этой своей поэмы он определяет обязанности королей, клириков, епископов, архиепископов, кардиналов, рыцарей, а во второй — вилланов, горожан и бюргеров, дам и барышень (*demoiselles*).

Новая схема пока относится еще к иерархизированному обществу, при описании которого принято спускаться сверху вниз, за исключением испанской «Книги об Александре» (сер. XIII в.), где обзор «*etats*» начинается с крестьян и кончается дворянами. Но речь идет об иерархии, отличной от «*ordres*» трехчаст-ного общества, об иерархии, скорее горизонтальной, чем вертикальной, более человеческой, нежели божественной, не основанной на божественном праве, в которую можно, следовательно, вносить определенные изменения, не ставя под сомнение нолу Господа. Показателем идеологических и ментальных изменений может служить иконография. Картина расположенных друг над другом «*ordres*» (впрочем, никогда не исчезающая полностью и даже упрочившая свои позиции в эпоху абсолютизма) вытесняется изображением «*etats*», идущих друг за другом. Без сомнения, сильные мира сего — папа, император, рыцари, епископы — начинают танец, но движутся они не наверх, а вниз, навстречу смерти. Ибо общество величественной пирамиды «*ordres*» уступило место кортежу «*etats*», увлекающих друг друга в пляске смерти.

Эта десакрализация общества сопровождалась увеличением дробности, дезинтеграцией, бывшей одновременно и отражением эволюции социальной структуры, и результатом более или менее осознанной политики клириков, которые, видя, как ускользает от них общество «*ordres*», пытались ослабить новое общество, разделяя, атомизируя его и направляя к смерти. И разве не показала «черная смерть» 1348 г., что Господу угодно уничтожить все «*etats*»?

Разрушение трехчастной схемы общества было связано с расцветом городов в XI — XIII вв., который, как мы убедились, в свою очередь следует рассматривать в контексте роста общественного разделения труда. Трехчастная система дала трещину одновременно с системой «семи свободных искусств» тогда же, когда были наведены мосты между дисциплинами гуманитарными и техническими. Городская стройка была перекрестком, где разрушалось трехчастное общество и где вырабатывался новый его образ.

Церкви приходилось приспосабливаться, наиболее живые умы в теологии провозгласили, что всякое ремесло, всякое «положение» может быть оправдано, если оно сообразуется с идеей Спасения. Герхох Рейхерсбергский в середине XII в. в «Книге о строении Божьем» говорит о «Вселенной — сей великой стройке, сей великой мастерской» — и утверждает: «Тот, кто святым крещением отрекся от дьявола, даже если он не клирик и не монах, считается отрекшимся от мира, поскольку богатые или бедные, благородные или сервы, купцы или крестьяне, все те, кто исповедует христову веру, должны отвергнуть то, что враждебно им, и следовать тому, что им подобает». Ведь каждая категория людей (словарь остается здесь еще в рамках концепции «*ordres*») и вообще каждая профессия находят в католической вере и в апостолической доктрине правило, относящееся к своему положению, и, если, руководствуясь им, они ведут сущую битву, «они могут добиться венца», то есть Спасения. Конечно, признание сопровождалось строгим контролем. Церковь допускала существование «*etats*», отводя каждому из них соответствующий грех наподобие этикетки. Грехи класса побуждали к выработке профессиональной морали.

Поначалу это новое общество мыслилось как общество дьявола. Отсюда — начавшаяся с XII в. волна сюжетов о «дочерях дьявола», вступивших в брак с каждым из «*etats*». Так, на форзаце флорентийского кодекса XIII в. мы читаем:

«У дьявола было девять дочерей, которых он выдал замуж:

Симонию за клириков
Лицемерие за монахов
Разбой за рыцарей
Святотатство за крестьян
Притворство за слуг
Обман за купцов
Ростовщичество за бюргеров
Щегольство за матрон
Разврат же он не пожелал ни за кого выдавать, но всем ее
предлагает, как публичную девку».

Расцвела гомилетическая литература, представленная проповедями «ad status» — адресованными к каждому из «etats». Начиная с XIII в. особое место уделяли им в своих проповедях нищенствующие ордена. Генерал ордена доминиканцев Гумберт Римский кодифицировал их в середине XIII в.

Завершением признания «etats» было включение их в практику исповеди и покаяния. Учебники для исповедников XIII в., определяя грехи и спорные случаи, стали в конце концов каталогизировать грехи по социальным классам. Каждому «etats» отводились собственные грехи и пороки. Моральная и духовная жизнь социализировалась по законам общества «etats».

Иоанн из Фрейбурга в книге «Исповедальное» резюмирует свой труд «Сумму для исповедников», предназначенного для «самых простых и наименее искушенных» из них, распределяя грехи по 14 рубрикам-«etats»: 1) епископы и прелаты; 2) клирики и владельцы бенефициев; 3) священники приходские, викарии и исповедники; 4) монахи; 5) судьи; 6) адвокаты и прокуроры; 7) медики; 8) доктора и магистры; 9) князья и прочие дворяне; 10) супруги; 11) купцы и буржуа; 12) ремесленники и работники; 13) крестьяне; 14) «пахари» («labratores»).

В этом расколотом обществе духовные лидеры все же сохранили ностальгию по единству. Долго находясь в обороне, паства Христова, бедная, неизвестная остальному миру и презираемая им — от Кордовы до Византии, Каира, Багдада, Пекина, — могла укрепиться, по словам ее вождей, лишь в монолитном единстве. Христианское общество должно было составлять единое тело («corpus»). Этот идеал провозглашался и теоретиками каролингской эпохи, и папством времен крестовых походов начиная с Урбана II.

Когда, казалось, верх брало многообразие, один лишь Иоанн Солсберийский пытался в «Поликратике» (ок. 1160 г.) спасти единство христианского мира, сравнивая мирское христианское общество с человеческим телом, чьи органы и члены образованы различными профессиональными категориями. Государь является головой, советники — сердцем, судьи и местные управляющие — глазами, ушами и языком, воины — руками, финансовые чиновники — желудком и кишечником, крестьяне — ногами.

В мире поединков, каким было христианское Средневековье, общество было прежде всего ареной борьбы единства и многообразия, мыслившегося в свою очередь как поединок добра и зла. Ибо очень долго тоталитарная по духу система христианского Средневековья отождествляла добро с единством, а зло — с многообразием. В повседневной жизни между теорией и практикой устанавливалась диалектическая связь и утверждение единства чаще всего сочеталось с неизбежной терпимостью к многообразию.

Какова была голова у этого тела, являвшего собой христианский мир? Фактически тело было двуглавым, его главами были папа и император. Но средневековая история знала скорее их разногласия и борьбу, чем союз, реализованный, пожалуй, лишь однажды, и притом в достаточно эфемерном виде, Оттоном III и Сильвестром II около тысячного года. В остальное время отношения глав христианского мира демонстрировали соперничество на самой вершине двух господствующих, но конкурирующих между собой церковной и светской иерархий, священников и воинов, шаманической власти и военной силы.

Впрочем, между папством и империей поединок далеко не всегда происходил в чистом виде. Иные протагонисты спугывали карты в этой игре.

Со стороны церкви ситуация прояснилась довольно быстро. После того как стала очевидной невозможность супрематии патриарха Константинопольского и восточного христианства над Римом, что подтвердила схизма 1054 г., лидерство папства не оспаривалось западной церковью. Мог взбунтоваться тот или иной епископ, император мог выдвигать на какое-то время антипапу (в одном лишь XII в. их был десяток), но папа, безусловно, был главой религиозного общества, хотя и провозглашал свое верховенство поэтапно и лишь постепенно переходил к нему на деле. В этом отношении решающий шаг совершил Григорий VII в своем «Диктате папы» 1075 г., где он провозгласил среди прочего: «Лишь римский епископ может быть по праву назван вселенским... Единственно его имя должно провозглашаться во всех церквях... тот, кто не принадлежит римской Церкви, не может считаться католиком». За один XII в. «викарий святого Петра» превратился в «викария Христова» и стал контролировать канонизацию и освящение новых святых. В XIII и XIV вв. прежде всего за счет развития папской фискальной системы церковь превращается в настоящую монархию. И лишь на рубеже XIV — XV вв. папское верховенство будет поставлено под угрозу соборным движением, которое, впрочем, в итоге потерпит поражение.

На фоне папских успехов император далеко не столь бесспорно мог считаться главой общества мирян. Периоды исчезновения императорской власти были неизмеримо длиннее тех, когда вакантным оставался папский престол (как, например, 34 месяца, отделявшие смерть Климента IV в ноябре 1268 г. от избрания Григория X в сентябре 1271 г.), эти события считались все-таки исключением. Императора Запад не знал с 476 по 800 г., он практически вновь исчезает в 899 г., и, уж во всяком случае, с 924 по 962 г., его не было также в период Великого междоцарствия — от смерти Фридриха II (1250 г.) до избрания Рудольфа Габсбурга (1273 г.). В 1198 г. избрали одновременно двух императоров — Отгона IV и Рудольфа Швабского, затем с 1212 по 1218 г. императору Оттону IV противостоял враждебный ему император Фридрих II. Не следует забывать также, что довольно много времени могло проходить между выборами в Германии, которые давали избранному лишь титул «короля Римского», и коронацией в Риме, превращавшей его в подлинного императора. Так, Фридрих Барбаросса, ставший королем Римским в Аахене 9 марта 1152 г., короновался императорской короной в Риме лишь 18 июня 1155 г. Фридрих II стал королем в Аахене 25 июля 1215 г., а императором в Риме — 22 ноября 1220 г. Но главное, гегемония императора в христианском мире была скорее теоретической, чем реальной.

Она часто встречала сопротивление в Германии, ее оспаривали в Италии и чаще всего игнорировали наиболее могущественные государи. Со времен Оттонов короли Франции не считали себя как-либо подчиненными императору. Начиная с XII в. французские, английские и испанские правоведы-канонисты отрицали, что их короли подвластны императору или законам империи. Папа Иннокентий III признал в 1202 г., что король Франции в обладании своим земным имуществом не имеет де-факто никого выше себя. Один из канонистов заявил в 1208 г., что всякий король обладает в своем королевстве теми же правами, что и император в империи. В своих «Установлениях» Людовик Святой заявил, что «король является держателем лишь у Бога и самого себя» («Li rois ne tient de nullui fors de Dieu et de lui»). Впрочем, с X в. начался процесс, названный Робертом Фольцом «раздроблением понятия империи», когда происходило пространственное ограничение влияния императорского титула. Характерно, что он появляется в странах, не попавших под власть Каролингской империи, — на Британских островах и на Иберийском полуострове. В обоих случаях титул императора отражал притязания на супрематию над единым регионом: над англосаксонскими королевствами, над христианскими иберийскими королевствами. В Великобритании имперские грезы длились не более века: Этельстан впервые велел именовать себя «императором» в 930 г., Эдгар в 970 г. провозгласил: «Я, Эдгар, милостью Божией августейший император всего Альбиона», и в последний раз Кнут (ум. в 1055 г.) объявил: «Я, Кнут, император, милостью Христовой королевством англов на Острове

завладевший», а его биограф подвел итог: «Им подчинены были пять королевств: Дания, Англия, Британия, Шотландия, Норвегия, — он был императором».

В Испании имперская химера просуществовала дольше. Ордоньо II в 917 г. назвал своего отца Альфонса III «императором», и этот термин сохранялся во многих дипломах и хрониках X в. наряду с любопытным употреблением епископом Компостельским титула «апостолический», обычно применявшегося лишь к епископу Римскому — к папе. Начиная с Фердинанда I (1037 — 1065), объединившего Леон и Кастилию, императорский титул стал обычным, а с 1077 г. эта формула употреблялась в двух видах: «Божьей милостью император всей Испании» и «Император всех наций Испании». Идея испанской империи достигла своего расцвета при Альфонсе VII, коронованном как император в Леоне в 1135 г. После него кастильская монархия разделилась, Испания распалась на «пять королевств», и титул «императора Испании» исчез, чтобы вновь на короткое время появиться применительно к Фердинанду III, после взятия им Севильи в 1248 г.

Итак, даже будучи пространственно ограниченной, идея империи всегда была связана с идеей единства, пусть и единству фрагментарного.

В то же время германские императоры, несмотря на декларации своих канцелярий и метафоры льстецов (так, в 1199 г. Вальтер фон дер Фольгевейде призывал «своего императора» Филиппа Швабского украсить чело диадемой, увенчанной белым опалом — путеводной звездой всех государей), все чаще ограничивали свои притязания пределами Священной Римской империи германской нации, то есть Германией и частью Италии. Германия стояла на первом месте, особенно после того, как императора стала избирать коллегия немецких князей. Уже Фридрих Барбаросса, принявший титул императора до своей коронации в Риме (18 июня 1155 г.), называл выбравших его князей «соучастниками славы императора и империи». 1198 год был ознаменован двойной победой этой коллегии выборщиков, поскольку вместо того, чтобы им брать сына Генриха IV (будущего Фридриха II), они оказали предпочтение его брату Филиппу Швабскому, а вскоре выбрали и его конкурента — Оттона, получив, таким образом, двух императоров вместо одного. Отныне император был прежде всего немецким под титулом императора Священной Римской империи германской нации. Идея вселенской империи в последний раз облачилась в ослепительные одеяния при Фридрихе II, увенчавшем свои юридические притязания на всемирное верховенство эсхатологическими аргументами. В то время как его противники видели в нем Антихриста или предтечу Антихриста, он представлял себя «императором конца времен», спасителем, который приведет мир к золотому веку — «дивной неизменчивости» («*immutator mirabiliss*»), новым Адамом, новым Августином, почти что новым Христом. В 1239 г. он чествовал место своего рождения город Езу в Марке (Италия) как свой собственный Вифлеем.

На деле поведение императоров всегда было более осмотнительным. Они довольствовались лишь почетным превосходством, моральный авторитет придавал императорам нечто вроде права патроната над прочими королевствами. «Авторитет предполагает патронат над всем миром», — сказал Оттон Фрейзингенский, дядя Фридриха Барбароссы.

Итак, во главе христианского мира стояли папа и государь (король-император) или, как гласила историческая формула, Священство и Власть, власть духовная и власть земная, священник и воин.

Без сомнения, даже парализованная имперская идея сохраняла своих горячих приверженцев. Данте, этот великий одержимый Средневековья, истосковавшийся по единству христианского мира, молит, требует, проклинает императора, не исполняющем своего долга высшего и вселенского государя.

Подлинный конфликт разворачивался между «*sacerdos*» и „гех“, между священным владыкой и государем. Каждая из сторон пыталась разрешить его в свою пользу. Соединяя обе власти в своем лице, папа становился императором, король становился священником. Каждый пытался реализовать по-своему единство духовной и светской власти

(„rex-sacerdos“).

В Византии «басилевсу» удалось заставить рассматривать себя как священную особу, бывшую одновременно главой духовной и политической власти. Это и получило название цезарепапизма. Похоже, что и Карл Великий пытался объединить в своем лице звания духовное и императорское. Возложение рук во время коронации 800 г. напоминало обряд рукоположения в священство, как если бы Карл отныне облакался властью священника. Он именовался новыми Давидом, новым Соломоном, новым Иосией, но Г. Фихтенау остроумно заметил, что в тех случаях, когда его называли «государем и священником» («rex et sacerdos»), ему, как уточнял Алкуин, приписывались функции проповедника, пастыря, но не священника, наделенного благодатью. Ни один текст не описывает его как нового Мельхиседека — единственного ветхозаветного царя-священника в строгом смысле этого слова.

И все же короли и императоры на протяжении всего Средневековья пытались добиться признания религиозного, сакрального характера своей власти.

Важнейшим средством для этого была коронация — религиозная церемония, превращавшая правителя в помазанника Божия, в государя, «коронованного Богом». Миропомазание было таинством и сопровождалось литургическими возгласиями, так наз. «*Laudes regiae*», в которых Э. Канторович справедливо усмотрел торжественное признание церковью причисления нового суверена к небесной иерархии, пение литаний святым символизировало союз и симметрию двух миров, они провозглашали "космическую гармонию Неба, Церкви и Государства».

Миропомазание было также и своего рода рукоположением. Император Генрих III заявил в 1046 г. Вазону, епископу Льежскому: «Я, получивший право повелевать всеми, также помазан святым елеем». Ги Оснабрюкский, один из сторонников Генриха IV в его борьбе против папы Григория VII, писал в 1084 — 1085 гг.: "Государь должен быть выделен из толпы мирян, ибо, будучи помазан священным елеем, он участвует в священстве». В преамбуле диплома 1143 г. Людовик VII напоминает: «Мы знаем, что по предписаниям Ветхого завета и по церковным законам наших щей лишь короли и священники освящаются помазанием святым елеем. Тем, кто выделен из всех и объединен друг с другом святейшим елеем и поставлен во главе народа Божия, надлежит обеспечить своим подданным блага не только земные, но и духовные и поддерживать друг друга».

Ритуал коронации зафиксирован в особых установлениях. Такой «коронационный чин французских королей», так наз. «манускрипт из Шалона-на-Марне», датированный примерно 1280 г., сохранился в Парижской национальной библиотеке. Чудесные миниатюры этой рукописи воспроизводят некоторые наиболее значимые эпизоды церковного обряда, утверждавшего одновременно военного вождя (вручение шпор и меча) и лицо почти священное (миропомазание, а также вручение религиозных символов — кольца, скипетра и короны). Картины изображают короля, встречаемого у врат Реймского собора; аббата святого Ремигия Реймского, несущего «ампулу» — сосуд с миррой; короля, произносящего свою клятву, склонившегося во время пения литании; короля, получающего шелковые туфли от Великого камергера, золотые шпоры — от герцога Бургундского; нанесение елея на лоб и на руки (в действительности — еще и на грудь, на спину, на плечи); короля, одетого в фиолетовую тунику и слушающего мессу; короля, принимающего меч, затем — кольцо, скипетр и, наконец, корону; причащающегося после коронации королевы. Подробности церемонии описаны по этому «чину» де Пангом в работе «Христианнейший король».

П. Е. Шрамм раскрыл религиозную символику знаков императорской королевской власти. Императорская корона, состоявшая из диадемы, образованной восьмью вставными золотыми пластинками, и верхней дуги, разделенной на восемь полукружий, использовала символическое значение этой цифры, означавшей жизнь вечную. Императорская корона, как и восьмиугольник дворцовой капеллы в Аахене, была образом «Небесного Иерусалима» со стенами, покрытыми золотом и драгоценными камнями. «Чин» именовал корону «Знаком славы». Царство Христово корона возвещала крестом — символом победы, и уникальным

белым опалом, называемым «Сиротой» («orphanus»), — знаком превосходства, и изображениями Христа, Давида, Соломона и Езекии. Кольцо и длинный жезл («virga») соответствовали знакам епископской власти. Императору вручали также «святое копьё» или «копьё святого Мавра», которое несли перед ним во время церемонии, в нем хранился гвоздь из креста Христова.

Вспомним, что короли Англии и Франции обладали даром лечить золотушных больных своим прикосновением. О том, что король предпочитал харизматическую власть военной силе, свидетельствует «Трактат о коронации» Жана Голейна, написанный по предписанию Карла V в 1374 г. Король «Богу приносит оммаж за свое королевство, которым он владеет не мечом, как говорили в древности, а от Бога, что засвидетельствовал король на своей золотой монете: „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat“». Он не сказал: «Меч царствует и побеждает», но: «Иисус побеждает, Иисус царствует, Иисус правит».

Так, став христианами, варварские короли пытались вернуть себе ту власть царя-жреца, которой обладали франкские языческие вожди — «reges criniti», косматые цари коротковолосого народа, в чьих длинных волосах таилась чудодейственная власть царей, «подобных Самсону».

Со стороны папы подобные попытки присвоения императорских функций особенно ощутимы начиная с XIII в., с создания подложного «Константинова дара». Император якобы оставлял Рим папе, перебравшись с этой целью в Константинополь. Он разрешил ему носить диадему и символы церковной власти и присвоил римскому духовенству знаки сенаторского достоинства.

«Мы повелели, что наш достопочтимый отец Сильвестр, верховный понтифик, и все его преемники должны носить диадему, сиречь корону чистого золота с драгоценными камнями, которую мы отказываем ему с головы нашей».

Сильвестр якобы отказался от диадемы, приняв лишь белый высокий колпак — фригиум, бывший также знаком царского достоинства восточного происхождения. «Фригиум» быстро превратился в корону, и «установление» IX в. уже называет его «царственным» («regnum»). Вновь появившись в XI в., он «изменил форму и смысл», став тиарой. Круг основы митры трансформировался в диадему, украшенную драгоценностями. В XII в. ее сменила корона с зубцами. В XIII в. она была надставлена еще одной, а после, вероятно при авиньонских папах, — еще и третьей, став «tiregnum» — трижды царственной. Еще Иннокентий III в начале XIII в. пояснял, что папа носит митру «в знак понтификата» — высшей духовной власти, и тиару — в знак высшей земной власти. «Царю-жрецу» соответствовал «жрец-царь».

Папа одевал тиару не при отправлении своих обязанностей священнослужителя, но во время церемоний, где он выступал как государь. Начиная с Пасхалия II в 1099 г. папы короновались ей при восшествии на престол. С Григория VII их «интронизация» в Латране сопровождалась вручением красной императорской мантии («sarra rubea»); в спорных случаях она придавала дополнительную легитимность своему обладателю по сравнению с антипапой, этой мантии лишенным. Со времен Урбана II римское духовенство именovalo себя «курией», напоминая одновременно и римский сенат, и феодальный двор.

Основное значение григорианской реформы заключалось не только в том, что папство освободилось само и начало освобождать церковь из-под диктата светского феодального порядка, но и в том, что папство утвердилось во главе и церковной, и светской иерархии, пытаясь провозгласить и на деле подчинить императорскую и королевскую власть своему господству. Общеизвестны нескончаемые тяжбы, огромная литература, порожденная спором за инвеституру, который был лишь одним из аспектов и одним из эпизодов великой борьбы Власти со Священством, или, как мы убедились, борьбы двух «ordres». Можно вспомнить, как святой престол при Иннокентии III множил число вассальных государств. Запомним наиболее значимые символы, вокруг которых кристаллизовался конфликт, служившие, как это свойственно Средневековью, одновременно и теорией, и образом. Такими символами были два меча и два светила.

Впрочем, кто лучше церкви мог помочь государям? Лев III сотворил Карла Великого, в значительной мере бенедиктинцы из Флери (аббатства Сен-Бенуа-сюр-Луар) и из Сен-Дени сотворили Капетингов. Церковь играла на двойственности королевской власти — главы феодальной иерархии, но также и главы иерархии иной, государственной, публичной власти, чуждой феодальному порядку. Церковь поддерживала ее против опасного противника — власти военной: священник помогал королю смирить воина.

Это делалось, прежде всего чтобы превратить королевскую власть в свое орудие, отведя ей роль защитника церкви — церкви реальной, как духовного сословия, и церкви идеальной, как церкви бедных. Королевской власти отводилась роль «светской руки», исполняющей приказы духовного класса, делающей грязную работу, связанную с насилием, с пролитием крови, — всем тем, от чего церковь умывала руки.

Вся клерикальная литература определяла эту королевскую обязанность... В многочисленных «Зерцалах государей», получивших распространение с IX в., государей изображали марионетками в руках епископов — от почтительного и смиренного Людовика Благочестивого до Людовика Святого, пытавшегося предстать образцовым государем в моральном и духовном плане.

Парижский собор 829 г. определил обязанности королей, которые, как заявляли епископы, «состоят в том в особенности, чтобы управлять народом Божиим в законе и в справедливости и заботиться о поддержании мира и согласия. В первую очередь королю надлежит быть защитником церквей и служителей Божьих, вдов, сирот и всех прочих бедных и неимущих. Он должен также по мере возможности проявлять себя грозным и рьяным, дабы не произошла какая-либо несправедливость; а если и свершится одна из них, то лишить кого бы то ни было надежды укрыться в своей злодейской дерзости, дабы все знали, что никто не останется безнаказанным». Эти же слова позаимствовал и развил двумя годами позже Иона, епископ Орлеанский, в своем трактате «О королевских учреждениях», остававшемся в течение всего Средневековья моделью для многочисленных «Зерцал государей».

За это церковь освящала королевскую власть и провозглашала необходимость того, чтобы все подданные слепо подчинялись этой власти, поскольку «тот, кто противится сей власти, противится порядку, угодному Богу».

Для императора или короля в большей степени, чем для феодального сеньора, клирики устанавливали параллель между небом и землей, превращая монарха в олицетворение Бога на земле. Иконография имела тенденцию объединять изображение Господа во славе с изображением императора на троне.

Гуго из Флери в своем «Трактате о королевской власти и церковном достоинстве», посвященном Генриху I Английскому, дошел до сравнения короля с Богом-отцом, а епископа — лишь с Христом. «Лишь один царствует в царствии небесном — тот, кто мечет молнии. Справедливо, чтобы в подражание ему лишь один царствовал на земле, один, коему отведено быть примером для всех людей». Так говорил Алкуин, и то, что он сказал об императоре, относилось и к королю с того момента, как тот становился «императором в своем королевстве».

Но если король отклонялся от этой программы и переставал подчиняться, церковь быстро напоминала ему о его ничтожестве, лишая его власть столь желанного священного характера.

Филипп I Французский, отлученный за свой брак с Бертрадой де Монфор, был поражен Богом постыдными болезнями (по Ордерику Виталию) и потерял свою воинскую силу (по Гиберту Ножанскому). Григорий VII напомнил императору, что, не умея изгонять бесов, тот уступает простым экзорцистам. Гонорий Августодунский утверждал, что король есть мирянин: «Ведь король может быть лишь или клириком, или мирянином. Если он не мирянин, он клирик. Но если он клирик, он должен либо совершать причастие, либо быть проповедником, либо экзорцистом, либо ризничим, либо дьяконом, либо протодьяконом, либо священником. Если он не обладает никаким из этих санов, тогда он не клирик. Если он

не мирянин и не клирик, он должен быть монахом. Но его жена и его меч мешают ему считаться монахом».

Мы подошли здесь к причинам того упорства, с которым Григорий VII и его преемники добивались от клириков и отказа от использования оружия, и соблюдения celibата. Речь шла не

о моральном состоянии, а о том, чтобы охранить сословие духовенства от пролития крови и спермы — нечистых жидкостей, подверженных табу, о том, чтобы отделить класс священников от класса воинов, приниженных, таким образом, смешением с массой прочих мирян. После того как епископ Фома Бекет был убит рыцарями (возможно, по указанию Генриха II), духовенство обрушило град яростных нападок на людей военных. Экстраординарные меры, предпринятые церковью во всем христианском мире, по прославлению мученика, которому посвящались церкви, алтари, статуи, фрески, в честь которого устраивались процессии, отражали борьбу этих двух «ordres». Соратник убитого прелата, Иоанн Солсберийский, воспользовался этим случаем, чтобы максимально развить доктрину ограничения церковью королевской и пасти. Предусмотрительная церковь начала обосновывать это учение еще тогда, когда она, руководствуясь собственными интересами, превозносила эту власть.

Дурной король тот, кто не почитает церковь, становится тираном. Он лишается своего королевского достоинства. В 829 г. на Парижском соборе епископы определили: «Если король управляет с благочестием, справедливостью и милосердием, он заслуживает своего королевского звания. Если же он лишен этих качеств, то он не король, но тиран». Такова была неизменная доктрина средневековой церкви. Св. Фома Аквинский подкрепил ее солидными теологическими рассуждениями. Но по поводу практических следствий, вытекающих из осуждения дурного короля, ставшего тираном, ни в теории, ни в практике средневековой церкви не содержалось четких указаний. Случались отлучения, интердикты и низложения, но только Иоанн Солсберийский осмелился пойти до конца в этом учении, и там, где иного решения найти было уже невозможно, он проповедовал тираноубийство. Так "дело Бекета" показало, что соперничество двух сословий логически завершилось сведением счетов. Но теоретически оружие церкви оставалось в большей степени духовным. В ответ на притязания императоров и королей папы использовали образ двух мечей, еще в святоотеческой литературе символизировавших власть духовную и власть светскую. Алкуин требовал оба меча для Карла Великого. Св. Бернар выдвинул сложное учение, сводившееся в конечном счете к передаче двух мечей папе. Апостол Петр обладал обоими мечами. Священник использует меч духовный, рыцарь — меч светский, но только во имя церкви, по знаку («pu-tu») священника. Императору, таким образом, оставалось лишь передавать приказания. Канонисты XIII в. не колебались более. Папа стал викарием Христа — и уже это делало его хранителем двух мечей, и лишь папа — наместник Христа — мог оба их использовать.

Так же обстояло дело и с двумя светилами. Римский император отождествлял себя с Солнцем, и некоторые средневековые императоры пытались возродить это сравнение. Со времен Григория VII и особенно при Иннокентии III папство решительно пресекало эти попытки. Из книги Бытия оно заимствовало образ двух светил: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освещения земли, и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великих: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью». Для церкви большим светилom — Солнцем — был папа, светилom меньшим — Луной — император или король. Луна не имеет собственного света, лишь отражает солнечный свет. Лунный свет — император был главой ночного мира, тогда как миром дневным управлял папа, являющийся его символом. Если вспомнить, что означали день и ночь для средневекового человека, понятно, что вся светская иерархия оказывалась для церкви миром подозрительных сил,

теневого частью социального тела.

Папа сумел помешать императору и королю присвоить себе священнические функции, но ему не удалось захватить светскую власть. Два меча так и остались в разных руках. Императорская власть перестала играть заметную роль с середины XIII в. Но Филиппу Красивому удалось нанести решающее поражение Бонифацию VIII. Однако к этому времени уже практически повсеместно в христианском мире государи крепко держали светский меч в своих руках. Двум господствующим группам оставалось лишь забыть свою вражду и сплотиться для сохранения власти в обществе. В период Новой истории союз алтаря и трона, меча и кропила будет поддерживаться, несмотря на все перипетии прагматических санкций и конкордатов, галликанизма, йозефинизма, наполеоновской тирании. Сквозь антагонизмы будет поддерживаться средневековое согласие Священства и Власти, армии духовной и армии военной, «молящихся» и «воюющих» в их эксплуатации «работающих». «Люди добрые, — говорил около 1170 г. епископ Парижский Морис де Сюлли, выбирая французский язык, чтобы быть лучше понятым, — воздайте сеньору земли вашей должное. Верьте и поймите, что ему вы должны ваши цензы, оброки, штрафы, службы, извозную и ямскую повинность. Отдайте все, в должное время и в должном месте, полностью».

Мечты о единстве, вечно несбыточные. «Дом Божий, единым почитаемый, разделен на три части», — говорил Адальберон Ланский на пороге XI в., когда рассыпалось как несостоятельное единство христианского мира, которое крестовые походы не сумели ни создать, ни воссоздать, но лишь разрушили еще сильнее. Социальный разлом, политический разрыв, закрепивший двоевластие папы и императора (в 1077 г. Каносса ознаменовала окончательный крах той кратковременной гармонии, что объединила в тысячном году Оттона III и Сильвестра II), затем еще и национальные разлады и в довершение всего — языковые барьеры.

Конечно, яркие исторические примеры и исключения, порой счастливые, порой драматичные, показывают, что нации не тождественны языкам. Но никто не будет отрицать, что языковые различия есть фактор в большей степени разъединяющий, чем объединяющий. Люди Средневековья чувствовали это весьма остро.

В жалобах клириков разноязычие представлялось следствием первородного греха, его связывали также с Вавилоном — матерью всех пороков. Рангериус Луккский в начале XII в. утверждал: «Как некогда Вавилон умножением языков к старым бедам прибавил еще худшие новые, так и умножение народов увеличивает жатву злодеяний».

Грустное свидетельство этого содержится в истории о Мейере Гельмбрехте, где немецкий крестьянин XIII в. не узнает своего блудного сына, кичившегося знанием многих языков.

«Возлюбленные чада мои, — отвечал им сын на нижненемецком, — да ниспошлет Господь вам благодеяния свои». Сестра его бросилась к нему, заключив в свои объятья. Он же сказал ей: «*Cratia vester!*» Следом подошли родители, преисполненные радости. Отцу своему сказал он: «*Deu sol!*» — а матери, на богемский манер: «*Dobra utra!*» Муж и жена переглянулись в недоумении, и хозяйка молвила: «Муж, мы обманулись, это не наше чадо. Это богемец либо венед». Отец сказал: «Это романец, хоть он и похож весьма на моего сына, да хранит его Господь, но это не он». Тогда сестра его Готлинда провозгласила: «Это не ваш ребенок: раз он говорит со мной на латыни, значит, он клирик». «Клянусь, сказал их работник, судя по его словам, он родом из Саксонии или Брабанта. Должно быть, он саксонец, раз говорит по-нижненемецки». Тогда отец воскликнул в простоте своей: «Если ты сын мой, Гельмбрехт, то я приму тебя тогда, когда ты молвишь слово по нашему обычаю, на манер дедов наших, чтобы я мог тебя понять. Ты говоришь мне «*deu sol*», и не пойму я, что это значит. Уважь мать свою и меня, мы это заслужили. Скажи слово по-немецки, и тогда не работник, но я сам стану чистить твою лошадь».

Средние века, всегда находившие чувственный образ для своих идей, для изображения зла разноязычия использовали символ Вавилонской башни. Подражая восточной иконографии, чаще всего придавали ей зловещий, катастрофический характер. Основываясь

на богатой коллекции материалов, включенных в свой значительный труд, Арно Ворст раскрыл все значение этого образа для средневековой ментальности.

Томительный образ Вавилонской башни также возникает и получает распространение около тысячного года. Наиболее раннее ее изображение из известных на Западе сохранилось в манускрипте Кэдмона конца X — начала XI в. В «Вопросах» («Interrogatio») начала того же XI в. можно найти следующие уточнения: «Сколько языков в мире? — Семьдесят два. Почему именно столько, не больше и не меньше? — По той причине, что у Ноя было три сына — Сим, Хам и Иафет. У Сима было двадцать семь сыновей, у Хама — тридцать, у Иафета — пятнадцать, всего же их было семьдесят два».

С этим средневековым призраком Вавилона пытались бороться клирики от Средневековья до наших дней. Их орудием была латынь. Именно она могла бы обеспечить единство средневековой цивилизации, тем самым — единство цивилизации европейской. Как известно, этот тезис блестяще доказал Э.Р. Курциус. Но какая латынь? Латынь мертвая, от которой отделились ее подлинные наследники — «народные» языки, стерилизованные всеми ренессансами, начиная с каролингского. Кухонная латынь, как ее окрестят гуманисты? Нет, напротив, латынь без вкуса и запаха, кастовая латынь, латынь клириков, скорее средство господства над массами, чем средство международного общения. Она являла пример сакрального языка, изолирующего социальную группу, обладавшую монополией на умение если не понимать его, что было не столь важно, то говорить на нем. Многие сожалели, что народ превращал основные молитвы в тарабарщину, этому посвящена, например, «"Ave Maria" виллана» Готье де Куанси. Но и сами священники пребывали на сей счет в крайнем невежестве. Гиральд Камбрийский собрал в 1199 г. серию «перлов» английского духовенства. О духовенстве своего диоцеза такие сведения дает Эд Ригго, архиепископ Руана с 1248 по 1269 г. Латынь средневековой церкви, казалось, могла стать непонятным языком, как в коллегии арвальских братьев в Древнем Риме. Даже в университетских кругах латынь поддерживалась с трудом. В статутах коллегий необходимо было запрещать студентам и магистрам пользоваться «народными» языками вместо латыни.

Живой реальностью средневекового Запада было постепенное и неуклонное торжество народных языков, умножение числа переложений, переводов, словарей.

Конечно, всегда хватало и ностальгических грез о возврате к языковому единству, понимаемому как залог чистоты, обретение золотого века. Иоахим Флорский бичевал Вавилонскую башню — символ гордыни людей, одержимых Сатаной, и предрекал, что, когда на обновленной земле утвердятся Вечное Евангелие и когда перерожденная церковь станет единственной госпожой народов, ее царство будет также царством латыни: «Церковь Римская, сиречь все латинство». Латиноязычная христианская исключительность воскрешала языковой расизм греков. Все, кто не говорит по-латыни, — варвары, которые, собственно, и речи-то лишены, и кричат, как звери, не имея языка. И даже писатели, пишущие на «народных» языках, под влиянием клириков делают латынь синонимом понятия «язык». У Гильома IX Аквитанского, как и у Кретьена де Труа, птицы поют «на своей латыни».

Вытеснение латыни «народными» языками сопровождалось ростом языкового национализма. Формирующаяся нация самоутверждалась, защищая свой язык. Якоб Свинка, архиепископ Гнезно, в конце XIII в. жаловался в Римскую курию на немецких францисканцев, не понимающих по-польски, и велел произносить проповеди на польском языке «для защиты и прославления языка польского». Средневековая Франция может служить ярким примером того, как нация имела склонность идентифицировать себя с языком — с величайшим трудом шло слияние Франции Севера и Франции Юга, языка «ойль» и языка «ок».

Уже в 920 г. во время встречи в Вормсе Карла Простоватого с Генрихом Птицеловом молодые французские и немецкие рыцари схватились в кровавой битве, будучи, по Рихтеру, «разъяренными языковыми различиями».

Хильдегарда Бингенская была уверена, что Адам и Ева говорили по-немецки.

Некоторые настаивали на первенстве французского языка. В Италии XIII в. анонимный автор поэмы об Антихристе, написанной по-французски, утверждал:

Язык французский прочих столь богаче,
Что, тот, кто стал его учить впервые,
Не сможет говорить уже иначе,
Не сможет языки учить другие.

А Брунетто Латини свою «Книгу о сокровище» писал на французском, «так как это наречие более приятно и более доступно всем людям».

Когда на обломках Римской империи установилось многообразие варварских наций и когда принцип «национальный» вошел в соприкосновение с «территориальным» принципом законов и даже вытеснил его, клирики создали вид литературных произведений, приписывающих каждой нации свой особый порок и особую добродетель. Похоже, что в период подъема национализма после XI в. верх одержал антагонизм, поскольку отныне в качестве «национального атрибута» за каждой нацией признавались лишь пороки. Это было особенно заметно в университетах, сводивших вместе магистров и студентов, объединенных в «нации», которые, впрочем, не соответствовали «большим» нациям в территориальном и политическом значении этого слова. По Якову Витрийскому, студенты называли «англичан пьяницами хвостатыми (ср. с „хвостатыми англичанами“ времен Столетней войны), французов — надменными неженками, немцев — неотесанными распутниками, нормандцев — пустыми хвастунами, пуатьевинцев — предателями и пройдохами, бургундцев — грубыми тупицами, пустыми ветрениками, ломбардцев — порочными и скупыми трусами, римлян — склочными клеветниками, сицилийцев — жестокими тиранами, брабантцев — вспыльчивыми головорезами, фламандцев — жирными обжорами, бездельниками, разжиженными, словно масло». После чего, продолжал Яков Витрийский, «от оскорблений часто переходили к драке».

Так лингвистические группы выстраиваются попарно с пороками, подобно группам социальным, обрученным с дочерьми дьявола. Разделенное общество, казалось, было обречено на посрамление и несчастья.

И все же, подобно тому как одни из наиболее дальновидных умов оправдали разделение общества на социопрофессиональные группы, другие добились признания лингвистического и национального разнообразия.

Для этого использовался замечательный текст Блаженного Августина: «африканский, сирийский, греческий, еврейский и все прочие языки придают разнообразие одежде этой царицы -христианской доктрины. Но как разнообразие это соединено в единую одежду, так и все языки соединены в одну веру. Пусть в одежде будет разнообразие, но не будет разрывов».

Иштван I Венгерский утверждал около 1030 г.: «Гости, приезжавшие из разных стран, привозят языки, обычаи, орудия и различное оружие, и все это разнообразие служит королевству украшением, двору — убранством, а врагам — устрашением. Ибо королевство, в котором лишь один язык и один обычай, — слабо и непрочно».

Герхох Рейхерсбергский в XII в. провозглашал, что нет глупых ремесел и что всякая профессия может привести к спасению, а святой Фома в XIII в. утверждал, что все языки способны привести к истине: «*Quaecumque sint illae linguae seu nationes, possunt erudiri de divina sapientia et virtute*».

Здесь чувствуется крах тоталитарного идеала общества и готовность движения к плюрализму и терпимости.

Средневековое право очень долго не признавало распада этого единства. Законы единства оказались весьма долговечными. Из римского права в каноническое пришла максима, которой руководствовалась вся средневековая юридическая практика: «Что

касается всех, должно быть одобрено всеми» («*Quod omnes tangit ab omnibus comprobari debet*»). И нарушение единогласия рассматривалось как скандал. Известный канонист XIII в. Угуччио называл того, кто не присоединялся к мнению большинства, «позорником» (*turpis*), поскольку «позором являются разногласия и разномыслие в управлении, в корпорации, в коллегии». Ясно, что в этом единогласии ничего не было от «демократии», хотя бы потому, что правители и юристы вполне осознанно отреклись от этого понятия, заменяя его в теории и на практике понятием «качественного большинства». «Лучшая и основная часть» («*maior et sanior pars*»), где слово «лучшая» предопределяло не количественный, но качественный смысл слова «основная». Теологи и декретисты XIII в. с грустью констатировали, что «природа человеческая склонна к разногласиям», видя в этой испорченности результат первородного греха. Склонности средневекового ума были таковы, что постоянно вызвали к жизни всевозможные общины и группы, называемые тогда «университетами» («*universitates*»). Под этим термином понималась тогда любая корпорация или коллегия, а не только университеты в нашем понимании. Идея группы неотступно преследовала средневековую мысль, пытавшуюся определить наименьшее число составляющих ее лиц. Отталкиваясь от определения «Дигест»: «Десять человек образуют народ, десять овец — стадо, но для стада свиней достаточно четырех-пяти голов», канонисты XII — XIII вв. увлеченно спорили о том, с двух или с трех лиц начинается группа. Главной задачей было не оставлять индивида в одиночестве. От одиночки следовало ожидать лишь злодеяний. Обособление считалось большим грехом.

Пытаясь приблизиться к людям Средневековья в их индивидуальности, мы неизменно убеждаемся, что индивид, принадлежавший, как и в любом другом обществе, сразу к нескольким общинам и группам, не столько утверждался, сколько полностью растворялся в этих общностях.

Гордыня считалась «матерью всех пороков» лишь потому, что она являла собой «раздутый индивидуализм». Спасение может быть достигнуто лишь в группе и через группу, а самолюбие есть грех и погибель.

Средневековый индивид был, таким образом, опутан сетью обязательств и солидарностей, вступавших в конечном счете в противоречие друг с другом, что давало человеку возможность освободиться и самоутвердиться в результате неизбежного выбора. Наиболее типичным было положение вассала нескольких сеньоров, принужденного к выбору в случае конфликта между ними. Но обычно такие отношения зависимости, имеющие целью еще крепче привязать к себе индивидуума, согласовывались друг с другом, образуя иерархию. Из всех таких связей наиболее важными были отношения феодальные.

Показательно, что в течение долгого времени за индивидом вообще не признавалось право на существование в его единичной неповторимости. Ни в литературе, ни в искусстве не изображался человек в его частных свойствах. Каждый сводился к определенному физическому типу в соответствии со своей социальной категорией и своим рангом.

Благородные имели белые или рыжие волосы, а также золотые волосы, цвета льна, часто — выющиеся; голубые «правдивые» глаза — трудно не усмотреть в этом вторжения северных воинов в каноны средневековой красоты. И если великий деятель случайно не укладывался в общепринятые условности физической характеристики (что, например, произошло с Карлом Великим, действительно имевшим, как это выяснилось после вскрытия его могилы в 1861 г., семь футов роста — 192 см, приписываемых ему биографом Эйнхардом), то его личность все равно полностью оставалась погребенной под грудой общих мест. Биограф наделял императора полным набором аристотелевских и стоических качеств, необходимых особе его ранга.

По многим причинам автобиографии были крайне редки и часто весьма условны. Как показал Георг Миш в своей «Истории автобиографии», лишь в конце XI в. появляется первая частная автобиография, написанная Отлохом Сант-Эммеранским. И речь шла пока лишь о «Книжечке о своих искушениях, превратностях Фортуны и писаниях», стремящейся на примере автора преподать моральные уроки. Эту же задачу ставил перед собой и столь

независимый ум, как Абельяр, в «Истории моих бедствий», которую можно перевести также как «Историю моих дурных примеров». И даже книга «О своей жизни» аббата Гиберта Ножанского (1115 г.) при всей своей свободной манере изложения была лишь подражанием «Исповеди» Блаженного Августина.

Средневековый человек не видел никакого смысла в свободе в ее современном понимании. Для него свобода была привилегией, и само это слово чаще всего употреблялось во множественном числе. Свобода — это гарантированный статус. По определению Г. Телленбаха, она была «законным местом перед Богом и людьми», то есть включенностью в общество. Без общины не было и свободы. Она могла реализоваться только в состоянии зависимости, где высший гарантировал низшему уважение его прав. Свободный человек — это тот, у кого могущественный покровитель. И когда клирики в эпоху григорианской реформы требовали «свободы церкви», они подразумевали под этим вызволение ее из-под власти земельных сеньоров и подчинение одному лишь наивысшему сеньору — Богу.

Индивид в средние века в первую очередь принадлежал семье. Большой семье, патриархальной или племенной. Под руководством своего главы она подавляла индивида, предписывала ему и собственность, и ответственность, и коллективные действия.

Эта роль семейной группы хорошо известна нам по отношению к сеньорам, где линьяж определял и реалии жизни рыцаря, и его мораль, и его обязанности. Линьяж был кровной общностью, состоявшей из «родных» «друзей по плоти» — видимо, так именовали свойственников. Линьяж отнюдь не был остаточным явлением первобытной семьи. Он представлял собой этап в организации той рыхлой семейной группы («*Sippe*»), что встречалась в германских обществах Раннего Средневековья. Члены линьяжа были связаны узами солидарности. Она проявлялась на поле боя и в вопросах чести. Гильом Оранжский в «Короновании Людовика» взывает к Богородице:

На помощь мне приди,
Не дай мне трусость проявить,
Линьяж позором навсегда покрыть.

Роланд долго отказывается затрубить в рог в Ронсевальском ущелье, чтобы позвать Карла Великого на помощь, из страха обесчестить тем свою родню.

Солидарность линьяжа проявлялась с наибольшей силой в кровной мести — *файдах*. Во времена Рауля Глабера в Бургундии неукротимая ненависть столкнула два линьяжа. «Борьба длилась много лет, и вот в день продажи участка земли прямо на нем разгорелась битва. Многие с той и другой стороны нашли там свою смерть. Из дома, что нас занимает, пало тогда 11 человек детей и внуков. И ссора продолжалась, через некоторое время раздор вспыхнул с новой силой, и несчислимые бедствия продолжали поражать эту семью, членов которой убивали еще на протяжении тридцати и более лет». На средневековом Западе *вендетта* практиковалась долго и признавалась законной.

Родственник имел право ждать поддержки, и это привело к расхожему убеждению, что величина богатства определяется числом родных. У изголовья своего умирающего племянника Вивьена Гильом Оранжский сокрушается:

О горе мне!
Потеряно все семя моего линьяжа.

Линьяж соответствует агнатическому роду, цель и основа которого — сохранение общего имущества-патримония. Специфика его феодальной разновидности заключалась в том, что для мужчин линьяжа военные функции и отношения личной верности были столь же важны, как и экономическая роль семьи. Но этот комплекс интересов и чувств нагнетал в феодальной семье крайнюю напряженность, драматизм в отношениях преобладал над

верностью. Прежде всего — соперничество двух братьев. Власть не сразу была обеспечена старшему, но была в руках того из братьев, за кем прочие признавали способности командира. Часто признание не было безоговорочным, а оспаривалось. В королевских феодальных семьях соперничество и взаимная ненависть братьев подстегивалась еще и притягательностью короны. Такова была борьба между сыновьями Вильгельма Завоевателя, Вильгельмом Рыжим, Робертом Короткие Штаны и Генрихом I, или между сводными братьями Педро Жестоким и Энрике Трастамарским в Кастилии XIV в. Природа феодального линияжа порождала своих Каинов.

Она порождала также и непочтительных сынов. Нетерпение юных феодалов возбуждалось многим причинами: сокращенный разрыв между поколениями, малая средняя продолжительность жизни и необходимость для сеньора проявлять себя в качестве военного вождя; как только сеньору позволял возраст, он должен был постоянно подтверждать свой статус на поле боя. Отсюда — многочисленные восстания детей против отцов, от Генриха Молодого, Ричарда Львиное Сердце и Жоффруа Бретонского, восставших против Генриха II Английского, до вполне феодального мятежа будущего Людовика XI против его отца Карла VII. Впрочем, экономические причины и соображения престижа обычно удаляли от отца молодого сеньора, становящегося в ожидании наследства странствующим рыцарем.

Напряженность в линияже порождалась также многочисленными браками, постоянным присутствием большого числа незаконных детей. Наличие бастардов в низших слоях общества считалось постыдным, но у знати не вызывало осуждения.

Все эти противоречия позволяли авторам придавать драматизм сюжету эпических произведений. Жесты изобилуют семейными драмами. В «Гуоне» их олицетворяет Шарло — недостойный сын Карла Великого, а также Жерар — родной брат Гуона, узурпировавший его права на наследство.

Для агнатской семьи было характерно особое значение, придаваемое отношениям племянника и дяди, точнее, брата матери. «Жесты» демонстрируют нам много таких пар: Карл Великий — Роланд, Гильом Оранжский — Вивьен, Рауль де Камбре — Готье... Церковная форма nepотизма была в средневековом обществе лишь частным случаем.

Эта агнатическая в большей степени, чем патриархальная, семья обнаруживается у класса крестьян, она более тесно совпадает там с земледельческим производством, с экономической собственностью семьи, ее патримонием. Она включила в себя тех, кто жил в одном доме и занимался обработкой одного участка земли. Но нам очень мало что известно об этой крестьянской семье, образующей основную экономическую и социальную ячейку обществ, подобных средневековому Западу. Будучи реальной общностью, она не имела своего юридического выражения. Она была тем, что во Франции Старого порядка называлось «умалчиваемой общностью» (*communaute taissable*). Сам термин указывает, что право очень неохотно признавало ее существование.

Трудно понять, какое в точности место занимали женщина и ребенок в семье как первичной общности. Без сомнения, женщина находилась в подчиненном положении. Она не была в чести в этом мужском, военном обществе, чье существование постоянно было под угрозой и где, следовательно, плодovitость рассматривалась скорее как проклятие, чем как благо. Христианство сделало очень мало для улучшения ее материального и морального статуса. Ведь на ней лежала основная вина за первородный грех. Из всех видов дьявольского искушения именно женщина была наихудшим воплощением зла. «Муж есть глава жены» (Эф. 5,23) — христианство верило этим словам апостола Павла и учило по ним. Повышение статуса женщин наиболее ярко читается в культе Девы Марии, расцветшем в XII — XIII вв., поворот в христианской спиритуальности подчеркивал искупление греха женщин Марией, новой Евой. Этот поворот виден также и в культе Магдалины, получившем развитие с XII в., как показывает история религиозного центра в Везелее. Но реабилитация женщины была не причиной, а следствием улучшения положения женщины в обществе.

Роль женщин в средневековых еретических (например, катары) или параеретических

(например, бегинки) движениях была знаком неудовлетворенности отведенным им местом. Впрочем, констатация презрения по отношению к женщине нуждается в уточнениях. Хотя женщина и не считалась столь же полезной в средневековом обществе, как мужчина, но тем не менее она играла важную роль в экономической жизни и помимо своей функции деторождения. В классе крестьян в работе она была почти тождественной, если не равной мужчине. Когда Гельмбрехт пытается убедить свою сестру Готлиндю бежать из дома отца-крестьянина, чтобы выйти замуж за «вора», с которым она заживет как госпожа, он говорит ей: «Если ты выйдешь за крестьянина, то не будет женщины тебя несчастнее. Тебе надо будет прясть, трепать лен, сучить нить, дергать свеклу». Занятия женщин высшего класса были хотя и более «благородными», но не менее важными. Они стояли во главе гинекеев, где изготовление предметов роскоши — дорогих тканей, вышивок — обеспечивало большую часть потребностей в одежде сеньора и его людей. Не только разговорный язык, но и язык юридический для обозначения разных полов называл их: «люди меча» и «люди прялки». В литературе поэтический жанр, связанный с женщинами и обозначенный П. Лежентийем как «песни о женщине», получил название «песни полотна», то есть распеваемые в гинекеях, в прядильных мастерских. Когда между IX и XI вв. высший слой хозяйственного класса, «laboratores», добился известного социального продвижения, то это коснулось и женщин, принадлежащих к данной категории.

Хотя рождение девочек в средние века и не вызывало особой радости, все же у нас нет оснований подозревать эту эпоху в детоубийстве, как иные женоненавистнические общества. Пенитенциалии, перечислявшие длинный список жестоких и варварских обычаев, как правило, молчат по этому поводу.

С другой стороны, женщины из высших слоев общества всегда пользовались определенным уважением. Во всяком случае, некоторые из них. Наиболее известные дамы вошли в литературу. Берта, Сибила, Гибур, Кримхильда и Брунхильда, различные по характеру и судьбе, мягкие и жестокие, несчастные и счастливые, они стоят на первом плане в ряду героинь. Они были как бы земными двойниками тех женских образов, что столь ярко засверкали в романском и готическом религиозном искусстве. Иератические мадонны стали более человечными, фигуры изображались теперь в более вольных позах, девы Разумные и девы Неразумные обменивались взглядами в диалоге пороков и добродетелей, а в фигурах Евы, смущенной и смущающей, само средневековое манихейство задавалось вопросом: «Неужели само небо сделало это собрание чудес жилищем Змия?» И конечно, главную роль в куртуазной литературе сыграли дамы-вдохновительницы и поэтессы — героини во плоти или героини грез: Элеонора Аквитанская, Мария Шампанская, Мария Французская, равно как и Изольда, Гвиньевьера или Далекая принцесса, — они открыли современную любовь. Но это — другая история, к которой мы еще вернемся.

Часто утверждалось, что крестовые походы, оставлявшие женщин Запада в одиночестве, привели к росту их власти и прав. Д. Херлихи еще раз подтвердил, что положение женщин высших слоев на Юге Франции и в Италии знало два периода улучшения: каролингскую эпоху и время крестовых походов и Реконкисты. И поэзия трубадуров, казалось, отражала это повышение роли покинутых жен. Но поверить святому Бернару, рисующему Европу совсем обезлюдившей, или Маркабрюну, у которого владелица замка вздыхает, поскольку все, кто был в нее влюблен, ушли во Второй крестовый поход, это означало бы принять за чистую монету чаяния фанатичного пропагандиста и образы поэта с богатым воображением. Впрочем, при чтении трубадуров, мягко говоря, не возникает впечатления, что мир куртуазной поэзии был миром одиноких женщин. Изучение же юридических актов показывает, что, во всяком случае, в вопросах управления совместным имуществом супружеской пары ситуация женщин ухудшалась с XII по XIII в.

С детьми дело обстояло иначе. Да и были ли дети на средневековом Западе? Если взглянуть на произведения искусства, то их там не обнаружится. Позже ангелы часто будут изображаться в виде детей и даже в виде игривых мальчиков — путти, полуангелочков, полуэросов. Но в средние века ангелы обоего пола изображались только взрослыми. И когда

скульптура Девы Марии уже приобрела черты мягкой женственности, явно заимствованные у конкретной модели и дорогие для художника, решившего их обессмертить, младенец Иисус оставался ужасающего вида уродцем, не интересовавшим ни художника, ни заказчиков, ни публику. И лишь в конце Средневековья распространяется иконографическая тема, отражавшая новый интерес к ребенку. В условиях высочайшей детской смертности интерес этот был воплощен в чувстве тревоги: тема «Избиения младенцев» отразилась в распространении праздника Невинноубиенных. Под их патронатом находились приюты для подкидышей, но они появились не ранее XV в. Прагматичное Средневековье едва замечало ребенка, не имея времени ни умиляться, ни восхищаться им. Да и ребенок часто не имел дедушки — столь привычного для традиционных обществ воспитателя. Слишком мала была продолжительность жизни в средние века. Едва выйдя из-под опеки женщин, не относившихся серьезно к его детской сущности, ребенок оказывался выброшенным в изнурительность сельского труда или в обучение ратному делу. Это подтверждают и жесты. «Детство Вивьена», «Детство Сиды» рисуют очень юного героя уже как молодого человека — скороспелость была обычным явлением в примитивных обществах. Ребенок попадает в поле зрения лишь с возникновением семьи, характеризующейся совместным проживанием тесной группы прямых потомков и предков, которая появилась и получила распространение с развитием города и класса бюргерства. Ребенок был порождением города и бюргерства, подавивших и сковавших самостоятельность женщины. Она была порабощена домашним очагом, тогда как ребенок эмансипировался и заполнил дом, школу, улицу.

Находясь в зависимости от семьи, предписывающей как характер владения собственностью, так и коллективный образ жизни, индивид повсюду, за исключением города, принадлежал также и другой общности — сеньории, под властью которой он жил. Конечно, между благородным вассалом и крестьянином любого статуса разница была существенной. Но, находясь на разных уровнях и обладая разным престижем, оба они принадлежали к сеньории, точнее, сеньору, от которого она зависела. И тот и другой были «людьми сеньора», хотя для одного это слово имело благородное значение, а для другого — уничижительное. Разделявшую их дистанцию подчеркивали сопутствующие слова. Например, слова для обозначения вассала «человек уст и рук» указывали на определенную интимность, сопричастность и ставили вассала, несмотря на/ его подчиненное положение, в одну плоскость с сеньором. «Человек власти» другого (то есть подвластный) — этот термин, напротив, указывал на зависимое положение крестьянина от сеньора.

В обмен на покровительство и установление экономической связи (в виде фьефа в одном случае и держания — в другом) оба становились обязаны сеньору: помощью, службой, платежами, оба были подчинены его власти, что отчетливее всего проявлялось в юридической сфере.

Среди функций, отобранных феодалами у публичной власти, функция судебная оставалась самой тяжелой для всех зависимых от сеньора людей. Без сомнения, вассал вызывался в суд чаще, чтобы сидеть на нем рядом с судьей или даже вместо него, чем чтобы быть обвиняемым, но и он подчинялся вердиктам суда за свои правонарушения, если сеньор обладал правом только «низшей юстиции», или за свои преступления, если сеньору принадлежала и «высшая юстиция». Тюрьма, виселица, позорный столб — эти мрачные продолжения сеньориального трибунала скорее символизировали подавление, чем правосудие. Прогресс королевской юстиции, помимо улучшения работы правосудия, помогал эмансипации человека, чьи права лучше были защищены в такой широкой общности, как королевство, чем в такой узкой и потому более стеснительной, а то и подавляющей, как сеньория. Но прогресс этот был весьма неторопливым. Людовик Святой, государь из числа наиболее озабоченных устранением несправедливости и укреплением авторитета королевской власти, относился к сеньориальной юстиции с неизменным уважением. Гильом де Сен-Пату приводит по этому поводу показательный анекдот. На кладбище церкви в Витри король в окружении толпы слушал проповедь доминиканца брата

Ламбера. Неподалеку в таверне так шумело «сборище людей», что заглушало речь проповедника. «Блаженный король спросил, под чьей юрисдикцией находится эта местность. Ему ответили, что под королевской. Тогда он приказал сержантам утихомирить людей, заглушавших слово Божие, что и было исполнено». Биограф государя замечает: «Считают, что блаженный король спросил, под чьей юрисдикцией эта местность, из опасения покуситься на права, ему не принадлежавшие».

Подобно тому как ловкий вассал мог использовать к своей выгоде множественность и порой противоречивость своих ленных обязательств, так и находчивый подданный сеньора мог умело выпутаться из сложного сплетения соперничавших юрисдикции. Но масса чаще испытывала добавочный гнет.

Получалось, что быть индивидом означало быть ловкачом. Многообразный средневековый коллективизм окружил слово «индивид» ореолом подозрительности. Индивид — это тот, кто мог ускользнуть из-под власти группы, ускользнуть лишь при помощи какого-то обмана. Он был жуликом, заслуживающим если не виселицы, то тюрьмы. Индивид вызывал недоверие.

Конечно, большинство общин требовали от своих членов исполнения долга и несения тягот не просто так, а в обмен на покровительство. Но за то приходилось платить цену, тяжесть которой ощущалась вполне реально, покровительство же не было столь явным и очевидным. В принципе церковь собирала десятину с членов приходской общины на нужды бедных. Но разве с десятины не наживалось духовенство, по крайней мере высшее? Как бы ни обстояло дело в действительности, в большинстве приходов в это верили, и десятина была одним из наиболее ненавистных платежей.

Обмен благодеяниями и услугами был более уравновешенным в других общностях, имевших вид более эгалитарный: в сельских и городских общинах.

Сельские общины часто с успехом оказывали сопротивление сеньориальным требованиям. Их объединяла экономическая база. Они управляли, распределяли и защищали выпасы и общинные лесные угодья, которые имели жизненно важное значение для большинства крестьянских семей, снабжая их дровами и подножным кормом для свиней и коз. И все же в сельской общине не было равенства. Несколько домохозяев — чаще всего ими были богатые крестьяне, но иногда просто потомки наиболее уважаемых родов — господствовали в общине, решая ее дела к своей выгоде. Р. Хилтон и М. Постан показали, что в большинстве английских деревень XIII в. имела группа зажиточных крестьян, предоставлявших как индивидуальные займы (занимаясь ростовщичеством вместо евреев, которые в английской деревне уже перестали играть эту роль, если вообще ее когда-либо играли), так и многочисленные и часто завышенные ссуды всей общине для уплаты штрафов, судебных издержек, общинных платежей. Эта группа, состоявшая всегда из одних и тех же лиц, выступала в роли гарантов (*warrantors*) в хартиях. Они, впрочем, часто и образовывали гильдию или братство, поскольку сельская община, как правило, не являлась наследницей первобытной соседской общины, но была более поздним социальным формированием, современным тому движению, которое увенчало расцвет X — XII вв. созданием новых институтов. В XII в. в Понтье и в окрестностях Дана разразились коммунальные революции, затронувшие одновременно и города, и деревни, где крестьяне образовали коммуны, состоящие из федераций деревень. Параллелизм двух аспектов одного движения, известный всему христианскому миру, лучше всего виден на примере Италии. Как известно, в частности, из работ Р. Каджезе, П. Селлы, Ф. Шнайдера и Г. П. Боньетти, рождение городских коммун шло одновременно с рождением коммун сельских. Более того, в обоих случаях главную роль играла экономическая и моральная солидарность, существовавшая между группами «соседей». Эти «соседства» (*«vicinia»*) были ядром общин феодальной эпохи. Явления и понятия, обозначающие соседство, имели фундаментальное значение, им противопоставлялись явления и понятия, связанные с «чужаками». Добро шло от соседей, зло — от чужаков. Но, став структурированными общинами, «соседства»

расслаивались, и во главе/их становились группы «добрых людей», или «прюдомов», «знатных», «нотаблей», из числа которых выходили консулы или должностные лица, общинные чиновники.

В городе корпорации и братства, обеспечивавшие экономическую, физическую и духовную защиту своих членов, также не были теми эгалитарными институтами, какими их часто представляют.

Контролируя труд, они более или менее эффективно боролись с обманом, браком и подделками, регламентируя производство и сбыт, они устраняли конкуренцию, будучи, согласно Г. Миквичу, подобны протекционистским картелям. Но под видом «справедливой цены» («*justum pretium*»), которая, как показал, анализируя схоластические трактаты, Дж. Болдуин, была не чем иным, как рыночной ценой (*pretium in mercato*), корпорации позволяли функционировать естественному механизму спроса и предложения. Протекционистская в локальном плане, корпоративная система была свободной в более широком контексте, в который вписывался город. Из этой свободы проистекало социальное неравенство, которое корпоративная система лишь усиливала. Но и на локальном уровне протекционизм действовал в интересах меньшинства. Корпорации имели иерархическую структуру, и если ученик рассматривался как потенциальный мастер, то работник, подмастерье, оставался низшим без всякой надежды на продвижение. Важно, что корпорации не включали в себя две категории, чье существование значительно мешало экономической социальной гармонии, которую в принципе должна была обеспечить корпоративная система.

Выше корпораций находилась группа богачей, подкреплявших свое экономическое могущество обладанием политической властью, реализуемой ими через подставных лиц или непосредственно. Они были эшевенами, консулами, «жюре» (присяжными), избегая корпоративных пут и действуя по своему усмотрению, как это показал (для крупных итальянских купцов) А. Сапори. Они могли объединяться в корпорации, такие, как «Калимала», господствовавшая во Франции экономически и весьма весомая политически, но могли и попросту игнорировать корпоративные барьеры и их статуты. К этим людям прежде всего относились купцы, ведущие дальнюю торговлю (*mercatores*), и «раздатчики работ», контролировавшие локальное производство и продажу сырья и готовой продукции. Ж. Эпинас в своем классическом труде приводит уникальный документ, относящийся к Жану Буанброку, купцу-суконщику из Дуэ (конец XIII в.). Церковь требовала от верующих, а в особенности от купцов, хотя бы на смертном одре при составлении завещания возмещать нажитое ростовщичеством и лихоимством, дабы обеспечить спасение души. Обычно в завещаниях такая формула фигурировала, но крайне редко выполнялась на деле. Однако в случае с Жаном Буанброком это все же случилось. Его наследники предложили пострадавшим получить им причитающееся. До нас дошли тексты некоторых жалоб. Вырисовывающийся ужасный портрет не был единичным случаем, но представлял целую социальную категорию. Обеспечивая себя шерстью и красильными веществами по заниженной цене, купец платил «мало, плохо или не платил вовсе», часто расплачивался натурой (что позже будет называться «*truck system*») с низшими — крестьянами, работниками, мелкими ремесленниками, которые зависели от него из-за денег (он был ростовщиком), работы и жилья (он сдавал его своим рабочим, получая дополнительное средство давления). Он обладал и политической властью: девять раз избираясь эшевеном, он стал им и в 1280 г., жестоко подавив стачку ткачей в Дуэ. Он так запугал ткачей, что и те, кто осмелился прийти с жалобами, делали это с робостью — страшна была даже память об этом тиране. И это не была только власть какого-то особо жестокого человека, но власть целого класса, городской эквивалент феодальной тирании.

Ниже корпораций пребывали массы, лишенные всякой защиты, к которым мы еще вернемся.

Но если сельские и городские общины более угнетали, чем освобождали индивида, то надо отметить, что они были основаны на принципах, заставлявших трепетать весь феодальный мир. «Коммуна — это отвратительное слово», — записал свою знаменитую

формулу в начале XII в. церковный хронист Гиберт Ножанский. В этом городском движении, продолженном в деревнях созданием сельских коммун, революционный смысл имело то, что клятва, связывающая членов первоначальной городской коммуны, в отличие от вассального договора, соединявшего высшего с низшим, была клятвой равных. Феодалной вертикальной иерархии было противопоставлено горизонтальное общество. «Vicinia», группа соседей, объединенных вначале лишь пространственной близостью, была преобразована в братство — «fraternitas». Это слово и обозначаемая им реальность имели особый успех в Испании, где процветали «германдады», и в Германии, где клятвенное братство — «Schwurbruderschaft» — вобрало в себя всю эмоциональную силу старого германского братства. Клятва устанавливала между бюргерами отношения верности («Тгеие»). В Зосте в середине XII в. бюргер, нанесший физический или моральный ущерб своему «concivis» («со-бюргеру»), лишался бюргерских прав. Братство сменилось общиной, скрепленной клятвой: conjuratio или communio. У французов или итальянцев такая община называлась коммунной, а у немцев — «Eidgenossenschaft». Она объединяла равных, и хотя неравенство экономическое оставалось неискоренимым, оно должно было сочетаться с формулами и практикой, сохранявшими принципиальное равенство всех граждан. Так, в Нейсе в 1259 г. было провозглашено, что если надо будет произвести сбор на нужды коммуны, то бедные и богатые будут присягать equo modo и платить пропорционально своим возможностям.

Даже если города и не были тем вызовом феодализму, тем антифеодальным исключением, какими их зачастую описывают, все равно они представлялись явлением необычным и для человека, жившего в эпоху возникновения городов, выступали как некая новая реальность, в том скандальном значении, которое придавало понятию новизны Средневековье.

Для людей, ничего не знавших, кроме земли, леса, пустоши, город одновременно был манящим и пугающим, был соблазном, как драгоценности, деньги, женщины.

Средневековый город не производил впечатления монстра устрашающих размеров. В начале XIV в. очень немногие города достигли стотысячного числа жителей: Венеция и Милан. Население Парижа, самого крупного города к северу от Альп, без сомнения, не превышало 80 тысяч, а приписываемые ему 250 тысяч жителей надо признать явным преувеличением. Брюгге, Рент, Тулуза, Лондон, Гамбург, Любек, как и другие города первого ранга, насчитывали от 20 до 40 тысяч горожан.

Часто и справедливо обращали внимание на то, как деревня проникала в средневековый город: горожане вели полукрестьянскую жизнь, внутри городских стен скрывались виноградники, сады, даже луга и поля, бродил скот, высились навозные кучи.

И все же для Средневековья контраст города и деревни был ярче, чем для иных обществ и цивилизаций. Городская стена служила наиболее укрепленной границей из всех, известных в ту эпоху. Стены, башни и ворота разделяли два мира. Города заявляли о своей оригинальности, о своеобразии, кичливо помещая на своих печатях изображения стен, хранивших их покой. Трон славы — Иерусалим или престол зла — Вавилон, город всегда оставался для Средневековья символом экстраординарности. Быть горожанином или быть крестьянином — здесь проходил один из величайших разломов средневекового общества.

Конечно, раннесредневековый город также обладал престижем в глазах дофеодального и раннефеодального общества. Он был средоточием власти политической и религиозной, резиденцией короля, графа или епископа, единственным местом, где были монументальные постройки, где концентрировались основные сокровища. Штурм, разграбление или обладание городом приносили богатство и славу. Обычно мало замечают, насколько притягательным был город для героев жест. В «Песне о Роланде» по контрасту с враждебной природой, скалами, горами, равнинами города сияют как маяки: Сарагоса и Экс — «лучшее место Франции». Мираж Константинополя был миражем города. Города называли «гордыми», «высокомерными», «благородными». Таков Париж — «благородный град» в «Майне» и в «Большеногой Берте», герои которых находят там конец своим испытаниям.

Оберон, связанный с лесом, где он творил свои чары, тоскует о своей родине: «Монимур, мой град». Действие всего цикла о Гиль-оме Оранжевом разворачивается вокруг городов Оранж, Ним, Вьенн, Париж, опять Париж, отнюдь не идеализированный в «Монашестве Гильома»: «Франция была тогда мало населена и едва освоена, не было всех этих богатых доменов, замков, могущественных городов, что покрывают ее в наши дни. Париж в ту эпоху был совсем мал». Гильом прибыл, чтобы вызволить из осады короля Людовика. И после долгой скачки город встает перед ним как видение: «Когда Гильом открыл глаза, утро было ясным и он увидел Париж среди лугов». Сегодняшним парижанам Гильом оставил о себе память — имя своего противника, язычника, сакса Изоре, которого он убил в поединке и похоронил на месте, получившем название «могила Изоре — „Томб Иссеуар“». Но особенно блещет Нарбонна, которую берет штурмом Эмери: „Меж двух утесов на берегу залива он увидел подымавшийся вверх укрепленный город сарацин. Он был надежно заперт невиданно крепкими стенами. В тисовых рощах на ветру трепетали листья, и не было зрелища прекраснее. Там сверкали двадцать белокаменных башен. Но взгляд привлекала та, что в центре. Не найдется в целом свете рассказчика, что смог бы описать все хитрости неверных, воздвигших эту башню. Бойницы были так укрыты свинцом, что защитники не боялись стрел врага. Ее венчала глава из чистого заморского золота, на ней был укреплен карбункул, пылавший, как утренняя заря. Король созерцал город и возжелал его в сердце своем“.

Но между X и XIII вв. произошел взлет, столь блестяще описанный А. Пиренном, и образ западных городов изменился. В них возобладала одна функция, оживлявшая старые города и создававшая новые, — функция экономическая, торговая, а чуть позже и ремесленная. Город стал очагом того, что было столь ненавистно феодальным сеньорам: постыдной хозяйственной деятельности. На город обрушивали анафемы.

В 1128г. городок Дейц, расположенный на противоположном Кёльну берегу Рейна, выгорел дотла. Аббат монастыря святого Гериберта, знаменитый Руперт, теолог, верный старым традициям, сразу же усмотрел в этом гнев Божий, покаравший место, втянутое в орбиту развития Кёльна и превратившееся в центр обмена, в логово проклятых купцов и ремесленников. Сквозь Библию прочитывалась антигородская история человечества. Основателем первого города был Каин, которому подражали все злодеи и тираны, враги Господа. Напротив, патриархи, справедливые и богобоязненные, жили в шатрах, в пустыне. Обосноваться в городе означало выбрать сей мир, и действительно, возникновение городов вместе с оседлостью, с установлением собственности и развитием инстинкта собственника способствовало становлению нового менталитета, заключавшегося в выборе жизни деятельной, а не созерцательной.

Расцвету городского менталитета благоприятствовало скорое появление городского патриотизма. Без сомнения, город был ареной борьбы классов, и правящие слои, стоявшие у истоков этого городского духа, первыми и воспользовались его выгодами. Но, как подчеркнул А. Сапори, по крайней мере в XIII в. крупные купцы умели жертвовать и собой, и деньгами на благо города. В 1260г., когда вспыхнула война между Сиеной и Флоренцией, один из богатейших сиенских купцов-банкиров Салимбене деи Салимбени передал коммуне 180 тысяч флоринов и, закрыв свои лавки, сам отправился на войну.

Если сельская сеньория не могла внушить массам живущих в ней крестьян ничего, кроме чувства угнетенности, если укрепленный замок хотя и предоставлял крестьянам защиту и убежище, но отбрасывал ненавистную тень на их жизнь, то силуэт величественных городских зданий, инструмент и символ господства богачей в городе, рождал у городского люда смешанные чувства, в коих преобладали гордость и восхищение. Городское общество сумело создать ценности, в известной мере общие для всех жителей, — ценности эстетические, культурные, духовные. Дантов «красавец Сан-Джовани» был объектом почитания и гордости всех флорентийцев. Городская гордость проявлялась прежде всего в наиболее урбанизированных регионах Фландрии, Германии, Северной и Центральной Италии. Приведем свидетельства лишь о трех итальянских городах. Милан, чудеса которого описывал в 1288г. брат Бонвезино далла Рива в своем труде «О великих града Милана» («De

magnalibus urbis Mediolani»): «Город имеет форму круга, и его удивительная форма есть знак его совершенства». Генуя, красоты которой описывал на лигурийском диалекте анонимный поэт конца XIII в.:

Генуя, град до краев населен
Людом, чей скарб навсегда защищен
Стенами дивной красы и убранства,
Что окружили большое пространство.

И наконец, Флоренция, которую до Данте прославил Чиаро Даванцати в 1267 г.:

О, сладкая, веселая земля Флоренции,
Родник ты доблести и наслаждения.

Но какова была роль и каково было будущее этих городских островков Запада? Их процветание могло питаться только землей. Даже города, больше других обогатившиеся за счет торговли, основывали свое могущество на сельской округе. Такими городами были Гент и Брюгге, Генуя, Милан, Флоренция, Сиена и Венеция, вынужденная преодолевать трудности своего приморского расположения. Слово «контадо» — округа итальянских городов — дало имя всем итальянским крестьянам — «contadini».

Между городами и их сельской округой установились сложные отношения. На первый взгляд городское влияние было благоприятным для населения деревень. Крестьянин-переселенец обретал там свободу: или, обосновавшись в городе, он автоматически становился свободным — зависимое состояние не признавалось на городской земле, — или же город, завладев своей округой, спешил освободить сервов. Отсюда знаменитая немецкая правовая норма: «Городской воздух делает свободным» («Stadtluft macht frei»). Она имела уточнение: «Городской воздух делает свободным через год и один день», то есть после того, как человек пробудет этот отрезок времени в городе.

Но округа эксплуатировалась городом, превратившимся в своеобразную сеньорию. Городская сеньория, осуществлявшая право бана над своей округой, предпочитала эксплуатировать ее экономически: она скупала там продукты по низким ценам (зерно, шерсть, молочные продукты для снабжения города, его ремесла и торговли) и навязывала округе свои товары, часто выступая лишь в роли посредника: например, город обязывал селян покупать соль в установленных количествах и по фиксированной завышенной цене, что означало возникновение нового налога. За счет вербовки крестьян города формировали свои ополчения вроде «вольных брюггцев» — солдат из окрестностей Брюгге. Города развивали к своей выгоде сельское ремесло, полностью удерживая его под своим контролем. Достаточно быстро они начали опасаться крестьян. Как сельские сеньоры запирались в своих укрепленных замках, так и города с наступлением ночи убирали подъемные мосты, натягивали цепи перед воротами, выставляли часовых на стенах, опасаясь наиболее близкого и наиболее вероятного врага — окрестного крестьянина. Город породил университеты и юристов, разработавших в конце Средневековья право, обращенное против крестьян.

Но в итоге оказалось, что города, сумевшие в средние века стать государствами — Венецианская республика, Великое герцогство Тосканское, вольные ганзейские города, — двигались против течения истории, их существование мало-помалу становилось все более анахроничным. Италия и Германия, страны, где города долгое время составляли экономический, политический и культурный каркас, отстали от других стран, добившись объединения лишь в XIX в. Городское средневековое общество не имело перед собой исторического будущего.

Мечты церкви о гармоничном обществе наталкивались на жестокую реальность противоречий и борьбы классов. Удерживаемая клириками по крайней мере до XIII в. почти полная монополия на написание литературных сочинений скрывала интенсивность

классовой борьбы в средние века и могла создать впечатление, что только лишь отдельные сеньоры и крестьяне время от времени пытались нарушить социальный порядок, нападая на служителей церкви или на ее имущество. Все же церковные писатели сообщили достаточно, чтобы мы смогли убедиться в постоянстве существующих антагонизмов, прорывавшихся подчас во внезапных вспышках насилия.

Наиболее известное из этих противоречий восстанавливало бюргеров против дворян. Оно всегда было на виду. В стенах города рассказы хронистов, хартии, статуты, мирные договоры многократно усиливали эхо бурных событий. Достаточно частые случаи городских восстаний против епископов, сеньоров города, с ужасом описываемые церковными хронистами, демонстрируют нам захватывающие картины выхода на сцену не только новых классов, но и новой системы ценностей, в которой не было места сакральному почитанию прелатов.

Вот описание событий 1074 г. в Кёльне монахом Лампертом Герсфельдским. «Архиепископ проводил в Кёльне время Пасхальных праздников со своим другом, епископом Мюнстерским, приглашенным им, дабы справлять праздник вместе. Когда же епископ захотел вернуться к себе, архиепископ велел своим сержантам найти ему подобающий корабль. Ими было разыскано хорошее судно, принадлежавшее богатому купцу из этого города, и востребовано для архиепископских нужд. Люди купца, служившие на судне, протестовали, но люди архиепископа пригрозили им расправой, коли те немедленно не подчинятся. Люди купца поспешили разыскать хозяина, рассказать ему о случившемся, спросив, как им быть дальше. У сего купца был сын, сильный и дерзкий. Он находился в родстве с главнейшими городскими семействами и был весьма угоден людям в силу своего характера. Он быстро собрал своих людей и столько городской молодежи, сколько смог, и ринулся к кораблю, приказав затем сержантам архиепископа покинуть его, и выдворил их силой... Друзья обеих сторон взялись за оружие, и стало затеваться большое побоище. Новости об этом дошли до архиепископа, который тотчас же направил своих людей, чтобы укротить мятеж, и, будучи весьма разгневан, пригрозил юным бунтовщикам суровым наказанием на ближайшей сессии своего суда. Архиепископ обладал всеми добродетелями и часто доказывал свое превосходство во всех областях, как в делах церкви, так и в делах государственных. Но у него был один недостаток. Когда он гневался, он не мог удержать язык свой и поносил каждого без разбора самыми крепкими выражениями. Мятеж наконец стал, как казалось, утихать, но молодой человек, находясь в большом гневе и в опьянении от своего первого успеха, не прекратил сеять великую смуту. Он ходил по городу, затевал с людьми речи о дурном архиепископском управлении, обвиняя его в возложении на город несправедливых служб, в отъятии имущества у безвинных людей и в оскорблении честных горожан. Ему был нетрудно поднять чернь... Притом все считали, что народ Вормса свершил подвиг, изгнав епископа, управлявшего ими слишком строго. А поскольку они были многочисленнее и богаче вормсцев и к тому же имели оружие, они опасались, что сложится впечатление, будто они менее смелы. И им показалось постыдным, подобно женщинам, склоняться под властью архиепископа, управлявшего ими тиранически...»

Из знаменитого рассказа Гиберта Ножанского известно, как в 1111 г. восстание горожан Дана закончилось убийством епископа Годри и надругательством над его телом — один из бунтовщиков отрубил ему палец, чтобы снять перстень.

Эти городские движения удивляли церковных хронистов даже больше, чем возмущали. Они если не оправдывали, то объясняли гнев народа чертами характера того или иного прелата. Но восстание против феодального порядка, против общества, освященного церковью, против мира, который, став христианским, должен был лишь ждать перехода града земного в град небесный (такова была мысль Оттона Фрейзингенского и его «Истории двух градов»), церковная история понять была не в силах.

Так, в Мансе в 1070 г. жители подняли восстание против герцога Вильгельма Незаконнорожденного, занятого в ту пору завоеванием Англии, и против бежавшего к нему епископа. «Они создали тогда, — пишет епископский хронист, — сообщество, названное

ими коммуной, связав друг друга клятвой и принудив сеньоров округа присягнуть на верность их коммуне. Осмелев от своего заговора, они принялись вершить бесчисленные преступления, приговаривая многих людей без разбора и без должной причины. По пустяковому поводу ослепляли одних и, страшно вспомнить, вешали других за незначительные ошибки. Они жгли окрестные замки во время Великого поста и, что еще хуже, на Святой неделе. И все это они проделывали без основания».

Но основанием была социальная напряженность в деревне. Между сеньорами и крестьянами борьба была эндемической, обостряясь порой в виде приступов крайней жестокости.

Если в городах с XI по XIII в. восстания возглавлялись бюргерами, добивавшимися политической власти, чтобы обеспечить себе свободу профессиональной деятельности, основы их богатства, и чтобы добиться престижа, равного их экономическому могуществу, то в деревне восстания крестьян имели целью не только улучшение положения благодаря фиксации, уменьшению или полной отмене их повинностей, но часто были простым выражением борьбы за выживание. Большинство крестьян представляло собой массу, постоянно находившуюся на грани недоедания, голода, эпидемий. Именно в этом черпало свою исключительную силу отчаяния движение, которое позже называли Жакерией. Если и горожанами двигал гнев, желание новых слоев отомстить церковным и светским сеньорам за то унижение, в котором их держали (это видно на примере Кёльна 1074 г.), то эти чувства были еще сильнее в деревне в силу величайшего презрения, которое сеньоры испытывали к мужланам. Несмотря на улучшения в своем положении, буквально вырванные крестьянами у сеньоров в XI — XII вв., последние до самого конца XIII в. признавали за ними только одну собственность — собственность на свою шкуру (правда, и это было немаловажным, отличая крестьян от античных рабов). Аббат Бартон напоминал об этом своим крестьянам в Стэффордшире, у которых монастырь отобрал всю скотину — 800 быков, овец и свиней. Крестьяне с женами и детьми следовали за королем от резиденции к резиденции, пока наконец не добились от него распоряжения о возврате им животных. Аббат же заявил им, что они не владеют ничем, кроме «живота своего», забыв, что по его вине животы эти часто остаются пустыми.

В 1336 г. цистерцианский аббат монастыря Вейл-Роял в Чешире при помощи Священного писания внушал своим крестьянам, что и «они были вилланами, и дети их пребудут вилланами во веки веков». Тексты повторяли с вызовом, что крестьянин подобен дикому зверю. Он звероподобен, безобразно уродлив, едва ли имеет человеческое обличие. Он был «средневековым Калибаном», по меткому выражению Култона. Ад — его естественное предназначение. Ему нужна исключительная ловкость, какой-нибудь обман, чтобы попасть в рай. Таков сюжет фавлю «О виллане, рая добившегося тяжбой».

Вот описание Риго из жест Гарена Лотарингского: «Он видел, как к нему приближается Риго, сын виллана Эрве. Это был парень крепкого сложения, со здоровенными руками, мощными бедрами и широкими плечами. Глаза его отстояли друг от друга на длину ладони. В шести десятках стран нельзя было подыскать рожи страшнее и угрюмее. Его волосы торчали в разные стороны, щеки были в угрях и весьма черны, за последние полгода их омывала лишь небесная влага».

В лесу, где скакал Окассен, появился молодой крестьянин: «Он зарос длинной щетиной чернее угля, меж глаз могло поместиться большое яблоко, у него были толстые щеки и огромный приплюснутый нос, большие широкие ноздри и толстые губы краснее копченого мяса, а также уродливые желтые зубы».

Та же враждебность проявлялась и по отношению к нравственным качествам крестьян. От слова «виллан» в феодальную эпоху был образован термин «виллания», обозначавший подлость, моральное уродство. Особенно непримиримы по отношению к крестьянам были голиарды, деклассированные клирики, чьи кастовые предрассудки были поэтому обострены.

Вот пример из голиардической поэмы «Склонение крестьянское»:

Именит, единств. числа: hic vilanus — этот виллан
Родит.: huius rustici — этой деревенщины
Дат.: huic tferfero — этому дьяволу
Винит.: hunc furem — эго вора
Звательн.: o latro ! — о, разбойник!
Творит. ab hoc depredatore — этим грабителем

Именит, множ. числа: hi maledicti — эти проклятые
Родит.: horum tristium — этих презренных
Дат.: his mendacious — этим лжецам
Винит.: hos nequissimus этих негодяев
Звательн.: O pessimi ! — о, подлейшие!
Творит.: ab his infidelibus — этими нечестивцами

«Крестьяне, что работают на всех, — писал Жоффруа де Труа, — что в любой час, в любое время года надрываются, полностью отдаваясь рабскому труду, столь презираемому их хозяевами, постоянно унижаемые, чтобы другим хватало на одежду, на жизнь, на забавы... И их преследуют огнем, полоном, мечом; их бросают в темницы и в кандалы, затем заставляют выкупаться, или убивают их голодом, или предают всевозможным пыткам».

По словам Фруассара, во время Великого восстания 1381 г. английские крестьяне кричали: «Мы — люди, созданные по подобию Христа, а нами помыкают, как скотиной».

Ценнейшая поэма первой половины XIII в. «Сказание о версонских вилланах» описывает бунт крестьян деревни Версон-сюр-Одон против их сеньора, аббата монастыря Мон-Сен-Мишель. Жалобы вилланов заканчиваются репликой:

Пора пришла заставить их платить.
А чтоб свой долг из них никто не позабыл,
Придите и возьмите их кобыл.
Сгодятся и волы их, и коровы -
Ведь все вилланы плутовать здоровы.

Как справедливо отметил Ф. Граус, крестьяне «не только эксплуатировались феодальным обществом, но еще и высмеивались литературой и искусством». Францисканец Бертольд Регенсбургский обратил еще в XIII в. внимание на то, что из крестьян не было ни одного святого (тогда, как, например, в 1197 г. Иннокентий III канонизировал купца, Гомебона Кремонского).

В этих условиях не должны удивлять ни нетерпение, ни вечное недовольство, преобладавшее в сознании крестьян. «Крестьянин всегда злобен, — говорится в чешской голиардической поэме, — их сердца никогда не бывают довольны». Ничего не было удивительного и в том, что гнев этот прорывался порой в виде эксцессов. Монах, описывающий конфликт между аббатом Вейл-Рояля и крестьянами Дарнелла и Овера в 1336 г., с негодованием уподобляет последних «псам бешеным».

Гильом Жумежский и Вас в «Романе о Ру» («Романе о Роллоне») рассказывают нам о восстании нормандских крестьян в 997 г.:

Вилланы и крестьяне
Сходились на поляне
По двадцать, тридцать, по сто,
Держали речи просто,
Шел ропот в том совете:

«Сеньор за все в ответе».
Хранили все в секрете,
И многие решили,
Что больше в этом мире
Сеньоров им не нужно,
О чем твердили дружно.
Иные в ослепленье
В знак своего решенья
Друзей призвали клясться,
Чтоб вместе всем держаться
И скопом защищаться.
И вскоре тех избрали,
Кто громче всех кричали,
В округу их послали,
Чтоб клятвы собирали...

«Как только герцог узнал об этом, он отправил в поход графа Рауля с большим числом рыцарей, чтобы жестоко наказать деревни...»

И вот — картины сеньориальных кар:

Рауль так вспылел,
Что без суда много душ погубил.
Он обошелся с крестьянами грубо,
Выбил глаза, не оставил и зубы,
Многих вилланов он на кол сажал,
Жилы тянул, кисти рук отсекал.
Прочие были живьем сожжены,
Иль раскаленным свинцом крещены.
В успокоенье сумел преуспеть -
Без содроганья нельзя посмотреть.
И не осталось деревни одной,
Где б не запомнили мести такой.
Но без следа та коммуна пропала
И соблазнять мужиков перестала:
Благоразумно они отказались
От предприятий, что здесь затевались.

В иконографии довольно часто борьба крестьянина против рыцаря изображалась как борьба Давида и Голиафа. Костюмы персонажей подтверждали это намерение.

Все же привычной формой борьбы крестьян с сеньорами была глухая партизанская война: воровство с господских полей, браконьерство в лесах сеньора, поджоги его урожаев. Это было пассивное сопротивление в виде саботажа на барщине, отказа платить натуральные оброки, денежные сборы. И иногда — бегство.

В 1117 г. аббат монастыря Мармутье в Эльзасе отменил для своих сервов барщину и заменил ее денежным оброком «из-за нерадения, непригодности, вялости и лени барщинников».

В трактате о домашнем хозяйстве («Housebondrie»), написанном в середине XIII в., Уолтер Хенли заботился о повышении доходности сельских владений, для чего давал множество рекомендаций по надзору за работой крестьян. (Иконография доносит до нас изображения сеньориальных приказчиков, вооруженных палками и надзирающих за работой крестьян.) ^Признавая, что лошадь превосходит быка в работе, Уолтер Хенли считал, что сеньору нет смысла тратить на покупку лошади, «ибо конь тащит плуг не быстрее быков

из-за козней пахаря».

Враждебность крестьян техническому прогрессу была вопиющей. Она объяснялась не страхом безработицы, лежавшим в основе бунта против машин на заре промышленного переворота, но тем, что средневековая механизация сопровождалась сеньориальной монополией на машины, делавшей их использование обязательным и весьма обременительным. Многочисленны были крестьянские бунты против сеньориальных «баналитетных» мельниц. Часто сеньоры, в особенности аббаты, распоряжались разрушить ручные мельницы крестьян, чтобы обязать их нести зерно на сеньориальные мельницы и платить мельничный сбор. В 1207 г. монахи Жюмьежа велели разбить последние ручные мельницы в своих землях. Широкую известность получила борьба английских монахов Сент-Олбанса со своими крестьянами из-за водяных мельниц. В 1331 г. победивший наконец аббат Ричард II вымостил конфискованными жерновами свою приемную.

Среди скрытых форм борьбы классов особое место занимали бесчисленные конфликты вокруг мер и весов. Право устанавливать и хранить эталоны, фиксирующие количество труда и размер натуральных платежей, являлось важнейшим средством экономического господства. В. Кула проложил путь к изучению социальной истории мер и весов. Присвоенные одними и оспариваемые другими, эти меры хранились в замке, в аббатстве, в бюргерском городском доме и были объектом постоянной борьбы. К этой форме классовой борьбы наше внимание привлекают многочисленные документы, повествующие о наказаниях крестьян и ремесленников за использование фальшивых мер (это преступление приравнивалось к переносу межевых знаков своих владений). Точно так же как множественность юрисдикции способствовала сеньориальному произволу, многочисленность и разнообразие зависимых от воли сеньора мер и весов были инструментами сеньориального угнетения. Когда английские короли в XIV в. пытались ввести королевский эталон для основных мер, они не распространяли свои указы на ренты и на арендную плату, чье измерение было оставлено на усмотрение сеньоров.

Чтение фаблю, юридических трактатов, судебных актов создает впечатление, что Средневековье было раем для мошенников, великой эпохой обмана. И объяснением тому было владение господствующими классами эталонами мер и весов.

Столкновение классов, столь глубокое в деревне, вскоре проявилось и в городах, но уже не как борьба победоносных горожан против сеньоров, а как борьба мелкого люда против богатых

бюргеров. С конца XII до XIV в. новая линия социального разлома проходит в городах, противопоставляя бедных богатым, слабых сильным, чернь бюргерству, тощий люд (*popolo minuto*) жирному люду (*popolo grosso*).

Формирование патрициата как господствующей городской категории населения, состоящей из нескольких семей, объединивших в своих руках владение городской недвижимостью, богатство, господство в экономической жизни города, а через присвоение городских должностей — и контроль над его политической жизнью, противопоставило верхам многочисленную угнетенную массу. С конца XII в. появляются «лучшие» или «большие» горожане (*meliores burgensis*, *maiores oppidani*), быстро установившие свое господство. С 1165 г. в вестфальском Зосте упоминаются «лучшие, под властью коих процветает город и коим принадлежит первое место в делах и праве», а в Магдебурге городской статут, провозглашенный в 1188 г., определяет: «На городских ассамблеях глупцам запрещается идти в чем-либо против воли лучших (*meliores*) и выдвигать противные им предложения». Так богатые в городе были противопоставлены бедным. Во франкоязычных городах традиционно говорилось о «ремеслах, основанных на ручном труде или на торговле», труд и торговля были разделены. Вскоре люди ручного труда поднялись против тех, кого они считали праздными. С конца XIII в. множится число стачек и бунтов против «богатых горожан», а кризисный XIV в. вызвал к жизни яростные восстания городского плебса.

Несмотря на манихейское стремление Средневековья упрощенно сводить всякий

конфликт к столкновению двух сил — «добрых» и «злых», не следует считать, что борьба классов ограничивалась лишь дуэлью сеньоров и крестьян, бюргерства и плебса. Реальность была сложнее, и одна из причин постоянного поражения «слабых» в их борьбе с «сильными» заключалась, помимо их экономической и военной слабости, во внутренней разобщенности, увеличивающей меру их бессилия. Мы видели, как шло социальное расслоение крестьян. В описании нормандского восстания 997 г. Вас отмечал, что если бедные крестьяне не могли избежать пыток, то богатые расплатились за свою физическую безопасность потерей богатства.

Говоря о неимущих слоях горожан, следует различать «тощий люд» — ремесленников и цеховых подмастерьев, с одной стороны, и массу поденщиков, лишенных всякой корпоративной защиты, — с другой; наемные рабочие испытывали на себе все колебания рынка рабочей силы. Ежедневно их отряды собирались и месте найма (в Париже таким местом была Гревская площадь), откуда работодатели или их приказчики могли черпать пролетариат, над которым постоянно висела угроза безработицы. В конце XIII в. именно они вошли в низшую категорию *laboratores*, поставленную Иоанном Фрейбургским в его «Общем учебнике исповедников» на последнее место. Как убедительно показал Б. Геремек для Парижа XIII — XV вв., на примере этих людей можно наблюдать, как труд и трудящиеся становились товаром.

Особое место среди всех видов угнетения отводилось работодателями использованию женской рабочей силы. Всем известна жалоба ткачих, приведенная Кретьеном де Труа, в его «Ивейне» (ок. 1180г.).

Ткем целый день такие ткани,
Что любо-дорого глядеть,
А что прикажешь нам надеть?
Работа наша все труднее,
А мы, ткачихи, все беднее,
В отрепьях нищенских сидим,
Мы хлеба вдоволь не едим,
Нам хлеб отвешивают скупю.
Надеждам предаваться глупо,
Нам платят жалкие гроши:
Итак, мол, все вы хороши.
И понедельной нашей платы
Едва хватает на заплаты.
Сегодня грош, и завтра грош.
Скорее с голоду помрешь,
Чем наживешь себе чертоги.
Весьма плачевные итоги!
Нам полагается тощать,
Чтобы других обогащать.
Мы день и ночь должны трудиться,
Нам спать ночами не годится,
Ленивых могут наказать,
Усталых будут истязать...

(Пер. В. Микушевича)

Женщины находились в центре еще одного конфликта, внешне не столь драматичного. Они были объектом соперничества мужчин различных социальных классов. Эти любезные игры полов были осязаемым выражением борьбы классов. Презрение женщин к мужчинам определенной социальной категории ощущалось последними как самый болезненный удар из всех полученных ими. Мы с удивлением наблюдаем участие клириков в этом конфликте.

Кюре или монах — богатый развратник — был излюбленным персонажем фаблю. Но их притязания реально сформулировали лишь голиарды — клирики, находящиеся вне рамок церковного общества. «Спор клирика и рыцаря» стал общим местом средневековой литературы. Чаще всего авторство принадлежало клирикам, поэтому им отводилась лучшая роль, в женских сердцах им отдавалось явное предпочтение перед воинами. В поэме «Ремиромонтский собор» монахини после долгих споров принимают решение отлучать тех, кто предпочтет рыцарей клирикам.

Презрение клирика к крестьянину обнаруживается в этой чешской голиардической песне:

Доченька, хочешь ли крестьянина,
Черного и гадкого?
Не хочу крестьянина, дорогая матушка.

Лирическая поэзия часто воспевала пасторальную любовь рыцарей к пастушкам. В реальности такие предприятия не всегда венчались успехом. Поэт граф Тибо Шампанский признавался в стихах, что два крестьянина обратили его в бегство, лишь только он собрался задрать подол пастушке.

Как известно, борьба классов дублировалась на Западе ожесточенным внутриклассовым соперничеством. Конфликты между феодалами, как продолжение борьбы кланов, частные войны, происходившие от германских «файд» — средневековой формы сеньориальной вендетты, наполняют собой средневековую историю и литературу. Еще в конце XIII в. Филипп Бомануар констатировал, что воевать друг с другом позволено лишь благородным. Война «лотарингцев» с «бордосцами» в жесте о Рауле де Камбре, сражения друзей и родственников Сида с линьяжем инфантов Каррионских, нескончаемая месть за инфантов Лара, без конца повторяющиеся стычки Колонна с Орсини, союзными с Гаетани, в которые вмешался папа Бонифаций VIII — Гаетани; вражда северных кланов в Шотландии и Скандинавии. На турнирах, на поле боя, при осадах замков разворачивалась борьба феодальных семей, наполняя собой всю средневековую историю.

Но сеньориальному классу вопреки его притязаниям не принадлежала монополия на подобные конфликты. В городских стенах беспощадную борьбу за лидерство среди патрициата и за господство в политической жизни вели горожане — как самостоятельно, так и во главе партий. Неудивительно, что Италия, урбанизированная раньше других регионов, представляла наибольшее число подобных примеров. В 1216 г. во Флоренции вендетта противопоставила две консортерии (семейные группы): Фифанти-Амидеи и Буондельмонте. За нарушение брачного договора (тем более позорное для Фифанти-Амидеи, что жених Буондельмонте не явился в день, когда вся консортерия невесты в свадебных одеяниях ждала его на Понто-Веккьо) через некоторое время изменник был убит, когда он направлялся в собор венчаться с другой. Отпочковавшись от борьбы двух претендентов на императорский престол, Оттона Браунгшвейского и Фридриха Гогенштауфена, и вылившись в борьбу между императорами и папами, соперничество двух флорентийских семей обернулось борьбой гвельфов и гибеллинов.

Редким, но заметным явлением было стремление отдельных представителей высших классов встать на сторону восставших низов. Такими людьми руководил идеализм или, как в случае с бедными клириками, осознание большей своей близости к бедным, чем к остальному духовенству. Из их родов выходили образованные вожди, столь необходимые народу. «Предатели» интересов своего класса встречались среди духовенства, бюргерства, реже — среди дворян. В 1327 г. «десять тысяч» вилланов и городских бедняков выступили против монахов Бери-Сент-Эдмундса под руководством двух священников, несущих знамена восставших. Загадочной фигурой был Генрих Динантский, льежский трибун в 1253 — 1255 гг., патриций, поднявший плебс против патрициата. Ф. Веркотрен, изучив хроники XIII в.,

увидел в нем честолюбца, воспользовавшегося народным недовольством для собственного возвышения, такого Катилину. Но о народных вождях мы узнаем лишь от их врагов. Так, Иоанн Утремезский писал, что «Генрих Динантский поднял народ против своего сеньора, против духовенства и был весьма распущенного нрава... Это был человек хорошего рода, мудрый и хитрый, но свершивший столько ошибок, предательств, козней, что оказался совсем нестоящим человеком из-за своей зависти ко всем на свете». Посмеемся над этим приговором, наклеивавшим восставшим извечный ярлык завистников. Зависть (*invidia*), согласно церковным моралистам и учебникам исповеди, была величайшим грехом, свойственным крестьянам, бедноте. С чувством справедливого негодования толкователи воли сильных мира сего ставили этот диагноз всем вождям угнетенных. «Завистниками» назывались такие народные вожди, как Якоб и Филипп Артевельде или Этьен Марсель.

Помимо этих единичных случаев, мы можем задаться вопросом: насколько затронуты классовой борьбой были две силы, по определению стоящие над ней и пытавшиеся ее умерить: церковь и королевская власть? Церковь в силу христианских идеалов призвана была поддерживать равновесие между бедными и богатыми, крестьянами и сеньорами и даже стать поддержкой слабым беднякам, установить социальную гармонию, благословленную ею в известной трехчастной схеме общественного устройства.

Роль церкви была заметной в плане благотворительности, в борьбе с голодом. Соперничество с классом военных побуждало ее иногда действовать в пользу горожан или крестьян, против общей угрозы. Она вдохновляла движение к установлению мира, столь выгодного всем жертвам феодального насилия. Но все ее многочисленные заявления о беспристрастном судействе в споре «сильных» и «слабых» плохо скрывали ее склонность становиться на сторону угнетателей. Будучи включенной в свою эпоху, образуя социально привилегированную группу, ею же превращенную в сословие, в касту милостью Божьей, Церковь естественным ходом вещей вынуждена была склоняться на сторону тех, к числу которых на деле принадлежала.

Когда Варен, епископ Бовезийский, представил королю Роберту Благочестивому договор о мире, он хотел заставить сеньоров принести следующую клятву: «Я не уведу ни быка, ни коровы, ни прочего скота, я не захвачу ни крестьянина, ни крестьянки, ни купцов, не буду отбирать их денег, не буду требовать с них выкупа. Я не хочу, чтобы они теряли свое имущество, и не стану их сечь, чтобы отнять их запасы. С мартовских календ до дня Всех святых я не захвачу ни коня, ни кобылы, ни жеребенка на пастбище. Я не стану рушить мельницы и захватывать там муку, если они не находятся на моей земле и если я не нахожусь в военном походе, и я не возьму под защиту никакого вора». Такой текст использовали многие аббаты и епископы.

Монахи Сен-Лод в Анжере заявляли в преамбуле своего акта: «Бог сам соизволил так, чтобы среди людей одни были сеньорами, а другие — сервами и чтобы сеньоры были склонны чтить и любить Бога, а сервы — чтить и любить сеньоров»; следуя словам апостола: «Рабы, подчиняйтесь земным господам вашим со страхом и ужасом, господа, поступайте с рабами вашими по праву и справедливости, не угрожая им, так как и у вас есть Господин на небесах». Они должны были понимать, что, оправдывая социальное неравенство, они оправдывают как следствие неизбежную борьбу классов.

Характерно, что особенно враждебны крестьяне были по отношению к церковным сеньорам. Возможно, их гнев вызывало несоответствие между поведением клириков и проповедуемыми ими же идеалами, но, безусловно, причина была и в том, что церковные сеньоры лучше хранили свои архивы и благодаря грамотам и земельным описям с легкостью могли получать то, что светские феодалы с трудом вырывали у крестьян.

Видимо, надо признать справедливой самокритику анонимного церковного иерарха XII в., иногда ошибочно отождествляемого со св. Бернаром: «Нет, не могу я смотреть без слез — мы, вожди церкви, трусливее неотесанных учеников Христа эпохи ранней Церкви. Мы отрицаем и умалчиваем истину из страха перед светскими властями, мы отрекаемся от

Христа, от самой истины! Когда грабитель набрасывается на бедняка, мы отказываем в помощи этому бедняку. Когда сеньор мучает вдов и сирот, мы не препятствуем ему. Христос распят, и мы молчим!»

Позиция королевской власти во многом напоминала позицию церкви, недаром обе эти силы оказывали друг другу поддержку в совместной борьбе, лозунгами которой были охрана общего блага от тирании и защита «слабых» от «сильных».

Королевская власть максимально использовала все средства, данные ей: право требовать «тесный» оммаж от всех сеньоров, отказ приносить оммаж за земли, которыми она владела на правах фьефа (отказ, подчеркивающий, что король не только стоит во главе, но и неизмеримо выше всей феодальной иерархии), обеспечение права патроната над многочисленными церковными учреждениями. Королевская власть стремилась заключить договоры о совладении (*pariage*), превращавшие королей в совладельцев сеньорий, расположенных вне королевского домена, в тех регионах, где королевское влияние было еще слабым. Короли пытались насаждать к своей выгоде культ вассальной верности, лежавшей в основе феодальной морали. Но в то же время королевская власть всегда надеялась освободиться от сеньориального контроля. Утвердив наследственный характер передачи короны, она расширила королевский домен, повсюду внедрила своих должностных лиц, хотела вытеснить феодальные ополчения, «помочи», сеньориальную юрисдикцию национальной армией, государственной фискальной системой, централизованным судопроизводством. Показательно, что крестьяне стремились перейти под покровительство короля, хотя бы потому, что его власть была более отдалена от них, чем власть местных сеньоров. Низшие слои, особенно крестьяне, часто связывали свои надежды с личностью государя, рассчитывая, что он освободит их от сеньориальной тирании. Людовик Святой с волнением рассказывал Жуанвиллю об отношении к нему народа, проявившемся, когда во время его малолетства бароны подняли восстание: «И святой король рассказал мне, что, будучи в Монтлери, ни он, ни его мать не решались вернуться в Париж, пока парижане не пришли за ними с оружием в руках. Он рассказал мне, что от Монтлери до самого Парижа дорога была заполнена вооруженными и безоружными людьми, приветствовавшими его криками и молившими Господа даровать ему долгую и счастливую жизнь, защитить и укрепить его против врагов». Этому королевскому мифу суждена была долгая жизнь. Пока королям не стали рубить головы (1642 — 1649 гг. в Англии и 1792 — 1793 гг. во Франции), этот миф выживал во всех испытаниях, не раз заставлявших королевскую власть под угрозой социального переворота выбирать лагерь феодалов, защищать их интересы и разделять их предрассудки. Во времена Филиппа-Августа крестьяне села Верной восстали против своих сеньоров — капитула парижского собора Нотр-Дам и отказались платить им талью. Они отправили к королю делегатов, но тот встал на сторону каноников и набросился на крестьянских посланцев: «Да будет проклят капитул, если он не бросит вас в нужник!»

Но король ощущал порой свое одиночество перед лицом всех социальных классов, осознавая исходящую от них угрозу. Находясь вне феодального общества, он боялся быть уничтоженным им. Хроника Иоанна Ворчестерского рассказывает о кошмаре Генриха I Английского. Когда король был в 1130 г. в Нормандии, его посетило тройное видение. Сперва он увидел толпу вооруженных крестьян, окруживших его ложе. Они скрежетали зубами и, угрожая королю, выкрикивали свои жалобы. Затем множество рыцарей в доспехах и в шлемах, вооруженные копьями, дротиками и стрелами, грозили его убить. И наконец, толпа архиепископов, епископов, аббатов, деканов и приоров обступила его постель, подняв на него свои посохи.

«И вот, — жалуется хронист, — сие напугало короля, облаченного в пурпур, чье слово, как сказал Соломон, должно само вселять ужас, подобно львиному рыку». Высмеивая этого льва, «Роман о Лисе» высмеивал всякое королевское величие. Королевская власть всегда оставалась немного чуждой средневековому миру.

Помимо рассмотренных нами общностей, Средневековье знало и иные, в той или иной

степени характерные для всех классов и находящиеся под особым покровительством церкви, видевшей в них средство разрядить и ослабить борьбу классов.

Таковы были братства — конфрерии, чье происхождение недостаточно известно нам, как и их связи с корпорациями. Если корпорации базировались в основном на профессиональной основе, то братства имели основу религиозную. Но уже к XIV в. братства соответствовали социальным слоям, если не профессиональным категориям, как, например, братства цирюльников, аптекарей, хирургов (как правило, именовавшиеся «братствами Святого Гроба») и существовавшие отдельно от них братства высших групп — медиков и «хирургов в мантиях», находившиеся обычно под покровительством святых Космы и Дамиана.

Таковы были и категории дев и вдов, особо уважаемых церковью. В XII — XIII вв. было весьма распространено произведение духовной литературы «Зерцало дев», где сравнивались достоинства девственности, вдовства и замужества. Сравнение иллюстрировалось миниатюрой: замужняя женщина собирала урожай сам-тридцать (кстати, и такая цифра была абсолютно мифической для Средневековья), тогда как вдовы — сам-шестьдесят, а девственницы — сам-сто. Но девственницы не столько образовывали межсоциальную группу, сколько сливались с монахинями, а в ту эпоху, когда потеря мужа-кормильца вела большинство тех женщин, которые не могли или не хотели вновь выходить замуж, к нищете, вдовы практически неизбежно оказывались включенными в категорию бедняков.

Более устойчивыми были возрастные группы, но не те, что умозрительно относились клириками к абстрактным «возрастам жизни», а другие, интегрированные в конкретную реальность, характерные для традиционных цивилизаций, военных и крестьянских обществ. Среди всех возрастных групп несомненной реальностью своего существования выделялась одна — класс молодежи, соответствующий в примитивных обществах юношам, подвергавшимся инициации. Инициацию — ученичество — проходили и молодые люди Средневековья. Но здесь действовали социальные структуры, придававшие этой возрастной стратификации различный характер у воинов и у крестьян. В одном случае речь шла об обучении военному искусству феодального боя, которое заканчивалось посвящением, вводившим в класс рыцарства. В другом — о хтоническом цикле фольклорных весенних праздников от дня святого Георгия (23 апреля) до Иванова дня (24 июня), обучавшем деревенскую молодежь обрядам, призванным обеспечить экономическое процветание общины. Эти обряды были так или иначе связаны с лошадьё и заканчивались очищением огнем — прыжками через костер в Иванов день.

Город чаще всего нарушал эти традиции изначальной солидарности. Впрочем, и в городах можно было найти следы этих обрядов: инициации новичков — «желторотых» студентов и школьников (*bejaunes*), призванные очистить их от «сельской дикости». Возможно, здесь прослеживается связь между собирательным именем французских крестьян — Жаки, бытовавшим в конце Средневековья, и именем (*Zak*) — Як, которым в Польше обозначали студента-новичка. Такими обрядами были и инициация молодых учеников, вступавших в компаньонаж — союз подмастерьев, где новичку предписывалось совершить большое путешествие (*Grand Tour*), и инициация молодых юристов, вступавших в Базошь — корпорацию судебных клерков.

Но класс стариков, «старейшин» традиционных обществ, похоже, не играл особо важной роли в христианском мире, в обществе, где люди умирали молодыми, где воины и крестьяне ценились лишь в пору своего физического расцвета и где даже духовенство управлялось зачастую довольно молодыми епископами и папами — достаточно вспомнить о тридцатипятилетнем папе Иннокентии III, вступившем на престол в 1198 г. (даже если не считать скандально молодых пап X в. — Иоанна XI, занявшего престол святого Петра в 931 г. в возрасте двадцати одного года, и Иоанна XII, ставшего папой в шестнадцать лет в 954 г.). Средневековое общество не знало геронтократии. Тем больше оно могло быть растрогано величием седобородых старцев, украшавших порталы соборов в виде старцев Апокалипсиса

и пророков, описаниями седобородого императора Карла Великого, наполнявшими средневековую литературу, и образами отшельников — патриархов средневекового долголетия.

Следует обратить внимание и на значение отношений, установившихся в определенных центрах социальной жизни, связывающих различные классы и стили жизни.

Первым в этом ряду следует назвать церковь как центр приходской жизни. Под действием церковной пропаганды там формировались менталитет и манера чувствования прихожан, однако церковь была не только очагом духовной жизни общины, но и местом общения. Там проходили собрания, туда колокола созывали жителей в случае опасности, например при пожаре, там вели беседы, проводили игры, совершали сделки. И несмотря на все усилия духовенства и соборов, направленные на то, чтобы превратить церковь только в дом Бога, она оставалась социальным центром с многоплановыми функциями, вполне сравнимым с мусульманской мечетью.

Подобно тому как приходское общество было микромиром, организованным церковью, так и общество замка было социальной ячейкой, сформированной сеньорами. Оно объединяло молодых сыновей вассалов, посланных туда, чтобы служить сеньору, учиться воинскому искусству (а по случаю — быть заложниками), с сеньориальной дворней, а также с теми, кто удовлетворял господские потребности в увеселениях и служил для поддержания определенного феодального престижа, с теми, кто представлял собой мир развлечений. Положение всех этих менестрелей, труверов, трубадуров было двусмысленным. Обязанные воспевать достоинства тех, кто их нанял, находясь в зависимости от денег и милостей своих хозяев, они чаще всего стремились в свою очередь стать сеньорами, причем иногда им удавалось осуществить эту надежду — таков был случай Миннезингера, ставшего рыцарем и получившего герб (известный Гейдельбергский манускрипт, чьи миниатюры изображают Миннезингеров и их гербы, свидетельствует об этом возвышении за счет благородного искусства лирической поэзии). Но столь же часто они были уязвлены своим положением артистов, зависимых от капризов воинов, они были отчасти и интеллектуалами, вдохновлявшимися идеалами, противоречащими идеалам феодальной касты, они могли становиться обличителями своих хозяев, и порой литературные и художественные произведения, созданные в замках, содержали скрытые свидетельства оппозиционности их авторов феодальному обществу.

Народная среда имела иные центры общения. На селе эту роль играли мельницы. Крестьяне, свозившие туда зерно, должны были поджидать в очереди свою муку. Можно предположить, что там обсуждались сельскохозяйственные нововведения, именно оттуда они начинали свое распространение, там же, на мельницах, вызревали крестьянские восстания. Значение мельниц как очага крестьянского общения доказывают нам два факта. Статуты монашеских орденов XII в. предписывали монахам собирать там пожертвования. Проститутки настолько часто посещали окрестности мельниц, что св. Бернар, всегда готовый ставить интересы морали выше интересов экономических, побуждал монахов разрушить эти очаги порока.

В городе бюргеры имели свои крытые рынки, залы для ассамблей. Так, корпорация торговцев по Сене, объединявшая наиболее влиятельных парижан, выстроила свое здание, названное «Бюргерский зал» («Parloir aux Bourgeois»).

В городе и в деревне немаловажным социальным центром была таверна. Сеньоры всячески поощряли ее посещение, поскольку чаще всего речь шла о таверне «баналитетной», принадлежавшей сеньору, где разливали его вино и пиво, с которого он же удерживал акцизный сбор. Напротив, приходский священник порицал этот центр порока, где процветали пьянство и азартные игры, видя в нем соперника приходу с его проповедями и церковными службами. Таверна собирала не только людей одной деревни или квартала (кварталы, кстати, были еще одной ячейкой городской солидарности, игравшей важную роль в Позднее Средневековье, как и улица, на которой группировались выходцы из одной

местности или представители одного ремесла); таверна в лице хозяина играла роль кредитной кассы, она принимала также и чужестранцев, поскольку была и гостиницей. Там распространялись новости, слухи и легенды. Беседы формировали там менталитет, а поскольку выпивка распаляла умы, таверны способствовали тому, что средневековое общество обретало свою возбужденную тональность. Это пьянящее чувство вселяло в Средневековые брожение, чреватое вспышками насилия.

Часто говорят, что религиозная вера являлась цементом для многих социальных движений, предоставляя им в качестве цели столь необходимые идеалы. Высшей формой революционных движений были ереси. Осознанно или нет, но средневековые ереси отвечали чаяниям социальных категорий, недовольных своим положением. Это справедливо даже для дворянства Южной Франции, в первый период Альбигойских войн выступившего с активной поддержкой еретиков: большое значение имело недовольство дворян церковью, увеличивающей число запретов на заключение браков между родственниками, способствуя тем самым раздроблению земельных владений аристократии, быстро переходивших затем в руки церкви. Очевидно, что много еретических движений, проклиная все земное общество, и особенно церковь, таили в себе мощный революционный фермент. Это справедливо и для ереси катаров, и для учения Иоахима Флорского, и для различных милленаристских сект, в чем ниспровергающем характере мы уже убедились. Но ереси собирали социально разнородные коалиции приверженцев, чьи противоречия снижали эффективность движений. Для катаризма (во всяком случае, для его альбигойской формы) можно выделить дворянскую фазу, когда руководство движения было в руках аристократии, и фазу городскую, когда купцы, нотариусы, городская верхушка контролировали движение, покинутое дворянами после крестового похода и подписания Парижского мира. К концу XIII в. движение было представлено уже лишь отдельными группами демократического толка, где городские ремесленники и горцы-пастухи продолжали борьбу в одиночестве.

Но чисто религиозные лозунги в конце концов устранили социальное содержание этих движений, их революционные программы вырождались в милленаристский анархизм, не оставлявший надежд на исправление дел земных. Нигилизм, направленный против труда, осуждавшегося еретиками еще больше, чем всеми остальными («совершенные» катары не должны были трудиться), парализовал социальную эффективность восстаний, проходивших под религиозным знаменем. Ереси были острой формой идеологического отчуждения.

Тем не менее они оставались опасны и для церкви, и для феодального строя. Поэтому еретиков преследовали и под давлением церкви XII — XIII вв. отесняли на периферию социального пространства, заключая во все более тесные рамки. Под воздействием канонического права к моменту возникновения инквизиции ересь определялась как тягчайшее преступление, направленное против «общего блага церкви», против «порядка всего христианского общества». Таково было определение «Суммы» Угуччо (ок.1188 г.), наиболее влиятельного канониста своего времени.

По степени опасности для общества рядом с еретиками шли евреи (IV Латеранский собор 1215 г. обязал их носить обязательный опознавательный знак — кружок) и прокаженные (число лепрозориев стало расти после III Латеранского собора 1179 г.), которых стремились учечь, выловить и собрать в одном месте.

И все же это было время, когда христианское общество приняло в себя некоторые категории париев. Раннее Средневековье держало на подозрении многие ремесла. Варваризация позволила возродиться многим атавистическим табу: табу на кровь было обращено против мясников, палачей, хирургов и даже солдат. Табу на нечистоты, грязь затрагивало сукновалов, красильщиков, поваров, прачек (Иоанн Гарлянд в начале XIII в. повествовал о неприязни женщин к представителям ткацких ремесел, к «синим ногтям», которые вместе с мясниками будут играть активную роль в восстаниях XIV в.). Табу на деньги объяснялось обычаями всякого примитивного общества, где господствовало

натуральное хозяйство. Германские завоеватели привнесли также презрение воинов к трудящимся, христианство — презрение ко многим видам мирской деятельности, запрещенным для клириков и тем самым бросавшим тень подозрения и на мирян, ими занимавшихся. Но под напором экономической и социальной эволюции шло разделение труда, возвышение ремесел, оправдание Марты перед лицом Марии, оправдание жизни деятельной, изображению которой отводилось на порталах готических соборов вполне почетное место, симметричное аллегорическим изображениям жизни созерцательной. Все это приводило к резкому сокращению числа незаконных, презренных ремесел. Францисканец Бертольд Регенсбургский в XIII в. поместил «все состояния мира (etats du monde)» в единую семью Христову, за исключением евреев, жонглеров и бродяг, составлявших «семью дьявола».

Но христианский мир, включив в себя новое общество, возникшее в период подъема X — XII вв., достиг определенной завершенности своего развития и не стал терпимее к тем, кто не захотел подчиниться установленному порядку или был отторгнут самим обществом. Его отношение к этим париям было двойственным. Оно одновременно испытывало перед ними ужас и восхищение. Общество держало их на определенном расстоянии, впрочем не слишком большом, сохраняя возможность использовать их к своей выгоде. То, что оно именovalo милосердием по отношению к ним, походило на игру кота с мышью. Так, лепрозории должны были находиться на расстоянии «полета камня» от города, с тем чтобы могло осуществляться «братское милосердие» по отношению к прокаженным. Средневековое общество нуждалось в этих людях: их подавляли, поскольку они представляли опасность, но одновременно не выпускали из поля зрения; даже в проявляемой заботе о них чувствовалось почти осознанное стремление мистически перенести на них все то зло, от которого общество пыталось в себе избавиться. Это видно, например, в описании прокаженных, одновременно находящихся в миру и вне мира, тем, кому король Марк выдал избалованную и осужденную Изольду в ужасающем эпизоде сочинения Беруля, опущенном куртуазным Тома.

...Проказой страждущий Ивен,
Увечный, в струпьях, в черном гное,
Пришел он тоже и с собой
Не меньше сотни приволок
Таких, как он: один без ног,
Другой без рук, а третий скрючен,
И, как пузырь, четвертый скручен.
В трещотки быют, сипят, гундосят
И скопом милостыню просят.
Хрипит Ивен: «Король, ты ложе
Для королевы для пригожей
Придумал на костре постлатъ,
За грех великий покарать.
Но быстро плоть огнем займется,
По ветру пепел разнесется,
Терпеть недолго будет боль -
Ты этого ль хотел, король?
Послушай, что тебе скажу.
Другую кару предложу:
В живых останется, но ей
Той жизни будет смерть милей.
... ..
Так будь же ласков с прокаженным
И дай им всем Изольду в жены.

Мы любострастия полны,
Но женами обделены -
Им прокаженные не гожи,
Лохмотья в гное слиплись с кожей.
Изольде был с тобою рай,
Носила шелк и горностай.
...А коли мы ее возьмем,
Да в наши норы приведем,
Да нашу утварь ей покажем,
Да на тряпье с ней вместе ляжем,
И хлебово в обед дадим,
Что мы с охотою едим,
Что щедрой нам дарят рукою, -
Объедки, кости да помой, -
Тогда, свидетель мне Христос,
Прольет она потоки слез,
Покается в грехе, жалея,
Что поддалась соблазну змея.
Чем жизнь такую годы влечь,
Живой в могилу лучше лечь.

(Пер. Э.Л. Липецкой)

Увлечшись своим новым идеалом труда, Средневековье изгоняло тех, кто добровольно или вынужденно пребывал в праздности. Оно выталкивало на большую дорогу убогих, больных, безработных, сбивавшихся в толпу бродяг. По отношению к этим несчастным, отождествлявшимся с Христом, оно испытывает те же чувства, что и к Христу: влечение и страх. Показательно, что Франциск Ассизский, действительно желавший жить, как Христос, не только смешался с толпой этих отверженных, но хотел стать лишь одним из них — нищим, чужестранцем, скоморохом — «скоморохом Господа», как он сам себя называл. Разве мог он не вызвать тем самым скандала?

Набожный Людовик Святой, свершив благочестивые обряды и проявив милосердие к нищим и прокаженным, хладнокровно записывал затем в «Установлениях»: «Если у кого-либо нет ничего и они проживают в городе, ничего не зарабатывая (то есть не работая), и охотно посещают таверны, то пусть они будут задержаны правосудием на предмет выяснения, на что они живут. И да будут они изгнаны из города».

Христиане в течение всего Средневековья вели диалог с евреями, прерывая его преследованиями и погромами. Еврей-ростовщик был необходим обществу как кредитор — ненавидимый, но полезный и незаменимый. Евреи и христиане особенно часто спорили по поводу Библии. Между священниками и раввинами не прекращались публичные и частные встречи. В конце XI в. Гилберт Криспи, аббат Вестминстера, повествовал об успехе своего теологического спора с евреем, прибывшим из Майнца. Андрей Сен-Викторский, в середине XII в. задавшийся целью восстановления библейской экзегетики, консультировался у раввинов. Людовик Святой рассказывал Жуанвиллю о диспуте между евреями и клириками в Ключонийском монастыре. Но он сам не одобрял подобных собраний: «Король добавил, что никто, кроме хороших клириков, не должен дискутировать с ними; что касается мирян, то, когда они слышат нападки на христианский закон, они не должны защищать его иначе, чем всадив поглубже меч в брюхо обидчику».

Евреям покровительствовали некоторые принцы, аббаты, папы и особенно германские императоры. Но с конца XI в. на Западе усиливался антисемитизм. Его часто связывают с крестовыми походами. Вполне вероятно, что дух крестоносного движения мог придать антисемитизму дополнительную страстность. Но все же, если верить Раулю Глаберу, первые погромы начались около тысячного года, правда, число их удвоилось во время I крестового

похода. Так, в Вормсе и в Майнце «враг рода человеческого не замедлил, — сообщают „Саксонские анналы“, — посеять плевелы в пшеницу, породив лжепророков, смешав с воинством Христовым лжемонахов и распутниц, сеющих смуту в войске Господнем своим лицемерием и ложью, нечестивым развратом. Они сочли удобным отомстить за Христа язычникам и евреям. Поэтому они перебили 900 евреев в Майнце, не пощадив ни женщин, ни детей. Горы трупов, вывозимых из Майнца на телегах, вызвали сострадание своим видом».

Со II крестовым походом в 1146 г. впервые появляется обвинение в ритуальном убийстве, то есть в убиении христианского младенца для употребления его крови в мацу, появляются и обвинения в надругательстве над гостией, что в глазах церкви было еще более страшным преступлением, рассматривающимся как убийство Бога. С тех пор в годы бедствий и вспышек недовольства подобные наветы не переставали создавать козлов отпущения. Повсюду во время «черной смерти» 1348 г. избивали евреев, обвиняя их в отравлении колодцев. Но основная причина изоляции евреев крылась в экономической эволюции, сформировавшей как феодальный мир, так и городское общество. Евреев невозможно было включить в систему вассальных связей, сделать членами коммуны. Им нельзя было приносить вассальную клятву, от них нельзя было требовать присяги на верность коммуне. Мало-помалу они были отлучены от владений земель или от пожалований, от ремесла и торговли. Им оставались лишь маргинальные или незаконные виды ростовщичества и торговли.

И все же одобрение и повсеместное учреждение гетто произошло лишь в эпоху Контрреформации, Тридентского собора. Именно во время великого спада XVII в., в период королевского абсолютизма наступает то «великое закрытие», которое М. Фуко описал на примере отношения к сумасшедшим. Средневековые смотрели на них весьма двойственно. Их могли считать вдохновенными оракулами, и какой-нибудь дурак при сеньоре, а позже королевский шут становился советником. В сельском мире деревенский дурачок был фетишем всей общины. В «Игре о Листке» резонером выступает такой молодой крестьянский безумец. Предпринимались попытки выделить разные категории сумасшедших: «неистовые», «буйные», нуждавшиеся в уходе, или, точнее, в заточении в специальных госпиталиях, первым из которых еще в XIII в. стал лондонский «Вифлеем», или «Бедлам»; меланхолики, чьи недуги также имели физическое происхождение — разлитие желчи, но которые нуждались скорее в священнике, чем во враче; и, наконец, одержимые, которых лишь экзорцист мог освободить от их страшного недуга.

Многих из таких одержимых можно было спутать с колдунами. Но наше Средневековье не было еще той великой эпохой охоты на ведьм, каким станут XIV — XVIII вв. Колдуны пока с трудом находили себе место между еретиками и одержимыми. Часто считают, что они были уцелевшей горсткой далеких потомков языческих волхвов, тех «предсказателей», которых преследовали пенитенциалии Раннего Средневековья, в ходе христианизации деревни. Этими же пенитенциалиями вдохновлялись Регинон Прюмский в своем «Каноне» (ок. 900 г.) и Бурхардт Вормский в своем «Декрете» (ок. 1010 г.). У них можно найти «стригов» или «лабий» — вампиров или волков-оборотней (Бурхардт приводит их немецкое имя — вервульфы, что подчеркивает народный характер верований). Церковь имела лишь очень ограниченный контроль над этим диким деревенским миром и соблюдала осторожность в своих атаках на него. Разве не признала она, что волк-оборотень приходил смотреть на голову св. Эдмунда, англосаксонского короля, усеченную викингами?

Но начиная с XIII в. государственный интерес, опиравшийся на возрождение римского права, открывает охоту на ведьм. Неудивительно, что ею занялись наиболее «этатистские» суверены. Первыми в числе преследователей стали папы, видевшие в колдунах, как и во всех еретиках, государственных преступников, виновных в нарушении христианского порядка. В 1270 г. пособие для инквизиторов «Сумма инквизиционной службы» специальную главу посвятило «авгурам и идолопоклонникам», виновным в организации «культа демонов». Некоторые все же пытались внести необходимые различия. Юрист Олдрадус из

Понте-де-Лоди сомневался в том, что гадание и приготовление всякого любовного зелья являлось ересью. Речь шла скорее о суевериях. Но каков бы ни был диагноз церкви, колдуны и колдуньи отныне приговаривались к костру.

Следуя Азону Болонскому, провозгласившему ок. 1220 г. в своей «Сумме к Кодексу» колдунов (*maleficius*) виновными в смертном грехе, Фридрих II преследовал ведьм, и дож Джакомо Тьеполо составил против них специальный статус 1231 г.

Но наиболее рьяным их гонителем, стремившимся обвинить в колдовстве всех своих противников, был Филипп Красивый. Его царствование ознаменовалось чередой процессов, где новое понимание государственного интереса проявилось в наиболее уродливых формах: предварительное заключение обвиняемых, выбивание признаний любыми средствами, предъявление комплексного обвинения сразу во всех преступлениях — в мятеже против государя, в святотатстве, колдовстве, разврате, и в частности в содомии.

История содомии в средние века еще не написана. Это относится и к практике, и к ее теоретическому осмыслению. В XI — XII вв. поэты на античный манер воспевали любовь юношей, и монастырские тексты позволяют время от времени замечать, что этот мужской мир клириков не оставлял без внимания сократическую любовь. Но отношение к содомии, унаследованное от иудейских сексуальных табу, находилось в полном противоречии с греко-римской этикой. Содомия считалась одним из наиболее осуждаемых преступлений, став под воздействием курьезного перетолкования Аристотеля «грехом против природы», венцом иерархии пороков. Но подобно тому, как чтились незаконнорожденные дети аристократических семей при полном презрении к бастардам низкого происхождения, высокопоставленные гомосексуалисты могли чувствовать себя спокойно (как, например, короли Англии Вильгельм Рыжий и Эдуард II). Вероятно, что слабому распространению гомосексуализма способствовали не только строгость канонического права, но и отсутствие в семейных структурах условий, способствующих формированию эдипова комплекса. Хотя, может быть, такое впечатление было создано церковной цензурой, отсекавшей всякие намеки на подобное поведение.

Содомия была одним из основных пунктов обвинения тамплиеров, жертв знаменитого процесса, возбужденного Филиппом Красивым и его советниками. Чтение протоколов процесса тамплиеров показывает, что король Франции и его окружение в начале XIV в. подготовили судебную репрессивную систему, ничем не уступавшую нашей эпохе с ее нашумевшими процессами.

Один из таких процессов был начат против епископа Труа Гюишара, обвиненного в том, что он хотел известить королеву и многих придворных Филиппа Красивого, колдуя над восковой фигуркой. В этом же обвинили и Бонифация VII, более умело избавившегося от своего злополучного предшественника — Целестина I.

В эту же эпоху происходит ужесточение содержания прокаженных. Но конъюнктура распространения проказы объяснялась биологическими причинами и отличалась от конъюнктуры ведовских процессов. Не исчезая совсем, проказа значительно сократилась на Западе начиная с XIV в. Ее апогеем были два предыдущих столетия, когда множилось число лепрозориев (память об этом доносит до нас топонимия — пригороды-лепрозории сохранили название «Мадлен», хутора и деревни — термин «мезель», синоним прокаженного). Людовик VIII в 1227 г. жаловал по завещанию по 100 су каждому из двух тысяч лепрозориев французского королевства. III Латеранский собор, разрешив на территории лепрозориев строить часовни и кладбища, предопределил тем самым их превращение в замкнутые миры, откуда больные могли выходить, лишь предварительно расчистив себе дорогу шумом трещотки. Точно так же круг — эмблема евреев — должен был отпугивать добрых христиан. И все же в средние века еще сравнительно редким было то ритуальное «отделение» прокаженных от общества, которое получило распространение в XVI — XVII вв., когда епископ символическими жестами должен был вырвать прокаженного из общества, сделать его умершим для мира (порой в этом обряде больному предписывалось прыгать в могилу). В средневековом праве повсюду, за исключением Бовези и Нормандии, прокаженный сохранял

все права здорового человека.

Но над прокаженными все же висело множество «запретов», и они также легко превращались в козлов отпущения во время бедствий. В период великого голода 1315 — 1318 гг. евреи и прокаженные преследовались по всей Франции, подозреваясь в отравлении колодцев и источников. Филипп V, достойный сын Филиппа IV, был инициатором множества процессов против прокаженных, в ходе которых у них под пыткой вырывались признания, приводившие их на костер.

Но как и в случае с высокородными бастардами и педерастами, знатные прокаженные находились вне опасности, они могли продолжать исполнять свои функции и жить среди здоровых людей. Прокаженными были король Иерусалимский Балдуин IV, Рауль, граф Вермандуа, и Ричард II — тот самый грозный аббат Сент-Олбанса, вымостивший крестьянскими жерновами свою приемную.

В число отверженных входили и больные, особенно убогие, калеки. В мире, где уродство считалось внешним знаком греховности, те, кто был поражен болезнью, был проклят Богом и, следовательно, и людьми. Церковь могла временно принимать их (срок пребывания в госпиталях был ограниченным) и спорадически кормить некоторых из них в дни праздников. Всем остальным оставалось только нищенствовать и бродяжничать. Слова «бедный», «больной», «бродячий» были синонимами в средние века. Госпитали часто размещались у мостов, на перевалах — в местах, где обязательно проходили эти скитальцы. Ги де Шолиак, рассказывая о поведении христиан во время «черной смерти» 1348 г., отмечает, что в одних местах в этом бедствии обвиняли евреев и избивали их, в других — бедняков и калек (*pauperes et truncati*), которых изгоняли. Церковь отказывалась допускать к священству физически неполноценных. В 1346 г., когда Жан де Юбан основал коллеж Аве Мария в Париже, он исключил из числа стипендиатов «юношей с телесными повреждениями».

Но главным отверженным средневекового общества был чужестранец. Будучи обществом примитивным, обществом замкнутым, средневековый христианский мир отказывал посторонним, не принадлежавшим к известным общинам, этим носителям неизвестности и беспокойства. Людовик Святой в своих «Установлениях», в главе «О чужестранных людях», стремился определить их положение: «Чужестранец — человек, не признанный в здешних краях». «Гистрионы, жонглеры и чужестранцы» объединены вместе в статусе Гослара 1219 г. Чужестранец тот, на кого не распространены отношения верности, подданства, кто не присягал в подчинении, кто был в феодальном обществе «ничьим человеком».

Средневековье фиксировало свои болевые точки: города и деревни вокруг замков не прятали, а выставляли на всеобщее обозрение свои орудия подавления. Виселицы на большой дороге при въезде в город или у подножия замка, позорный столб на рыночной площади или перед церковью и прежде всего тюрьма, владение которой было знаком обладания правом высшей юстиции, принадлежности к высшему социальному рангу. Неудивительно, что средневековая иконография, иллюстрируя Библию, изображая святых и мучеников, охотно рисовала тюрьмы. Они были реальностью, угрозой, кошмаром средневекового мира.

Тех, кого нельзя было держать на привязи или запереть, средневековое общество выталкивало на дорогу. Сливаясь с купцами и паломниками, калеки и бродяги скитались в одиночку, группами, караванами. Те, что были поздоровее и покрепче, пополняли шайки бандитов, засевшие в лесах.

История молодого немецкого крестьянина XIII в. Гельмбрехта, захотевшего освободиться от пут своего социального положения, может служить поучительным резюме всей социальной истории.

Вот внешний вид молодого «сеньора»: «Я видел — и утверждаю это со всей уверенностью — крестьянского сына, чьи белые завитые волосы спускались на плечи. Он хранил их под прекрасно вышитым колпаком. Я сомневаюсь, чтобы еще на каком-нибудь

уборе было сразу столько птиц: попугаи и голубки, все были там изображены». Своему отцу Гельмбрехт заявил: «Я хочу познать вкус господской жизни. Никогда больше не бывать мешку у меня на плечах, я не хочу отныне грузить навоз на твою телегу. Да проклянет меня Бог, если я впрягу когда-нибудь в ярмо твоих быков или стану сеять твой овес. Ясно, что это не идет к моим белым завитым волосам, к модной одежде, к моему красивому колпачку и к шелковым голубкам, вышитым дамами. Нет, никогда не стану я помогать тебе в поле!»

Напрасно отец напоминал ему мораль средневекового общества: «Редко везет тому, кто восстает против своего места, а твое место — это плуг».

Но сын хочет жить, как сеньор. А сеньориальная жизнь — это упоение скоростью коней, этих средневековых автомобилей, и угнетение крестьян. «Я хочу слышать мычание похищенных быков, когда я погоню их через поле. Я не смогу жить, коль будет у меня тощая кляча. Не скакать с другими как ветер по равнине, пуская мужицких коней через изгороди, — это, конечно, будет великим ударом для меня!»

Прошло время, и блудный сын вернулся, чтобы удивить своих родителей. Он стал вором, а не сеньором. «Некогда, — рассказывает его отец, — еще мальчиком, мой отец, а твой дед посылал меня на господский двор сдавать сыр и яйца, как делали все арендаторы. Я видел там рыцарей и наблюдал их нравы». И старый крестьянин передает восприятие молодым деревенским парнем жизни замкового общества, подсмотренной с задворок: турниры, танцы, жонглеры и менестрели. Но он знал, что господская жизнь не для него и не для его сына.

Молодой бандит уезжает, совратив свою сестру, которую он по-крестьянски, без кюре, выдал за одного из своих сообщников по грабежу. Он звался теперь Сожри-страну, его свояк именовался Сжуй-ягненка. Проглоти-барана, Ограбь-ад, Взломай-сундук, Сожри-корову, Ограбь-церковь также составляли их шайку. Они пытаются и грабят крестьян: «Одному я выдавил глаза, повесил другого над костром, этого я привязал к муравейнику, тому выдрал бороду калеными щипцами, с одного я содрал шкуру, другого колесовал, подвесив за сухожилия. Так все, чем владели крестьяне, стало моим».

Для Гельмбрехта история кончилась плохо.

«Что должно было случиться, произошло. Бог не забывает покарать тех, кто вершит не должное». Бог избрал два средства наказать Гельмбрехта.

Первым его орудием стал сеньориальный прево. «Им не помог адвокат... Сбир велел повесить девятых воров, оставив жизнь лишь одному — Гельмбрехту Сожри-страну. Палач выколол ему глаза, отрубил руку и ногу... Гельмбрехту — слепому вору выдали посох, и слуга отвел его в родительский дом. Но отец не захотел его принять и выгнал, не облегчив страданий. „Эй, малый, уведи от меня это чудище!... Господин чужестранец, ступайте-ка отсюда побыстрее!“

Мать все же сунула ему хлеб в руку, как делала это, когда он был маленьким. Так ушел слепой разбойник. Когда он шел по деревням в сопровождении поводыря, никто из крестьян не упускал случая крикнуть ему: «Эй, вор Гельмбрехт! Если бы ты оставался крестьянином, как я, ты не был бы сейчас слепым и беспомощным!»

Последним орудием Господнего гнева стали ограбленные Гельмбрехтом крестьяне, не простившие человеку своего класса того, что они обязаны были терпеть от своего сеньора.

«Они велели несчастному исповедаться, затем один из них подобрал щепотку земли и дал ему в знак защиты от ада, после чего они вздернули его на дереве...»

«Пути-дороги были небезопасны; но теперь можно путешествовать спокойно, раз Гельмбрехт повешен... Но, может быть, у Гельмбрехта найдутся сторонники? Они станут маленькими Гельмбрехтами. Я не могу защитить вас от них, но они кончат дни свои, как и он, — на виселице».

ГЛАВА IX. Ментальность, мир эмоций, формы поведения (X — XIII вв.)

Чувство неуверенности — вот что влияло на умы и души людей Средневековья и определяло их поведение. Неуверенность в материальной обеспеченности и неуверенность духовная; церковь видела спасение от этой неуверенности, как было показано, лишь в одном: в солидарности членов каждой общественной группы, в предотвращении разрыва связей внутри этих групп вследствие возвышения или падения того или иного из них. Эта лежавшая в основе всего неуверенность в конечном счете была неуверенностью в будущей жизни, блаженство в которой никому не было обещано наверняка и не гарантировалось в полной мере ни добрыми делами, ни благоразумным поведением. Творимые дьяволом опасности гибели казались столь многочисленными, а шансы на спасение столь ничтожными, что страх неизбежно преобладал над надеждой. Францисканский проповедник Бертольд Регенсбургский в XIII в. возвещал, что шансы быть осужденными на вечные муки имеют 100 тыс. человек против одного спасенного, а соотношение этих избранных и проклятых обычно изображалось как маленький отряд Ноя и его спутников в сравнении со всем остальным человечеством, уничтоженным Потопом. Да, именно в природных бедствиях средневековый человек находил образы для выражения и оценки духовных реальностей, и историк имеет основания говорить, что продуктивность умственной деятельности казалась средневековому человечеству такой же низкой, что и продуктивность его сельскохозяйственной деятельности. Итак, ментальность, эмоции, поведение формировались в первую очередь в связи с потребностью в самоутраченности.

Прежде всего хотелось опереться на прошлое, на опыт предшественников. Подобно тому как Ветхий завет предшествует Новому и служит основанием для него, поведение древних должно было обосновывать поведение людей нынешних. Если и можно было предположить что-то определенное, так только то, что могло найти подтверждение в прошлом. Особенное значение придавалось тем, кого считали авторитетами. Конечно, именно в теологии, наивысшей из наук, практика ссылок на авторитеты нашла свое наивысшее воплощение, но и она, став основой всей духовной и интеллектуальной жизни, была строго регламентирована. Высшим авторитетом являлось Писание; к нему прибавлялся авторитет отцов церкви. На практике этот всеобщий авторитет воплощался в цитатах, которые как бы превращались в «достоверные» точки зрения и сами начинали в конце концов играть роль «авторитетов». Поскольку суждения авторитетов часто были темны и неясны, они прояснялись глоссами, толкованиями, которые в свою очередь должны были исходить от «достоверного автора». Нередко глоссы заменяли собой оригинальный текст. Из всех сборников текстов, отражавших интеллектуальную деятельность Средневековья, больше всего обращались к антологиям глосс и из них чаще всего делали заимствования. Знание оказывалось мозаикой цитат — «цветов», — именовавшихся в XII в. «сентенциями». Совокупность таких сентенций — это и есть сборники авторитетов. Уже в середине XII в. Робер де Мелен протестовал против того влияния, которое среди этих изречений имели глоссы. Тщетно. Отец Шеню считает, что не только посредственная «Сумма изречений» Петра Ломбардского — учебник теологии для университетов XIII в. — лишь собрание глосс, «отыскать источник которых довольно затруднительно», но что даже в «Сумме теологии» св. Фомы Аквинского обнаруживается довольно много считающихся авторитетными текстов, происхождение которых в действительности можно установить, лишь обратившись к деформациям в «*glossae*».

К авторитетам прибегали, по всей видимости, в той мере, в какой они не противоречили собственным воззрениям писавшего. Алену Лилльскому принадлежит ставшая крылатой фраза, что «у авторитета нос из воска, и форму его можно изменить в любую сторону». По всей вероятности, авторитетами для интеллектуалов Средневековья становились также такие неожиданные авторы, как языческие и арабские философы. Тот же Ален Лилльский утверждал, что нужно прибегнуть к авторитету «благородных» философов, чтобы пристыдить христиан. В X в. арабские писатели были до такой степени в моде, что Аделард Батский не без лукавства признавался, что многие свои собственные мысли он

приписывал арабам, чтобы они лучше воспринимались читателями, что должно — подчеркнем это — побуждать нас к осмотрительности в оценке влияния арабов на средневековую христианскую мысль. Влияние это подчас преувеличивается. В действительности ссылки на арабов часто были лишь данью моде, маской, призванной привлечь внимание к оригинальной мысли. Как бы то ни было, ссылка на то, что то или иное высказывание заимствовано из прошлого, была в средние века почти обязательна. Новшество считалось грехом. Церковь спешила осудить *novitates* (старофранцузское «*novelletes*»). Это касалось и технического прогресса, и интеллектуального прогресса. Изобретать считалось безнравственным. Самое важное, что почтенный «аргумент традиции», силу которого хорошо понимаешь, если говорят о «согласии явившихся из глубин веков свидетелей, чтобы давать единогласные показания», часто становился предметом спора. «Чаще всего, — пишет отец Шеню, — здесь ссылаются на одного автора, приводят один текст вне времени и пространства, не заботясь о том, чтобы сформировать систему свидетельств».

Гнет древних авторитетов ощущался не только в интеллектуальной сфере. Он чувствовался во всех областях жизни. Впрочем, это печать традиционного крестьянского общества, где истина и тайна передаются из поколения в поколение, завещаются «мудрецом» тому, кого он считает достойным ее наследовать, и распространяются в большей мере не через посредство писанных текстов, но из уст в уста. Один монах в надписи на манускрипте Адемара Шабаннского раскрыл эту преемственность, определяющую ценность культуры, передаваемой через традицию: «Теодор Монах и аббат Адриен учили искусству грамматики Альдхельма, Альдхельм обучал Беду, Беда (через посредство Эгберта) обучал Алкуина, тот учил Храбана и Смарагда, а тот Теодульфа, после которого идут Хейрик, Хукбальд, Ремигий и его многочисленные последователи».

Итак, авторитеты управляли духовной жизнью. Средневековая этика преподавалась и проповедовалась при помощи стереотипных историй, иллюстрировавших урок и неустанно повторявшихся моралистами и проповедниками. Эти сборники примеров (*exempla*) и составляют однообразный ряд средневековой нравоучительной литературы. При первом чтении назидательные истории могут развлечь; но когда сто раз обнаруживаешь их в разных местах, то становится ясной эта практика постоянного повторения, которая переводит в интеллектуальную сферу и духовную жизнь стремление остановить время, становится ясной сила инерции, как бы поглощавшая большую часть ментальной энергии средневековых людей. Вот один из многих *exemplum*, формирование которого вскрыл А.-Л. Габриэль. Это история легкомысленного студента, «сына легкомыслия», который совершает тяжкий грех, вознамерившись изменить свое положение. *Exemplum* появляется в трактате английского клирика «*De disciplina scolarium*», написанном между 1230 и 1240 гг., и, разумеется, автор начинает с того, что приписывает его одному из самых неоспоримых авторитетов, самому Боэцию. Затем, более или менее приукрашенная, с вариациями, история этого студента, который сначала учился, потом занимался торговлей и сельским хозяйством, побывал в рыцарях, углублялся в право, женился, стал астрономом — причем все это служит поводом для сатиры на разные «сословия», — эта история обнаруживается повсюду. Мы встречаем ее, и это весьма забавно, в некоторых французских переводах «Утешения философией» Боэция; переводчики включили ее туда, доверившись автору *Exemplum*. Но она встречается также и в многочисленных фавлю, посвященных разным «сословиям». И то же самое в различных комментариях — к Боэцию ли или к трактату «*De disciplina scolarium*». Пальма первенства принадлежит в конечном счете английскому доминиканцу Николасу Трайвету (умер ок. 1328 г.), который повторил эту историю в двух комментариях — и к тому, и к другому сочинениям — и который донес до нас, может быть, суть примера, приведя пословицу «катящийся камень не обрастает мхом». Обращаясь к поговоркам, ждущим еще своего фундаментального исследования, которое позволило бы нам добраться до самых глубин средневековой ментальности, мы спускаемся к основам фольклорной культуры. В этом традиционном крестьянском обществе поговорка играла важнейшую роль. Но в какой

мере она являлась ученой обработкой расхожей земной мудрости, а в какой, наоборот, откликом народа на пропаганду, исходившую от верхушки общества?

Как и следовало ожидать, сила традиции обретала особую мощь в применении к общественному устройству, то есть по отношению к феодальным структурам. В самом деле, ведь в основе феодального права и практики лежала кутюма, то есть обычай. Юристы определяли ее как «юридическое правило, обычай, родившийся в результате мирного повторения общественных актов, которые в течение длительного времени не порождали никаких споров и противоречий». В этом классическом определении Франсуа-Оливье Мартена одно слово остается всего лишь желанием, а не действительностью: «мирно». Ведь кутюма есть не что иное, как право, установленное силой, которой достаточно долго удавалось заставить молчать несогласных. Можно оценить революционное значение знаменитого высказывания Григория VII: «Господь не сказал: мое имя Обычай». Но и спустя долгое время после папы-реформатора в обществе продолжало господствовать обычное право. Корни его уходили в незапамятные времена. Это было то, что восходило к самым истокам коллективной памяти. Доказательством истины в феодальную эпоху было «извечное» существование. Вот, например, конфликт, в котором в 1252 г. выступали друг против друга сервы собора Парижской богородицы в Орли и каноники. Каким образом стороны доказывали свою правоту? Крестьяне утверждали, что они не должны платить капитулу подать, а каноники возражали, опираясь на опрос осведомленных людей, которых спрашивали, что говорит на этот счет традиция («молва» — *fama*). Обратились к двум самым старым жителям данной местности. Один из них, некто Симон, мэр Кор-брёза, которому было более семидесяти лет, заявил, что, согласно *fama*, капитул может облагать людей податью и что он поступал именно так «с незапамятных времен» (*a tempore a quo non exstat memoria*). Другой свидетель, архидиакон Жан, бывший каноник, заявил, что он видел в капитуле «старые свитки», где было записано, что каноники имеют право облагать податью жителей Орли, и слышал, что такой обычай существовал «со времен глубокой древности» (*a longe retroactis temporibus*) и что капитул верил этим свиткам, «принимая во внимание древность записи» (*sicut adhibetur auctoritate scripture*).

Даже в том, что касается знати, гарантией почтенности была прежде всего древность рода. Именно это, скорее, чем отбор высшего духовенства по социальному признаку, в большой степени объясняет значительное количество знатных среди святых и тот факт, что благородное происхождение приписывалось многим святым, на самом деле его не имевшим. Это то же самое, что генеалогия Иисуса, доказывающая древние царские корни семьи Марии, то есть земной семьи Иисуса Христа. Что, как не пережиток средневекового сознания, заставляло архиепископа Парижского времен Реставрации наивно заявлять: «Господь наш не только был сыном Божиим, но он еще и происходил из прекрасной семьи».

К доказательству авторитетом, то есть доказанной древностью, прибавлялось доказательство чудом. Средневековые умы привлекало совсем не то, что можно было наблюдать и подтвердить естественным законом, регулярно происходящим повторением, а как раз, наоборот, то, что было необычно, сверхъестественно или, уж во всяком случае, ненормально. Даже наука более охотно избирала своим предметом что-то исключительное, чудеса (*mirabilia*). Землетрясения, кометы, затмения — вот сюжеты, достойные удивления и исследования. Средневековые искусство и наука шли к человеку странным путем, изобиловавшим чудовищами.

По всей вероятности, доказательство чудом стало сначала употребляться для определения святости, которая сама по себе исключительна. Здесь встретились народная вера и доктрина церкви. Когда с конца XII в. папы стали претендовать на исключительное право канонизации святых, которых раньше причисляли к таковым «волей народа» (*vox populi*), то они провозгласили совершение чудес одним из обязательных условий для признания святости. Когда в начале XIV в. регламентировалась процедура канонизации, в нее включили обязательное требование наличия специальных записей о чудесах,

совершенных кандидатом: *capitu-la miraculorum*. Но Бог ведь творит чудеса не только через посредство святых.

Чудеса могли случиться в жизни каждого — вернее, в критические моменты жизни всякого, кто в силу той или иной причины сподобился вмешательства сверхъестественных сил.

Конечно, тот, кто сподобился подобных явлений, — это герой. Вот ангел прерывает дуэль между Роландом и Оливье в жесте (поэме о героических деяниях) Жирара де Вьена. В «Песни о Роланде» Бог останавливает солнце, в жесте «Паломничество Карла Великого» он наделяет храбрецов сверхчеловеческой силой, позволяющей им в действительности совершить подвиги, которыми они дерзко хвалились в своем *gabs*. Но и люди самые простые могли удостаиваться чуда, больше того, даже самые большие грешники, если только они были набожны. Верность Богу, Деве или святому — наподобие вассальной верности — вела к спасению скорее, чем примерная жизнь.

В знаменитом произведении начала XIII в. «Чудеса Девы», принадлежащем Готье де Куанси, мы видим, как Мария сочувствует и помогает своим приверженцам. Вот она в течение трех суток собственными руками поддерживает повешенного вора. Он преступник, но, прежде чем идти воровать, он никогда не забывал вознести ей молитву. Вот она воскрешает монаха, утопившегося по пути от возлюбленной: утопая, он произносил слова заутрени. Вот она тайно принимает роды беременной аббатисы: та отличалась особой набожностью.

Однако главным доказательством истины посредством чуда служил так наз. Божий Суд. «Бог на стороне правого» — эта прекрасная формула узаконивала один из самых варварских обычаев Средневековья. По-видимому, для того, чтобы шансы не были слишком уж неравными с земной точки зрения, слабым, в особенности женщинам, разрешалось находить себе замену. Борцы-профессионалы, которых моралисты осуждали как наихудших наемников, подвергались испытанию вместо них.

И здесь опять ордалии оправдывало совершенно формальное понимание добра. Так, в жесте «Ами и Амиль» рассказывается о двух друзьях, похожих друг на друга, как близнецы. Ами участвует в судебной дуэли вместо Амиля, который виноват в том, в чем его обвиняют. Ами же невиновен в проступке, вменяемом его товарищу, и, следовательно, он побеждает своего противника.

В жесте «Песнь Иерусалима» один клирик по имени Петр, находившийся в Святой земле, утверждал, будто бы святой Андрей открыл ему место, где хранится священное копье, пронзившее бок Христа на кресте. Были предприняты раскопки, и копье нашли. И тогда, чтобы узнать, подлинное ли копье, то есть говорил ли клирик правду, его подвергают испытанию огнем.

По истечении пяти часов клирик умер от ран. Однако было сочтено, что он выдержал испытание с честью, а копье подлинное. Ноги же у клирика сгорели потому, что вначале он усомнился в истинности своего видения. И конечно же, каждый помнит испытание огнем Изольды.

«Бледная, она шатаясь приблизилась к костру. Все молчали. Железо было раскалено докрасна. Она опустила обнаженные руки в жар костра, схватила железный прут, пронесла его девять шагов, а затем отбросила его и вытянула руки, скрестив их и открыв ладони. И все увидели, что плоть ее чище, чем слива на сливовом дереве. И тогда каждый громко вознес хвалу Богу».

Достаточно задуматься об этимологии слова «символ», чтобы понять, какое большое место занимало мышление символами не только в теологии, в литературе и в искусстве средневекового Запада, но и во всем его ментальном оснащении. У греков «цимболон» означало знак благодарности, представлявший собой две половинки предмета, разделенного между двумя людьми. Итак, символ — это знак договора. Он был намеком на утраченное единство; он напоминал и взывал к высшей и скрытой реальности. Однако в средневековой

мысли «каждый материальный предмет рассматривался как изображение чего-то ему соответствовавшего и сфере более высокого и, таким образом, становившегося его символом». Символизм был универсален, мыслить означало вечно открывать скрытые значения, непрерывно «священнодействовать». Ибо скрытый мир был священен, а мышление символами было лишь разработкой и прояснением учеными людьми мышления магическими образами, присущего ментальности людей непросвещенных. И можно, наверное, сказать, что приворотные зелья, амулеты, магические заклинания, столь широко распространенные и так хорошо продававшиеся, были не более чем грубым проявлением все тех же верований и обычаев. А мощи, таинства и молитвы были для массы их разрешенными эквивалентами. И там, и тут речь шла о поиске ключей от дверей в скрытый мир, мир истинный и вечный, мир, который был спасением. Акты благочестия носили символический характер, они должны были заставить Бога признать человека и соблюдать заключенный с ним договор. Этот магический торг хорошо виден в формулах дарений, содержащих намеки на желание дарителей спасти таким образом свою душу. Бога обязывали, вынуждали даровать спасение. А мысль точно так же должна была найти ключи от дверей в мир идей.

Средневековая символика начиналась, следовательно, на уровне слов. Назвать вещь уже значило ее объяснить. Так сказал Исидор Севильский, и после него средневековая этимология расцвела как фундаментальная наука. Понимание есть знание и овладение вещами, реальностями. В медицине поставленный диагноз означал уже исцеление, оно должно было наступить вследствие произнесения названия болезни. Когда епископ или инквизитор мог сказать о подозреваемом: «еретик», то главная цель была достигнута — враг назван, разоблачен. *Res* и *verba* не противоречили друг другу, одни являлись символами других. Если язык был для средневековых интеллектуалов покровом реальности, то он также являлся ключом к этой реальности, соответствующим ей инструментом. «Язык, — говорил Ален Лилльский, — есть инструмент ума». А для Данте слово было всеобщим знаком, раскрывавшим смысл, познаваемый и разумом и ощущением (*rationale signum et sensuale*).

Становится понятным, таким образом, значение спора, в который с XI в. и до конца средних веков оказались вовлечены практически все мыслители, спора об истинной природе взаимоотношений между *verba* и *res*. Оно было столь велико, что традиционные историки мысли, упрощая интеллектуальную историю Средневековья, подчас сводили ее к столкновению «реалистов» и «номиналистов», этих гвельфов и гибеллинов средневековой мысли. Это был «спор об универсалиях».

Итак, фундаментом средневековой педагогики было изучение слов и языка. Грамматика, риторика, диалектика -*trivium* — таков первый цикл из семи свободных искусств. Основу любого преподавания, по крайней мере до конца XII в., составляла грамматика. Уже от нее переходили к другим наукам и особое внимание уделяли этике, которая дополняла свободные искусства и даже как бы венчала их. Наука грамматика, как ее определяет каноник Делэ, имела много назначений — и не только потому, что через комментирование авторов позволяла обращаться к любому сюжету, но еще и потому, что благодаря словам она позволяла добраться до скрытого смысла, ключом к которому они являются. Годфруа Сен-Викторский в «Источнике философии» («*Fons philosophiae*») воздаст почести грамматике, которая научила его буквам, слогам, языку «буквальному» и языку «тропов», то есть такому, который вскрывает фигуральный, аллегорический смысл. В Шартре знаменитый магистр Бернар Шартрский также опирался в своем преподавании на грамматику. Впрочем, они только следовали традиции, восходившей к античности и дошедшей до средних веков через Блаженного Августина и Марциана Капеллу, и воссоздавали эту традицию.

В соответствии с требованием поиска четырех смыслов в толковании Библии кто-то из экзегетов полагал вслед за святым Павлом, что буква способна убивать, тогда как дух оживляет; но большинство средневековых толкователей видели в *littera* подход к *sensus*.

Природа виделась огромным хранилищем символов. Элементы различных природных классов — деревья в лесу символов. Минералы, растения, животные — все символично, и

традиция довольствовалась тем, что некоторым из них давала преимущество перед другими. Среди минералов это были драгоценные камни, вид которых поражал зрение, воскрешая миф богатства. Среди растительности это те растения и цветы, которые упоминаются в Библии, среди животных это экзотические, легендарные существа, звери-чудовища, удовлетворявшие тягу средневековых людей к экстравагантному. Лапидарии, флорарии, бестиарии в идеальной библиотеке средних веков стояли на почетном месте.

У камней и цветов символический смысл совмещался с их благотворными или пагубными свойствами. Цветовая гомеопатия желтых и зеленых камней лечила желтуху и болезни печени, а красных — кровотечения и геморрагию. Красный сардоникс означал Христа, проливающего свою кровь на кресте за людей. Прозрачный берилл, пропускающий свет, — это был образ христианина, озаренного светом Христа. Флорарии — это что-то родственное травникам, они знакомили средневековую мысль с миром «простецов», с рецептами добрых женщин и секретами монастырских хранилищ лекарственных трав. Гроздь винограда в символическом изображении мистической давилки — это был Христос, проливший кровь за людей. Образом Девы могли служить олива, лилия, ландыш, фиалка, роза. Св. Бернар подчеркивал, что символом Девы является как белая роза, означающая девственность, так и алая роза, говорящая о ее милосердии. Васильком, у которого четырехугольный стебелек, лечили перемежающуюся четырехдневную лихорадку, а вот яблоко было символом зла. Мандрагора, как считалось, возбуждает чувственность, а также одержимость. Когда ее вырывают, она кричит, и тот, кто слышит крик, умирает или сходит с ума. В последних двух случаях средневековые люди определяли смысл этимологией: яблоко по-латыни *malum*, что значит также и «зло», а мандрагора — это дракон человечества (английское *mandrake*).

Животный мир чаще всего виделся как сфера зла. Страус, откладывающий яйца в песок и забывающий их высидеть, — таков был образ грешника, не помнящего долга перед Богом. Козел символизировал сластолюбие, скорпион, кусающий хвостом, воплощал в себе лживость и, кроме того, евреев. Символика, связанная с собакой, раздваивалась, включая в себя античную традицию, в которой она была символом нечистого, и тенденцию феодального общества к реабилитации собаки как животного благородного, необходимого спутника сеньора на охоте, как символа верности, самой возвышенной из феодальных добродетелей. Но настоящими обличьями дьявола выступали фантастические звери, имевшие сатанинское происхождение: все эти аспиды, василиски, драконы, грифоны. Двойственный смысл имели лев и единорог. Будучи символами силы и чистоты, с одной стороны, они могли также выражать свирепость и лицемерие — с другой. Впрочем, единорог в конце средних веков был идеализирован, вошел в моду и был увековечен в серии ковров «Дама с единорогом».

Средневековая символика нашла исключительно широкое поле для применения в богатой христианской литургии, а еще раньше в самом строении религиозной архитектуры. Смысл двух главных типов церковных зданий объяснил Гонорий Августодунский. И круглая, и крестообразная форма являлись образами совершенства. Легко понять, что круглая форма несла в себе завершенность круга. Но нужно понимать, что крестообразный план здания — это не только изображение распятия Христа. Еще важнее то, что форма *ad quadratum*, базирующаяся на квадрате, обозначала четыре основных направления, символизировавших вселенную. И в том, и в другом случае церковь олицетворяла микрокосм.

Особое место среди важнейших форм средневековой символики занимала символика чисел: структурируя мысль, она стала одним из главенствующих принципов в архитектуре. Красоту выводили из пропорциональности, из гармонии, отсюда и превосходство музыки, основанной на науке чисел. «Знать музыку, — говорил Фома Йоркский, — это значит прежде всего знать порядок всех вещей». Архитектор, согласно Гильому Пассаванскому, епископу Манса с 1145 по 1187 г., — «это композитор». Соломон сказал Господу: «Ты все расположил мерою, числом и весом» («*Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti*»).

Число — это мера вещей.

Так же как и слово, число смыкается с реальностью. «Создавать числа, — говорил Тьерри Шартрский, — это значит создавать вещи». И искусство, поскольку оно является подражанием природе и творению, должно руководствоваться счетом. Согласно Кеннету Джону Конанту, вдохновитель построения церкви аббата Гугона в Ключи, начатой в 1088 г. (Ключи III), монах Гунзо (миниатюра изображает его видящим во сне святых Павла и Этьена, которые намечают ему веревками план будущей церкви) был признанным музыкантом (*psalmista praecipuus*). Символическим числом, которое как бы вбирало в себя, согласно Конанту, всю числовую символику, использованную при построении здания, считалось в Ключи число 153; это количество рыб в Чудесном лове рыбы.

Ги Божуан привлек недавно внимание к неизданным трактатам XII в., из которых видно, что символика чисел в романскую эпоху была еще более распространена, чем принято считать. Мастерами в этой игре, которую принимали всерьез, слыли викторианцы и цистерцианцы. Гуго Сен-Викторский в трактате из «Латинской патрологии», разъясняя смысл числовой символики, подчеркивал значение разницы в числах. Если начинать с семи дней Бытия или с шести дней, в которые Создатель сотворил Мир (*Hexameron*), то 7» 6 означает отдых после трудов, а 8» 7 — это вечность после земной жизни (8 обнаруживается в восьмиугольниках храмов в Аахене, Сен-Витале в Равенне, храма Гроба Господня в небесном Иерусалиме). Если начинать с 10, а десятка обозначает совершенство, то 9 «10 — это недостаток совершенства, а 11» 10 — его избыток. Цистерцианец Эд де Моримонд, умерший в 1161 г., в трактате «*Analytica numerorum*» возобновил спекуляции с цифрами, которыми занимался св. Иероним. Последний в пасквиле против Иовиниана, небольшом сочинении в похвалу девственности, очень модном в XII в., который был весьма «не расположен к браку» (возможно, в ответ на быстрый рост населения), объяснял символику чисел 30, 60 и 100, относящихся к трем состояниям: браку, вдовству и девственности. Для того чтобы представить число 30, нужно тихонько свести кончики большого и указательного пальцев: это означает брак. Для того чтобы изобразить число 60, большой палец нужно согнуть и как бы склонить перед указательным, который нависает над ним: таков образ вдовы, которая целомудренно обуздывает сладострастие прошлого или которая согнулась, скрывшись под покрывалом. И наконец, чтобы воплотить число 100, нужно составить пальцами венец девственности. Основываясь на этом, Эд де Моримонд составил символику пальцев. Мизинец, который подготавливает уши к тому, чтобы слушать, символизирует у него веру и добрую волю; безымянный палец — раскаяние, средний палец — милосердие, указательный — ясный разум, большой палец — божественность. Разумеется, для того чтобы понять все это, нужно осознать, что в средние века люди считали на пальцах и этот счет лежал в основе всех символических толкований так же, как в основе всех измерений лежали «естественные» меры: длина стопы или предплечья, размер пяди или поверхности земли, которую можно было обработать за один день, и т. д. Самые скромные жесты связывались с самыми смелыми спекуляциями. Как видно из этих примеров, в ментальном оснащении людей Средневековья трудно разграничить абстрактное и конкретное. Клод Леви-Строс справедливо отвергал «пресловутую неспособность „неразвитых“ людей к абстрактному мышлению». Напротив, средневековый разум обнаруживал тягу к абстрактному или, точнее, к мировидению, основывавшемуся на абстрактных взаимозависимостях. Так, расцветка считалась особенно красивой, если строилась на сочетании белого и красного, превосходных цветов, символизовавших, как мы видели, чистоту и милосердие. Но в то же время чувствуется, что за абстрактными понятиями тут возникали конкретные образы. Согласно Исидору Севильскому, средневековые клирики производили слово «*pulcher*» от слов «*pelle ru-bens*»; тот, кто красив, имеет красную кожу, потому что под ней бьется живая кровь. Кровь определяла и знатность и, наоборот, неблагородство, словом, это был элемент важнейший. Но как отделить абстрактное от конкретного в этом интересе к крови? Он обнаруживается, кстати, и в другом слове, обозначающем прекрасное, — «*venustus*», которое тоже производили от слова «*ve-nis*», что

значит «вены».

На самом деле это наложение конкретного на абстрактное составляло основу ментальностей и чувствований средневековых людей. Одна страсть, одна потребность, заставляла колебаться между желанием отыскать за осязательным конкретным более существенное, абстрактное и попытками заставить эту скрытую реальность проявиться в форме, доступной чувствам. И нельзя с уверенностью сказать, что стремление к абстрактному было свойственно прежде всего образованным кругам, интеллектуалам и клирикам, а стремление к конкретному встречалось в первую очередь среди необразованных. И чувство абстрактного, и чувство конкретного в равной мере характеризовало и *litterati*, и *illiterati*. Можно, например, задать вопрос, не стремились ли средневековые массы уловить в символах порчи и вреда прежде всего принцип зла, который затем грамотные показывали народу в конкретных обликах дьявола и его воплощений. Понятен успех у народа ересей, например катарской (разновидности манихейства), которая на место Бога и Сатаны ставила принципы Добра и Зла. Точно так же искусство Раннего Средневековья поверх вдохновлявших его эстетических традиций местного населения или кочевников обнаруживает, что тенденции к абстрактному в нем древнее других.

Любовь к свету, авторитет телесного были глубоко свойственны средневековому мироощущению. Можно, однако, задать вопрос, что больше прельщало людей Средневековья: очарование видимости, воспринимаемое чувствами, или скрывающиеся за внешностью абстрактные понятия — светлая энергия и сила.

Хорошо известно пристрастие Средневековья к сверкающим, ярким цветам. Это был «варварский» вкус: кабошоны, которые вправляли в переплеты, блеск золота и серебра, многоцветие статуй и живописи на стенах церквей и богатых жилищ, магия витражей. Средневековье, почти лишенное цвета, которым мы любуемся сегодня, — это продукт разрушительного действия времени и анахронических вкусов наших современников. Но за цветовой фантаσμαгорией стоял страх перед мраком, жажда света, который есть спасение.

Технический и духовный прогресс способствовал, видимо, все лучшему использованию света. В готических соборах стены стали пробуравливаться, потоки света, расцвеченного витражами, хлынули внутрь. С XIII в. начало потихоньку появляться оконное стекло в домах. Наука XIII в. в лице Гроссетеста, Витело и других изучала и «прощупывала» свет, поставив оптику на первое место среди своих занятий. Техническая наука даровала свет утомленным и больных глазам, изобретя в самом конце века очки. Ученых притягивала к себе радуга, этот каприз природы, естественным образом разложенный свет. Интерес к ней отвечал как традиционалистскому, так и обращенному к новому научному сознанию Средневековья. За всем этим стояло то, что зовется «средневековой метафизикой света», или — более обобщенно и более скромно — поиск безопасности, которую даровали освещение и свет. Красота воспринималась как свет, который успокаивал и ободрял, являлся знаком благородства. Образцом в этом смысле был средневековый святой. Как пишет Андре Воше, «святой — это существо из света». Вот, например, святая Клара: «Ее ангельское лицо после молитвы становилось еще светлее и прекраснее, так оно сияло радостью. Господь воистину милосердный и щедрый так обласкал светлыми лучами свою бедную маленькую супругу, что божественный свет струился от нее и распространялся вокруг». Когда умер св. Эдмонд Кентерберийский, «от него внезапно изошла светящаяся роса и его лицо окрасилось прекрасным розовым цветом». В трактате «Светильник» уточняется, что во время Страшного суда тела воскресших святых будут разного цвета в зависимости от того, были ли они мучениками, исповедниками или девственницами. Вспомним еще о запахе святости, символическом, конечно, но для средневековых людей вполне реальном. В ночь с 23 на 24 мая 1233 г. по случаю канонизации св. Доминика его гроб в Болонье был открыт для перенесения тела. При этом присутствовали группа монахов-доминиканцев и представители благородных и буржуа. «Преисполненные тревоги, бледные, озабоченные, монахи молились. Когда подняли крышку гроба, чудесный запах разлился среди присутствующих».

Однако свет был предметом и самых пылких устремлений. Он был отягощен самыми высокими символами. Вот Клижес и Фенисса Кретьена де Труа:

Клижес, как солнце, заблистал,
Когда красавице предстал;
Сияние не раздвоилось,
Удвоилось и проявилось,
Как свету горнему дано:
Два солнца светят заодно,
Окрасив мир своим румянцем,
Своим безоблачным багрянцем.

(Пер. В. Б. Микушевича)

«Физический свет есть самое лучшее из всех веществ, самое сладостное, самое прекрасное... именно свет составляет красоту и совершенство телесных вещей», — говорил Роберт Гроссетест, и, цитируя Блаженного Августина, он напоминал, что, поняв «имя Красоты», сразу чувствуешь изначальный свет. Этот изначальный свет есть не что иное, как Бог, светящееся, раскаленное средоточие огня. У Данте рай — это восхождение к свету.

Гильом Овернский, чтобы определить прекрасное, объединил число и цвет: «Видимая красота определяется либо рисунком и расположением частей внутри целого, либо цветом, либо, наконец, и тем и другим вместе, рассматривают ли их отдельно друг от друга или изучают гармонию, порожденную их взаимодействием». Притом Гроссетест производит от первичной энергии света как цвет, так и пропорции.

Красивое, кроме того, — это богатое. Экономическая функция сокровищ как резерва на случай необходимости способствовала, по всей видимости, тому, что богатые накапливали драгоценные вещи. Но в восхищении редкими вещами, и особенно редкими материалами, сказывался и эстетический вкус. Люди Средневековья больше восхищались естественными свойствами природных материалов, чем достоинствами работы художника. Интересно было бы с этой точки зрения изучить сокровища церквей, подарки, которые подносили друг другу государи и богачи, описания памятников и городов. Отмечалось, что «*Liber pontificalis*», содержащая описания художественных начинаний пап времен Раннего Средневековья, полна золота и блеска (*gold and glitter*). Анонимное произведение середины XII в. «Чудеса Рима» («*Mirabilia Romae*») в первую очередь рассказывает о золоте, серебре, слоновой кости, драгоценных камнях. Общим местом в литературе, будь то исторические сочинения или романы, было описание или даже просто перечисление богатств Константинополя, представлявших гигантский соблазн для христиан. В жесте «Паломничество Карла Великого» повествуется о том, что западных людей поражали прежде всего колокольни, орлы, «сверкающие мосты». Во дворце они обращали внимание на столы и стулья из чистого золота, на богатую стенную роспись, на огромную залу, свод которой поддерживался столпом черненого серебра, окруженным сотней мраморных колонн, отделанных золотом.

Красивым считалось разноцветное и блестящее, а чаще всего еще и богатое. Но вместе с тем красивое — это было доброе. Обаяние физической красоты было так велико, что она являлась непременным атрибутом святости. Добрый Бог — это прежде всего прекрасный Бог, и готические скульптуры воплощали идеал людей Средневековья. Средневековые святые обладали не только семью духовными дарами — дружелюбностью, мудростью, способностью к взаимопониманию, честью, одаренностью, уверенностью и радостностью, но также и семью телесными дарами — красотой, ловкостью, силой, свободой в движениях, здоровьем, способностью к наслаждению и долголетием. Это относится даже и к святым «интеллектуалам», в том числе и к Фоме Аквинскому. Рассказчик-доминиканец утверждал: «Когда св. Фома прогуливался на лоне природы, народ, работавший на полях, бросив свои занятия, устремлялся ему навстречу, с восхищением созерцая его величественную фигуру, красоту его человеческих черт; в гораздо большей степени их толкала к нему его красота,

чем его святость». В Южной Италии Фому звали «Bos Siciliae» — «Сицилийский бык». Таким образом, этот интеллеktуал для народа своего времени был прежде всего «здоровяком».

Култ физической силы был свойственен, конечно, прежде всего представителям военной аристократии, рыцарям, страстью которых была война. Трубадур Бертран де Борн, прежде чем стать монахом-цистерцианцем, был сподвижником Ричарда Львиное Сердце, этого образцового рыцаря (Жуанвиль с восхищением рассказывает: «Когда лошадь сарацин пугалась кустарника, те говорили: „Ты что думаешь, это английский король?“ А когда дети сарацинок начинали кричать, те говорили: „Замолчи, замолчи! А не то я пойду за королем Ричардом, и он тебя убьет!“»). Вот как Бертран де Борн воспеваеt воинственный идеал средневекового воина:

Любо мне видеть щиты,
ярко-алые и лазурные,
флаги и знамена
всех цветов;
любо разбивать палатки, ставить шалаши и богатые
павильоны,
ломать копы, протыкать щиты и разрубать вороненные шлемы,
бить и получать удары.
И меня охватывает ликование,
когда я вижу в походе в боевом порядке
вооруженных конных рыцарей.
Мне нравится, когда скакуны
гонят людей и скотину;
мне нравится, как они устремляются вперед
все вместе, воинственная сила.
Моему сердцу особенно приятно
видеть осаду укрепленного замка,
разбитые, разломленные крепостные стены,
видеть армию, окружающую ров около стен,
и барьер из крепко связанных кольев.
Мне нравится, когда сеньор
первым бросается на приступ,
бестрепетный, на коне и в доспехах,
чтобы воодушевить своих людей
своей доблестной храбростью.
Говорю вам, ничто не доставляет мне такого удовольствия,
ни еда, ни питье, ни сон,
как возглас «Вперед!», раздающийся с двух сторон,
как ржание лошадей,
потерявших в лесу всадников;
как крики: «На помощь! На помощь!» -
и зрелище воинов, падающих во рвы большие и малые,
и вид убитых, с торчащими в боку
обломками копий с флажками.
Ведь война делает скупого сеньора щедрым.
Вот почему мне нравится видеть великолепие королей.
Пусть им будет нужно много кольев, тетивы, седел,
путь среди поля разбивают шатры
под открытым небом.
Ах! Надо биться сотнями, тысячами,

чтобы потом нас воспели в поэмах.
Рожки, барабаны, знамена и флажки,
флаги, лошади черные и белые -
мы скоро их увидим. Нужно жить как следует!
Надо взять богатство у ростовщиков,
и пусть по дорогам пойдут не мирные обозы,
не беззаботные бургеры, торговцы из Франции,
пусть станут богатыми те, кто разбойничает в свое
удовольствие.

Жуанвиль в начале жития Людовика Святого выделяет в жизни короля как бы две части. «Одна из них — это деятельность святого короля на благо королевства, покорная воле Божьей и церкви. Она продолжалась всю его жизнь. А вторая — это великие военные и рыцарские подвиги». Военный идеал — это рукопашная битва: «Поверьте, что это было замечательное сражение с оружием в руках, ибо там не стреляли из лука или арбалета, но бились врукопашную, дубинками или мечами». Вот чем хвастались дамам, чтобы им понравиться: «Добрый граф Суассонский во время схватки все время шутил и говорил мне: „Сенешал, заставим выть этих собак, и, клянусь шляпой Господа (это было его любимое ругательство), мы еще расскажем, вы и я, об этом деле в комнатах наших дам"».

Кумирами людей всех состояний были те, кто совершал подвиги, то есть нечто из рода спортивных достижений. Вот, например, подвиг Тристана:

Неподалеку от дороги, по которой они идут,
На горке стоит часовня,
На краю крепкой скалы,
Которая возвышается над морем, встречая северный ветер,
Часовня стоит на вершине,
А вокруг ничего: отвесные скалы.
Вся гора — сплошные камни.
Если бы оттуда прыгнула белка,
Она бы неумолимо погибла...
Тристан не медлит!
Он идет к окошку за алтарем,
Тянет его на себя правой рукой
И выпрыгивает наружу.
Сеньоры! Огромный широкий камень
Выступал посредине скалы.
Тристан легко прыгает на него,
Ветер надувает его одежды,
Не давая ему тяжело упасть.
Корнуэльцы и сейчас еще зовут
Этот камень «прыжком Тристана».
Тристан прыгает на мягкий песок,
А его ждут перед церковью.
Но напрасно: Тристана нет!
Бог оказал ему великую милость.
Тристан убегает по берегу огромными прыжками.
Он слышит шум стрельбы
И не думает возвращаться.
Он бежит так быстро, как только может.

И то же стремление к героизму наблюдалось у клириков, особенно у монахов.

Ирландцы научили средневековых монахов высоким деяниям: аскетизму, пьянящему умерщвлению плоти. Святые, подхватившие дело мучеников первых веков христианства, были своего рода «атлетами Христа». Их подвиги тоже носили чисто физический характер. Наконец, и искусство тоже рвалось к героизму: то это была необычайная тщательность в отделке деталей, а то чрезмерность в самой постройке (все больше подробностей, все выше, все больше). Готический художник совершал подвиг.

Ментальная модель в это время охватывала одновременно видение мира, свойственное воинам, и вместе с тем предполагала упрощенный дуализм, оппозицию двух противоположностей. Вся духовная жизнь людей Средневековья концентрировалась вокруг противостояния добра и зла, добродетелей и пороков, души и тела. Пруденций в «Психомехии» заставил пороки и добродетели драться между собой. Это произведение и этот сюжет имели в средние века необычайный успех: добродетели превратились в нем в рыцарей, а пороки — в чудовищ.

Эта экзальтация была неотделима от поиска. Не поддаваться соблазнам суетного мира — таково было стремление всего средневекового общества снизу доверху. Поиски за пределами обманчивой земной реальности того, что за ней скрывалось (*integumen-ta*), переполняли литературу и искусство средних веков. Суть интеллектуальных и эстетических исканий средних веков составляло прежде всего раскрытие потаенной истины (*verita ascoza sotto bella meuzogna*) (Данте. *Convivio* II, 1). Это было главное занятие средневековых людей.

Отсюда — популярность всего того, что способно открыть царство грез. Возбуждающие средства, любовные напитки, пряности, зелья, порождающие галлюцинации, — все это предлагалось во множестве, на любой вкус и по любой цене. Деревенские колдуны снабжали ими крестьян, торговцы и лекари — рыцарей и государей. Все ждали видений и часто устаивались их. Церковь, осуждая колдовские средства, фактически предлагала им лишь замену: перед всяким важным делом она предписывала продолжительный пост (обычно трехдневный), обряды аскетизма, молитвы, которые должны были создать пространство, необходимое для сошествия вдохновения и благодати. Средневековых людей всю жизнь тревожили сны. Сны возвещали, сны разоблачали, сны побуждали к действию — словом, они составляли интригу духовной жизни. Бесчисленные сны библейских персонажей (в изображении которых соревновались скульптура и живопись) продолжались в каждом мужчине и в каждой женщине средневекового христианского мира. «Откуда берутся сны?» — спрашивает ученик в «Светильнике» Гонория Августодунского. — «Подчас от Бога, если это откровение о будущем, как было с Иосифом, когда он по звездам узнал, что ему окажут предпочтение среди братьев, или необходимое предупреждение, как в случае с другим Иосифом, который узнал, что надо бежать в Египет. Подчас от дьявола, когда речь идет о постыдном видении или о подстрекательстве на злое дело, вроде случая с женой Пилата, о котором читаем в истории страстей Господних. А подчас от самого человека, когда то, что он видел, слышал или думал, представляется ему во сне и порождает страх, если речь идет о печальном, или надежду, если речь идет о веселом». Сны посещают людей всех общественных слоев. Король Англии Генрих I увидел во сне, что против него восстали все три сословия. Монах Гунзо во сне узнал о цифровых данных, необходимых для реконструкции церкви в Ключи. Гельмбрехту-отцу во сне открылись этапы трагической судьбы его сына.

Внушающие подозрения сны тоже происходят от дьявола. В «Жизнеописании Марии из Уаньи» Жака де Витри дьявол в образе святого объявляет: «Мое имя — Сновидение. Я и вправду являюсь многим людям в сновидениях, особенно монахам и клирикам; они слушаются меня и под воздействием моих утешений отдаются экзальтации и доходят до того, что считают себя достойными бесед с ангелами и божественными силами». Сон есть знание: «В третью ночь Изольда увидела во сне, будто она держит на коленях голову кабана, которая пачкает ее платье кровью, и тогда она поняла, что больше не увидит своего друга живым».

Рядом с этой ментальностью и эмоциональным восприятием мира, в основе которых лежало магическое, зарождалась и развивалась новая система мировосприятия, особенно в городах и через города, поскольку эволюция там происходила быстрее. Изменения чувствовались уже в XII в., а в XIII они, можно считать, одержали верх. Тут, по всей видимости, нужно вспомнить вместе с Леви-Стросом, что «мышление в рамках магического не есть возникновение, начало, набросок или часть еще не реализовавшегося целого; такое мышление предполагает весьма разработанную систему, независимую от другой системы, которую составляет наука». Если же говорить конкретно, то в средневековом обществе, и часто в одном и том же человеке, две эти системы не только сосуществовали, но и вмещались одна в другую: в старую систему все больше проникала новая и постепенно подтачивала ее, создавая внутреннее напряжение, нарушая связность и последовательность представлений. Нужно также понимать, что взгляд историка-культуролога на изменение ментальностей и эмоционального мира неизбежно отличен от взгляда историка идей и религии, которых во всех этих трансформациях интересует прежде всего стабильный инвариант религиозной веры. Будь их построения хотя бы и столь блестящи, столь пронизательны и столь чувствительны к эволюционным процессам, как построения отца Шеню или отца Любака, обогащающие историческое знание, все равно им свойственна предвзятость — пусть в лучшем понимании этого слова. Если же рассматривать средневековую ментальность, может быть, не столь эмоционально, но в отдаленной перспективе, позволяющей лучше выявить некоторые пропорции и соотношения, тогда необходимо отринуть всякую предвзятость. В начале своего замечательного сочинения «Теология в XII веке» отец Шеню пишет: «Все истолкование XII в. было опрокинуто рационалистическими предрассудками просветительской философии... Мы категорически возражаем против них и заявляем их приверженцам, что символические приемы религиозной выразительности как минимум так же важны и, несомненно, более действенны в христианстве, чем диалектические приемы». Отцу Шеню нужно ответить, что «действенность в христианстве» — это не довод для историка и что, несмотря на все крайности и непонимание каких-то вещей, несмотря на наивность и ошибки, философия Просвещения внесла все же огромный вклад, хотя и не обошлась без привнесения оценочных суждений. Она провозгласила, что «символические приемы религиозной выразительности» являлись достоянием прошлого, XII в., тогда как «диалектические приемы» представляли собой ментальный и интеллектуальный механизм будущего в ожидании того, чтобы уступить место другим «новшествам».

Первым новшеством, которое появилось в XII в. в этой области, была разработка нового ментального «оснащения». Ее осуществляли люди, которые сами по себе были «новы», те, кто преподавал в городских школах, становившихся университетами. Исходной точкой в формировании этой ментальной «оснастки» служил материальный предмет — книга. Ибо надо очень хорошо себе представлять: университетская книга и книга монастырская — весьма отличны друг от друга. Нельзя, конечно, отрицать, что и в монастырях книга была инструментом культуры. Превосходное исследование монастырской культуры, такое, например, которое создал преподобный Жан Леклерк, не оставляет сомнения в том, что книга играла в этой культурной системе значительную роль. Но монастырская книга, в том числе и в своей духовной и интеллектуальной функции, играла прежде всего роль сокровища. В отличие от этого университетская книга была прежде всего инструментом познания. До изобретения книгопечатания книга оставалась дорогой, несмотря на все технические ухищрения (скорость, быстрое размножение с помощью так называемых *ресэ*, отказ от миниатюр или же использование одних и тех же иллюстраций). Вспоминается чудо св. Бенуа, относящееся к VI в.: ему удалось спасти упавший в воду железный заступ. Новые времена — новые орудия. И вот в XIII в. этому чуду соответствует чудо св. Доминика: «Как-то раз св. Доминик переправлялся через реку в окрестностях Тулузы, и его книги упали в воду. Однако спустя три дня рыбак, забросивший удочку в этом

месте, поймал что-то очень тяжелое, как он думал, огромную рыбу. Однако он вытащил из реки книги, принадлежавшие святому, и они были совершенно невредимы, как если бы их заботливо хранили в шкафу». Это не значит, впрочем, что св. Доминик поддался новому фетишизму книги — фетишизму, характерному для университетских людей. Он хорошо знал, что функция книги — вспомогательная. И «Золотая легенда» также свидетельствует об этом. «Когда его спрашивали, по какой книге он учился, он отвечал: „По книге милосердия“».

Симптоматично притом, что даже члены странствующих орденов плохо осознавали новую роль книги. Св. Франциск проявлял большое недоверие к интеллектуальной культуре, он все еще рассматривал произведения культуры как сокровища, дороговизна книги казалась ему противоречащей той практике бедности, которую он проповедовал своим братьям. В XIII в. крупный деятель ордена доминиканцев Гумберт Роменский негодовал, что книга приобретала утилитарное значение и переставала быть предметом драгоценным: «Подобно останкам святых, их мощам, сохраняемым с таким благоговением, заворачиваемым в шелка, заключаемым в золото и серебро, следует хранить и книги, содержащие в себе столько святости. Пренебрежение к книгам достойно осуждения».

На самом же деле изменение функции книги было всего лишь частным случаем более общей эволюции: распространения письменной культуры и прежде всего обретения письменным текстом новой функции — функции доказательства. Ордалии были запрещены IV Латеранским собором (в 1215 г.); им на смену постепенно приходили письменные доказательства истины, и это был переворот в юстиции. Филипп де Бомануар в «Кутюмах Бовези», написанных в конце XIII в., перечисляя категории доказательств, ставит на второе место (после непосредственного знания обстоятельств дела судьей) письменные доказательства, отдавая им предпочтение перед судебной дуэлью, о которой он заявляет: «Из всех способов доказательств этот самый рискованный». Более того, он подчеркивает, что в случае наличия «письменного» доказательства нужно придавать как можно меньше значения — в противоположность тому, как это делалось всегда в прошлом, — свидетелям, которые смертны, «а ведь письменные источники имеют ценность сами по себе, независимо ни от чего, и именно это важно». Тут обнаруживаются черты переходного периода, когда люди с трудом приспосабливались к новой роли писаного слова. Архидьякон, призванный свидетельствовать на тяжбе в Орли в 1252 г., ссылаясь в качестве доказательства на «древние свитки», которые он видел в библиотеке капитула, видел их доказательность в их древности больше, чем в их содержании.

В самом деле, это был момент, когда начали систематизировать кутюмы, когда множилось число писаных законов, когда феодальное право, так же как и римское, и каноническое право, оформлялось в договорах. Традиционное общество, в котором очень велика была роль слухов, устной передачи информации, медленно приучалось если не читать, то, во всяком случае, использовать письменное слово точно так же, как в экономической жизни оно привыкало иметь дело с деньгами.

Ментальное «оснащение» обновлялось во всех областях жизни. Так же как и технические новшества в экономике, все новое в культуре встречало сопротивление. Тут наряду с нерешительностью традиционалистских кругов сказывалось также сопротивление низших слоев тому, что верхушка присваивала себе новые технические средства, которые часто усиливали сеньориальную эксплуатацию. Писанный документ порою в большей степени гарантировал права сеньора, чем права крестьян. И потому эти документы будут отныне ненавидеть наравне с общинной мельницей и печью. Уничтожение сборников документов-картуляриев, земельных описей — всего, что позже назовут терьерами, — станет теперь одной из важнейших акций любого крестьянского мятежа, любой жакерии.

Десакрализация книги сопровождалась «рационализацией» методов интеллектуальной работы, да и самих ментальных механизмов. Разумеется, никто не ставил под сомнение традиционные объекты исследования. Например, все более и более многочисленные критические суждения относительно мощей — в качестве образца можно привести

знаменитый труд Гвиберта Ножанского конца XII в., не очень, впрочем, «прогрессистский», — не ставили под сомнение саму действенность мощей. Целью новых исследований было выявление фальшивых мощей, которых становилось все больше вследствие крестовых походов (так же как и растущей потребности церкви в деньгах). Даже если посмотреть глубже, схоластический метод не ставил под сомнение веру. Наоборот, он стремился прояснить, очистить, лучше понять эту веру. Он развивал знаменитую формулу св. Ансельма: «Вера — средство осмысления себя самой» («Fides quaereum intellectum»). Но как бы то ни было, применявшиеся в схоластике методы предполагали настоящий переворот в ментальных установках. Отец Шеню очень хорошо показал на уровне теологии, высшего знания, что означала для нее самой трансформация себя в «науку», та трансформация, которую она переживала в XII — XIII вв.

Было бы самонадеянным пытаться в нескольких строках определить схоластический метод. Все начиналось с перехода от *lectio* к *questio*, а от *questio* к *disputatio*. Схоластический метод предполагал прежде всего обобщение старой, хорошо известной процедуры, которую раньше применяли главным образом при толковании Библии: *questiones* и *responsiones*, вопросы и ответы. Но ведь если ставились проблемы, если авторам задавались вопросы, значит, эти авторы ставили тот или иной сюжет под сомнение. Схоластика прежде всего занималась разработкой проблематики. Затем она предполагала спор, «диспут», и здесь эволюция состояла в том, что в противовес аргументированию ссылками на авторитет все большее значение приобретала практика логического обоснования аргумента. Наконец, за диспутом следовало заключение, которое делал магистр. Наверняка этот вывод зависел от того, кто его произносил, а коль скоро университетские магистры не чужды были тенденции считать самих себя авторитетами, то и вывод мог становиться источником интеллектуальной тирании. Но это было уже злоупотребление; важнее то, что формулирование вывода вынуждало интеллектуала занять определенную позицию. Невозможно было уже ограничиться лишь сомнением; приходилось подвергаться риску суждения. Так, в конечном счете схоластический метод вел к осознанию личностью ее интеллектуальной ответственности.

Трудно сказать, в какой мере и кто смог преодолеть рамки ограниченных возможностей схоластики. Приговоры, имевшие место в 1270 и в 1277 гг., как будто намекают, что были не только «аверроисты», проповедовавшие под влиянием Сигера Брабантского доктрину «двойной истины», которая опасным образом отделяла веру от разума, но также и настоящие агностики. Определить их истинные воззрения, их количество, круг их слушателей затруднительно. Церковная цензура, по-видимому, хорошо потрудились, уничтожая их следы, но это, вероятно, предполагает, что распространение их ограничивалось достаточно узкими университетскими кругами. В литературе XIII в. известны персонажи, которые выглядят как абсолютные нечестивцы или неверующие, причем чаще они принадлежат к высшим классам общества. Но и тут похоже, что «вольнодумцы» все-таки составляли единицы. Заострение интеллектуального инструментария, происходившее благодаря развитию схоластики, можно проследить, обратившись к трем феноменам.

Первый состоял в более тонком обращении с авторитетами, как, например, у Абеяра, в его знаменитом произведении «Да и нет», этом настоящем «Рассуждении о методе», только из эпохи средних веков. Речь тут шла прежде всего об устранении видимых расхождений в источниках путем установления причин разноречий. Согласно классификации, произведенной отцом Шеню, причины могли корениться в том, что словам придавался неупотребительный смысл или разное значение, в том, что источники были недостоверны или тексты испорчены. Следовало установить, объясняются ли расхождения тем, что в данном пассаже автор лишь передает точку зрения другого или приспосабливается к расхожим представлениям, встречаются ли они во фразах догматического содержания или в тех, что заключают в себе увещание, совет или указывают на исключение. Обращалось внимание и на то, что разные авторы по-разному понимают смысл одних и тех же слов. И

только если разногласие оказывалось неустрашимым, надлежало избрать наиболее высокочтимый авторитет, точке зрения которого надо было следовать.

Второе — это то, что *disputatio* помогало осознать и принять возможность существования разных мнений, согласиться с тем, что расхождения здесь законны. Идеалом, конечно, все равно оставалось единство, согласие, гармония. Грациан провозглашает в «Декрете», что он «ищет согласия между несогласными канонами» («*concordia discordantium canonum*»). Он был симфонистом. Но симфония его рождалась из полифонии. А вот что говорит Гильом Овернский: «Глядя на красоту и великолепие мира, ты поймешь, что он подобен прекрасному гимну и все, что создано на земле, в своем многообразии звучит в унисон, образуя аккорд высшей красоты».

И наконец, третье: новое переставало выглядеть пугающе. Так, в начале XII в. Жан Коттон в трактате «*De musica*» утверждает, что «современные музыканты более тонки и более мудры, ибо, по выражению Присциана, чем человек моложе, тем он проницательнее». Даже в довольно заурядную «Сумму изречений» Петра Ломбардского включены некие новации, которые, правда, его современники называли «профанирующими», а биограф св. Фомы Аквинского Гильом из Токко хвалил Фому за его нововведения: «Брат Фома в своих беседах ставил новые проблемы, открывал новые методы, использовал новые системы доказательств». В поисках новых доказательств схоласты (по крайней мере некоторые из них) все шире применяли наблюдение и эксперимент. Чаще всего вспоминают в этой связи имя Роджера Бэкона, который первым, по-видимому, применил термин *scientia experientialis* и который презирал парижских магистров за чрезмерный догматизм. Исключение он делал лишь для Пьера де Марикура, автора «Трактата о магните», которого называл «мастером эксперимента». Парижанам Бэкон противопоставлял оксфордских магистров, сведущих в науках о природе. На самом деле оксфордцы были (и останутся в дальнейшем) прежде всего математиками, и тут проявлялись трудности, представлявшие для средневековых интеллектуалов установление взаимосвязи между теорией и практикой. Причины трудностей были многосложны, но в полупривале этих попыток сказалась прежде всего социальная эволюция университетских кругов. Рождающаяся схоластика попыталась установить связь между свободными искусствами и механикой, между науками и техникой. А университетские профессора относили себя к социальным группам, гнушавшимся ручного труда. Последствия разрыва теории и практики были во многих областях огромны. Физики экспериментам предпочитали Аристотеля, медики и хирурги вместо вскрытий предпочитали ссылаться на Галиена. Именно предрассудки докторов в гораздо большей степени, чем нерешительность и уклончивость церкви, задержали развитие практики вскрытий и прогресс анатомии, которая делала, однако, первые многообещающие шаги в Болонье и в Монпелье на рубеже XIII и XIV вв. Те же внутренние противоречия переживали в свою очередь и гуманисты.

Между тем по мере утверждения превосходства человека над природой, по мере обретения все большей уверенности в своих возможностях по отношению к окружающему миру люди осознали все более глубокие пучины в своем собственном «я». Происходила интериоризация духовной жизни, ведущую роль приобретало развитие сознания, и вопросы схоластики превращались в дилеммы самосознания. Заслуга в подготовке этого крупного переворота в психологии и чувствовании традиционно приписывается Абельяру. Переворот явился следствием глубоких изменений в том, что Альфонс Дюпрон называет «коллективное ментальное». Раньше человек искал меру и оценку своих прегрешений и заслуг вовне. Пенитенциалии («покаянные книги») налагали на него наказание, которое было чем-то вроде штрафа. После того как епитимья была выполнена, человек считал себя примиренным с Богом, церковью, обществом и с самим собой. Теперь же от него требовалось раскаяние, и он жаждал его (а наиболее щепетильные доходили до угрызений совести). Именно это давало отпущение грехов. В фавлю «Рыцарь с бочонком» один дурной рыцарь соглашается на наказание трудом: он должен наполнить водой бочонок, погружая его в воду. Но сердце

рыцаря не ведает раскаяния, и бочонок остается пуст. Но однажды, когда он, раскаявшись, пролил слезу, одной ее оказалось достаточно, чтобы бочонок наполнился. В средние века плакали много, но причиной слез в жестах были горести и печали, причиненные героям окружающими, а не внушенные ими самими. В конце VI в. Григорий Великий советовал плакать, ибо слезы дают утешение и сокрушают сердце. Он мог быть по-настоящему понят средневековыми людьми лишь шесть веков спустя.

Обратимся к рассказу о старой женщине из Акры времен крестового похода Людовика Святого. Он свидетельствует об обострении чувствительности, об увеличении внимания к намерению, более важному теперь, чем действие, о бескорыстии. По пути в свою резиденцию Судан брат Ив встретил посреди улицы старую женщину, которая несла в правой руке миску с горящим в ней огнем, а в левой — склянку с водой. Брат Ив спросил ее: «Что ты собираешься с этим делать?» Она отвечала, что хочет сжечь огнем рай, а водой залить ад, чтобы не было больше ни того, ни другого. Он спросил: «Зачем это?» — «А затем, что я не хочу, чтобы творили добро из стремления попасть в рай или из страха перед адом, но только лишь из любви к Богу, который сам важнее всего и представляет для нас высшее благо».

Менялись формы покаяния, но изменения претерпевали и святые. Наряду с традиционными признаками святости от святых все чаще стали требовать бедности и милосердия. ореол нравственной чистоты, апостольство стали цениться выше, чем чудотворные деяния и подвиги аскетизма. Идеал святости углублялся в XII в. в мистической жизни. Этьен Жильсон имел основание говорить о «христианском сократизме» святого Бернара. Но, как выразился Андре Воше, «традиционный святой XII в. — это субъект, постоянно ограничивающий себя, вечно себе отказывающий, и его святость слегка „поскрипывает“». Святой XIII в. не менее требователен к самому себе, чем его предшественник, но он выглядит не таким напряженным, он чаще улыбается, словом, он более открыт и позитивен в своих добродетелях. Бедность Франциска была не только отказом от обладания и присвоения, это было новое отношение к миру...

От святого теперь уже не требовалось физической красоты. Однажды, рассказывается в «Цветочках» Франциска Ассизского, будучи очень голодными, он и его собраты вошли в одну деревню. Следуя своему правилу, они пошли просить милостыню — ради Христа; св. Франциск отправился в один квартал, а брат Массэ — в другой. Но поскольку св. Франциск был очень щеделушен и мал ростом и тем, кто его не знал, казался жалким, презренным нищим, то он собрал лишь несколько кусочков черствого хлеба. Зато брату Массэ, который был высок и имел величественную осанку, дали множество больших и хороших кусков и даже целые хлеба.

Романское искусство XII в., преисполненное пессимизма, довольствовалось изображением животных. В XIII в. рвущаяся к счастью готика обратилась к цветам и к людям. Готическое искусство скорее аллегорично, чем символично. В «Романе о Розе» отвлеченные понятия предстают именно в человеческом обличье, будь они хорошие или плохие: Скупость, Старость, Приветливость, Грубость, Разум, Притворство, Природа. Готика еще фантастична. Но ее фантастичность скорее причудлива, чем отпугивающа.

И главное: она становилась нравоучительной. Иконография стремилась учить. Жизнь деятельная и жизнь созерцательная, добродетели и пороки, все с человеческими лицами, располагались в определенном порядке на порталах соборов, украшая их и обеспечивая проповедникам иллюстрации к их нравственным поучениям. Разумеется, задача служить назиданием и раньше всегда возлагалась церковью на искусство. «Живопись, — говорил Гонорий Августодунский, — имеет три задачи». Первой из них является задача обучения основам катехизиса, ибо живопись есть «литература для мирян», а две другие задачи — эстетическая и историческая. Уже в 1025 г. Аррасский собор утверждал: «Неграмотные созерцают в живописи то, что они не могут прочесть». Однако первым стремлением было произвести впечатление и даже напугать. Отныне все становилось нравоучением: изложения Библии, псалтыри, «морализирующие» травники трансформировали Писание в собрание

занимательных историй, на которых строилось религиозное воспитание. Наступила пора расцвета *exemplar*. Эти изменения имели, однако, не только положительные последствия. Вкусы опошлялись, религиозность нередко становилась инфантильной. Если судить по вульгаризаторам (например, Винсенту из Бове), то готическая эпоха выглядит невыразительно. Засилье морализаторства, которое, хоть и имело, может быть, приятный вид принималось не лучше любого другого. Ордонансы конца царствования Людовика Святого, направленные против богохульства и азартных игр, вызывали в окружении короля досаду и даже неодобрение.

Было, однако, в эту эпоху одно чувство, которое явно модернизировалось. Это любовь. В обществе, где ценились прежде всего мужественность и воинственность, как это было в собственно феодальную эпоху, большая изысканность отношений между полами граничила с отношениями дружбы между мужчинами. Наиболее совершенное отражение такой дружбы мы находим в жесте «Ами и Амиль». Вслед за этим появилась куртуазная любовь. В свое время Дени де Ружмон в своей знаменитой книге предложил немало блестящих рассуждений о браке и войне на Западе, но не объяснил их. Рене Нелли, обработав необозримую литературу по разным аспектам темы, подошел к этой проблеме со знанием дела, глубиной и страстью. И тем не менее генезис куртуазной любви даже на уровне фактических представлений остается непроясненным. Чем обязана она мусульманской поэзии и мусульманской культуре? Каковы ее связи с учением катаров? Была ли она той «ересью», которую обнаруживал в ней Александр Денноми, быть может слишком легко смешивая эту любовь с той, о которой Андрей Капеллан писал в своем трактате «О любви» (1185 г.), трактате, из которого в 1277 г. Этьен Тампье со свойственной ему тенденцией к упрощению вытаскивал какие-то шокирующие фразы, чтобы разом осудить томизм, аверроизм и некоторые другие не нравившиеся ему доктрины (хотя они относились к числу наиболее передовых в то время)? Дискуссия об интерпретации куртуазной любви еще не завершена. Многие настаивали на «феодальном» характере этой любви, вдохновляемой, по-видимому, связями между сеньором и вассалом, когда сеньором выступает дама, представительница прекрасного пола. Другие — и к ним я присоединился бы охотнее — видели в куртуазной любви форму бунта против сексуальной морали того же феодального общества.

То, что куртуазная любовь была антиматримониальна, — это очевидно. Брак же был главным полем сражения за революционизацию не только нравов, но и всего мира эмоций. Требовать самооценности чувства, претендовать на то, что между полами могут существовать иные отношения, кроме тех, которые диктуются инстинктом, силой, интересом и конформизмом, — это было, конечно, настоящее обновление. А то, что это сражение развернулось в душах людей благородного сословия именно на Юге, — что тут удивительного! Здесь благородным была присуща двойственность во всем, противоречивость их устремлений резко обозначилась в отношении к катарской ереси, к которой они тем не менее не случайно присоединились. Южная аристократия была более культурной, более тонко чувствующей, чем варвары-феодалы Севера; однако в мире, где все технические новшества появились и распространялись прежде всего на Севере, южная аристократия все более утрачивала свое первенство и испытывала возрастающую тревогу. Да и верно ли то, что куртуазная любовь родом из Прованса? Разве самый прекрасный ее образец — это не любовь Тристана и Изольды? А ведь она принадлежит земле Бретани.

Как бы то ни было, но куртуазная любовь, поднявшись над протестом и бунтом, смогла найти изумительное равновесие души и тела, сердца и ума, влечения пола и чувства. Возвысившись над словесной мишурой и ритуалом, делавшим ее феноменом эпохи, поднявшись над манерностью и заблуждениями куртуазной схоластики и, конечно, над нелепостями новых трубадуров, она остается нетленным даром. Этот дар из числа тех, которые творит культура мира, пробуя множество преходящих форм; вся эта культура созидает чувственный мир человека. Говорить об этом бессмысленно, нужно просто прочесть:

Хотите услышать, сеньоры,
прекрасную повесть о любви и смерти?

Возможно, самое важное из всех изменений, которые являет нам средневековое искусство, — это то, которое породило — вместе с реализмом или натурализмом — новый взгляд на мир, новую систему ценностей. Этот взгляд задерживался теперь на видимом, на мире, даваемом в ощущениях, вместо того чтобы быть лишь простым символом скрытой реальности; этот мир обретал ценность сам по себе, становился объектом непосредственного восхищения. В готическом искусстве цветы стали настоящими цветами, человеческие черты стали чертами индивидуальными, пропорции стали определяться естественными соотношениями, а не символическими значениями. Наверное, такая всеобщая десакрализация предполагала некоторое обеднение, но она несла и освобождение. Впрочем, уже и в романскую эпоху художники придавали большее значение эстетическим интересам, чем идеологическим требованиям. Не нужно чрезмерно усердствовать в символическом истолковании средневекового искусства. Довольно часто его творцы руководствовались единственно чувством красоты формы, а главной их заботой было соблюдение технических требований. Церковные иерархи задавали тему, после чего исполнители имели полную свободу в ее трактовке — конечно, в пределах принятого. Так что порой символизм Средневековья существует лишь в сознании современных толкователей, затемненном мифическим пониманием средневековой эпохи. И очень может быть, что в средние века, несмотря на все давление клерикальной пропаганды, многим удавалось вырваться из удушливой атмосферы магических представлений, которая их обволакивала. Показательно, что многие произведения средневекового искусства самодостаточны, понятны и тем, кто не владеет ключом к их символическому смыслу. Большинство произведений искусства Средневековья — стоит ли говорить, что это и есть самые прекрасные, — волнуют нас самими своими формами. Мы смотрим на прелестных русалок, и нам нет дела, что они были воплощением зла. В готическую эпоху эмоциональность медленно выбиралась из леса символов, куда ее завело Раннее Средневековье. Если взглянуть на миниатюры середины XII в., украшавшие «Сад наслаждений» Герарды Ландсбергской — к несчастью, это копии с оригиналов, погибших в 1870 г., — то мы увидим жнеца, пахаря, кукольника... Художник явно постарался изобразить жизнь, людей, предметы такими, какими они были на самом деле. Здесь изображена евангельская притча о пшенице и плевелах, приговор человеку, обязанному после грехопадения трудиться в поте лица своего; изображен Соломон, разглядывающий мир, как театр марионеток, и восклицающий: «Суета сует — все суета!» Но если что и напоминает нам об источнике сюжетов, то это лишь незначительные детали: например, ангел, засунутый на миниатюре куда-нибудь в угол. Напротив, все в произведении говорит о том, что художник всерьез относился к видимому миру и этот мир доставлял ему удовольствие. Уменьшение значения символов, отступление их перед воспринимаемой чувствами реальностью — все это свидетельствует о глубоком изменении в системе восприятия. Обретший уверенность человек созерцал мир, как Бог после шести дней творения, и находил его прекрасным и добрым. Готическое искусство — это доверие.

Но прежде, чем прийти к этому, люди Средневековья должны были выдержать борьбу со всеобъемлющим чувством неуверенности, и в XIII в. битва еще продолжалась. Большую растерянность порождало то, что существа и вещи на деле были совсем не тем, чем они казались. А именно ко лжи Средневековье и испытывало особое отвращение. Природу Бога определяли так: «Тот, кто никогда не лжет». Дурные люди — это лжецы. «Вы лжец, Феррандо де Каррион», — говорит Перо Бермудес инфанту, а другой сподвижник Сиды, Мартин Антолинес, бросает в лицо другому инфанту: «Закройте рот, лжец, рот, не произносящий правды». Все общество кишело лжецами. Вассалы предавали своего сюзерена, изменяли ему, отрекались от него, соперничая с Ганелоном, за которым вставала тень другого великого предателя, прототипа всех остальных — Иуды. Торговцы

мошенничали, думая лишь о том, как бы обмануть и украсть. Монахи были лицемерами, как францисканец Притворство из «Романа о Розе».

Средневековый словарь чрезвычайно богат выражениями, обозначающими бесчисленные формы лжи и бессчетные разновидности лжецов. Даже среди пророков встречались лжепророки, а чудеса иногда оказывались фальшивыми. Все это казалось делом рук дьявола. А все потому, что человек слаб перед реальным миром и, чтобы возобладать над ним, ему приходилось прибегать к хитрости. Часто думают, что это воинственное общество все брало с бою. Это величайшее заблуждение. Технические приспособления были столь несовершенны, что защита почти всегда одерживала верх над нападением. Даже и в военном деле укрепленные замки и стены были практически неприступны. Если осаждавшим и удавалось ими овладеть, это почти всегда было следствием применения хитрости. Общее количество благ, которым могло располагать средневековое человечество, было столь недостаточным, что приходилось выпутываться кто как мог. И тот, кто не обладал силой или хитростью, почти наверняка был обречен на гибель. Кто же мог испытывать уверенность и в чем можно было быть уверенным? Среди всех многочисленных творений Блаженного Августина средние века обратили внимание прежде всего на трактат «О лжи» («De mendacio»).

Но если реальность скрывается, что делать, как не цепляться за видимость? Напрасно церковь убеждала средневековых людей относиться к видимому миру с презрением, не обращать на него внимания, чтобы обратиться к истинным — скрытым — богатствам духа. Все в средневековом обществе определялось отношением к «кажущемуся», видимому.

Первая видимость — это тело. Его следовало принизить. Григорий Великий называл тело «омерзительным одеянием души». «Когда человек умирает, он излечивается от проказы, каковой является его тело», — говорил Людовик Святой Жуанвиллю. Монахи, служившие средневековым людям примером для подражания, беспрестанно смиряли свою плоть, культивируя аскетические привычки. В монастырских уставах указывалось максимальное количество дозволенных ванн и туалетных процедур, поскольку все это считалось роскошью и проявлением изнеженности. Для отшельников грязь была добродетелью. Крещение должно было отмыть христианина раз и навсегда в прямом и переносном смысле. Нагота, как и труд, представлялись наказанием за грех. Адам и Ева после грехопадения, Ной, напившийся допьяна, являют свою наготу, бесстыдную и греховную. И к тому же нудизм считался признаком ереси, и во всяком еретике в той или иной мере присутствовал адамит. Любопытно отметить, что св. Франциск Ассизский, стоявший на грани ереси, и здесь проявлял противоположную тенденцию считать наготу добродетелью. Бедность — это нагота. От заявлений он перешел к действиям совершенно конкретным, хотя и носящим символический характер. В странном эпизоде «Цветочков» св. Франциск и брат Руфин проповедуют с кафедры в Ассизи абсолютно нагие.

Однако идеал воинственности в такой же степени прославлял тело, в какой христианский идеал его принижал. Юные герои поэм о героических деяниях белокожи, белокуры и кудрявы. Они атлетически сложены.

Корпус его крепок, пропорции великолепны,
Широкие плечи и грудь; он был прекрасно сложен:
Могучие руки с огромными кулаками
И грациозная шея.

Жизнь все время требовала от рыцаря напряжения физических сил: на охоте, на войне, на турнире. Карл Великий получал удовольствие, купаясь нагим вместе со своими приближенными в бассейне дворца в Аахене. Даже мертвое тело являлось объектом тщательного ухода. Телам святых поклонялись, перенесение тела означало канонизацию. Одной монахине явилась св. Клара Монтефалькская, умершая в 1308 г., и сказала: «Мое тело

должно быть канонизировано». Зрение, это «чувство интеллекта», стало играть у средневековых людей важную роль лишь позднее — вспомним, что очки были изобретены лишь в конце XIII в., — а пока они использовали в первую очередь самое «материальное» из всех чувств — осязание. Они все уподоблялись Фоме. Для того чтобы сохранить тела усопших (речь идет о великих мира сего), в нос вливали ртуть, все естественные отверстия затыкали тампонами, пропитанными пахучими веществами, которые, как считалось, предохраняли от разложения, и бальзамировали лицо. Когда тело надо было перевозить на большие расстояния, из него вынимали внутренности, которые хоронили отдельно, а труп начиняли миром, алоэ и другими ароматическими веществами, а затем зашивали. Религия обещала воскрешение плоти.

Если судить по пенитенциалиям, по большому числу незаконнорожденных, по тому, как противилось духовенство обязательности celibата, по намекам или ясным высказываниям в фаблио, — увещевания церкви мало влияли на сексуальную жизнь Средневековья. Наступала пора распространения гигиены, она входила в обиход прежде всего в городах. В 1292 г. в Париже существовало как минимум 26 банных заведений. Причем парильни являлись местом наслаждений и даже пристанищем разврата. Вот описание эрфуртских бань XIII в.: «Бани в этом городе доставят вам истинное удовольствие. Если вам необходимо помыться и вы любите удобства, то можете входить туда спокойно. Вас примут любезно. Красивая молодая девушка как следует разотрет вас своими нежными ручками. Опытный брадобрей побреет вас, не уронив вам на лицо ни капельки пота. Утомившись ванной, вы найдете кровать, чтобы отдохнуть. Хорошенькая женщина, которая не причинит вам беспокойства, с видом девственным искусно расчешет вам волосы. Кто же не сорвет у нее поцелуй, если только захочет, поскольку она отнюдь не сопротивляется? А когда у вас потребуют платы, то хватит и одного денье».

Впрочем, и монастырская литература внесла свой вклад в заботу о теле. Ценный эльзасский манускрипт 1154 г. представляет собой учебник по диетологии, написанный монахиней из Шварцентхана и иллюстрированный Зинтрамом, монастырским каноником из Мирбаха. Этот календарь предписывал особый режим для каждого месяца. В начале XIII в. был широко распространен «Справочник здоровья», написанный в Салерно.

Пища являлась, как мы видели, наваждением для средневекового общества. Крестьянская масса должна была довольствоваться немногим. Основу ее пищи составляла жидкая каша, а главным дополнением к ней были плоды огородничества. Однако в XII в. среди всех социальных категорий стала традиционной еда с хлебом (*companagium*), и именно тогда хлеб приобрел на Западе поистине мистическое значение, которое санкционировала религия. Но у крестьянства был один праздник обильной трапезы: в декабре закалывали поросенка, и свинина составляла основу пиршеств до конца года, а потом доедалась в течение долгой зимы. Процедуру закалывания поросенка можно видеть на изображениях в календарях трудов каждого месяца.

Свое превосходство верхушка общества демонстрировала прежде всего в области питания. Излишество в пище было первым из излишеств. Тут напоказ выставлялись особые продукты: дичь из сеньориальных лесов, деликатесы, стоившие очень дорого, пряности и диковинные кушанья, которые готовили повара. Сцены пиршеств занимают большое место в поэмах о героических деяниях. В жесте «Нимская телега» описывается отправление экспедиции Гильома Оранжского против сарацин:

*Коней под тяжким вьюком с ними триста.
Скажу вам, что везут передовые:
Распятъя, дароносицы и ризы,
Кадила, псалтири, епитрахили.
Достигнет рать владений сарацинских,
Ей первым делом нужно помолиться.
Скажу вам, что везут другие кони:
Молитвенники, стихари из шелка,*

*Кресты и чаши золота литого,
Достигнет рубежей испанских войско -
Восславит сразу милосердье Божье.
Скажу вам, что везут на остальных:
Таганы, блюда, вертелы, котлы,
Ухваты, поварешки, кочерги.
Прибудет войско в землю сарацин -
Придется после долгого пути
Отважного Гильома накормить,
А также всех бойцов, идущих с ним.*

(Пер. Ю.Б. Корнеева)

Итак, церковной роскоши, обеспеченной литургическими сокровищами, соответствовала рыцарская роскошь, которая носила «продовольственный» характер. Это не значит, что церковные властители отставали в интересе к гастрономии. Роже Дион показал, какую роль играли капиталы, вложенные аббатами и епископами в становление средневекового виноградарства. «Огромное - большинство наших епископов, — возмущался в XII в. житель Шартра Гильом Коншский, — весь мир готовы перевернуть, чтобы только найти себе портного или повара, способного искусно приготовить соус с перцем. Что до тех, кто ведет себя благоразумно, они чураются их, как прокаженных...» Устанавливался определенный этикет поведения за столом сеньора, который строго соблюдался. Так, в жесте «Pwyll, prince de Dyved» рассказывается: «Умывшись, они отправились к столу... Зала была приготовлена, и они сели за стол. Хевейд Хен сел с одной стороны Пуала, Рианнон — с другой, а вслед за ними каждый сел, согласно своему рангу». В иконографии пороков обжорство, гурманство, gula, изображались исключительно на примерах сеньоров. Однако настоящее развитие гастрономия получила в городе, вместе с буржуазией. Первые поваренные книги стали появляться в середине XIII в. в Дании; в XIV и в XV вв. они распространились во Франции, Италии, а затем в Германии.

Одним из главных средств выражения в средневековом обществе было само человеческое тело. Уже говорилось о счете на пальцах. Средневековая культура была культурой жестов. Все существенные соглашения и клятвы в средневековом обществе сопровождались жестами и воплощались в них. Вассал вкладывал свои руки в руки сеньора, клал их на Библию, а в знак вызова ломал соломинку или бросал перчатку. Жест уведомлял и обозначал позицию. В религиозной жизни значение его было еще больше. Жестом веры был Крест. Жестами молитвы были руки сложенные, воздетые, руки скрещенные, окутанные покрывалом. Были жесты покаяния (когда ударяли себя в грудь), жесты благословения с возложением рук и совершением крестного знамения; жесты заклинания злых духов: воскурение. Определенные жесты составляли суть отправления таинств. Богослужение — это тоже набор жестов. Самым распространенным жанром феодальной литературы были жесты (chansons de geste); gesta и ges-tus — однокоренные слова.

Большое значение жестов — это существенная черта средневекового искусства. Жест одушевляет произведение, делает его выразительным, придает смысл линии и движению. Церкви — это жесты в камне. И с небес спускается десница Бога, чтобы управлять средневековым обществом.

Еще большую социальную значимость имела одежда. Она точно указывала на социальную категорию, была настоящей униформой. Носить не ту одежду, которая подобала человеку по его положению, означало совершать грех гордыни или падения. Rannosus, нищий оборванец, одетый в лохмотья, был презираем. Именно это слово в начале XIV в. с пренебрежением бросали св. Иву те, кто гнушался святым человеком. Лейтмотивом «Мейера Гельмбрехта», истории честолюбца, которого ждало в конце концов полное падение, была расшитая шапка по моде сеньоров, которую герой носил из тщеславия. Монастырские уставы тщательно регламентировали костюм, причем скорее из уважения к порядку, чем из

боязни роскоши. Строгие ордена XI и XII вв., в особенности цистерцианцы, для того чтобы подчеркнуть свои особенности, приняли белую, некрашеную одежду. После этого белых монахов стали противопоставлять черным монахам, бенедиктинцам. Нищенствующие ордена пошли еще дальше и стали одеваться в мешковину, суровую и небеленую. Их стали называть серыми монахами. Так поступали и разные корпорации, прежде всего университетская. Особое внимание уделялось аксессуарам — головным уборам и перчаткам, которые точно указывали ранг. Доктора носили длинные замшевые перчатки и береты. Только рыцарям подобали шпоры. Любопытный для нас факт: средневековое вооружение было слишком функционально, чтобы стать на самом деле униформой. Но рыцари, создавая благородное сословие, стали прибавлять к шлему, латам, щиту, шпаге знаки отличия. Появились аристократические гербы.

Среди богатых распространилась роскошь в одежде. Она проявлялась в качестве и количестве ткани: это были тяжелые просторные вещи из тонкого сукна, расшитые золотом шелка; она проявлялась в украшениях, драгоценностях, цветах, которые менялись в зависимости от моды. Так, пунцовый цвет, связанный с красными красителями (растительного, как марена, или животного, как кошениль, происхождения), в XIII в. отступил перед цветом морской волны, голубой и зеленой гаммой, чему содействовало развитие техники пастели. Но германские торговцы мареной, борясь с конкуренцией, стали изображать дьявола голубым, чтобы дискредитировать новую моду. Роскошью являлись меха, за которыми Ганза отправлялась в дальние земли вплоть до Новгорода, а генуэзцы — в Крым.

В конце XIII в. стали появляться законы против роскоши, особенно в Италии и во Франции. Они были связаны, по всей вероятности, с начинавшимся экономическим кризисом, а конкретнее — с социальными трансформациями, порождавшими парвеню, которые своей крикливой роскошью стремились затмить старые фамилии. Эти законы, предписывая разницу в одежде, помогали поддерживать установленный общественный порядок. Людовик Святой в стремлении совместить защиту порядка с религиозными идеалами избегал сам и советовал избегать своим приближенным как слишком большой роскоши, так и излишней простоты в одежде. Вот как однажды на Троицу в Корбейле Жуанвиль и мэтр Робер де Сорбон бранились между собой в присутствии короля: «Вы, конечно, достойны порицания, потому что одеты более изысканно, чем король. Вы надеваете беличий мех, носите красные и зеленые цвета, чего не делает король». — «Мэтр Робер, с вашего позволения, не стоит меня порицать за то, что я одеваюсь в ярко-красные одежды, украшенные мехом, ибо эти одежды достались мне от моего отца и моей матери. Это вас следует порицать, ибо вы сын крестьянина и крестьянки, а носите более богатую ткань, чем я». Вердикт Людовика Святого был таков: «Вы должны одеваться хорошо и чисто, и тогда ваши жены будут сильнее вас любить, а ваши люди больше вас уважать. Одеваться и снаряжаться нужно так, чтобы честные люди не обвинили вас в излишествах, а молодежь — в бедности».

Женская одежда удлинялась и укорачивалась в зависимости от того, процветала ли экономика или переживала кризис (в середине XII в. она удлинилась, к великому негодованию моралистов, которые находили эту моду бесстыдной и непристойной; а в середине XIV в. — укоротилась). В XIII и XIV вв. по мере прогресса гигиены, а также культуры выращивания льна все больше входило в употребление белье. Всеобщим достоянием становилась рубашка, появились нижние штаны. Но так же, как и в случае с гастрономией, широкое распространение белья будет связано с развитием буржуазии.

Последним проявлением социальной дифференциации был дом. Крестьянский дом строился из самана или из дерева, если и употреблялся камень, то не выше фундамента. Обычно этот дом состоял из одной комнаты и не имел другого дымохода, кроме дыры в потолке. Бедно обставленный и оснащенный, он не привязывал к себе крестьянина. Убожество дома способствовало мобильности средневекового крестьянина.

Города тоже состояли еще главным образом из деревянных домов. Они становились легкой добычей пожаров. Огонь был тяжелым бедствием Средневековья. В 1200 — 1225 гг. Руан горел шесть раз. Церковь положила немало усилий, чтобы убедить людей Средневековья, что они лишь странники на этой земле. Даже живя на одном месте, они редко имели время привыкнуть к своему очагу.

Другое дело — богатые. Укрепленные замки были символом безопасности, мощи, престижа. В XI в. повсюду топорщились донжоны, преобладала функция защиты. Затем стали появляться украшения. Оставаясь хорошо защищенными, замки стали иметь больше жилых помещений, жилые строения сооружались внутри стен. Вся жизнь концентрировалась в главном зале. Мебели было немного. Столы обычно были разборными, и после трапезы их убирали. Постоянную мебель составлял сундук, или ларь, куда складывали одежду или посуду. Поскольку жизнь сеньоров была бродячей, нужно было иметь возможность легко уносить багаж. Жуанвиль, отправляясь в крестовый поход, обременял себя лишь драгоценностями и реликвиями. Другим функциональным предметом роскоши были ковры; их вешали как ширмы, и они образовывали комнаты. Ковры возили из замка в замок; они напоминали воинственному народу его излюбленное жилище — палатку.

Но, возможно, знатные дамы, женщины-меценатки стремились к большей изысканности во внутренней отделке. Согласно Бодри де Бургейль, в спальне Адели де Блуа, дочери Вильгельма Завоевателя, стены украшали ковры с изображением сцен из Ветхого завета и «Метаморфоз» Овидия; обои представляли сцены завоевания Англии. Потолок был расписан под небо с Млечным Путем, созвездиями, знаками зодиака, солнцем, луной и планетами. Пол был вымощен мозаикой, изображавшей карту мира с чудовищами и зверями. Кровать с балдахином поддерживали восемь статуй: Философии и Свободных искусств.

Признаком престижа и богатства служил материал — камень, а также башни, венчавшие замок. Подражая благородным, богатые бюргеры в городах тоже строили «дома крепкие и прекрасные», как они говорили. Но буржуа начинал привязываться к своему дому и меблировать его. Именно он поставил здесь свою марку на дальнейшее развитие вкуса и изобрел комфорт.

Замок как символ могущества личности или семьи часто оказывался стерт с лица земли, когда его хозяин терпел поражение. Точно так же и в городе дом изгонявшегося богача разрушали или жгли. Это было *abattis* или *arsis* дома.

Удовлетворив свою первейшую потребность — в пище (а для сильных еще и не менее важную потребность в сохранении престижа), средневековые люди имели очень немного. Но, мало заботясь о благосостоянии, они всем готовы были пожертвовать, если только это было в их власти, ради видимости. Их единственной глубокой и бескорыстной радостью был праздник и игра, хотя у великих и сильных и праздник тоже являлся хвастовством и выставлением себя напоказ.

Замок, церковь, город — все служило театральными декорациями. Симптоматично, что средние века не знали специального места для театрального представления. Там, где был центр общественной жизни, импровизировались сценки и представления. В церкви праздником были религиозные церемонии, а из литургических драм уже просто получался театр. В замке один за другим следовали банкеты, турниры, выступления труверов, жонглеров, танцовщиков, поводырей медведей. На городских площадях устраивали подмостки для игр и представлений. Во всех слоях общества семейные праздники превращались в разорительные церемонии. Свадьбы вызывали оскудение крестьян на годы, а сеньоров — на месяцы. В этом сумасшедшем обществе особое очарование имела игра. Пребывая в рабстве у природы, оно охотно отдавалось воле случая: кости стучали на каждом столе. Будучи в плену негибких социальных структур, это общество сделало игру из самой социальной структуры. Унаследованные от Востока в XI в. шахматы, игра королевская, были феодализированы, власть короля в них урезана, а сама игра трансформирована в зеркало общества, после того как в XIII в. доминиканец Жак де Сессоль научил, как можно

«морализировать», играя в эту игру. Это общество изображало и облагораживало свои профессиональные занятия в символических и имевших магический смысл играх: турниры и военный спорт выражали самую суть жизни рыцарей; фольклорные праздники — существование сельских общин. Даже церкви пришлось примириться с тем, что ее изображали в маскарade Праздника дураков. И особенно увлекали все слои общества музыка, песня, танец. Церковное пение, замысловатые танцы в замках, народные пляски крестьян. Все средневековое общество забавлялось самим собою. Монахи и клирики совершенствовались в вокализах григорианских хоралов, сеньоры — в модуляциях мирских песнопений; крестьяне — в звукоподражаниях шаривари. Определение этой средневековой радости дал Блаженный Августин. Он назвал ее ликованием, «бессловесным криком радости». И вот, поднявшись над бедствиями, жестокостями, угрозами, средневековые люди обретали забвение, чувство уверенности и внутренней свободы в музыке, которая пронизывала их жизнь. Они ликovali.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)